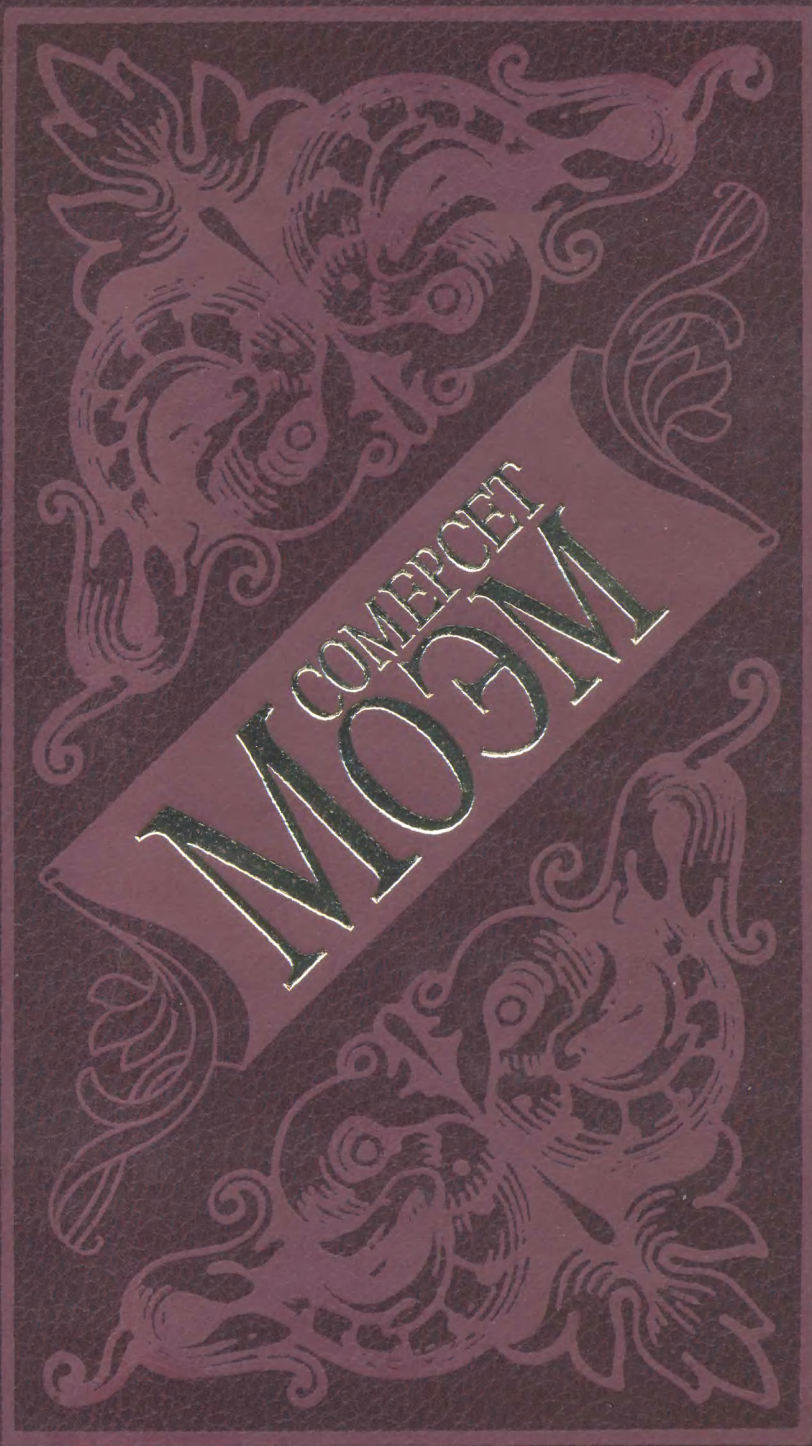


COMERCE
MOGM



5



КОМЕРСЕТ МОЭМ



СОМЕРСЕТ МОЭМ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ



КТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001



Том 5

ОСТРИЕ БРИТВЫ
НА КИТАЙСКОЙ
ШИРМЕ

КТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)
М87

Перевод с английского
М. ЛОРИЕ, И. ГУРОВОЙ

Разработка оформления художника
И. МАРЕВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Моэм С.

М87 Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5: Острие бритвы / Пер с англ. М. Лорие; На китайской ширме / Пер. с англ. И. Гуровой. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2001. — 432 с.

ISBN 5-300-02829-0 (т. 5)

ISBN 5-300-02728-6

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.

В пятый том Собрания сочинений включен роман «Острие бритвы». Произведение «На китайской ширме» составили короткие зарисовки из жизни в Китае.

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)

ISBN 5-300-02829-0 (т. 5)
ISBN 5-300-02728-6

© М. Лорие, наследники, перевод, 2001
© И. Гурова, перевод, 2001
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2001

ОСТРИЕ БРИТВЫ



Трудно пройти по острию бритвы;
так же труден, говорят мудрецы,
путь, ведущий к спасению.

Катха Упанишады

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Никогда еще я не начинал писать роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден, и она не кончается ни смертью, ни свадьбой. Смертью кончается все, так что она — естественное завершение любого сюжета, но и брак — неплохая развязка, и напрасно умудренные скептики издеваются над так называемым счастливым концом. Не что иное, как здравый инстинкт подсказывает рядовому человеку, что, поженив героев, автор вполне может поставить точку. Если мужчина и женщина после каких угодно перипетий обретают друг друга, значит, они выполнили свою биологическую функцию, и интерес переключается на то поколение, что идет им на смену. А я вот оставляю моих читателей в неведении. Эта книга содержит мои воспоминания о человеке, с которым я непосредственно сталкивался лишь через большие промежутки времени, и я мало осведомлен о том, что он делал между нашими встречами. Как беллетрист, я бы мог, вероятно, заполнить эти пробелы достаточно убедительно и таким образом сделать мое повествование более связным; но мне не хочется этим заниматься. Я хочу писать только о том, что мне доподлинно известно.

Много лет тому назад я написал роман под названием «Луна и грош». В нем я вывел знаменитого французского художника Поля Гогена и, пользуясь правом писателя на вымысел, сочинил целый ряд эпизодов, чтобы полнее обрисовать характер, который создал, исходя из скудных фактических данных, бывших в моем распоряжении. В настоящей книге я и не пробовал повторить этот опыт. Чтобы не ставить в неловкое положение людей, которые еще живы,

я только дал действующим лицам моей повести вымышленные имена и вообще позаботился о том, чтобы их нельзя было узнать. Человек, о котором я пишу, не знаменит. Возможно, он никогда не прославится. Возможно, уйдя из жизни, он оставит о своем пребывании на земле не более заметный след, чем камень, брошенный в реку, оставляет на поверхности воды. Тогда, если мою книгу вообще будут читать, то только как литературное произведение, более или менее интересное. Но возможно и то, что влияние, которое оказывает на окружающих образ жизни, избранный моим героем, и необычайная сила и прелесть его характера, будет распространяться все шире, и со временем, пусть через много лет после его смерти, люди поймут, что между нами жил человек поистине выдающийся. Тогда станет ясно, о ком я пишу в этой книге, и те, кому захочется хоть что-нибудь узнать о ранней поре его жизни, найдет здесь чем поживиться. Думаю, что для биографов моего друга книга эта при всех ее недочетах послужит ценным источником информации.

Разговоры, приведенные в этой книге, не следует воспринимать как стенограммы. Я никогда не записывал того, что говорилось в тот или иной день, но у меня хорошая память на все, что меня лично касается, и, хотя разговоры эти я воспроизвожу своими словами, суть сказанного, думается мне, передана верно. Выше я отметил, что ничего в этой книге не сочинил; здесь требуется некоторая оговорка. Я допустил ту же вольность, какую допускали историки со времен Геродота: вложил в уста моих персонажей речи, которых сам не слышал и не мог слышать. Сделал я это с той же целью, что и историки, — чтобы придать живость и правдоподобие сценам, которые, будь они только описаны, оставили бы читателя равнодушным. Я хочу, чтобы мои книги читали, и не считаю зазорным по мере сил этого добиваться. Сообразительный читатель с легкостью обнаружит, где именно я прибегаю к этой уловке, и его дело принять ее или отвергнуть.

Приступаю я к этой работе с опаской и по другой причине: люди, о которых мне предстоит говорить, — по большей части американцы. Знание людей — вообще дело трудное, а по-настоящему знать можно, мне кажется, только своих соотечественников. Ведь ни один человек не существует сам по себе. Люди — это и страна, где они родились, и ферма или городская квартира, где они учились ходить,

и игры, в которые они играли детьми, и сплетни, которые им довелось подслушать, и еда, которой их кормили, школа, где их обучали, спорт, которым они увлекались, поэты, которых читали, и Бог, в которого верили. Все это и сделало их такими, как они есть, и все это нельзя усвоить понаслышке, а можно постичь, только если сам это пережил. Если это часть тебя самого. И оттого, что представителей другой нации знаешь только по наблюдениям со стороны, очень трудно изобразить их убедительно на страницах книги. Даже такому внимательному и тонкому наблюдателю, как Генри Джеймс, к тому же сорок лет прожившему в Англии, не удалось изобразить ни одного англичанина так, чтобы в него можно было до конца поверить. Сам я никогда и не пробовал писать ни о ком, кроме англичан, разве что в нескольких коротких рассказах, — в этом жанре можно обойтись без углубленных характеристик. Даешь читателю общие контуры, а подробности пусть додумывает сам. Могут спросить, почему, если я превратил Поля Гогена в англичанина, я не поступил так же с героями этой книги. Ответить на это просто: потому что не мог. Они тогда стали бы другими людьми. Я не утверждаю, что они — американцы, какими те себя видят; они — американцы, увиденные глазами англичанина. Я не старался передать особенности их речи. Английские писатели, пытающиеся это делать, терпят неудачу точно так же, как американские писатели, когда пытаются изобразить, как говорят в Англии. Особенно много опасностей таит в себе разговорный язык. В своих английских вещах Генри Джеймс много им пользовался, но всегда не совсем так, как англичане, почему и диалог у него не производит впечатления естественной легкости, к чему он стремился, а сплошь и рядом режет слух английскому читателю.

II

В 1919 году, по дороге на Дальний Восток, я оказался в Чикаго и по причинам, не имеющим никакого касательства к этой повести, задержался там недели на три. Незадолго до того вышел в свет один мой роман. Роман имел успех, и не успел я прибыть в Чикаго, как ко мне явился интервьюер. На следующее утро у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Это говорит Эллиот Темплтон.

— Эллиот? Я думал, вы в Париже.

— Нет, я здесь, гошу у сестры. Приезжайте к нам сегодня завтракать.

— С удовольствием.

Он уточнил время и дал мне адрес.

С Эллиотом Темплтоном я был знаком пятнадцать лет. Сейчас, когда ему шел шестой десяток, это был высокий, представительный мужчина с правильными чертами лица и густыми волнистыми волосами, поседевшими лишь настолько, чтобы придать ему еще более аристократический вид. Одевался он безупречно. Галстуки покупал у Шарве, а костюмы, обувь и шляпы — в Англии. В Париже он снимал квартиру на левом берегу Сены, на фешенебельной улице Сен-Гильом. Люди, не любившие его, говорили, что он — делец, однако он гневно отметал такое обвинение. У него был вкус, были знания, и он не отрицал, что в минувшие годы, когда он только что поселился в Париже, ему случалось давать советы богатым коллекционерам, пополнявшим свои собрания картин; а когда благодаря своим связям в обществе он узнавал, что какой-нибудь обедневший высокородный француз или англичанин не прочь продать первоклассную картину, охотно сводил его со знакомым экспертом из американского музея, которому, как ему было известно, как раз требовался высокий образец работы данного мастера. Во Франции, да и в Англии тоже, имелось немало старинных семейств, в силу обстоятельств вынужденных расставаться то с подписным столиком-буль, то с конторкой собственноручной работы Чиппендейла, и представители этих семейств бывали рады познакомиться с культурным, прекрасно воспитанным человеком, который мог им в этом помочь деликатно и без огласки. Естественно было предположить, что Эллиоту кое-что перепало от этих сделок, но упоминать об этом было бы бестактно. Злые языки утверждали, что в его квартире любая вещь продается и что стоит ему угостить богатых американцев отличным обедом с марочными винами, как из его гостиной исчезают два-три ценнейших рисунка, либо вместо секретера-маркетри появляется новый, лакированный. Когда его спрашивали, куда пропала та или иная вещь, он очень правдоподобно объяснял, что она его не вполне удовлетворяла и он обменял ее на другую, более высокого качества. И добавлял, что скучно все время иметь перед глазами одно и то же.

— *Nous autres américains*, мы, американцы, — говорил он, — любим разнообразие. В этом и наша сила, и наша слабость.

Некоторые американки, наезжавшие в Париж, уверяли, что знают про него решительно все, что он из очень бедной семьи и если сейчас живет так широко, то лишь потому, что сумел проявить большую ловкость. Я не знаю, сколько у него было денег, но титулованный домовладелец безусловно брал с него за квартиру недешево и произведений искусства в ней хватало. По стенам висели рисунки великих французских художников Ватто, Фрагонара, Клода Лоррена, на паркетных полах раскинулись во всей своей красе ковры из Савоннери и Обюссона, а в гостиной стоял обитый вышитым атласом гарнитур Людовика XV, такой изящный, что в свое время им и впрямь, как он утверждал, могла владеть мадам де Помпадур. Во всяком случае Эллиот мог позволить себе не искать заработка и вести жизнь, по его мнению, подобающую джентльмену; а откуда у него взялись на это средства — о том поминали только те, кто был готов с ним раззнакомиться. Избавленный таким образом от материальных забот, он целиком отдался своей главной страсти — продвижению по общественной лестнице. Деловые связи с немущими вельможами как во Франции, так и в Англии добавились к тем первым зацепкам, которые у него оказались, когда он молодым человеком прибыл в Европу с рекомендательными письмами. Некоторые из этих писем были адресованы американкам, породнившимся с европейской знатью, и тут помогло его происхождение: он был из старой виргинской семьи, и один из его предков по материнской линии поставил свою подпись под Декларацией независимости. У него была приятная внешность, он хорошо танцевал, недурно стрелял, прекрасно играл в теннис. Ему везде были рады. Он не скупился на цветы и на коробки дорогих шоколадных конфет; у себя принимал редко, но всегда с выдумкой. Богатым американкам нравилось, когда их возили в богемные ресторанчики Сохо и в бистро Латинского квартала. Он всегда был готов к услугам и выполнял любые просьбы, даже самые обременительные. Не жалея сил, он ублажал стареющих дам и вскоре стал вхож в многие чопорные особняки на правах общего любимца, *ami de la maison*¹. Любезности его не было границ. Он и не думал обижаться, если его приглашали в последнюю минуту, лишь потому, что кто-то другой из приглашенных полвел

¹ Друга дома (фр.).

хозяев, и за столом его можно было посадить рядом с очень скучной старухой, не сомневаясь, что он будет с ней отменно остроумен и обходителен.

За два-три года он перезнакомился со всеми, с кем стоило познакомиться молодому американцу — как в Лондоне, куда он отправлялся в конце сезона и откуда осенью ездил гостить в загородные поместья, так и в Париже, где он обосновался. Дамы, которые первыми ввели его в общество, с удивлением обнаруживали, как быстро разросся круг его знакомств. Это вызывало у них смешанные чувства.

С одной стороны им было приятно, что их молодой протеже не обманул ожиданий, а с другой — немного досадно, что он так близко сошелся с людьми, с которыми сами они поддерживали лишь чисто официальные отношения. Хотя он по-прежнему бывал им полезен и всегда готов услужить, невольно закрадывалась мысль, не использовал ли он их как ступеньки в своей светской карьере. Они подозревали в нем сноба. И не без оснований. Конечно, он был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть, или быть представленным какой-нибудь сварливой старой аристократке. Он был неутомим. Наметив себе добычу, он преследовал ее с упорством ботаника, разыскивающего редкостную орхидею, невзирая на наводнения, землетрясения, лихорадки и враждебных туземцев.

Война 1914 года позволила ему окончательно утвердиться. Он вступил в санитарный корпус, служил сперва во Фландрии, потом в Аргонне, а через год вернулся с красной ленточкой в петлице и был назначен на ответственный пост в Красном Кресте в Париже. К тому времени он уже был состоятельным человеком и щедро жертвовал на добрые дела под эгидой разных влиятельных лиц. Он всегда был готов поставить свой безупречный вкус и организаторские способности на службу любого благотворительного начинания, достаточно широко разрекламированного. Он стал членом двух самых недоступных парижских клубов. Для высокопоставленных французских дам он был теперь *se cher Elliott*¹. Он достиг желанных высот.

¹ Наш милый Эллиот (*фр.*).

III

Впервые я познакомился с Эллиотом, когда был заурядным молодым писателем, и он не удостоил меня вниманием. У него была отличная память на лица, и, встречаясь со мной, он сердечно пожимал мне руку, однако не выказывал желания сойтись со мной ближе, а если я попадался ему на глаза, скажем, в опере, где он был с каким-нибудь титулованным приятелем, мог и вовсе меня не заметить. Но потом я как-то сразу приобрел известность как драматург и убедился, что его отношение ко мне потеплело. Однажды я получил от него записку с приглашением позавтракать в отеле «Кларидж», где он останавливался, когда бывал в Лондоне. Общество собралось небольшое и не самое шикарное, и у меня создалось впечатление, что Эллиот ко мне примеривается. Однако благодаря успеху моих пьес у меня появилось много новых друзей, и мы стали встречаться чаще. Тут я как-то провел несколько осенних недель в Париже и встретил его у одних общих знакомых. Он спросил, где я остановился, и через несколько дней я снова получил приглашение на завтрак — на этот раз у него дома, а приехав, с удивлением убедился, что общество у него собиралось самое изысканное. Мысленно я посмеялся. Мне было ясно, что с присущим ему безошибочным светским чутьем он сообразил, что в Англии я как писатель не Бог весть какая персона, тогда как во Франции, где писателю создает престиж сама его профессия, — другое дело. В последующие годы мы сошлись ближе, хотя друзьями так и не стали. Едва ли Эллиот Темплтон вообще мог стать кому-нибудь другом. Люди интересовали его только с точки зрения их места в обществе. Когда я бывал в Париже или он в Лондоне, он продолжал приглашать меня на обеды, если требовался лишний мужчина или предстояло принимать путешественников американцев. Среди них, как я подозревал, бывали и прежние его клиенты, и незнакомые ему люди, направленные к нему с рекомендательными письмами. Это был его крест. Он чувствовал, что должен что-то для них сделать, а вместе с тем ему вовсе не улыбалось знакомить их со своими знатными друзьями. Проще всего было, конечно, накормить их обедом и сводить в театр, но и это порой оказывалось затруднительно, поскольку все вечера у него были обычно расписаны на три недели вперед, да и не верилось ему, что они этим удовлетворятся. Со мною, как с писателем, он особенно не церемонился и не прочь был мне поплакаться.

— В Америке любого готовы снабдить рекомендательным письмом. Я не говорю, сам я всегда рад повидать земляков, но почему я должен навязывать их общество моим друзьям?

Он пробовал отделаться корзинами роз и огромными коробками конфет, но иногда этого оказывалось мало. И вот тогда он немного наивно, если учесть то, что он перед тем мне говорил, приглашал меня на обед.

«Они просто жаждут с вами познакомиться, — писал он, чтобы мне польстить. — Миссис Такая-то очень культурная женщина и ваши книги знает буквально наизусть».

А затем миссис Такая-то сообщала мне, что ей ужасно понравился мой роман «Мистер Перрен и мистер Трэйл» и поздравляла с успехом моей пьесы «Моллюск». Роман этот написал Хью Уолпол, а пьесу — Хьюберт Генри Дэвис.

IV

Если у читателя создалось впечатление, что Эллиот Темплтон был препротивный тип, значит, я не отдал ему должное.

Прежде всего он был *serviable*, что в переводе с французского означает примерно добрый, обаятельный, готовый помочь. Он был великодушен, и если в начале своей карьеры задаривал знакомых цветами, конфетами и сувенирами безусловно не без задней мысли, то продолжал в том же духе и тогда, когда надобность в этом отпала. Он любил делать подарки. Он был гостеприимен. Повар его был одним из лучших в Париже, и можно было не сомневаться, что к столу будут поданы самые ранние овощи и фрукты. Его вина свидетельствовали об отменном вкусе хозяина. Правда, гостей он выбирал главным образом по признаку их положения в обществе, однако заботился и о том, чтобы среди них оказалось хотя бы двое чем-либо интересных, так что скучно у него почти никогда не бывало. Многие смеялись над ним у него за спиной, называли его бессовестным снобом, но приглашения принимали охотно. По-французски он говорил правильно и свободно, с безукоризненным произношением. По-английски приучил себя говорить как англичане, так что лишь очень чувствительное ухо время от времени улавливало в его речи американские интонации. Он был отличным собеседником, если только не давать ему разглагольствовать про герцогов и герцогинь; но теперь, когда положение его было прочно, он даже о

них позволял себе поговорить забавно, особенно с глазу на глаз. Он умел позлословить, а уж сплетни, ходившие об этих высокопоставленных личностях, знал все до одной. Это он сообщил мне, кто отец последнего ребенка принцессы Н. И кто любовница маркиза Д. Даже Марсель Пруст, по-моему, был осведомлен об интимной жизни аристократии не лучше, чем Эллиот Темплтон.

Бывая в Париже, я часто с ним завтракал — когда у него, когда в ресторане. Я люблю бродить по антикварным лавкам — изредка покупаю что-нибудь, а чаще просто гляжу, — и Эллиот с радостью сопровождал меня в этих походах. Он по-настоящему любил красивые вещи и знал в них толк. Кажется, не было в Париже той антикварной лавки, о которой бы он не слышал, с владельцем которой не был бы на короткой ноге. Он обожал вести переговоры и, пускаясь в путь, предупреждал меня:

— Если вам что-нибудь приглянется, не вздумайте покупать сами. Вы только дайте мне знак, остальное я беру на себя.

Он искренне радовался, когда ему удавалось отторговать для меня что-нибудь за полцены. А торговался он мастерски — спорил, улещивал, сердился, взывал к лучшим чувствам продавца, высмеивал его, находил в облюбованной вещи изъяны, грозил, что ноги его здесь больше не будет, вздыхал, пожимал плечами, корил, в гневе поворачивал к выходу, а одержав наконец победу, сокрушенно качал головой, словно принимая неизбежное поражение. И тут же успевал шепнуть мне по-английски:

— Берите. Вдвое больше и то было бы дешево.

Эллиот был ревностным католиком. Еще в первые свои парижские годы он повстречал некоего аббата, известного тем, скольких неверных и еретиков он вернул в лоно истинной церкви. Аббат этот усердно посещал званные обеды и блистал остроумием. Своим духовным руководством он удостаивал только богачей и аристократов. Как человек скромного происхождения, сделавшийся желанным гостем в самых знатных семействах, он не мог не импонировать Эллиоту, и последний признался одной богатой американке, недавно обращенной аббатом, что, хотя семья его спокон веку принадлежала к епископальной церкви, сам он давно интересуется католичеством. Дама пригласила его на обед — только его и аббата, — и тот показал себя во всем блеске. Хозяйка дома навела разговор на католичест-

во, и аббат подхватил эту тему благоговейно, но без педантизма, как светский человек (хоть и священник) в беседе с другим светским человеком. Эллиоту было лестно убедиться, что аббат хорошо о нем осведомлен.

— На днях мне рассказывала о вас герцогиня Вандомская. Вы произвели на нее впечатление очень умного человека.

Эллиот даже вспыхнул от удовольствия. Да, он был представлен ее светлости, но никак не думал, что она его запомнила. Аббат толковал о религии мудро и мягко, проявил терпимость, широту взглядов и современность подхода. В его изображении церковь предстала перед Эллиотом как некий клуб для избранных, в котором воспитанному человеку ради собственного престижа просто необходимо состоять членом. Через полгода он был туда принят. Обращение его в сочетании с щедрыми пожертвованиями на католическую благотворительность открыло перед ним двери нескольких домов, в которые он до того не имел доступа.

Можно по-разному расценить мотивы, заставившие его отречься от веры отцов, но, после того как он это сделал, набожность его не вызывала сомнений. Каждое воскресенье он ездил в одну из самых фешенебельных парижских церквей, он регулярно исповедовался и периодически совершал паломничество в Рим. За свое благочестие он со временем был награжден зачислением в папские камергеры, а за усердие, с каким выполнял свои новые обязанности, — орденом (если не ошибаюсь — Гроба Господня). Словом, как католик он преуспел не меньше, чем как *homme du monde*¹.

Я часто спрашиваю себя, в чем причина снобизма, которым был одержим этот человек, такой неглупый, образованный и добрый. Он не был безбородым выскочкой. Отец его был ректором университета в одном из южных штатов, дед — вполне почтенным доктором богословия. У Эллиота хватало ума понять, что многие принимали его приглашения только ради того, чтобы бесплатно пообедать, что среди них есть и тупицы, и ничтожества. Но блеск их громких титулов затмевал в его глазах любые их недостатки. Я могу только догадываться, что тесное общение с этим родовитыми господами и верная служба их дамам вселяли в него непреходящее чувство одержанной победы и что за всем этим крылась страстная романтическая натура, позво-

¹ Светский человек (*фр.*).

лявшая ему видеть в тщедушном французском маркизе того крестоносца, что побывал в Святой земле с Людовиком IX, а в английском графе, хвастающем своей псарней, — предка этого графа, сопровождавшего Генриха VIII на Парчовое поле¹. Ему, наверно, казалось, что в обществе таких людей он сам живет в каком-то великолепии, доблестном прошлом. И, вероятно, сердце его радовалось, когда он перелистывал Готский альманах, и одно имя за другим вызывало в его памяти давно минувшие войны, исторические осады, прославленные поединки, дипломатические интриги и любовные похождения королев. Вот таким человеком был Эллиот Темплтон.

V

Только я собрался помыться и почиститься, чтобы ехать к Эллиоту и его родным, как мне позвонили от портье сказать, что сам Эллиот ждет меня внизу. Я немного удивился и, как только привел себя в порядок, спустился в вестибюль.

— Я решил зайти за вами, — сказал он, пожимая мне руку. — Я не был уверен, хорошо ли вы знаете Чикаго.

Мне уже приходилось подмечать, что у некоторых американцев, долго проживших за границей, складывается представление, будто Америка — очень трудная, даже опасная страна, в которой европеец рискует пропасть без посторонней помощи.

— Время еще есть, часть дороги можно пройти пешком, — предложил он.

Воздух был чуть морозный, в небе ни облачка, и размяться было приятно.

— Я хотел кое-что рассказать вам о моей сестре, прежде чем вы ее увидите, — сказал Эллиот, бодро шагая со мною рядом. — Она приезжала ко мне в Париж, но вас тогда, помнится, там не было. Сегодня мы завтракаем тесным кружком — только сестра, ее дочь Изабелла и Грегори Бразон.

— Специалист по интерьерам?

— Он самый. Дом у моей сестры в ужасном виде, и мы с Изабеллой все уговариваем ее отделать его заново. А тут

¹ Парчовое поле — равнина близ Кале, где в 1520 году английский король Генрих VIII встретился для переговоров с французским королем Франциском I, причем участники этой встречи блистали пышными нарядами.

я случайно услышал, что Грегори сейчас в Чикаго, и подал идею пригласить его к завтраку. Он, конечно, не в полном смысле джентльмен, но вкус у него есть. Мэри Олифант поручала ему всю отделку своего замка, а Сент-Эрты — свой дом в Сент-Клемент-Толбот. Герцогиня не могла им нахвалиться. А дом Луизы... Да вот вы сами увидите. Как она могла прожить в нем столько времени — уму непостижимо. Впрочем, для меня вообще загадка, как она может жить в Чикаго.

Он рассказал мне, что миссис Брэдли — вдова, у нее трое детей, два сына и дочь, но сыновья намного старше, женаты и с ней не живут. Один занимает государственный пост на Филиппинах, другой сейчас в Буэнос-Айресе, он дипломат, пошел по стопам отца. Покойный муж миссис Брэдли представлял свою родину во многих странах, несколько лет был первым секретарем посольства в Риме, а затем был назначен послом в одну из республик на западном побережье Южной Америки, где скончался.

— Я хотел, чтобы Луиза тогда же продала этот дом, — продолжал Эллиот, — но ей было жаль с ним расстаться. Семейство Брэдли владело им много лет. Брэдли — одно из старейших семейств Иллинойса. Они переселились из Виргинии в тысяча восемьсот тридцать девятом году и обзавелись землей миль в шестидесяти от тогдашнего Чикаго. Земля эта до сих пор им принадлежит, — Эллиот помолчал и взглянул на меня, проверяя, как я отнесся к этим сведениям. — Тот Брэдли, что здесь обосновался, был, в сущности, по нынешним понятиям, фермер. Не знаю, известно ли это вам, но в середине прошлого века, когда началось освоение Среднего Запада, многие виргинцы, все больше, знаете ли, младшие сыновья из хороших семей, охваченные тягой к неизвестному, стали покидать благоденствующие усадьбы своего родного штата. Отец моего зятя, Честер Брэдли, понял, что у Чикаго есть будущее, и поступил там в юридическую контору. И нажил, между прочим, достаточно денег, чтобы оставить своему сыну вполне порядочное состояние.

Не столько слова Эллиота, сколько его тон означали, что, на его взгляд, Честер Брэдли поступил не совсем прилично, променяв наследственный дом с колоннами и обширные плантации на какую-то контору, но то обстоятельство, что он нажил состояние, хотя бы частично оправдывало этот шаг. Эллиот был явно раздосадован, когда мис-

сис Брэдли — не в тот день, а позже — показала мне любительские снимки того, что ему угодно было именовать их «поместьем», и я увидел скромный оштукатуренный дом с веселым садиком, но тут же рядом, увы, сарай, коровник и хлев, а вокруг — унылые плоские поля. Мне подумалось, что мистер Честер Брэдли знал, что делал, когда махнул на все это рукой и подался в город.

Дальше мы поехали в такси. Машина остановилась перед домом, высоким и узким, к парадной двери которого вело несколько крутых ступеней. Он стоял в ряду других домов, на улице, отходящей от набережной, и выглядел даже в этот яркий осенний день таким бесцветным и скучным, что непонятно было, как можно питать к нему теплые чувства. Дверь отворил дородный седовласый дворецкий-негр, и нас провели в гостиную. Миссис Брэдли поднялась нам навстречу, и Эллиот представил меня. В молодости она, видимо, была хороша собой — у нее были правильные, хоть и крупноватые черты лица и очень красивые глаза. Но лицо это, желтоватое, почти нарочито не накрашенное, уже немного оплыло, и было ясно, что она проиграла битву с полнотой, этим врагом пожилых женщин. Принять свое поражение она, однако, не соглашалась — сидела очень прямо, на стуле с жесткой спинкой, так ей, в тесной броне корсета, было, очевидно, удобнее, чем в мягком кресле. На ней было синее платье, щедро расшитое тесьмой, высокий воротник на китовом усе подпирал подбородок. Ее густые белые волосы были туго завиты и уложены в затейливую прическу.

Второй гость еще не прибыл, и, поджидая его, мы болтали о всяких пустяках.

— Эллиот говорит, вы ехали южным путем, — сказала миссис Брэдли. — Вы в Риме останавливались?

— Да, я провел там неделю.

— Ну, как там поживает дорогая королева Маргарита?

Немного удивленный этим вопросом, я отвечал, что не знаю.

— Как, вы ее не навестили? Такая славная женщина. Она была к нам очень добра, когда мы жили в Риме. Мистер Брэдли был первым секретарем посольства. Что же вы ее не навестили? Вы же не Эллиот, не такой строгий католик, что вам и в Квиринале бывать нельзя?

— Отнюдь нет, — улыбнулся я. — Дело в том, что я с нею не знаком.

— Не знакомы? — Миссис Брэдли словно не поверила своим ушам. — А почему?

— Да потому, что писатели, как правило, не водят дружбу с королями и королевами.

— Но она такая милая женщина, — горячо возразила миссис Брэдли, словно обвиняя меня в высокомерии. — Я уверена, что она бы вам понравилась.

Тут дверь отворилась, и дворецкий доложил о приходе Грегори Брабазона.

Грегори Брабазон, несмотря на свою фамилию, не был романтической фигурой. Низенький, толстый, с лысой, как яйцо, головой — бахрома черных курчавых волос осталась только за ушами и на затылке — красное бритое лицо, которое, казалось, вот-вот вспотеет, живые серые глаза, чувственные губы и тяжело обвисшие щеки. Он был англичанин, и я несколько раз встречался с ним на аристократических вечеринках в Лондоне. Держался он всегда по-дружески весело и открыто, много смеялся, но не требовалось особого знания человеческой природы, чтобы понять, что за этой шумной общительностью скрывается цепкая деловая хватка. Уже несколько лет он слыл лучшим в Лондоне специалистом по внутренней отделке домов. У него был гулкий бас и маленькие пухлые руки, на редкость выразительные. Красноречивыми жестами, целым потоком взволнованных слов он умел так разжечь воображение сомневающегося клиента, что тот просто не мог не дать ему заказ, а принимал он этот заказ с таким видом, будто сам делает клиенту одолжение.

Дворецкий внес на подносе коктейли.

— Изабеллу ждать не будем, — сказала миссис Брэдли, беря с подноса бокал.

— А где она? — спросил Эллиот.

— Поехала с Ларри играть в гольф. Она предупредила, что, может быть, опоздает.

— Ларри — это Лоренс Даррел, — объяснил мне Эллиот. — Он считается женихом Изабеллы.

— А я и не знал, что вы пьете коктейли, Эллиот, — сказал я.

— Я и не пью, — ответил он мрачно. — Но что поделаешь в этой варварской стране с ее сухим законом? — Он вздохнул. — Теперь коктейли стали подавать и в некоторых домах в Париже. Вредоносные связи пагубны для чистоты нравов.

— Какая чушь, Эллиот, — сказала миссис Брэдли.

Сказано это было добродушно, но так решительно, что выдавало в ней женщину с характером; а по тому взгляду, который она бросила на брата, веселому, но пронизательному, я сильно заподозрил, что она не обольщается на его счет. Интересно, подумал я, как она отнесется к Брабазону. Я заметил, что он еще с порога окинул комнату профессиональным взглядом и невольно вздернул косматые брови. А комната и вправду была поразительная. Обои, занавески и кретонная обивка кресел были одного и того же рисунка; на стенах висели картины в массивных золоченых рамах, очевидно купленные супругами Брэдли в пору их проживания в Риме. Мадонны школы Рафаэля, мадонны школы Гвидо Рени, пейзажи школы Цукарелли, руины школы Панини. Были тут и трофеи их пребывания в Пекине — столы черного дерева, не в меру изукрашенные резьбой, огромные расписные вазы, были и вещи, вывезенные из Чили и Перу, — обрюзгшие каменные идолы, глиняные сосуды. Был чиппендейловский секретер и столик-маркетри. Абажуры на лампах были из белого шелка, на котором какому-то художнику взбрело в голову изобразить пастушков и пастушек в духе Ватто. Все это было сплошное уродство и однако же, не знаю почему, радовало глаз. Вид у комнаты был уютный, обжитой, и чувствовалось, что в этой невероятной мешанине есть какой-то смысл. Все эти несовместимые предметы составляли единое целое, потому что были частью жизни хозяйки.

Не успели мы допить коктейли, как дверь распахнулась и вошла девушка, а за нею молодой человек.

— Мы опоздали? — сказала она. — Я и Ларри привела. Найдется для него что-нибудь поесть?

— Надеюсь, — улыбнулась миссис Брэдли. — Позвони и скажи Юджину, пусть поставит еще один прибор.

— Он нам открывал дверь. Я ему уже сказала.

— Это моя дочь Изабелла, — обратилась миссис Брэдли ко мне. — А это — Лоренс Даррел.

Изабелла наскоро поздоровалась со мной и тут же переключилась на Грегори Брабазона.

— Вы мистер Брабазон? Мне безумно хотелось с вами познакомиться. У Клементины Дормер вы создали просто чудо. Правда, эта комната какой-то кошмар? Я уже сколько лет уговариваю маму что-то с ней сделать, а сейчас, когда вы здесь, просто грех упускать такой случай. Скажите откровенно, что вы о ней думаете?

Я знал, что меньше всего от Брабазона можно ждать откровенности. Он бросил взгляд на миссис Брэдли, но лицо ее было непроницаемо. Тогда он решил, что равняться следует на Изабеллу, и громко, раскатисто рассмеялся.

— Комната, конечно, комфортабельная и все такое, — сказал он, — но, если уж говорить начистоту, эстетическое чувство она оскорбляет.

Изабелла была высокого роста и, видимо, унаследовала семейные черты — удлиненный овал лица, прямой нос, очень красивые глаза и полные губы. Она была хороша, хоть и немного полновата, но я решил, что с годами она постройнеет. И руки ее, красивые и крепкие, могли бы быть потоньше, и ноги, видные из-под короткой юбки, тоже. У нее была прекрасная кожа и яркий румянец, пуше разгоревшийся после гольфа и возвращения домой в открытом автомобиле. Молодость была в ней ключом. Ее лучезарное здоровье, шаловливая веселость, жизнерадостность, счастье, написанное на ее лице, пьянили, как вино. Она была так естественна, что Эллиот при всей его элегантности выглядел рядом с ней чуть ли не манекеном. Так свежа, что поблекшее, в морщинах, лицо миссис Брэдли сразу показалось усталым и старым.

Мы спустились в столовую, при виде которой Грегори Брабазон растерянно заморгал. Здесь стены были оклеены темно-красными обоями под штоф и увешаны портретами угрюмых, сердитых мужчин и женщин, предков покойного мистера Брэдли. И сам он здесь был — с густыми усами, в парадном сюртуке с крахмальным воротничком. А миссис Брэдли, кисти французского художника девяностых годов, висела над камином в вечернем платье голубого атласа, с жемчугом на шее и бриллиантовой звездой в волосах. Одной рукой, унизанной кольцами, она касалась кружевного шарфа, столь искусно выпясанного, что видна была каждая петелька, в другой небрежно держала веер из страусовых перьев. Мебель была массивная, мореного дуба.

— Ну, что вы скажете? — спросила Изабелла Грегори Брабазона, когда мы сели за стол.

— Этот гарнитур, несомненно, стоил больших денег, — отвечал он.

— Еще бы, — сказала миссис Брэдли. — Это отец мистера Брэдли подарил нам к свадьбе. Мы его повсюду с собой возили. В Пекин, в Лиссабон, в Кито, в Рим. Дорогая королева Маргарита очень им восхищалась.

— Что бы вы с ним сделали, если б он был ваш? — спросила Изабелла Брабазона, но Эллиот не дал ему ответить, а ответил сам:

— Сжег бы.

Они втроем принялись обсуждать, как лучше обставить столовую. Эллиот ратовал за Людовика XV, Изабелле виделся узкий стол, как в монастырских трапезных, и итальянские стулья. Брабазон высказался в том смысле, что с личностью миссис Брэдли будет лучше гармонировать Чиппендейл.

— Я придаю огромное значение личности, — сказал он и обратился к Эллиоту: — Вы, конечно, знакомы с герцогиней Олифант?

— С Мэри? Мы с ней близкие друзья.

— Она просила меня придумать ей столовую, и я, как только ее увидел, сказал: Георг Второй.

— И были совершенно правы. Я обратил внимание на эту комнату, когда в последний раз у них обедал. Прелесть что такое.

Разговор продолжался все в том же духе. Миссис Брэдли слушала, — но что она думает, было не понять. Я лишь изредка вставлял слово, а Ларри (фамилию его я успел забыть) вообще молчал. Он сидел напротив меня, между Брабазоном и Эллиотом, и я время от времени на него поглядывал. На вид он был очень молод. Худой, голенастый, примерно одного роста с Эллиотом. Внешность приятная, не красавец и не урод, ничего примечательного. Но вот что меня заинтересовало: хотя он, с тех пор как вошел в дом, не произнес, сколько помнится, и десяти слов, держался он совершенно свободно и, не раскрывая рта, словно бы даже участвовал в разговоре. Мне запомнились его руки — длинные, хотя по его росту и небольшие, красивые, но отнюдь не изнеженные. Мне подумалось, что любой художник был бы рад их написать. В его худобе не было ничего болезненного, напротив, он показался мне жилистым и выносливым. Лицо у него было загорелое, но не богатое красками, черты, хоть в общем правильные, довольно ординарные. Чуть выдающиеся скулы, чуть запавшие виски, волосы темно-каштановые, волнистые. Глаза казались очень большими, потому что были глубоко посажены и опущены длинными густыми ресницами. Необычные эти глаза были не чисто карие, как у Изабеллы, ее матери и дяди, а такие темные, что радужная оболочка

сливалась со зрачком, и это делало его взгляд особенно пристальным. Было в нем какое-то прирожденное изящество, и нетрудно было понять, почему Изабелла им пленилась. Когда она взглядывала на него, я читал в ее лице не только любовь, но и ласку. А в его глазах, когда он ловил на себе ее взгляд, светилась чудесная неприкрытая нежность. Нет ничего трогательнее, чем юная любовь, и я, как человек уже не первой молодости, завидовал им, но в то же время, неизвестно почему, испытывал к ним жалость. Это было глупо, ведь, насколько я знал, их счастьем ничто не грозило; обстоятельства как будто им благоприятствовали, так почему бы им не пожениться и не жить счастливо весь свой век, как в сказке.

Изабелла, Эллиот и Грегори Брабазон все толковали о новом убранстве дома, пытаясь выведать у миссис Брэдли, считает ли она нужным хоть что-то предпринять, но она отделялась приветливыми улыбками.

— Не торопите меня. Дайте мне время подумать, — И повернулась к молодому человеку. — А как твое мнение, Ларри?

Он оглядел нас всех, улыбаясь одними глазами.

— По-моему, все равно, что так, что этак.

— Ларри, противный! — вскричала Изабелла. — Я же специально просила тебя нас поддержать.

— Если тете Луизе и так хорошо, зачем нужно что-то менять?

Вопрос его был так к месту и так разумен, что я рассмеялся. Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся, уже не таясь.

— Ну вот, сболтнул глупость и радуешься, — сказала Изабелла.

Но он только улыбнулся еще шире, и я заметил, что зубы у него мелкие, белые и ровные. Под его взглядом Изабелла вспыхнула и притихла. Судя по всему, она была отчаянно в него влюблена, но у меня, сам не знаю почему, появилось ощущение, что в ее любви есть и что-то материнское. В такой молоденькой девушке это было неожиданно. С мягкой улыбкой на губах она опять повернулась к Грегори Брабазону.

— Не обращайтесь на него внимания. Он очень глупый и совершенно необразованный. Понятия не имеет ни о чем, кроме полетов.

— Полетов? — удивился я.

- Он был на войне авиатором.
- Я думал, он был слишком молод, чтобы воевать.
- Ну да, так оно и было. Он вел себя очень дурно. Удрал из школы и прямо в Канаду. Наврал там с три короба, убедил их, что ему восемнадцать лет, и вступил в авиационный корпус. К концу войны он сражался во Франции.
- Гостям твоей мамы это неинтересно, Изабелла, — сказал Ларри.
- Я знаю его с пеленок, и, когда он вернулся, такой красавчик, с такими хорошенькими нашивками на френче, я, можно сказать, села у него на пороге и не ушла, пока он не обещал на мне жениться, — верно, для того только, чтобы я от него отстала. Конкуренция была зверская.
- Перестань, Изабелла, — остановила ее мать.
- Ларри наклонился ко мне через стол.
- Надеюсь, вы не верите ни одному ее слову. Изабелла неплохая девушка, но любит приврать.
- Завтрак кончился, и мы с Эллиотом скоро ушли. Я еще раньше говорил ему, что хочу сходить в музей, и он вызвался меня сопровождать. Смотреть картины я всегда предпочитаю один, но сказать ему это было бы неудобно, и я согласился. По дороге мы заговорили про Изабеллу и Ларри.
- Прелестное это зрелище, молодые влюбленные, — сказал я.
- Молоды они, чтобы жениться.
- Почему? Это так хорошо: быть молодыми, влюбленными и пожениться.
- Бросьте, вздор это. Ей девятнадцать лет, ему только что минуло двадцать. Он нигде не работает. Есть крошечный доход, Луиза говорит — три тысячи годовых, а Луиза сама небогатая женщина. Лишних денег у нее нет.
- Ну, так он может поступить на работу.
- В том-то и дело, что он к этому не стремится. Бездельничает, как будто так и надо.
- На войне ему, надо полагать, пришлось несладко. Наверно, хочется отдохнуть.
- Он уже год как отдыхает. Вполне достаточно.
- Мне показалось, он славный мальчик.
- Да и я ничего против него не имею. Семья вполне почтенная, и все такое. Отец его переехал сюда из Балтимора. Был в Йельском университете профессором по романским языкам или что-то в этом роде. А мать была из Филадельфии, из старинного квакерского рода.

— Вы говорите о них в прошедшем времени. Они что, умерли?

— Да, мать умерла в родах, а отец лет двенадцать тому назад. Его воспитывал университетский товарищ отца, один врач из Марвина. Там Луиза и Изабелла с ним и познакомились.

— А Марвин это где?

— Там же, где поместье Брэдли. Луиза ездит туда на лето. Она жалела мальчика. Доктор Нелсон — холостяк, в воспитании детей ничего не смыслил. Это Луиза настояла, чтобы его отдали заканчивать школу в Сент-Пол, а на рождественские каникулы всегда приглашала его к себе. — Эллиот пожал плечами на французский манер. — Казалось бы, должна была предвидеть, чем это кончится.

Мы уже дошли до музея и теперь занялись картинами. И опять я отдал должное знаниям и вкусу Эллиота. Он водил меня по залам, словно я был группой туристов, и своими рассуждениями мог заткнуть за пояс любого искусствоведа. Я подчинялся ему, решив, что приду еще раз и поброжу здесь один в свое удовольствие; через какое-то время он взглянул на часы.

— Пошли, — сказал он. — Я никогда не провожу в музее больше часа. Дольше нельзя — восприятие притупляется. Досмотрим в другой раз.

Я горячо поблагодарил его на прощание и пошел своей дорогой, напичканный сведениями, но несколько утомленный.

Провожая меня, миссис Брэдли сказала, что на следующий день у Изабеллы соберется к обеду кое-кто из молодежи, после обеда они поедут танцевать. Может быть, и я приду, тогда мы с Эллиотом могли бы спокойно побеседовать вечером.

— Порадуйте его, — добавила она. — Он так долго прожил за границей, что здесь чувствует себя не в своей тарелке. Ни с кем не может найти общий язык.

Я принял приглашение, и теперь, выходя из музея, Эллиот сказал мне, что очень этому рад.

— В этом огромном городе я как в пустыне, — сказал он. — Я обещал Луизе прогостить у нее шесть недель, мы не виделись с тысяча девятьсот двенадцатого года, а теперь жду не дождусь, когда смогу возвратиться в Париж. Только там и можно жить цивилизованному человеку. Дорогой

мой, вы знаете, как на меня здесь смотрят? На меня смотрят, как на ископаемое. Дикари.

Я посмеялся, и мы простились.

VI

На следующий день Эллиот по телефону предложил заехать за мной, но я отказался и к вечеру вполне благополучно добрался до дома миссис Брэдли. Меня задержал какой-то посетитель, так что я немного опоздал. Когда я поднимался по лестнице, из гостиной неслся по лестнице такой шум, что я ожидал увидеть там целую толпу и был удивлен, насчитав вместе с собой всего двенадцать человек. Миссис Брэдли выглядела весьма импозантно в зеленых шелках, с ошейником из мелкого жемчуга; Эллиот в отлично сшитом смокинге был сама элегантность. Когда я с ним здоровался, все ароматы Аравии повеяли мне в лицо. Меня познакомили с грузным краснолицым мужчиной, который в вечернем костюме явно чувствовал себя стесненным. Его назвали доктор Нелсон, но в ту минуту это мне ничего не сказало. Остальные гости были друзья Изабеллы, их имена я пропустил мимо ушей. Девушки все были молодые и хорошенькие, мужчины — молодые и ладные. Никого из них я особенно не отметил, кроме разве одного, и то лишь потому, что он был такой огромный — не меньше шести футов трех дюймов ростом, с могучими плечами. Изабелла была очень мила в белом шелковом платье с длинной узкой юбкой, скрывавшей ее толстые ноги; фасон платья подчеркивал ее хорошо развитую грудь, обнаженные руки были полноваты, зато шея прелестна. От веселого волнения красивые глаза ее так и сверкали. Да, несомненно, она была очень хороша и по-женски соблазнительна, но верно и то, что ей следовало остерегаться, как бы не располнеть сверх меры.

За обедом меня посадили между миссис Брэдли и тихой бесцветной девушкой, на вид еще моложе, чем остальные. Миссис Брэдли сразу же объяснила, что дед и бабушка ее живут в Марвине и она училась в одной школе с Изабеллой. Называли ее Софи, фамилию я не расслышал.

Разговор за столом шел громкий, пересыпанный шутками, то и дело прерываемый смехом. Все здесь, видимо, хорошо друг друга знали. Когда хозяйка дома не требовала моего внимания, я пытался поговорить со своей юной соседкой, но без особого успеха. Она была молчаливее дру-

гих. Красотой не блистала, но мордочка у нее была забавная — вздернутый носик, большой рот и зеленовато-голубые глаза; волосы гладко причесаны, каштановые с рыжеватым отливом. Очень худенькая и плоскогрудая, почти как мальчик. Шуткам она смеялась, но несколько натянуто, словно больше притворялась, что ей весело. Мне показалось, что она нарочно старается не отстать от других. Я не мог разобрать, то ли она глуповата, то ли болезненно застенчива, и, перепробовав несколько тем разговора, ни одной из которых она не поддержала, с горя попросил ее рассказать мне немножко обо всех, кто сидит за столом.

— Ну, доктора Нелсона вы знаете, — сказала она, указывая глазами на пожилого мужчину, сидевшего напротив меня по другую руку от миссис Брэдли. — Он опекун Ларри. Наш марвинский доктор. Ужасно умный. Он все изобретает разные приспособления для аэропланов, только никто не хочет их использовать, а в остальное время пьет.

По тому, как блеснули ее светлые глаза, когда она это говорила, я понял, что не так уж она проста. А она между тем стала перечислять мне своих сверстников, сообщая, кто их родители, а про мужчин — в каком колледже они учились и чем теперь занимаются. Это было не слишком вразумительно: «Она — прелесть», «Он хорошо играет в гольф».

— А кто вон тот великан с бровями?

— Этот? О, это Грэй Мэтьюрин. У его отца в Марвине большущий дом на реке. Он наш миллионер. Мы им очень гордимся. Как-никак марка. «Мэтьюрин, Хобс, Рэйнер и Смит». Он один из самых богатых людей в Чикаго, а Грэй — его единственный сын.

Она вложила в это перечисление фамилий столько тонкой иронии, что я взглянул на нее вопросительно. Заметив это, она покраснела.

— Расскажите мне еще про мистера Мэтьюрина.

— Да рассказывать-то нечего. Он богат. Его все уважают. Он построил нам в Марвине новую церковь и пожертвовал миллион долларов Чикагскому университету.

— Сын его — видный молодой человек.

— Он славный. Даже не верится, что дед у него был нищий эмигрант-ирландец, а бабка — шведка, прислуживала в харчевне.

Внешность у Грэя была не столько красивая, сколько заметная. Черты грубоватые, словно бы недоделанные — тупой короткий нос, чувственный рот, ирландский румя-

нец во всю щеку; волосы, иссиня-черные, гладко прилизаны, под густыми бровями — ясные, ярко-синие глаза. При таком мощном сложении он был очень пропорционален, я представил его себе обнаженным и залюбовался. Сила в нем угадывалась незаурядная, это был ярко выраженный мужчина. Рядом с ним Ларри, хоть и всего дюйма на три ниже его ростом, казался тщедушным юнцом.

— Он пользуется огромным успехом, — продолжала между тем моя застенчивая соседка. — Многие девушки, я знаю, готовы чуть ли не убийство совершить, лишь бы он им достался. Но шансов у них ни малейших.

— Почему же?

— Вы, наверно, ничего не знаете?

— Откуда мне знать?

— Он до безумия влюблен в Изабеллу, а Изабелла влюблена в Ларри.

— А что ему мешает отбить ее у Ларри?

— Ларри его лучший друг.

— Это, надо полагать, усложняет дело.

— Для такого принципиального человека, как Грэй, — безусловно.

Я не был уверен, сказала она это всерьез или с чуть заметной насмешкой. В ее тоне не было ничего дерзкого или озорного, и все же у меня создалось впечатление, что она наделена и чувством юмора, и проницательностью. Интересно было бы узнать, что у нее на уме, но я понимал, что этого мне не дожидаться. Она была явно не уверена в себе, и я подумал, что, вероятно, она — единственный ребенок и всю жизнь прожила среди людей намного ее старше. Мне нравилась ее скромность и сдержанность, но если она действительно росла одиноким ребенком, то, вероятно, втихомолку наблюдала за взрослыми, которые ее окружали, и составила себе о них вполне определенное мнение. Мы, зрелые люди, и не подозреваем, как беспощадно, и притом безошибочно, судят о нас дети. Я снова глянул в ее зеленоватые глаза.

— Вам сколько лет?

— Семнадцать.

— Много ли вы читаете? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить, но она не успела ответить, потому что миссис Брэдли, как любезная хозяйка, нашла нужным отвлечь меня каким-то замечанием, а тут и обед подошел к концу. Молодежь сразу уехала выполнять намеченную программу, а мы вчетвером опять поднялись в гостиную.

Я не совсем понимал, зачем меня пригласили на этот вечер: остальные трое чуть не с первых слов заговорили на тему, которую им, казалось бы, удобнее было обсуждать без посторонних. Я уже подумывал о том, чтобы тактично встать и уйти, но меня удерживала мысль, что, может быть, я нужен им на роль беспристрастного свидетеля. Темой обсуждения было странное нежелание Ларри заняться делом, а непосредственным поводом — предложение мистера Мэтюрина, чьего сына я видел за обедом, взять его на работу к себе в контору. Перед Ларри это открывало блестящие возможности. Можно было смело рассчитывать на то, что при должных способностях и усердии он со временем станет зарабатывать большие деньги. Грэй, его товарищ, только об этом и мечтал.

Многое из того, что тогда говорилось, я забыл, но суть разговора запомнил хорошо. Когда Ларри вернулся из Франции, доктор Нелсон, его опекун, предлагал ему поступить в университет, но Ларри отказался. Все понимали, что ему хочется передохнуть после тягот войны, к тому же он дважды был ранен, хоть и легко. Доктор Нелсон считал, что он еще не оправился — пусть отдохнет до полного выздоровления. Но недели складывались в месяцы, и пошел уже второй год, как он снял военную форму. В авиации он отличался, первое время считался в Чикаго героем, в результате чего несколько крупных фирм приглашали его на работу. Он благодарил, но отказывался. Причин он не приводил, кроме одной: он еще не решил, чем хочет заняться. Он обручился с Изабеллой. Миссис Брэдли это не удивило, поскольку они годами были неразлучны и она знала, что Изабелла в него влюблена. Сама она любила его как сына и верила, что Изабелла будет с ним счастлива.

— У нее характер сильнее, чем у него. В ней есть как раз то, чего ему недостает.

Хотя оба были так молоды, миссис Брэдли была не против того, чтобы они поженились теперь же, но с одним условием: что Ларри сперва поступит на работу. Пусть у него есть кое-какие доходы, но на этом условии она стала бы настаивать, даже будь у него в десять раз больше. Насколько я понял, она и Эллиот пытались выпытать у доктора Нелсона, каковы намерения Ларри, и просили его употребить свое влияние, чтобы заставить его принять предложение Мэтюрина.

— Вы же знаете, он никогда не прислушивался к моим советам, — отбивался тот. — Мальчишкой и то делал все по-своему.

— Знаю. Вы его запустили. Удивительно еще, как он вообще не сбился с пути.

Доктор Нелсон, немало выпивший за обедом, сердито уставился на нее. Его красная физиономия покраснела еще гуще.

— Я был занят по горло. Работы и без него хватало. Я его взял к себе, потому что ему было некуда деваться и потому что дружил с его отцом. А мальчишка был трудный.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — резко возразила миссис Брэдли. — У него чудесный характер.

— Что прикажете делать с парнем, который никогда не спорит, а поступает как ему заблагорассудится, а рассердишься на него, раскричишься — только говорит, что ему очень жаль и кричи, мол, сколько влезет. Будь он моим сыном, я бы его порол. Но не мог я пороть круглого сироту, да и отец мне его завещал в надежде, что я его не обижу.

— Это к делу не относится, — раздраженно прервал его Эллиот. — Сейчас положение такое: без дела он слонялся достаточно, ему предлагают прекрасную возможность продвинуться и стать обеспеченным человеком, и если он хочет жениться на Изабелле, он должен это предложение принять.

— Он должен понять, — добавила миссис Брэдли, — что в наше время мужчина не может не работать. Он давно уже выздоровел и окреп. Все мы знаем, как после войны между штатами некоторые мужчины, вернувшись из походов, потом до конца жизни палец о палец не ударили. Были обузой в семье и совершенно бесполезны для общества.

Тут и я вставил свое слово:

— Но как он сам объясняет, что не принял всех этих лестных предложений?

— А никак. Просто говорит, что это ему не подходит.

— Но чем-то заняться ему хочется?

— Видимо, нет.

Доктор Нелсон подлил себе виски. Отхлебнул и поднял глаза на своих старых друзей.

— Сказать вам, какое у меня ощущение? Может, я не Бог весть какой знаток человеческой природы, но после

тридцати пяти лет практики немножко в ней разбираюсь. Это все виновата война. Ларри вернулся не таким, каким уходил. И он не просто возмужал. Что-то с ним там случилось такое, что изменило всю его сущность.

— Что же это могло быть? — спросил я.

— Да вот не знаю. Делиться своими впечатлениями он не любит. — Доктор Нелсон повернулся к миссис Брэдли. — Вам он что-нибудь рассказывал, Луиза?

Она покачала головой.

— Нет. Сначала, когда он вернулся, мы все расспрашивали его, как там было, а он только улыбался этой своей улыбкой и уверял, что рассказывать нечего. Он даже Изабелле не рассказывал. Уж она как старалась, но так ничего из него и не вытянула.

Мы еще поговорили, все так же невразумительно, а потом доктор Нелсон посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Я хотел было уйти вместе с ним, но Эллиот упросил меня подождать. Когда мы остались вдвоем, миссис Брэдли извинилась, что надоедала мне их семейными делами, и выразила надежду, что я не очень скучал.

— Но, понимаете, меня это не на шутку заботит, — объяснила она в заключение.

— Мистер Моэм очень деликатный человек, Луиза, ему можно довериться. Я не думаю, чтобы Боб Нелсон открывничал с Ларри, но все-таки мы с Луизой решили, что о некоторых вещах при нем лучше не упоминать.

— Эллиот!

— Ты столько ему рассказала, можно рассказать и остальное. Скажите, вы за обедом заметили Грэя Мэтьюрина?

— Он такой большой, как его не заметить.

— Он поклонник Изабеллы. Пока Ларри не было, он от нее не отходил. Он ей нравится; если бы война не кончилась, она вполне могла за него выйти. Он ей делал предложение. Она не сказала ни да, ни нет. Луиза догадалась, что она не хотела решать до возвращения Ларри.

— А почему он сам не был на войне? — спросил я.

— Перетрудило сердце футболом. Ничего страшного, но в армию его не взяли. Так или иначе, когда Ларри вернулся, его шансы свелись к нулю. Изабелла сразу ему отказала.

Не зная, какого отклика на это от меня ожидают, я промолчал. А Эллиот после паузы заговорил снова. Изысканные манеры, оксфордский выговор — ну точь-в-точь

какое-нибудь высокое должностное лицо из английского министерства иностранных дел.

— Ларри, конечно, очень милый юноша и показал себя молодцом, когда сбежал и поступил в авиацию, но, уверяю вас, в людях я разбираюсь... — Он позволил себе самодовольную полуулыбку и единственный раз на моей памяти дал понять, что нажил состояние перепродажей произведений искусства. — Иначе я бы сейчас не владел толстенькой пачкой солидных акций. Так вот, я убежден, что из Ларри никогда не выйдет толку. Денег у него, можно сказать, никаких, положения тоже. Грэй Мэтюрин — совсем другое дело. Он носит хорошую старую ирландскую фамилию. У них в роду был и епископ, и драматург, и несколько выдающихся военных и ученых.

— Откуда вам это известно? — спросил я.

— Как-то такие вещи узнаются, — ответил он уклончиво. — Да вот я только на днях просматривал в клубе Американский биографический словарь, и мне там попалась эта фамилия.

Я не счел нужным повторять то, что услышал за обедом от своей соседки про бедняка-ирландца и шведку-официантку — деда и бабушку Грэя. А Эллиот продолжал:

— Генри Мэтюрина мы знаем много лет. Он прекрасный человек и очень богатый. Грэй поступает в лучшую маклерскую контору Чикаго. Перед ним открываются неограниченные возможности. Он хочет жениться на Изабелле, и для нее это безусловно отличная партия. Я бы лучшего не желал, и Луиза, разумеется, тоже.

— Ты слишком долго не был в Америке, Эллиот, — сказала миссис Брэдли, сухо улыбнувшись. — Ты забыл, что девушки здесь выходят замуж не потому, что их матери и дяди лучшего не желали бы.

— И гордиться тут нечем, Луиза, — резко отпарировал Эллиот. — Тридцатилетний опыт убедил меня в том, что брак, устроенный с должным учетом общественного и материального положения и общности интересов, имеет все преимущества перед браком по любви. Во Франции, а это в конечном счете единственная цивилизованная страна в мире, Изабелла, не задумываясь, вышла бы за Грэя, а через год-другой, если бы захотела, взяла бы Ларри в любовники. А Грэй мог бы снять роскошную квартиру и поселить там какую-нибудь известную актрису, и все были бы довольны.

Миссис Брэдли была не глупа. Она взглянула на брата весело и лукаво.

— Горе в том, Эллиот, что нью-йоркские театры приезжают сюда каждый раз ненадолго, так что обитательницы той роскошной квартиры стали бы очень уж часто сменяться, а это могло бы нарушить семейный покой.

Эллиот улыбнулся.

— Ну, Грэй мог купить место на нью-йоркской бирже. В конце концов, если уж нужно жить в Америке, то имеет смысл жить только в Нью-Йорке.

Вскоре я откланялся, но еще до этого Эллиот почему-то решил пригласить меня на завтрак, на который им уже были приглашены Мэтюрины, отец и сын.

— Генри — лучший тип американского бизнесмена, — сказал он. — Хорошо бы вам с ним познакомиться. Он уже сколько лет советует нам, как помещать наши деньги.

Особенного желания идти у меня не было, но не было и причин отказываться. Я поблагодарил и согласился.

VII

В Чикаго мне предоставили комнату в одном клубе, располагавшем хорошей библиотекой, и на следующее утро я пошел туда посмотреть кое-какие университетские журналы, труднодоступные для тех, кто на них не подписан. Было еще рано, и в библиотеке я застал только одного посетителя. Он сидел с книгой в глубоком кожаном кресле. Я с удивлением увидел, что это Ларри. Вот уж кого я не ожидал встретить в таком месте. Он поднял голову, когда я проходил мимо него, узнал меня и хотел было встать.

— Сидите, сидите, — сказал я и спросил почти машинально: — Что хорошего читаете?

— Книжку, — ответил он с улыбкой, до того подкупающей, что этот нахальный ответ совсем не показался мне обидным.

Он закрыл книгу и, глядя на меня своими странными непрозрачными глазами, повернул ее так, чтобы мне не видно было заглавие.

— Хорошо провели вчера время? — спросил я.

— Замечательно. Домой добрался в пять часов утра.

— А сейчас уже здесь? Ну и энергия!

— Я сюда часто прихожу. Обычно в это время здесь никого не бывает.

— Ну, не буду вам мешать.

— Вы мне не мешаете, — сказал он и опять улыбнулся, и тут я подумал, что улыбка у него просто чарующая. Она не сверкала, не вспыхивала, а словно озаряла его лицо изнутри каким-то мягким светом. Он сидел в нише между полками, поставленными под углом к стене, рядом стояло второе кресло. Он коснулся его ручки. — Может быть, присядете?

— Ну что ж.

Он протянул мне свою книгу.

— Я вот что читал.

Это были «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса. Что и говорить, это классический труд, важная веха в развитии психологической науки; к тому же это книга, которая удивительно легко читается; но странно было увидеть ее в руках у очень молодого человека, бывшего авиатора, только что протанцевавшего до пяти часов утра.

— Зачем вы это читаете? — спросил я.

— Я очень невежественный человек.

— И очень еще молодой, — улыбнулся я.

Он молчал так долго, что я начал этим тяготиться и уже готов был встать и отправиться на розыски интересующих меня журналов. Но мне казалось, что он вот-вот что-то скажет. Он смотрел в пространство серьезно и сосредоточенно, словно о чем-то размышляя. Я ждал. Мне было интересно, что за этим кроется. Наконец он заговорил — так, словно разговор и не прерывался, словно он не заметил долгого молчания.

— Когда я вернулся из Франции, все они хотели, чтобы я поступил в университет. А я не мог. После того, что я пережил, я просто думать не мог о том, чтобы опять сесть за парту. Впрочем, я и последний год в школе почти не учился. А первокурсником просто не мог себя представить. На меня смотрели бы косо. Притворяться не тем, что я есть, я не хотел. И боялся, что меня станут обучать совсем не тому, что меня интересовало.

— Конечно, мое дело сторона, — отвечал я, — но я не уверен, что вы были правы. Кажется, я вас понял, и я согласен, что после двух лет на войне вам не улыбалось стать тем вчерашним школьником, каким студент остается и на первом, и на втором курсе. Что на вас стали бы коситься — я не верю. Я мало знаком с американскими университетами, но думаю, что американские студенты не так уж отличаются от английских, разве что тон поглубже

и развлечения попроще. Но в общем они очень порядочные и неглупые, и я думаю, что, если человек не склонен жить их жизнью и сумеет проявить немного такта, они очень скоро перестанут его замечать. Братья мои учились в Кембридже, а я нет. Имел возможность, но не захотел. Мне не терпелось окунуться в жизнь. И теперь я об этом жалею. Думаю, что университет уберег бы меня от многих ошибок. А учиться под руководством опытных преподавателей быстрее. Если некому тебя вести, то и дело упираешься в тупик и теряешь даром массу времени.

— Возможно, вы правы. Но ошибки — это ничего. А вдруг в одном из тупиков я найду что-то для себя нужное?

— А чего вы ищете?

Он чуть помедлил.

— В том-то и дело, я еще сам толком не знаю.

Я промолчал, ответить было как будто нечего. Я-то еще в очень раннем возрасте поставил перед собой вполне определенную и ясную цель, поэтому его слова меня немного рассердили, но я тут же себя одернул; чисто интуитивно я угадывал в душе этого мальчика какую-то смутную тревогу — то ли недодуманные мысли, то ли неосознанные чувства не давали ему покоя, гнали его неведомо куда. Он будил во мне непонятное сочувствие. В сущности, я разговаривал с ним впервые и только теперь оценил, какой у него мелодичный голос. Это был до странности убедительный голос, голос-бальзам. Такой голос и подкупающая улыбка, и эти выразительные черные-пречерные глаза — да, можно было понять, чем он пленил Изабеллу. В нем и в самом деле было что-то очень пленительное. Он повернулся ко мне и спросил без тени смущения, но глядя на меня пытливо и не без лукавства:

— Правильно я думаю, когда мы вчера уехали танцевать, у вас там был разговор обо мне?

— Был и о вас.

— Я так и думал, раз уж дядю Боба вытащили обедать. Он терпеть не может бывать в гостях.

— Вам, как я понимаю, предлагают хорошее место?

— Замечательное.

— И что же вы, ответите согласием?

— Едва ли.

— Почему?

— Не хочется.

Не люблю я вмешиваться не в свое дело, но тут мне подумалось, что именно потому, что я человек посторонний, да еще приехавший из другой страны, он сам не прочь поговорить со мной.

— Существует мнение, что когда человек ни на что иное не пригоден, он становится писателем, — усмехнулся я.

— Это не для меня. Таланта нет.

— Так что же вам хочется делать?

Он озарил меня своей чарующей улыбкой.

— Бездельничать.

— Едва ли Чикаго самое подходящее для этого место, — сказал я. — Ну, а пока я вас покину. Вы читайте, а я хочу заглянуть в «Йельский альманах».

Я встал. Когда я уходил из библиотеки, Ларри все еще читал Уильяма Джеймса. Я позавтракал в клубе один и решил еще часок посидеть в библиотеке — выкурить в тишине сигару, почитать, написать кое-какие письма. Ларри по-прежнему был погружен в свою книгу. Казалось, он так и не сдвинулся с места после нашей беседы. И в четыре часа, когда я уходил, он все еще был там. Меня поразила его усидчивость. Он не заметил, когда я вошел, когда вышел. У меня было несколько дел в городе, и в клуб я вернулся только к вечеру, переодеться, чтобы ехать обедать в отель «Блекстоун». Из чистого любопытства я по дороге опять заглянул в библиотеку. Теперь там было порядочно народу, большинство читали газеты. Ларри сидел все в том же кресле, углубившись все в ту же книгу. Чудеса!

VIII

На следующий день в ресторане отеля «Пальмер-Хаус» состоялась предложенная Эллиотом встреча с отцом и сыном Мэтюринами. Завтракали мы только вчетвером. Генри Мэтюрин был почти такого же огромного роста, как его сын, с красным мясистым лицом и таким же, как у сына, тупым, уверенным носом, но глаза у него были меньше, чем у Грэя, не такие синие и очень-очень зоркие. Было ему, очевидно, только-только за пятьдесят, но выглядел он на десять лет старше, и поредевшие волосы уже были белоснежно-седые. На первый взгляд он показался мне малопривлекательным. Впечатление было такое, что он уже много лет ни в чем себе не отказывал, что это человек грубый, смекалистый, знающий свое дело и — во всяком случае, в деловых вопросах — беспощадный. Сперва он

говорил мало и словно задался целью меня раскусить. Эллиота, как я сразу заметил, он вообще не принимал всерьез.

Грэй держался вежливо и любезно, но почти все время молчал, и настроение за столом было бы совсем никуда, если бы Эллиот с присущим ему тактом и ловкостью не занимал нас светскими разговорами. Я подумал, что в былые годы он приобрел немалый опыт обращения с дельцами Среднего Запада, когда уговаривал заплатить бешеные деньги за картину старого мастера. Понемногу мистер Мэтюрин стал оттаивать и отпустил два-три замечания, показавших, что он умнее, чем кажется, и даже наделен суховатым чувством юмора. Разговор коснулся ценных бумаг, и я удивился бы тому, как Эллиот осведомлен в этом вопросе, если бы уже давно не пришел к выводу, что он, несмотря на свои чудачества, очень себе на уме. И тут мистер Мэтюрин вдруг заметил:

— Нынче утром я получил письмо от Грэева приятеля Ларри Даррела.

— А ты мне и не сказал, папа, — удивился Грэй.

Мистер Мэтюрин обратился ко мне:

— Вы ведь знакомы с Ларри? — Я кивнул. — Грэй уломал меня взять его на работу. Они закадычные друзья. Послушать Грэя — лучше него нет человека на свете.

— И что он пишет, папа?

— Благодарит. И он, мол, понимает, какие это открывает возможности для молодого человека, и очень тщательно все обдумал, и пришел к заключению, что он бы обманул мои ожидания, так что лучше ему отказать.

— Очень глупо с его стороны, — сказал Эллиот.

— Согласен, — сказал мистер Мэтюрин.

— Мне ужасно жаль, папа, — сказал Грэй. — Так было бы здорово, если бы мы работали вместе.

— Насильно мил не будешь.

Говоря это, мистер Мэтюрин посмотрел на Грэя, и взгляд его зорких глаз смягчился. Я понял, что у этого жестокого дельца есть и вторая ипостась: он души не чаял в своем верзиле-сыне. Он опять обратился ко мне:

— Вы знаете, в воскресенье этот малый обыграл меня семь к шести. Я чуть не дал ему клюшкой по голове. И что самое обидное — я же и научил его играть в гольф.

Гордость так и распирала его. Он начинал мне нравиться.

— Просто мне повезло, папа.

— Ничего подобного. Разве это везение, когда человек прямо из канавы кладет мяч в шести дюймах от лунки? Тридцать пять ярдов, не меньше, вот какой это был удар. В будущем году хочу отправить его на чемпионат любителей.

— У меня на это времени не хватит.

— Это мне виднее. Не я, что ли, твой хозяин?

— Знаю, знаю. Недаром ты рвешь и мечешь, если мне случится опоздать в контору хоть на одну минуту.

Мистер Мэтюрин весело хмыкнул.

— Хочет изобразить меня деспотом, — объяснил он мне. — Вы ему не верьте. Мое дело — это я, компаньоны у меня ни к черту, делом своим я горжусь. И малого своего стал натаскивать с азов, пусть продвигается постепенно, как любой наемный сотрудник, и чтобы был готов занять мое место, когда придет время. Такое дело, как у меня — это огромная ответственность. Некоторых своих клиентов я обслуживаю по тридцать лет, и они мне доверяют. Я лучше себе в убыток поступлю, лишь бы сберечь их деньги.

Грэй рассмеялся.

— Тут недавно явилась одна старушенция, хотела поместить тысячу долларов в какое-то дутое предприятие, ей, видите ли, священник присоветовал; так он отказался принять у нее распоряжение, а когда она стала спорить, так на нее наорал, что она ушла вся в слезах. А потом позвонил тому священнику и ему тоже намылил голову.

— Про нас, маклеров, много чего говорят, но маклеры-то бывают разные. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги, я хочу, чтобы они наживались, а они, во всяком случае большинство, такое выделывают, точно у них одна забота — как бы поскорее спустить все до последнего цента.

— Ну, что вы о нем скажете? — спросил Эллиот, когда Мэтюрины укатили обратно в свою контору, а мы с ним вышли на улицу.

— Меня новые человеческие разновидности всегда интересуют. Эта взаимная любовь отца и сына очень трогательна. В Англии такое редко встретишь.

— Он обожает сына. А вообще он — странная смесь. То, что он сказал о своих клиентах, — сущая правда. Он опекает сбережения каких-то бесчисленных старух, военных в отставке, бедных священников. Казалось бы, зачем это ему, одна морока, но его самолюбию льстит, что они так свято в него верят. Зато уж если речь идет о крупной сделке, где

ему противостоят могущественные интересы, тут он может себя показать и жестким, и безжалостным. Тут от него пощады не жди. Ни перед чем не остановится, а свой фунт мяса получит. Кто ему враг, того он мало что пустит по миру, но еще и руки будет потирать от удовольствия.

Вернувшись домой, Эллиот рассказал миссис Брэдли, что Ларри отклонил предложение Генри Мэтьюрина. Как раз в это время в комнату вошла Изабелла, завтракавшая у подруги. Сказали и ей. Последовал разговор, во время которого Эллиот, если верить тому, как он мне об этом рассказывал, проявил недюжинное красноречие. Хотя сам он последние десять лет не проработал и часа, и хотя работа, которой он нажил себе прочный достаток, отнюдь не была изнурительной, он твердо держался того мнения, что рядовому человеку трудиться необходимо. Ларри — самый обыкновенный молодой человек, положения в обществе у него никакого, а значит, нет и причин нарушать похвальные обычаи своей родины. Такому прозорливому человеку, как Эллиот, было ясно, что Америка вступает в пору небывалого в ее истории процветания. Ларри представляется возможность оказаться среди первых, и при должном усердии он к сорока годам свободно может нажить несколько миллионов. А тогда, если он захочет удалиться от дел и вести жизнь джентльмена, скажем, в Париже, на авеню дю Буа, да еще приобрести замок в Турени, — пожалуйста, он, Эллиот, ничего не имеет против.

Луиза Брэдли, со своей стороны, высказалась не столь пространно, но недвусмысленно:

— Если он тебя любит, должен быть готов для тебя поработать.

Не знаю, что ответила на все это Изабелла, но она не могла не признать, что и мать, и дядя рассуждают здраво. Все ее знакомые молодые люди либо учились, готовясь к какой-нибудь профессии, либо уже поступили на службу. Не может Ларри рассчитывать, что, если он отличился в авиации, этого хватит ему на всю жизнь. Война кончилась, всем она до смерти надоела, и все стараются как можно скорее про нее забыть. Разговор кончился тем, что Изабелла согласилась теперь же выяснить свои отношения с Ларри раз и навсегда. Миссис Брэдли подала мысль, чтобы она попросила Ларри свозить ее в автомобиле в Марвин. Ей нужно заказать новые занавески для тамошней гости-

ной, а размеры она куда-то затеряла, вот Изабелле и поручение — перемерить их заново.

— Боб Нелсон покормит вас завтраком, — добавила она.

— А еще лучше вот что, — сказал Эллиот. — Дай им корзинку с завтраком, и пусть поедят на веранде, а потом и поговорить можно.

— Это бы хорошо, — сказала Изабелла.

— Ничего нет приятнее, чем импровизированный завтрак на свежем воздухе, — назидательно произнес Эллиот. — Старая герцогиня д'Юсез говорила мне, что в такой обстановке самый строптивый мужчина и тот поддается на уговоры. Что ты им дашь на завтрак?

— Фаршированных яиц и сэндвичей с курицей.

— Глупости. Какой же это пикник без паштета? И еще, на закуску дай им креветок, заливную куриную грудку и салат латук, я его сам заправлю. А после паштета в виде уступки вашим американским вкусам — яблочный пирог.

— Я дам фаршированных яиц и сэндвичей с курицей, Эллиот, — твердо повторила миссис Брэдли.

— Ну так помни мои слова: ничего не выйдет, и все по твоей вине.

— Ларри ест очень мало, дядя Эллиот, — сказала Изабелла. — Он, по-моему, и не замечает, что ест.

— Надеюсь, ты не ставишь ему это в заслугу, бедная моя девочка, — отозвался Эллиот.

Но миссис Брэдли не дала сбить себя с толку. Позже Эллиот рассказал мне о результатах этой поездки, пожимая плечами, как истый француз.

— Говорил я им, что ничего не выйдет. Я просил Луизу подкинуть хоть бутылку монтраше, из тех, что я прислал ей перед самой войной, но она меня не послушалась. Дала им только термос с горячим кофе. Чего же было и ждать?

А рассказал он мне, что сидел с Луизой в гостиной, когда автомобиль остановился у подъезда и Изабелла вошла в дом. Совсем недавно стемнело, занавески были задернуты, Эллиот, развалившись в кресле, читал роман, а миссис Брэдли вышивала экран для камина. Изабелла, не заходя в гостиную, прошла к себе в спальню. Эллиот посмотрел вверх очков на сестру.

— Наверно, пошла снять шляпу, — сказала та. — Сейчас явится.

Но Изабелла не явилась. Прошло несколько минут.

— Может быть, устала и прилегла.

— А ты разве не думала, что Ларри тоже зайдет?

— Ох, Эллиот, отстань.

— Да мне что ж. Дело ваше.

Он опять уткнулся в книгу. Миссис Брэдли продолжала вышивать. Но через полчаса она вдруг встала с места.

— Посмотрю, пожалуй, как она там. Если задремала, я не стану ее тревожить.

Она вышла, но очень скоро вернулась.

— Она плакала. Ларри уезжает в Париж. На два года. Она обещала его ждать.

— Зачем ему понадобилось ехать в Париж?

— Не задавай мне вопросов, Эллиот. Я не знаю. Она мне ничего не говорит. Сказала только, что понимает и не хочет ему мешать. Я ей говорю: «Если он готов расстаться с тобой на два года, значит, не очень тебя любит», а она: «Что же делать, главное — я-то его очень люблю». — «Даже после сегодняшнего?» — «После сегодняшнего, говорит, я его еще больше полюбила. Да и он меня любит, я уверена».

Эллиот помолчал, подумал.

— А через два года что будет?

— Говорю же тебе, не знаю.

— Очень это что-то неопределенно.

— Очень.

— Тут можно сказать только одно: оба они еще молоды. Подождать два года им не повредит, а за это время мало ли что может случиться.

Они решили пока оставить Изабеллу в покое. Вечером им предстоял званый обед.

— Я не хочу ее расстраивать, — сказала миссис Брэдли. — А то приедет туда заплаканная, еще пойдут кривотолки.

Но на следующий день, когда они втроем позавтракали дома, миссис Брэдли вернулась к этой теме. Впрочем, легче ей от этого не стало.

— Право же, мама, я уже все тебе рассказала.

— Но что он хочет делать в Париже?

Изабелла улыбнулась — она знала, каким нелепым ее ответ покажется матери.

— Бездельничать.

— Что?! Это как же надо понимать?

— Я только передаю, что он сказал.

— Нет, с тобой всякое терпение потеряешь. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы тут же разорвала помолвку. Он просто над тобой издевается.

Изабелла посмотрела на колечко, которое носила на левой руке.

— А что я могу поделывать? Я его люблю.

Тут в разговор вступил Эллиот и, как всегда, проявил бездну такта: «Понимаете, дорогой, я говорил с ней не как дядя с племянницей, а просто как человек, знающий жизнь, с неопытной девушкой», — но тоже ничего не добился. У меня создалось впечатление, что Изабелла предложила ему — в вежливой форме, разумеется, — не соваться не в свое дело. Рассказывал он мне об этом в тот же день ближе к вечеру, сидя у меня в номере.

— Луиза, конечно, права, — сказал он. — Все это очень неопределенно, но вот так и бывает, когда молодым людям позволяют самостоятельно устраивать свою судьбу, а для брака у них нет никаких оснований, кроме взаимной склонности. Я уговариваю Луизу не волноваться, по-моему, все устроится не так уж плохо. Ларри будет далеко, а Грэй Мэтьюрин — рядом, ну и всякому, кто хоть немножко знает людей, ясно, к чему это приведет. В восемнадцать лет чувства горячи, но не долговечны.

— Житейской мудрости у вас хватает, Эллиот, — сказал я с улыбкой.

— Недаром же я читал Ларошфуко. Что такое Чикаго — вы знаете. Они постоянно будут встречаться. Девушке такая преданность всегда льстит, да еще когда она знает, что любая ее подруга хоть завтра вышла бы за него замуж, — ну скажите сами, в человеческих ли это силах устоять против искушения восторжествовать над всеми? Все равно как ехать на вечер, когда знаешь, что будешь смертельно скучать, и вместо ужина подадут только лимонад с печеньем; так нет же, едешь, потому что знаешь, что лучшие твои подруги отдали бы все на свете, лишь бы туда поехать, а их не пригласили.

— Ларри когда уезжает? — спросил я.

— Не знаю. Кажется, это еще не решено.

Эллиот достал из кармана длинный плоский портсигар, платиновый с золотом, и извлек из него египетскую папиросу. Всякие «Фитимы», «Честерфилды», «Кэмел» и «Лаки страйк» — это было не для него. Он посмотрел на меня и многозначительно улыбнулся.

— Конечно, Луизе я бы этого не стал говорить, но вам признаюсь: втайне я питаю к этому юноше симпатию. Я понимаю, во время войны он мельком увидел Париж, и не

мне его осуждать, если он ощутил прелесть этого города, единственного города в мире для цивилизованного человека. Он молод, и ему; видно, хочется все испытать, прежде чем связать себя браком. Это очень естественно, так и должно быть. Я о нем позабочусь. Познакомлю его с кем нужно; манеры у него хорошие, несколько беглых указаний с моей стороны — и можно будет ввести его в любую гостиную. Я могу показать ему такую сторону парижской жизни, которую видят лишь очень немногие американцы. Поверьте мне, милейший, рядовому американцу куда легче попасть в царствие небесное, чем в особняк на Сен-Жерменском бульваре. Ему двадцать лет, он не лишен обаяния и я, вероятно, мог бы устроить ему связь с женщиной постарше его. Это придало бы ему лоск. Я всегда считал, что для молодого человека лучшее воспитание — это стать любовником женщины известного возраста и, разумеется, известного круга, *femme du monde*¹, вы меня понимаете. Это сразу упрочило бы его положение в Париже.

— А миссис Брэдли вы это говорили? — улыбнулся я. Эллиот поперхнулся смехом.

— Дорогой мой, если я чем-нибудь горжусь, так это своим тактом. Нет, ей я этого не говорил. Она, бедняжка, и не поняла бы меня. А мне в Луизе одно непонятно, как она, полжизни вращаясь в дипломатических кругах чуть ли не во всех столицах мира, умудрилась сохранить безнадежно американский образ мыслей.

IX

В тот вечер я был на обеде в большом каменном доме на Набережной, производившем такое впечатление, словно архитектор начал строить средневековый замок, а достроив до половины, передумал и решил превратить его в швейцарское шале. Приглашенных было не счесть, и, войдя в огромную пышную гостиную — сплошь статуи, пальмы, канделябры, старые мастера и мягкая мебель, — я был рад увидеть хотя бы несколько знакомых лиц. Генри Мэтьюрин представил меня своей худенькой, хрупкой, сильно накрашенной жене. Миссис Брэдли и Изабелла дружески со мной поздоровались. Изабелла была прелестна, красное шелковое платье очень шло к ее темным волосам и ярко-карим глазам. Она, казалось, была в ударе, и никто

¹ Светской женщины (*фр.*).

бы не догадался, что только накануне она прошла через такое мучительное испытание. Ее окружало несколько молодых людей, в том числе Грэй Мэтьюрин, и она весело с ними болтала. Обедали мы за разными столами, и я ее не видел, но позже, когда мы, мужчины, просидев невесть сколько времени за кофе с ликером и сигарами, вернулись наконец в гостиную, мне удалось с нею поговорить. Я не был с ней знаком достаточно близко, чтобы прямо коснуться того, о чем рассказал мне Эллиот, но у меня была в запасе новость, которой я надеялся ее порадовать.

— На днях видел в клубе вашего молодого человека, — сказал я как бы мимоходом.

— Правда?

Говорила она так же небрежно, как я, но я заметил, что она сразу насторожилась. Глаза стали внимательные и как будто испуганные.

— Он был в библиотеке, читал, — продолжал я. — Меня поразила его усидчивость. Он читал, когда я пришел туда в начале одиннадцатого, читал, когда я вернулся после завтрака, и все еще читал, когда я заглянул туда перед самым обедом. Очевидно, он часов десять подряд просидел в этом кресле.

— А что он читал?

— «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса.

Она не смотрела на меня, так что трудно было судить, как мои слова были восприняты, но почему-то мне показалось, что они и озадачили ее, и успокоили. Тут хозяин дома потащил меня играть в бридж, а когда мы кончили играть, Изабелла с матерью уже уехали.

Х

Через несколько дней я зашел к миссис Брэдли проститься с ней и с Эллиотом. Я застал их за чаем. Вскоре после меня явилась Изабелла. Мы побеседовали о предстоящем мне путешествии. Я поблагодарил их за то, как любезно они приняли меня в Чикаго, и, просидев, сколько нужно, поднялся с места.

— Я дойду с вами до аптеки, — сказала Изабелла. — Я забыла купить там одну вещь.

Последнее, что я услышал от миссис Брэдли, было:

— Когда увидите дорогую королеву Маргариту, не забудьте передать от меня привет, хорошо?

Я уже отчаялся внушить ей, что не знаком с этой коронованной особой, и без запинки ответил, что передам непременно.

Выйдя на улицу, Изабелла лукаво поглядела на меня и спросила:

— Вы как, способны выпить содовой с мороженым?

— Попробую, — ответил я осторожно.

До самой аптеки Изабелла молчала, мне тоже было нечего сказать. Мы вошли и сели за столик, на стулья с гнутой проволочной спинкой и гнутыми проволочными ножками, очень неудобные. Я заказал две порции содовой с мороженым. У прилавка стояло несколько покупателей, еще две-три пары сидели за столиками, но они были заняты своими разговорами, так что мы оказались все равно что одни. Я закурил и стал ждать, пока Изабелла с довольным видом тянула напиток через длинную соломинку. Она, видимо, нервничала.

— Мне нужно было с вами поговорить, — начала она вдруг.

— Я так и понял, — улыбнулся я.

— Почему вы в тот вечер у Саттеруэйтов сказали мне это про Ларри?

— Думал, вам будет интересно. Я не был уверен, хорошо ли вы себе представляете, что Ларри понимает под словом «бездельничать».

— Дядя Эллиот ужасный сплетник. Когда он сказал, что идет к вам в гостиницу поболтать, я сразу поняла, что он вам все обо всем расскажет.

— Не забудьте, мы с ним давно знакомы. Его хлебом не корми, дай только посудачить о чужих делах.

— Это верно. — Она улыбнулась, но это был лишь проблиск, глаза ее оставались серьезными. — Что вы скажете о Ларри?

— Я видел его всего три раза. По-моему, очень славный мальчик.

— И это все?

В голосе ее прозвучало разочарование.

— Нет, почему же. Мне, знаете ли, трудно сказать, ведь я его почти не знаю. Но, конечно, в нем много привлекательного: какая-то скромность, мягкость, дружелюбие... И в нем чувствуется редкое для его возраста самообладание. Чем-то он отличается от всех молодых людей, которых я здесь встречал.

Пока я подыскивал слова, чтобы выразить впечатление, мне самому не совсем ясное, Изабелла не сводила с меня глаз. Когда я умолк, она чуть вздохнула, словно бы с облегчением, а потом одарила меня очаровательной шаловливой улыбкой.

— Дядя Эллиот говорит, что часто дивился вашей наблюдательности. Он говорит, что вы буквально все замечаете, но что главное ваше достоинство как писателя — здравомыслие.

— Я мог бы назвать более ценное качество, — отозвался я сухо. — Например, талант.

— Понимаете, мне не с кем это обсудить. Мама смотрит на все только со своей точки зрения. Она хочет, чтобы мое будущее было обеспечено.

— Что ж, это естественно.

— А для дяди Эллиота значение имеет только положение в обществе. А мои друзья, то есть мои сверстники, считают, что Ларри — жалкий неудачник. Это ужасно обидно.

— Еще бы.

— Они не то что плохо к нему относятся. К нему нельзя относиться плохо. Но они не принимают его всерьез. Они все время его поддразнивают, а ему хоть бы что, он только смеется, и это выводит их из себя. Как сейчас обстоит дело, вы знаете?

— Только со слов Эллиота.

— Можно, я вам расскажу, что на самом деле произошло, когда мы ездили в Марвин?

— Разумеется.

Этот эпизод я частью восстановил по воспоминаниям о том, что она мне тогда рассказала, частью домыслил сам. Но разговор у них с Ларри был долгий, и сказано было, несомненно, гораздо больше того, что будет воспроизведено ниже. Думаю, что они, как всегда бывает в таких случаях, не только наговорили много такого, что не относилось к делу, но и без конца повторяли одно и то же.

Проснувшись утром и убедившись, что погода прекрасная, Изабелла позвонила Ларри, сказала, что мать посылает ее в Марвин с поручением, и просила свозить ее туда в автомобиле. На всякий случай она добавила термос с мартини к тому термосу с кофе, который миссис Брэдли велела Юджину уложить в корзинку. Машина у Ларри была новенькая, и он очень ею гордился. Он любил ездить быстро,

от бешеной скорости настроение у обоих поднялось. Когда они приехали, Изабелла перемерила занавески, подлежащие замене, а Ларри записал нужные данные. Потом они устроились завтракать на веранде. Она была защищена от ветра, а солнце бабьего лета приятно пригревало. К дому вела грунтовая дорога, он выглядел отнюдь не нарядно, не то что старые деревянные дома в Новой Англии, и похвалиться мог разве что тем, что был поместительный и удобный; но с веранды открывался вид на длинный красный сарай с черной крышей, купу старых деревьев и необозримые бурые поля. Скучный вид, но в тот день солнце и яркие осенние краски придавали ему какую-то интимную прелесть. В этих огромных пространствах было что-то бодрящее. Зимой тут, наверно, было холодно, неприятно, уныло, знойным летом сухо, выжжено, нечем дышать, но в эту пору ландшафт веселил душу, самая безбрежность его манила в неведомые дали.

Они позавтракали с аппетитом, как свойственно молодости, им было хорошо вдвоем. Изабелла разлила кофе, Ларри закурил трубку.

— Ну, приступай, дорогая, — сказал он, лукаво улыбаясь глазами.

— К чему приступать? — спросила она, по мере сил разыгрывая удивление.

Он усмехнулся.

— Ты меня совсем уж за дурака принимаешь? Голову даю на отсечение, что ширина и высота ваших окон в гостиной твоей маме отлично известна. Не для этого ты просила меня сюда съездить.

Овладев собой, она улыбнулась ему ослепительной улыбкой.

— Может быть, я подумала, что хорошо бы нам с тобой провести денек наедине.

— Может быть, но едва ли. Скорее я подозреваю, что дядя Эллиот тебе сказал, что я отклонил предложение Генри Мэтьюрина.

Говорил он легко и весело, и она решила отвечать ему в тон.

— Грэй, должно быть, ужасно разочарован. Ему так хотелось, чтобы вы работали вместе. Когда-то ведь нужно начинать, а чем дольше откладывать, тем будет труднее.

Он попыхивал трубкой, ласково ей улыбаясь и она не могла разобрать, шутит он или говорит серьезно.

— А мне, знаешь ли, сдается, что я вовсе не мечтаю всю жизнь торговать ценными бумагами.

— Ну хорошо, тогда поступи в обучение к юристу или на медицинский.

— Нет, это тоже не для меня.

— Так чего же тебе хочется?

— Бездельничать, — отвечал он спокойно.

— Не дури, Ларри. Это ведь очень-очень серьезно.

Голос ее дрогнул, глаза наполнились слезами.

— Не плачь, родная. Я не хочу тебя терзать.

Он пересел к ней ближе, обнял ее за плечи. В голосе его было столько ласки, что она не могла сдержать слезы. Но тут же вытерла глаза и заставила себя улыбнуться.

— Говоришь, что не хочешь меня терзать, а сам терзаешь. Пойми, ведь я тебя люблю.

— И я тебя люблю, Изабелла.

Она глубоко вздохнула. Потом сбросила с плеча его руку и отодвинулась.

— Давай говорить как взрослые люди. Мужчина должен работать, Ларри. Хотя бы из-за самоуважения. Мы — молодая страна, и долг мужчины — участвовать в ее созидательной работе. Генри Мэтюрин только на днях говорил, что мы вступаем в такую пору, рядом с которой все достижения прошлого — ничто. Он сказал, что возможности развития у нас беспредельные, и он убежден, что к тысяча девятьсот тридцатому году мы будем самой богатой и самой великой страной во всем мире. Ведь это ужасно интересно, правда?

— Ужасно.

— Перед молодыми открыты все дороги. Тебе бы надо гордиться, что ты можешь принять участие в работе, которая нас ждет. Это так увлекательно.

— Наверно, ты права, — отвечал он смеясь. — Армор и Свифт будут выпускать все больше мясных консервов все лучшего качества, а Маккормик — все больше жнеек, а Генри Форд — все больше автомобилей. И все будут богаче и богаче.

— А почему бы и нет?

— Вот именно, почему бы и нет. Но меня, понимаешь, деньги не интересуют.

Изабелла фыркнула.

— Дорогой мой, не говори глупостей. Без денег не проживешь.

— Немножко у меня есть. Это и позволяет мне делать, что я хочу.

— То есть бездельничать?

— Да, — улыбнулся он.

— Ох, Ларри, с тобой так трудно говорить, — вздохнула она.

— Мне очень жаль, но тут я бессилен.

— Неправда.

Он покачал головой. Помолчал, о чем-то задумавшись. Когда же наконец заговорил, то сказал нечто совсем уж несуразное.

— Мертвецы, когда умрут, выглядят до ужаса мертвыми.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она растерянно.

— Да то, что сказал, — ответил он с виноватой улыбкой. — Когда находишься в воздухе совсем один, есть время подумать. И всякие странные мысли лезут в голову.

— Какие мысли?

— Туманные, — улыбнулся он. — Бессвязные. Путаные. Изабелла обдумала его слова.

— А тебе не кажется, что, если б ты стал работать, они бы прояснились и ты бы разобрался в себе?

— Я думал об этом. Я уже прикидывал, может пойти работать плотником, или в гараж.

— О Господи, Ларри, да люди подумают, что ты помещался.

— А это имеет значение?

— Для меня — да.

Опять наступило молчание. На этот раз первой заговорила она.

— Ты так изменился после Франции.

— Неудивительно. Со мной там много чего случилось.

— Например?

— Ну, что всегда бывает на войне. Один авиатор, мой лучший друг, спас мне жизнь, а сам погиб. Это было нелегко пережить.

— Расскажи.

Он посмотрел на нее с тоской в глазах.

— Не хочется мне об этом говорить. Да, в общем, такое каждый день случалось.

Изабелла, отзывчивая душа, опять чуть не заплакала.

— Ты несчастлив, милый?

— Нет, — улыбнулся он. — Если несчастлив, так только оттого, что делаю тебе больно. — Он взял ее за руку, и в прикосновении его крепкой, сильной руки было что-то до того дружеское, до того бережное и нежное, что она прикусила губу, чтобы не разрыдаться. — Скорее всего, я так и не успокоюсь, пока окончательно для себя все не решу, — сказал он задумчиво. — Ужасно трудно выразить это словами. Только начнешь — и сбиваешься. Говоришь себе: «Кто я такой, чтобы копаться в этих сложностях? Может, я просто возомнил о себе? Не лучше ли идти проторенной дорожкой, а там будь что будет?» А потом вспомнишь парня, который час назад был полон жизни, а теперь лежит мертвый, и так все покажется жестоко и нелепо. Поневоле задаешься вопросом, что такое вообще жизнь, и есть ли в ней какой-то смысл, или она — всего лишь трагическая ошибка незрячей судьбы.

Невозможно было остаться спокойной, когда Ларри говорил этим своим особенным голосом, говорил запинаясь, словно против воли, но с такой щемящей искренностью. Изабелла не сразу нашла в себе силы заговорить.

— А тебе не стало бы легче, если бы на время уехать?

Она задала этот вопрос с замиранием сердца. Он долго не отвечал.

— Вероятно, стало бы. Я очень стараюсь относиться безразлично к тому, что обо мне думают, но это нелегко. Когда тебя осуждают, сам начинаешь осуждать других и делаешься себе противен.

— Так почему ж ты не уезжаешь?

— Из-за тебя, конечно.

— Не будем прятаться друг от друга, милый. Сейчас в твоей жизни для меня нет места.

— Это что значит, что ты расхотела быть со мной помолвленной?

Она заставила себя улыбнуться дрожащими губами.

— Нет, глупенький, это значит, что я согласна ждать.

— Может быть, год, может быть, два?

— Ничего. Может быть, и меньше. Ты куда поедешь?

Он посмотрел на нее пристально, словно хотел заглянуть ей в самое сердце. Она опять улыбнулась, чтобы скрыть отчаяние.

— Для начала я бы поехал в Париж. Я там никого не знаю. Никто не станет соваться в мою жизнь. Я несколько раз туда ездил в отпуск. Не знаю почему, я вбил себе в

голову, что там все мои недоумения прояснятся. Это удивительный город, он рождает ощущение, что там можно без помехи додумать свои мысли до конца. Мне кажется, там я смогу понять, как мне жить дальше.

— А если не сможешь, тогда что?

Он усмехнулся.

— Тогда я вспомню, что, как всякий американец, наделен здравым смыслом, плюну на все, вернусь в Чикаго и возьмусь за любую работу, какую смогу получить.

Эта сцена так повлияла на Изабеллу, что она и рассказывать об этом не могла без волнения, а закончив, устремила на меня жалобный взгляд.

— Как по-вашему, я правильно поступила?

— По-моему, иначе вы поступить не могли, но вы к тому же выказали большую доброту, великодушие и понимание.

— Я его люблю и хочу, чтобы ему было хорошо. И знаете, в каком-то смысле я рада, что он уедет. Я хочу, чтобы он вырвался из этой враждебной атмосферы, и не только ради него хочу, но и ради себя. Я не могу осуждать людей, которые говорят, что из него ничего не выйдет. Я их за это ненавижу, а в глубине души боюсь, как бы они не оказались правы. Но насчет понимания это вы зря. Я абсолютно не понимаю, что ему нужно.

— Может быть, понимаете не столько разумом, сколько сердцем, — улыбнулся я. — А почему бы вам не выйти за него замуж теперь же и не уехать с ним в Париж?

В ее глазах мелькнула тень улыбки.

— Я бы с радостью. Но нет, не могу. И знаете, хоть и тяжело это сознать, но я почти уверена, что без меня ему будет лучше. Если доктор Нелсон прав и у него это действительно затянувшиеся последствия военной травмы, тогда новая обстановка и новые интересы безусловно помогут ему вылечиться, а когда он снова придет в равновесие, то вернется в Чикаго и станет работать, как все. Я не хочу, чтобы мой муж сидел сложа руки.

Изабелла получила соответствующее воспитание и твердо усвоила правила, которые ей внушали с детства. О деньгах она не думала, потому что ей никогда не случалось в чем-либо себе отказывать, но инстинктом чувствовала, как много они значат. Деньги — это власть, влияние, общественный вес. И вполне естественно и очевидно, что обязанность мужчины — их наживать. В этом и должна состоять его работа.

— Меня не удивляет, что вы не понимаете Ларри, — сказал я, — потому что он, как мне кажется, сам себя не понимает. Если он избегает говорить о своей цели в жизни, так это, возможно, потому, что ясной цели у него и нет. Правда, я его почти не знаю и это только догадки, но что, если он сам не знает, чего ищет, и даже не уверен, есть ли чего искать? Может быть, то, что случилось с ним на войне, начисто лишило его душевного покоя. Может, он стремится к какому-то идеалу, скрытому за туманом неизвестности, — как астроном ищет звезду, о существовании которой судит только по математическим вычислениям.

— Я чувствую, что что-то все время его угнетает.

— Может быть, собственная душа? Может быть, он сам себя немного боится. Может быть, не убежден в подлинности того, что смутно прозревает внутренним оком.

— Он иногда производит на меня такое странное впечатление — как лунатик, который вдруг проснулся в каком-то незнакомом месте и не может сообразить, куда он попал. До войны он был совершенно нормальный. В нем чувствовался такой неумный вкус к жизни. Он был такой веселый, беззаботный, с ним было так легко, такой был смешной и милый. Что могло его до такой степени изменить?

— Трудно сказать. Иногда какая-нибудь мелочь способна оказать на нас действие, совершенно несообразное с ее фактическим значением. Все зависит от обстановки и от нашего настроения в ту минуту. Помню, я как-то в День Всех Святых, французы называют его Днем Поминовения Мертвых, пошел к обедне в деревенскую церковь, которую немцы порядком повредили во время своего первого вторжения во Францию. Церковь была полна солдат и женщин в черном. На кладбище выстроились рядами низкие деревянные кресты, и, пока шла служба, торжественная и печальная, и женщины плакали, да и мужчины тоже, мне подумалось, что, может быть, тем, кто лежит под этими крестами, лучше, чем нам, живым. Я поделился этой мыслью с одним знакомым, и он спросил, что я имею в виду. Объяснить я не мог, и он, конечно же, счел меня идиотом. А еще помню, как-то после боя я видел трупы французских солдат, сложенные в большую кучу. Они напомнили мне марионеток, которых прогоревший актер-кукольник свалил как попало в пыльный угол, потому что они ему больше не нужны. И тогда я подумал то самое, что вам сказал Ларри: мертвецы выглядят до ужаса мертвыми.

Я не хочу внушить читателю, будто нарочно делаю тайну из того, что случилось с Ларри на войне и так сильно его потрясло, с тем чтобы в удобный момент эту тайну раскрыть. Вероятнее всего, он так никому и не рассказал об этом. Правда, много лет спустя он рассказал одной женщине, Сюзанне Рувье, которую мы оба знали, про того молодого пилота, который погиб, спасая ему жизнь. Она пересказала это мне, так что я знаю об этом только из вторых рук, и ее рассказ, как он мне запомнился, перевожу теперь с французского. По ее словам выходило, что во Франции Ларри крепко подружился с одним малым, служившим в той же эскадрилье. Имени его Сюзанна не знала, помнила только шутливую кличку, которой его называл Ларри.

«Он был небольшого росточку, рыжий, — говорил Ларри. — Ирландец. Мы окрестили его Патси. Живчик был, каких мало. Энергия из него так и перла. Физиономия у него была забавная и ухмылка забавная, при одном взгляде на него смех разбирал. Дисциплины он не признавал, проказничал напропалую, начальники его чуть не каждый день распекали. Он не знал, что такое страх, и, побывав на волосок от смерти, только ухмылялся во весь рот, точно в ответ на хорошую шутку. Но авиатор он был Божьей милостью и в воздухе проявлял и выдержку, и осторожность. Он многому меня научил. Он был чуть постарше меня и оказывал мне покровительство. Очень это было смешно, потому что я был выше его ростом дюймов на шесть и, если б нам случилось сцепиться, в два счета его уложил бы. Один раз в Париже я так и сделал, потому что он был пьян и я боялся, что он влипнет в неприятную историю.

В эскадрилье я сначала не мог освоиться, боялся, что буду хуже всех, так он одними насмешками заставил меня поверить в свои силы. Войну он как-то не принимал всерьез, ненависти к немцам у него не было. Но подражаться был не прочь и в воздушный бой вступал с превеликим удовольствием. Сбивая немецкий аэроплан, он при всем желании не мог в этом усмотреть ничего, кроме хорошей шутки. Он был нахальный, отчаянный, беспардонный, но было в нем что-то такое до того настоящее, что его нельзя было не любить. Отдавал последнее с такой же легкостью, как и брал. А если одолеет тебя тоска по родине или страх, как со мной бывало, сразу заметит, скорчит хитрую рожу и такое скажет, что живо приведет тебя в чувство».

Ларри затынулся трубкой, а Сюзанна молча ждала, что будет дальше.

«Мы с ним ловчили, чтобы одновременно получать увольнительные, и в Париже он совсем с цепи срывался. Мы здорово проводили там время. В начале марта, в восемнадцатом это было, нас как раз обещали отпустить на несколько дней, и мы заранее составили план кампании. Каких только развлечений себе не придумали. Накануне того дня нас послали облетать вражеские позиции и донести обо всем, что увидим. Вдруг откуда ни возьмись несколько германских аэропланов, и не успели мы оглянуться, как завязался бой. Один из них погнался за мной, но я стал стрелять первым. Хотел проверить, сбил я его или нет, и тут краем глаза увидел у себя на хвосте второго. Я спикировал, чтобы уйти от него, но он мгновенно меня настиг, и я уж думал, что мне крышка; но тут Патси коршуном налетел на него и всыпал ему как следует. Этого с них хватило, они от нас отстали, а мы повернули домой. Мою машину здорово покорежило, я еле дотянул. Патси сел первым. Когда я выбрался из кабины, его только что вынесли и положили на землю. Ждали санитарную машину. При виде меня он ухмыльнулся.

«Дал я тому мерзавцу, что висел у тебя на хвосте», — сказал он.

«А что с тобой, Патси?» — спросил я.

«Да пустяки. Он меня малость подбил».

Он был бледен как смерть. И вдруг лицо его странно изменилось. Он почувствовал, что умирает, а до этого такая возможность даже не приходила ему в голову. Он рывком приподнялся — его не успели удержать. Засмеялся, сказал: «О черт, надо же», — и упал мертвый. Ему было двадцать два года. В Ирландии его ждала невеста».

Через день после моего разговора с Изабеллой я уехал в Сан-Франциско, откуда мне предстояло плыть на Дальний Восток.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

С Эллиотом я увиделся только в июне следующего года, когда он приехал в Лондон. Я спросил про Ларри, попал ли он в конце концов в Париж. Да, попал. Раздражение, с каким говорил о нем Эллиот, меня слегка позабавило.

— Я ведь втайне питал к этому мальчику симпатию. Я не осуждал его желания провести годик-другой в Пари-

же и был готов служить ему ментором. Я сказал ему, чтобы, как придет, немедленно меня известил, но о приезде его узнал только из письма Луизы. Я написал ему до востребования на агентство «Америкен экспресс», такой адрес дала мне Луиза, и пригласил его к себе на обед, чтобы кое с кем познакомить. Для начала я наметил нескольких дам из франко-американского круга — ну, например, Эмили Монтадур и Грэси де Шато-Гайар. Так знаете, что он мне ответил? Что приехать не может, потому что не привез с собой ни фрака, ни визитки.

Эллиот посмотрел на меня в упор, ожидая прочесть на моем лице изумление и ужас. Убедившись же, что я принял его сообщение спокойно, он презрительно вздернул брови.

— Он ответил мне на листке дешевой бумаги со штампом какого-то кафе в Латинском квартале. Я опять написал, просил дать мне знать, где он остановился. Я чувствовал себя обязанным как-то помочь ему ради Изабеллы и еще подумал, что он, может быть, стесняется. Понимаете, я просто не мог поверить, что молодой человек, если он не сумасшедший, мог приехать в Париж без вечерних костюмов, да, впрочем, и в Париже есть вполне приличные портные, и я пригласил его на завтрак, сказав, что народу будет совсем мало, а он, хотите — верьте, хотите — нет, не только оставил без внимания мою просьбу сообщить какой-нибудь адрес, кроме «Америкен экспресс», но написал, что днем никогда не завтракает. После этого я поставил на нем крест.

— Интересно, как он проводит время.

— Не знаю, да, по правде сказать, и знать не хочу. Боюсь, что иметь с ним дело нежелательно, и со стороны Изабеллы было бы серьезной ошибкой выйти за него замуж. Ведь если бы он вел нормальный образ жизни, я бы неизбежно встретил его в баре отеля «Риц», или у Фуке, или еще где-нибудь.

Я и сам заглядывал иногда в эти фешенебельные рестораны, но заглядывал и в другие, и в начале осени того же года как раз провел несколько дней в Париже по пути в Марсель, откуда собирался отплыть в Сингапур на одном из пароходов компании Мессажери. Как-то вечером я обедал с знакомыми на Монпарнасе, а после обеда мы зашли в кафе «Купол» выпить пива. Обводя взглядом террасу, я увидел Ларри, он сидел один за мраморным столиком и поглядывал на прохожих, наслаждавшихся вечерней про-

хладой после душного дня. Я извинился перед своими спутниками и подошел к нему. При виде меня лицо его оживилось, он приветливо мне улыбнулся и пригласил присесть, но я сказал, что не могу, так как я не один.

— Я просто хотел с вами поздороваться.

— Вы здесь надолго?

— Всего на несколько дней.

— Может быть, позавтракаем вместе завтра?

— А я думал, вы днем не завтракаете.

Он усмехнулся.

— Понятно, с Эллиотом вы уже виделись. Да, обычно не завтракаю, времени жалко, выпью стакан молока с бриошью, и все, но вас мне захотелось пригласить.

— Ну что ж...

Мы сговорились, что на следующий день встретимся тут же, выпьем по аперитиву, а потом позавтракаем где-нибудь поблизости. Я вернулся к своему столу. Мы еще посидели, поговорили, а когда я опять хотел найти глазами Ларри, оказалось, что он уже ушел.

II

Следующее утро прошло очень приятно. Я поехал в Люксембургский дворец и провел там час перед некоторыми из своих любимых картин. Потом погулял по саду, воскрешая воспоминания молодости. Здесь ничего не изменилось. Словно те же студенты ходили парами по дорожкам, горячо обсуждая писателей, волновавших их умы. Словно те же дети катали те же серсо под бдительным надзором тех же нянек. Словно те же старики грелись на солнышке, читая утренние газеты. Словно те же пожилые женщины в трауре сидели на скамейках и обменивались мнениями о ценах на мясо и кознях прислуги. Потом я пошел к театру «Одеон», поглядел, какие книжные новинки выставлены на галереях, и увидел молодых людей, которые так же, как я тридцать лет назад, под недовольными взглядами продавцов в синих блузах норовили прочесть возможно больше страниц из книг, недоступных для их тощего кошелька. Потом по милым моему сердцу невзрачным улицам я выбрался на бульвар Монпарнас и так дошел до «Купола». Ларри меня ждал. Мы выпили и отправились в ресторанчик, где можно было поесть на воздухе.

Ларри, пожалуй, немного осунулся с тех пор, как я видел его в Чикаго, так что его темные глаза в глубоких

глазницах казались совсем черными, но держался он с тем же самообладанием, удивительным в столь молодом человеке, и улыбался так же неотразимо. Когда он заказывал завтрак, я заметил, что по-французски он говорит свободно и без акцента. Я похвалил его за это.

— Немножко я знал французский и раньше, — объяснил он. — У Изабеллы была гувернантка-француженка, и когда они жили в Марвине, она заставляла нас весь день говорить по-французски.

Я спросил, нравится ли ему Париж.

— Очень нравится.

— Вы живете на Монпарнасе?

— Да, — ответил он после едва заметной паузы, которую я истолковал как нежелание высказаться точнее.

— Эллиота серьезно огорчило, что вы не дали ему никакого адреса, кроме «Америкен экспресс».

Он улыбнулся, но промолчал.

— Как вы проводите время?

— Бездельничаю.

— Читаете?

— Да, читаю.

— С Изабеллой переписываетесь?

— Изредка. Писать письма мы оба ленимся. Она вовсю веселится в Чикаго. Будущей осенью они с тетей Луизой приедут к Эллиоту погостить.

— Рад за вас.

— Изабелла, по-моему, никогда не была в Париже. Забавно будет все ей здесь показать.

Он расспросил меня о моем путешествии в Китай и слушал мои рассказы внимательно, но навести разговор на него самого мне не удалось. Он так упорно отмалчивался, что я поневоле заключил, что пригласил он меня с единственной целью побыть в моем обществе, это было и лестно, и непонятно. Не успели мы допить кофе, как он подозвал официанта, расплатился и встал.

— Ну, мне надо бежать.

Мы расстались. Ничего нового я о нем так и не узнал и больше его не видел.

III

Когда миссис Брэдли с Изабеллой уже весной, раньше, чем было намечено, приехали к Эллиоту в гости, меня в Париже не было; и снова я вынужден призвать на помощь

воображение, рассказывая о том, что произошло за те несколько недель, что они там провели. Пароход доставил их в Шербур, и Эллиот, любезный, как всегда, встретил их на пристани. Они прошли таможенный досмотр. Поезд тронулся. Эллиот не без самодовольства сообщил, что нанял для них очень хорошую горничную, и, когда миссис Брэдли сказала, что это лишнее, что горничная им не нужна, он строго отчитал ее.

— Что это такое в самом деле, Луиза, не успела приехать, как уже споришь. Без горничной вам не обойтись, и Антуанетту я нанял, заботясь не только о вас, но и о себе. Для меня очень важно, как вы будете выглядеть.

Он окинул их дорожные костюмы неодобрительным взглядом.

— Вы, конечно, захотите закупить новых платьев. По зрелом размышлении я решил, что лучше всего вам подойдет Шанель.

— Раньше я всегда одевалась у Борта, — сказала миссис Брэдли.

Он пропустил ее слова мимо ушей.

— Я сам переговорил с Шанель, и мы условились, что вы будете там завтра в три часа. Затем шляпы. Тут я рекомендую Ребу.

— Я не хочу много тратить, Эллиот.

— Знаю. Все расходы я беру на себя. Вы должны быть одеты так, чтобы я мог вами гордиться. И еще вот что, Луиза, я подготовил для вас несколько интересных вечеров, и я говорю моим друзьям, что Мирон был послом — он, конечно, и был бы послом, проживи он немного дольше, а звучит это эффектнее. Вероятно, речь об этом и не зайдет, но я решил тебя предупредить.

— Чудак ты, Эллиот.

— Вовсе нет. Я знаю жизнь. И знаю, что вдова посла в глазах людей значит больше, чем вдова советника посольства.

Когда показался Северный вокзал, Изабелла, стоявшая у окна, воскликнула:

— А вот и Ларри!

Едва поезд остановился, она соскочила на платформу и побежала ему навстречу. Он обнял ее.

— Откуда он узнал о вашем приезде? — ледяным тоном спросил Эллиот.

— Изабелла послала ему радиограмму с парохода.

Миссис Брэдли расцеловала его, а Эллиот волей-неволей протянул ему руку. Было десять часов вечера.

— Дядя Эллиот, можно Ларри прийти к нам завтра ко второму завтраку? — Она повисла у Ларри на руке, лицо ее светилось, глаза сияли.

— Я был бы очень рад, но он дал мне понять, что днем не завтракает.

— Ну, завтра позавтракает, правда, Ларри?

— Правда, — улыбнулся он.

— Тогда милости прошу к часу дня.

Он снова протянул руку, как бы прощаясь, но Ларри ответил ему откровенной усмешкой.

— Я помогу с багажом и приведу вам такси.

— Мой автомобиль ждет, а о багаже позаботится мой лакей, — произнес Эллиот с достоинством.

— Чудесно. Тогда можно ехать. Если для меня найдется место, я доеду с вами до вашего дома.

— Да, Ларри, обязательно, — сказала Изабелла.

Они пошли по перрону рядом, а Эллиот с сестрой чуть позади. Лицо Эллиота выражало холодное осуждение.

— *Quelles manières*¹, — пробормотал он, ибо в некоторых случаях считал уместным выражать свои чувства по-французски.

На следующее утро в одиннадцать часов он закончил свой туалет (рано вставать он не любил), после чего через своего лакея Жозефа и горничную Антуанетту послал сестре записку с просьбой прийти в библиотеку побеседовать без помехи. Когда она пришла, он старательно прикрыл дверь, закурил папиросу в очень длинном агатовом мундштуке и сел.

— Насколько я понял, Ларри и Изабелла все еще считаются женихом и невестой?

— Как будто так.

— К сожалению, я могу тебе сообщить о нем мало хорошего. — И он рассказал сестре, как готовился ввести Ларри в общество, как собирался устроить его подобающим образом. — Я даже присмотрел одну холостую квартирку, которая подошла бы ему как нельзя лучше. Ее снимает молодой маркиз де Ретель, но он хотел ее сдать от себя, потому что получил назначение в посольство в Мадриде.

Но Ларри отклонил его предложение, ясно дав понять, что в его помощи не нуждается.

¹ Какие манеры (фр.).

— Какой смысл приезжать в Париж, если не хочешь взять от Парижа то, что он может дать, — это выше моего понимания. Мне неизвестно, где и как он проводит время. По-моему, он ни с кем не знаком. Вы хоть знаете, где он живет?

— Он дал только этот адрес — «Америкен экспресс».

— Как коммивояжер или школьный учитель на каникулах. Я не удивился бы, узнав, что он живет с какой-нибудь гризеткой в студии на Монмартре.

— Эллиот!

— А как иначе объяснить, что он скрывает свое местожительство и не желает общаться с людьми своего круга?

— Непохоже это на Ларри. А вчера разве тебе не показалось, что он чуть не больше прежнего влюблен в Изабеллу? Не мог бы он так притворяться.

Эллиот только пожал плечами, как бы говоря, что мужскому коварству нет предела.

— А как там Грэй Мэтьюрин, еще не отступился?

— Он женился бы на Изабелле хоть завтра, если б она согласилась.

И тут миссис Брэдли рассказала, почему они приехали в Европу раньше, чем предполагали. Она стала плохо себя чувствовать, и врачи нашли у нее диабет. Форма не тяжелая, и при должной диете и умеренных дозах инсулина она вполне может прожить еще много лет, но сознание, что она больна неизлечимой болезнью, усилило ее тревогу за будущее дочери. Они все обговорили. Изабелла проявила благоразумие. Она согласилась, что, если Ларри и после двух лет в Париже откажется вернуться в Чикаго, тогда останется одно — порвать с ним. Но самой миссис Брэдли представлялось обидным дожидаться назначенного срока, а потом увозить его обратно на родину, точно преступника, скрывающегося от правосудия. И для Изабеллы это значило бы поставить себя в унижительное положение.

Зато ничего не могло быть естественнее, чем провести лето в Европе, где Изабелла не бывала с детства. Они проживут в Париже, потом поедут на какой-нибудь курорт, где Миссис Брэдли сможет полечиться водами, оттуда ненадолго в Австрийский Тироль, и дальше не спеша по Италии. В планы миссис Брэдли входило пригласить в это путешествие Ларри, чтобы дать им с Изабеллой возможность проверить, не изменились ли их чувства под влиянием долгой разлуки. Тут уж окончательно выяснится, готов ли

Ларри, порезвившись на воле, стать взрослым человеком, ответственным за свои поступки.

— Генри Мэтюрин был очень на него сердит, когда он отказался от предложенного места, но Грэй уломал его, и Ларри, если захочет, будет принят к нему в контору, как только вернется в Чикаго.

— Славный малый этот Грэй.

— Еще бы, — вздохнула миссис Брэдли. — С ним-то Изабелла была бы счастлива, это я знаю.

Затем Эллиот рассказал ей, какие развлечения он для них подготовил. Завтра он дает завтрак, в конце недели — званый обед. Еще он повезет их на раут к Шато-Гайарам и уже заручился для них приглашениями на бал у Ротшильдов.

— Ларри ты ведь тоже пригласишь?

— Он заявил мне, что у него нет вечерних костюмов, — фыркнул Эллиот.

— А ты все равно пригласи. Он как-никак милый, и нет никакого смысла его отстранять, только Изабеллу против себя восстановишь.

— Ну конечно, приглашу, если тебе так хочется.

К завтраку Ларри явился без опоздания, и Эллиот, как человек воспитанный, выказывал ему подчеркнутую сердечность. Это, впрочем, было нетрудно: Ларри был так весел, так оживлен, что только человек, куда более злонравный, чем Эллиот, мог не поддаться его очарованию. Разговор шел о Чикаго и о тамошних общих знакомых, так что Эллиоту, в сущности, оставалось только делать любезное лицо и притворяться, что его интересуют дела людей, не занимающих, по его мнению, никакого положения в обществе. Слушал он, положим, не без удовольствия; его даже умиляло, как они упоминали о том, что такие-то двое помолвлены, такие-то поженились, а такие-то развелись. Кто о них когда слышал? Ему-то, например, известно, что хорошенькая маркиза де Кленшан пыталась отравиться, потому что ее бросил любовник, принц де Коломбе, чтобы жениться на дочери какого-то южноамериканского миллионера. Вот об этом действительно стоило поговорить. Поглядывая на Ларри, он был вынужден признать, что в нем есть что-то привлекательное; эти глубоко посаженные, до странности черные глаза, высокие скулы, бледная кожа и подвижный рот напомнили Эллиоту один портрет кисти Боттичелли, и ему подумалось, что, если бы одеть Ларри в костюм той эпохи, он выглядел бы до крайности роман-

тично. Он вспомнил, что подумывал свести его с какой-нибудь именитой француженкой, и лукаво улыбнулся при мысли, что на субботний обед приглашена Мари-Луиза де Флоримон, сочетающая безупречные семейные связи с заведомо безнравственным поведением. В сорок лет она выглядела на тридцать; она унаследовала утонченную красоту своей бабки, увековеченную на портрете Натъе, который сейчас, не без помощи самого Эллиота, попал в одну из знаменитейших американских коллекций; и как женщина была поистине ненасытна. Эллиот решил, что за обедом посадит ее рядом с Ларри. Она, конечно, не замедлит сделать так, чтобы ее желания стали ему понятны. Для Изабеллы у него уже припасен интересный молодой атташе британского посольства. Поскольку Изабелла очень хорошенькая, а он англичанин и притом со средствами, то обстоятельство, что она небогата, роли не играет. Разомлев от превосходного монтраше, поданного к первому блюду, и от последовавшего за ним отличного бордо, Эллиот безмятежно созерцал широкие возможности, открывавшиеся его внутреннему взору. Если все пойдет так, как он рассчитывает, у бедной Луизы не будет больше причин тревожиться. Она всегда к нему придиралась: она, бедняжка, очень провинциальна; но он ее любит. Приятно, что, опираясь на свое знание жизни, он может избавить ее от серьезных забот.

Дабы не терять времени, Эллиот подгадал так, чтобы везти своих дам выбирать туалеты сразу после завтрака, а потому, едва все встали из-за стола, с присущим ему тактом намекнул Ларри, что пора и честь знать, однако тут же настойчиво и радушно пригласил его на оба предстоящих им званных вечера. Впрочем, он мог особенно не стараться — Ларри принял оба приглашения с полуслова.

Но планы Эллиота рухнули. Он вздохнул с облегчением, когда Ларри явился на обед в очень приличной визитке, ведь он побаивался, что увидит его в том же синем костюме, который был на нем за завтраком; а после обеда, уединившись с Мари-Луизой де Флоримон в углу гостиной, спросил, как ей понравился его молодой друг американец.

— У него красивые глаза и хорошие зубы.

— И только? Я посадил его рядом с вами, потому что решил, что он вполне в вашем вкусе.

Она глянула на него испытующе.

— Он мне сказал, что помолвлен с вашей хорошенькой племянницей.

— Voyons, ma chère¹, то соображение, что мужчина принадлежит другой, никогда еще не мешало вам хотя бы попытаться его отнять.

— Так вы вот чего от меня хотите? Ну нет, мой бедный Эллиот, таскать для вас каштаны из огня я не намерена.

Эллиот усмехнулся.

— Это, видимо, понимать так, что вы испробовали на нем ваши методы и убедились, что ничего не выйдет?

— За что я вас люблю, Эллиот, так это за то, что моральные критерии у вас как у содержательницы борделя. Вы не хотите, чтобы он женился на вашей племяннице. Почему? Он хорошо воспитан и очень обаятелен. Правда, наивен сверх меры. По-моему, он и не догадался, к чему я клоню.

— Вам бы следовало выразиться яснее.

— Я достаточно опытна, чтобы понять, когда я даром трачу время. Ему нужна только ваша маленькая Изабелла, а у нее, между нами говоря, передо мною преимущество в двадцать лет. И она очень мила.

— Платье ее вам понравилось? Это я выбирал.

— Платье красивое и ей к лицу. Но шика у нее, разумеется, нет.

Эллиот воспринял ее слова как упрек по своему адресу и решил, что этого он госпоже де Флоримон не спустит. Он любезно улыбнулся.

— Мой милый друг, такой шик, как у вас, приобретается только в зрелые годы.

Оружием госпоже де Флоримон служила не рапира, а скорее дубина. От ее ответа вся виргинская кровь Эллиота так и вскипела.

— Но это ничего, в вашей прекрасной стране гангстеров (*votre beau pays d'araches*) едва ли заметят отсутствие свойства столь тонкого и неподражаемого.

Впрочем, злословила только госпожа де Флоримон, остальные же друзья Эллиота были в восторге и от Изабеллы, и от Ларри. Им нравилась ее прелестная свежесть, ее бьющее в глаза здоровье и жизнерадостность, нравилась его живописная внешность, хорошие манеры и тихий иронический юмор. К тому же оба отлично говорили по-французски, в то время как миссис Брэдли, прожив столько лет среди дипломатов, говорила правильно, но с нескрываемым американским акцентом. Эллиот оставался щедрым

¹ Полноте, дорогая (*фр.*).

и радушным хозяином. Изабелла, радуясь своим новым платьям и новым шляпам, жадно хватаясь за все увеселения, какие поставлял ей Эллиот, и счастливая близостью Ларри, чувствовала, что еще никогда так не наслаждалась жизнью.

IV

Эллиот держался того мнения, что утренний завтрак следует вкушать в одиночестве, или, в случае крайней необходимости, с совсем уж посторонними людьми; поэтому миссис Брэдли волей-неволей, а Изабелла даже с удовольствием пили утренний кофе каждая у себя в спальне. Но иногда Изабелла просила Антуанетту отнести ее поднос в комнату матери, чтобы поболтать с ней за чашкой кофе с молоком. Жизнь ее была так заполнена, что только в это время суток они и могли побыть наедине. В одно такое утро, когда они прожили в Париже уже около месяца, миссис Брэдли сперва выслушала ее рассказ о том, как она и Ларри с компанией друзей полночи кочевали из одного ночного клуба в другой, а потом задала вопрос, который держала в мыслях с самого их приезда.

— Когда он вернется в Чикаго?

— Не знаю. Он об этом не говорил.

— А ты его не спрашивала?

— Нет.

— Боишься?

— Нет, что ты.

Миссис Брэдли в роскошном матине, которое Эллиот непременно захотел ей подарить, полировала ногти, полулежа на кушетке.

— О чем же вы с ним говорите все время, когда бываете одни?

— А мы не все время говорим. Нам просто хорошо вместе. Ты же знаешь, Ларри всегда был молчаливый. По-моему, когда мы разговариваем, говорю больше я.

— Что он тут поделявал один?

— Право, не знаю. Кажется, ничего особенного. Наверно, жил в свое удовольствие.

— А где он живет?

— И этого не знаю.

— Видно, он стал очень скрытный?

Изабелла закурила сигарету и, выпустив через нос струйку дыма, спокойно поглядела на мать.

— Что ты хочешь этим сказать, мама?

— Дядя Эллиот думает, что он снимает квартиру и живет там с какой-то женщиной.

Изабелла расхохоталась.

— Но ты же в это не веришь?

— Честно говоря, нет. — Миссис Брэдли критически оглядела свои ногти. — Ты сама с ним когда-нибудь говорила о Чикаго?

— Очень часто.

— И он ни разу не упомянул, что собирается домой?

— По-моему, нет.

— В октябре будет два года, как он уехал.

— Я знаю.

— Что ж, милая, дело твое, поступай, как знаешь. Но чем дольше откладываешь, тем бывает труднее. — Она взглянула на дочь, но Изабелла отвела глаза. Миссис Брэдли ласково ей улыбнулась. — Беги принимать ванну, не то еще опоздаешь к завтраку.

— Мы завтракаем с Ларри. Поедем с ним куда-то в Латинский квартал.

— Ну, дай вам Бог.

Ларри зашел за ней через час. Они взяли фиакр до моста Сен-Мишель, а оттуда не спеша прошлись по бульвару до первого приглянувшегося им кафе. Они сели на террасе и заказали по порции дюбонне. Потом опять взяли фиакр и поехали в ресторан. Аппетит у Изабеллы был отменный, ей нравились все вкусные вещи, которые Ларри для нее заказывал. Ей нравилось смотреть на людей, сидевших с ним вплотную, потому что ресторан был переполнен, ее смешило явное наслаждение, с каким они поглощали пищу; но больше всего она наслаждалась тем, что сидит за крошечным столиком вдвоем с Ларри. Он с таким интересом слушал ее веселую болтовню. Чудесно было чувствовать себя с ним так свободно. Но где-то в ней гнездилось смутное беспокойство, потому что, хотя и он как будто чувствовал себя свободно, ей казалось, что причина этого не столько в ней, сколько в окружавшей его обстановке. То, что утром сказала ей мать, немного ее смутило, и она, не прекращая своей, казалось бы, такой безыскусной болтовни, зорко вглядывалась в его лицо. Он был не совсем такой же, как до отъезда из Чикаго, но в чем разница — она не могла бы сказать. На вид как будто бы совсем прежний — такой же веселый, открытый, но выражение лица изменилось.

Не то чтобы он стал серьезнее — в покое лицо его всегда было серьезным, — но в нем появилась какая-то новая спокойная уверенность, точно он решил что-то для себя, окончательно в чем-то утвердился.

После завтрака он предложил ей пройти к Люксембургскому дворцу.

— Нет, картины смотреть мне не хочется.

— Ладно, тогда пойдем посидим в саду.

— Нет, тоже не хочу. Я хочу посмотреть, где ты живешь.

— А там и смотреть нечего. Я живу в паршивой комнатухе в гостинице.

— Дядя Эллиот уверяет, что ты снимаешь квартиру и живешь там с натурщицей.

Он засмеялся.

— Раз так — пошли, сама убедишься. Отсюда два шага, дойдем пешком.

Он повел ее узкими кривыми улочками, мрачноватыми даже под ярко-голубым небом, сиявшим между крышами высоких домов, и вскоре остановился перед небольшой гостиницей с вычурным фасадом.

— Вот и пришли.

Изабелла последовала за ним в тесный вестибюль, в одном углу которого стояла конторка, а за ней читал газету человек без пиджака, в полосатом желтом с черным жилете и грязном фартуке. Ларри попросил свой ключ, и человек протянул руку к висевшей позади него доске с гвоздями. Подавая ключ, он бросил на Изабеллу вопросительный взгляд, обернувшийся понимающей усмешкой. Он явно решил, что в номер к Ларри она направляется не за хорошим делом.

Они поднялись по лестнице, устланной потертой красной дорожкой, и Ларри отпер дверь. Изабелла очутилась в небольшой комнате с двумя окнами. Окна выходили на серый доходный дом через улицу, в нижнем этаже которого помещалась писчебумажная лавка. В комнате стояла узкая кровать и рядом с ней тумбочка, стоял массивный гардероб с зеркалом, мягкое, но с прямой спинкой кресло, а между окнами — стол и на нем пишущая машинка, какие-то бумаги и довольно много книг. Книги в бумажных обложках громоздились и на каминной полке.

— Садись в кресло. Оно не слишком уютное, но лучшего предложить не могу.

Он пододвинул себе стул и сел.

— И здесь ты живешь? — в изумлении спросила Изабелла.

Он усмехнулся.

— Здесь и живу. С самого приезда.

— Но почему?

— Место удобное. И до Национальной библиотеки, и до Сорбонны рукой подать. — Он указал на дверь, которую она сперва не заметила. — Даже ванная имеется. Утром я ем здесь, а обедаю обычно в том ресторане, где мы с тобой завтракали.

— Убожество какое.

— Да нет, здесь хорошо. Большого мне не требуется.

— А какие люди здесь живут?

— Толком не знаю. В мансардах — студенты. Есть несколько старых холостяков, государственных служащих. Есть актриса на отдыхе, когда-то играла в «Одеоне»; вторую комнату с ванной занимает содержанка, ее покровитель навещает ее раз в две недели, по четвергам. Есть наверно, и проезжий народ. Очень тихая гостиница и очень респектабельная.

Изабелла немного растерялась и, зная, что Ларри это заметил, была готова обидеться.

— Это что за большущая книга у тебя на столе? — спросила она.

— Это? Это мой древнегреческий словарь.

— Что-о?

— Не бойся, он не кусается.

— Ты учишь древнегреческий?

— Да.

— Зачем?

— Просто захотелось.

Он улыбался ей глазами, и она улыбнулась в ответ.

— Может быть, ты мне все-таки расскажешь, чем ты занимался все время, пока жил в Париже?

— Я много читал. По восемь, по десять часов в сутки. Слушал лекции в Сорбонне. Прочел, кажется, все, что есть значительного, во французской литературе, и по-латыни, во всяком случае латинскую прозу, читаю теперь почти так же свободно, как по-французски. С греческим, конечно, труднее. Но у меня прекрасный учитель. До вашего приезда я ходил к нему по вечерам три раза в неделю.

— А смысл в этом какой?

— Приобретение знаний, — улыбнулся он.

— Практически это как будто ничего не дает.

— Возможно. А с другой стороны, возможно, и дает. Но это страшно интересно. Ты даже представить себе не можешь, какое это наслаждение — читать «Одиссею» в подлиннике. Такое ощущение, что стоит только подняться на цыпочки, протянуть руку — и коснешься звезд.

Он встал со стула, точно поднятый охватившим его волнением, и зашагал взад-вперед по маленькой комнате.

— Последние месяца два я читаю Спинозу. Понимаю, конечно, с пятого на десятое, но чувствую себя победителем. Словно вышел из аэроплана на огромном горном плато. Кругом ни души, воздух такой, что пьянит, как вино, и самочувствие лучше некуда.

— Когда ты вернешься в Чикаго?

— В Чикаго? Не знаю. Я об этом не думал.

— Ты говорил, что если через два года не найдешь того, что тебе нужно, то поставишь на этом крест.

— Сейчас я не могу вернуться. Я на пороге. Передо мной раскрылись необъятные пространства духа и манят, и я так хочу их одолеть.

— И что ты рассчитываешь там найти?

— Ответы на мои вопросы. — Он поглядел на нее так лукаво, что, не зная она его наизусть, она подумала бы, что он шутит. — Я хочу уяснить себе, есть Бог или нет Бога. Хочу узнать, почему существует зло. Хочу узнать, есть ли у меня бессмертная душа или со смертью мне придет конец.

Изабелла чуть слышно ахнула. Ей стало не по себе, когда он заговорил о таких вещах, хорошо еще, что говорил он о них легко, самым обычным тоном, и она успела преодолеть свое замешательство.

— Но, Ларри, — сказала она, улыбаясь, — люди задают эти вопросы уже тысячи лет. Если бы на них существовали ответы, их уже наверняка нашли бы.

У Ларри вырвался смешок.

— Нечего смеяться, как будто я сболтнула какую-то чушь. — сказала она резко.

— Наоборот, по-моему, то, что ты сказала, очень умно. Но, с другой стороны, можно сказать и так, что раз люди задают эти вопросы тысячи лет, значит, они не могут их не задавать и будут задавать их и впредь. А вот что ответов никто не нашел — это неверно. Ответов больше, чем вопросов, и много разных людей нашли ответы, которые их вполне удовлетворили. Вот хотя бы старик Рейсброк.

— А он кто был?

— Так, один малый, с которым я не учился в школе, — беспечно сострил Ларри.

Изабелла не поняла, но переспрашивать не стала.

— Мне все это кажется детским лепетом. Такие вещи волнуют разве что второкурсников, а после колледжа люди о них забывают. Им надо зарабатывать на жизнь.

— Я их не осуждаю. Понимаешь, я в особом положении — у меня есть на что жить. Если б не это, мне бы тоже, как всем, пришлось бы зарабатывать деньги.

— Но неужели деньги сами по себе ничего для тебя не значат?

Он широко улыбнулся.

— Ни вот столечко.

— Сколько же времени у тебя на это уйдет?

— Право не знаю. Пять лет. Десять лет.

— А потом? Что ты будешь делать со всей этой мудростью?

— Если я обрету мудрость, так авось у меня хватит ума понять, что с ней делать.

Изабелла отчаянно стиснула руки и подалась вперед.

— Ты не прав, Ларри. Ты же американец. Здесь тебе не место. Твое место в Америке.

— Я вернусь туда, когда буду готов.

— Но ты столько теряешь. Как ты можешь отсиживать в этом болоте, когда мы переживаем самое увлекательное время во всей истории? Европа свое отжила. Сейчас мы — самая великая, самая могущественная нация в мире. Мы движемся вперед огромными скачками. У нас есть решительно все. Твой долг — вносить свой вклад в развитие родины. Ты забыл, ты не знаешь, как безумно интересно сейчас жить в Америке. А что, если ты просто трусишь, если тебя страшит работа, которая требуется сегодня от каждого американца?.. Да, я знаю, по-своему ты тоже работаешь, но, может быть, это всего-навсего бегство от ответственности? Может, это просто своего рода старательное безделье? Что бы случилось с Америкой, если бы все вздумали так отлынивать?

— Ты очень строга, родная, — улыбнулся он. — Могу ответить: не все смотрят на вещи так, как я. Большинство людей, вероятно, к счастью для них, не прочь идти нормальным путем; ты только забываешь, что мое желание учиться не менее сильно, чем... ну, скажем, чем желание

Грзя нажить кучу денег. Неужели же я изменяю родине тем, что хочу посвятить несколько лет самообразованию? Может быть, я потом смогу передать людям что-нибудь ценное. Это, конечно, только мечта, но, если она и не сбудется, я окажусь не в худшем положении, чем человек, который избрал деловую карьеру и не преуспел.

— А я? Или я ничего для тебя не значу?

— Ты значишь для меня очень много. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.

— Когда? Через десять лет?

— Нет, теперь же. Как можно скорее.

— И на что мы будем жить? У мамы лишних денег нет. Да если бы и были, она бы не дала. Сочла бы, что это неправильно, помогать тебе вести бездельную жизнь.

— Я бы и не хотел брать ничего у твоей матери, — сказал Ларри. — У меня есть три тысячи годовых. В Париже это более чем достаточно. Могли бы снять квартиру, нанять *une bonne à tout faire*¹. И как бы чудесно нам с тобой было!

— Но, Ларри, на три тысячи в год прожить нельзя!

— Очень даже можно. У многих и этого нет, а живут.

— Но я не хочу жить на три тысячи в год. И не вижу для этого оснований.

— Я сейчас живу на полторы.

— Да, но как?

Она окинула взглядом невзрачную комнату и гадливо передернулась.

— Я хочу сказать, что кое-что сумел отложить. В свадебное путешествие мы могли бы поехать на Капри, а осенью побывать в Греции. Туда меня ужасно тянет. Помнишь, как мы с тобой мечтали, что вместе объездим весь свет?

— Путешествовать я, конечно, хочу. Но не так. Я не хочу ехать на пароходе вторым классом, останавливаться в третьеразрядных гостиницах, без ванной, питаться в дешевых ресторанах.

— В прошлом году, в октябре, я вот так проехался по Италии. Замечательно было. На три тысячи годовых мы могли бы объездить весь свет.

— Но я хочу иметь детей, Ларри.

— Прекрасно. Их тоже заберем с собой.

— Глупыш ты, — рассмеялась она. — Да ты знаешь, сколько это стоит, завести ребенка? Вот Вайолет Томлин-

¹ Прислуга (единственная) (фр.).

сон в прошлом году родила и постаралась обставить это как можно дешевле, и это ей стоило тысячу двести пятьдесят долларов. А няня ты знаешь во сколько обходится? — С каждым новым доводом, который приходил ей в голову, она все больше разгорячалась. — Ты такой непрактичный. Ты просто не понимаешь, чего требуешь от меня. Я молода. Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу иметь все, что люди имеют. Хочу ездить на балы, на приемы, и верхом кататься, и в гольф играть, хочу хорошо одеваться. Ты понимаешь, что это значит для девушки — быть одетой хуже, чем ее подруга? Ты понимаешь, Ларри, что это значит — покупать у знакомых старые платья, которые им надоели, или говорить спасибо, когда кто-то из милости купит тебе новый туалет? Я не могла бы даже причесываться у приличного парикмахера. Я не хочу ездить в трамваях и в автобусах, мне нужен собственный автомобиль. И что бы я стала делать с утра до ночи, пока ты читаешь в своей библиотеке? Ходить по улицам и глазеть на витрины или сидеть в Люксембургском саду и присматривать за детьми? У нас и знакомых бы не было.

— Ох, Изабелла! — перебил он.

— Не было бы таких, к каким я привыкла. Да, конечно, друзья дяди Эллиота иногда приглашали бы нас в гости, чтобы сделать ему приятное, но мы не могли бы к ним ездить, потому что мне нечего было бы надеть, и не захотели бы, потому что не на что было бы пригласить их к себе. А знаясь с какими-то серыми, немытыми личностями я не хочу, мне не о чем с ними говорить, а им со мной. Я хочу жить, Ларри. — Она вдруг заметила, какие у него глаза: ласковые, как всегда, когда они устремлены на нее, но чуть насмешливые. — Ты, наверно, считаешь, что я дура? Что все это пошло и гадко?

— Нет. По-моему, все, что ты говоришь, вполне естественно.

Он стоял спиной к камину. Она встала, подошла и остановилась перед ним.

— Ларри, если бы у тебя не было ни гроша за душой и ты бы получил место на три тысячи в год, я бы, не задумываясь, за тебя вышла. Я бы стала стряпать для тебя, стелить постели, носить что попало, обходиться без чего угодно, и все мне было бы в радость, потому что я знала бы, что это вопрос времени, что ты добьешься успеха. Но сейчас ты мне предлагаешь это убожество на всю жизнь, и никаких пер-

спектив. Ты предлагаешь мне до смертного часа гнуть спину. И ради чего? Чтобы ты годами мог отыскивать ответы на вопросы, к тому же, как ты сам говоришь, неразрешимые. Это несправедливо. Мужчина обязан работать. Для этого он и создан. Этим он и способствует процветанию общества.

— Короче говоря, его долг — поселиться в Чикаго и поступить в контору к Генри Мэтюрину. Ты думаешь, я так уж сильно буду способствовать процветанию общества, если стану навязывать своим знакомым акции, в которых заинтересован Генри Мэтюрин?

— Без маклеров не обойтись. И это вполне приличный и почтенный способ зарабатывать деньги.

— Ты черными красками расписала жизнь в Париже на скромный доход. А ведь на самом деле все иначе. Одеваться со вкусом можно не только у Шанель. И не все интересные люди живут возле Триумфальной арки и авеню Фош. Вернее, там живет очень мало интересных людей, потому что интересные люди, как правило, небогаты. У меня здесь множество знакомых — художников, писателей, студентов — французов, англичан, американцев и прочих, и они, думаю, показались бы тебе занятнее, чем Эллиотовы линялые маркизы и длинноносые герцогини. У тебя живой ум, острое чувство юмора. Тебе бы понравилось, как они спорят и шутят за обедом, хотя пьют только дешевое вино и за столом не прислуживает дворецкий и два лакея.

— Не глупи, Ларри. Конечно, понравилось бы. Ты же знаешь, что я не сноб. Мне очень хочется встречаться с интересными людьми.

— Но обязательно в туалетах от Шанель. А ты думаешь, они бы не поняли, что для тебя это своего рода филантропия в интеллектуальном плане? Им это было бы в тягость, как и тебе, а тебе это дало бы одно — возможность рассказать Эмили де Монтадур и Грэси Шато-Гайар, что накануне ты очень весело провела вечер в Латинском квартале среди страховидных представителей богемы.

Изабелла чуть пожала плечами.

— Вероятно, ты прав. Это не те люди, среди каких я воспитана. У меня с ними нет ничего общего.

— И к чему же мы пришли?

— К тому же, с чего начали. Я живу в Чикаго с тех пор, как себя помню. Все мои друзья — там. И все мои интересы. Там я дома. Там мое место, и твое тоже. Мама больна,

на улучшение надежды нет. Я не могла бы ее бросить, если б и захотела.

— Значит, так: если я откажусь теперь же вернуться в Чикаго, ты не выйдешь за меня замуж?

Изабелла минуту колебалась. Она любила Ларри. Она хотела стать его женой. Тянулась к нему всей своей женской сущностью. Знала, что и он ее желает. Она внушала себе, что, если поставить вопрос ребром, он не может не уступить. Было страшно, но она пошла на риск.

— Да, Ларри. Именно так.

Он чиркнул спичкой о камин — старомодной французской серной спичкой, от которых свербит в носу, и раскурил трубку. Потом, минуя Изабеллу, подошел к окну. Выглянул наружу. И молчал, молчал. Она стояла на прежнем месте, глядя теперь в зеркало над камином, но не видя своего отражения. Сердце ее бешено колотилось, от страха сосало под ложечкой. Наконец он обернулся.

— Если б только ты захотела понять, насколько жизнь, которую я тебе предлагаю, содержательнее всего, что ты можешь вообразить. Если б только ты захотела понять, что такое духовная жизнь, как она обогащает человека. Она безгранична. Вот так же, как когда ты один летишь высоко-высоко над землей, и вокруг тебя — бесконечность. Голова кружится от этих безбрежных далей. Упоение такое, что не променял бы его на всю силу и славу земную. Я вот недавно читал Декарта. Такая легкость, изящество, ясность мысли. Э, да что говорить...

— Ларри, пойми! — взмолилась она. — Ведь я для этого не гожусь, мне это неинтересно. Сколько раз тебе повторять, что я самая обыкновенная, нормальная женщина, мне двадцать лет, через десять лет я буду старухой, а пока хочу жить в свое удовольствие. Ларри, я так тебя люблю! А ты играешь в игрушки. Ничего это тебе не даст. Умоляю, ради тебя самого, махни ты на это рукой. Будь мужчиной, Ларри, возмись за дело, достойное мужчины. Ты даром тратишь самые лучшие годы, когда другие успевают столько сделать. Ларри, если ты меня любишь, ты не променяешь меня на пустые мечты. Ты пожил как хотел. А теперь поедem с нами домой!

— Не могу, дорогая. Для меня это равносильно смерти, предательству собственной души.

— Господи, Ларри, зачем ты так говоришь? Так говорят только ученые женщины, истерички. Что значат все эти слова? Да ничего, абсолютно ничего.

— Они в точности выражают мою мысль, — отвечал он, поблескивая глазами.

— И ты еще смеешься? А ведь нам сейчас не до смеха. Мы дошли до развилки, и по какой дороге пойдем дальше — от этого зависит вся наша жизнь.

— Я знаю. Поверь, я и не думаю шутить.

Она вздохнула.

— Раз ты не внемлешь голосу разума, говорить больше не о чем.

— Но разума-то я тут не вижу. По-моему, ты говорила сплошную чушь.

— Я?! — Не будь она так подавлена, она бы рассмеялась. — Дорогой мой, ты просто спятил!

Она медленно стянула с пальца обручальное колечко. Положила его на ладонь, полюбовалась. Граненый рубин в тонкой платиновой оправе — оно всегда ей нравилось.

— Если б ты меня любил, не сделал бы мне так больно.

— Я тебя люблю. К сожалению, не всегда удастся поступить так, как считаешь правильным, не причинив боли другому.

Она протянула ему ладонь, на которой светился рубин, и через силу улыбнулась дрожащими губами.

— Вот, Ларри, возьми.

— Мне оно не нужно. Ты лучше сохрани его на память о нашей дружбе. Носить можно на мизинце. Друзьями-то мы останемся, правда?

— Я всегда буду тебе другом, Ларри.

— Так оставь его себе. Мне это будет приятно.

После минутного колебания она надела кольцо на правый мизинец.

— Велико.

— Можно отдать переделать. Поедем в «Риц», выпьем.

— Ладно.

Ей все еще не верилось, что все произошло так просто. Она ни разу не заплакала. И ничего как будто не изменилось, только теперь она не выйдет за Ларри. Не укладывалось в голове, что все уже кончено, все позади. Было немножко обидно, что дело обошлось без душераздирающей сцены. Они все обсудили почти так же спокойно, как если бы речь шла о покупке дома. Ей словно чего-то не додали и вместе с тем радовало сознание, что они вели себя как цивилизованные люди. Она много бы дала, чтобы в точности знать, что чувствует Ларри. Но это всегда

бывало трудно. Его невозмутимое лицо, его темные глаза были маской, за которую даже она, знавшая его столько лет, не надеялась проникнуть. Она взяла с кровати свою шляпу и стала надевать ее, стоя перед зеркалом.

— Мне просто интересно знать, — сказала она, поправляя волосы, — тебе хотелось расторгнуть нашу помолвку?

— Нет.

— А я думала, ты почувствуешь облегчение.

Он не ответил. Она повернулась к нему с веселой улыбкой на губах.

— Ну вот, я готова.

Ларри запер за собой дверь. Человек за конторкой, принимая ключ, окинул их обоих взглядом сообщника. Изабелла не могла не понять, в чем он их подозревает.

— Сомневаюсь, чтобы он под присягой поручился за мою девственность, — сказала она.

Они поехали в «Риц» на такси, выпили в баре. Болтали о том о сем, по видимости непринужденно, как двое старых друзей, которые видятся изо дня в день. В отличие от молчаливого Ларри, Изабелла любила поговорить, недостатка в темах не испытывала, а теперь твердо решила не допустить и минуты молчания, которое было бы трудно нарушить. Пусть Ларри не думает, что она на него в обиде, она из одной гордости не выдаст, как ей больно и тяжело. Вскоре она попросила Ларри проводить ее домой. Выйдя из такси, она весело ему сказала:

— Ты, надеюсь, помнишь, что завтра у нас завтракаешь?

— А то как же.

Она подставила ему щеку для поцелуя и скрылась в подъезде.

V

Войдя в гостиную, где пили чай, Изабелла застала там несколько человек гостей. Заглянули две американки, живущие в Париже, — изысканно одетые, с жемчугом на шее, брильянтовыми браслетами на запястьях и дорогими перстнями на пальцах. Хотя волосы у одной из них отливали темной хной, а у другой ненатуральным золотом, они были до странности одинаковые. Так же густо насурмлены ресницы, так же ярко накрашены губы, так же нарумянены щеки; те же худощавые фигуры — результат методичного умерщвления плоти, те же четкие, резкие черты, те же беспокойные, голодные глаза; и такое впечатление, что

вся их жизнь сводится к неустанным стараниям удержать остатки былой красоты. Говорили они ни о чем, громким металлическим голосом, без единой паузы, словно опасаясь, что, стоит им на минуту умолкнуть, как завод кончится и вся механическая конструкция, которую они собой представляют, развалится на куски. Наведался и один из секретарей американского посольства, лошенок, молчащий, поскольку ему не давали вставить слово, и, видимо, искушенный в светских тонкостях; и еще — низкорослый и темноволосый румынский князек — сплошь поклоны и сладкие улыбки, с черными бегающими глазками и гладко выбритым смуглым лицом, то и дело вскакивавший с места, чтобы поднести спичку, передать чашку с чаем или вазу с печеньем, и без зазрения совести расточавший самые неприкрытые, самые грубые комплименты. Этим он платил за все обеды, поглощенные за столом у объектов своего подхалимства, и авансом за все обеды, которые еще надеялся у них поглотить.

Миссис Брэдли, сидевшая за чайным столом и одетая в угоду Эллиоту более нарядно, чем считала подобающим для такого случая, исполняла обязанности хозяйки со свойственным ей учтивым, но несколько равнодушным спокойствием. Что она думала о гостях своего брата — о том можно только догадываться. Близко я ее не знал, а она не склонна была откровенничать с кем попало. Она была отнюдь не глупа, за годы, прожитые во всех столицах мира, перевидала множество самых разных людей и, вероятно, научилась достаточно четко оценивать их по меркам провинциального виргинского городка, где она родилась и выросла. Думается мне, что наблюдать их ужимки доставляло ей известное удовольствие, и что их кривляние она так же мало принимала всерьез, как горести и страдания действующих лиц в романе, про который с самого начала знала (а то бы не стала читать), что кончится он хорошо. Париж, Рим, Пекин повлияли на ее американскую натуру не больше, чем католичество Эллиота на ее стойкую, и в общем очень удобную пресвитерианскую веру.

Изабелла, юная, пышущая здоровьем и красотой, словно внесла струю свежего воздуха в эту насквозь искусственную атмосферу. Она всплыла в комнату, как вечно юная богиня земли. Румынский князек кинулся пододвигать ей стул, выразительно при этом жестикулируя. Обе американки, визгливо щебеча любезности, оглядели ее с ног до го-

ловы, отметили, как она одета, и, возможно, сердце у них екнуло от встречи лицом к лицу с ее лучезарной молодостью. Американский дипломат мысленно усмехнулся, до того старыми и облезлыми они сразу показались по контрасту с ней. Но сама Изабелла нашла, что они великолепны. Она восхитилась их роскошными туалетами, их драгоценностями, успела позавидовать их непоколебимому апломбу. Удастся ли ей когда-нибудь сравняться с ними в умении держаться? Маленький румын, конечно, уморителен, но очень милый, и даже если все эти очаровательные вещи говорит не от души, выслушивать их приятно. Разговор, прерванный ее приходом, возобновился, и все говорили так бойко, были, казалось, так глубоко убеждены в значительности того, что говорят, что впору было подумать, будто в их речах и правда есть смысл. А говорили они о вечерах, на которых побывали, и о вечерах, на которые собираются. Сплетничали о последнем светском скандале. Перебивали косточки знакомым. Перекидывались громкими именами. Знали, по-видимому, всех и каждого. Были посвящены во все секреты. Чуть ли не в одной фразе умудрялись коснуться последнего спектакля, последнего визита к портнихе, последнего художника-портретиста и последней любовницы нынешнего премьера. Они были осведомлены решительно обо всем. Изабелла слушала, затаив дыхание. Ей все это казалось донельзя культурным. Вот это жизнь. Вот что значит находиться в гуще событий. Это — настоящее. И декорации самые подходящие. Просторная комната, на полу ковер Савоннери, прелестные рисунки на обшитых деревом стенах, вышитые стулья, на которых они сидят, бесценная мебель маркетри — столики, секретеры, каждый просится в музей. За комнату эту, должно быть, уплачено целое состояние, но результат того стоил. Сегодня строгая красота обстановки особенно ее поразила, потому что так свеж был в памяти маленький гостиничный номер с железной кроватью и жестким, неудобным стулом, на котором сидел Ларри, — комната, в которой он не видел ничего предосудительного. Голая, унылая, отвратительная комната. Изабелла не могла вспомнить о ней без содрогания.

Гости уехали, и она осталась с матерью и Эллиотом.

— Очаровательные женщины, — сказал Эллиот, проводив двух несчастных раскрашенных кукол. — Я знал их, еще когда они только что поселились в Париже. Никак не

ожидал, что они сделают такие успехи. Поразительно, как наши женщины умеют приспособиться. Теперь и не заподозришь, что они американки, да еще со Среднего Запада.

Миссис Брэдли молча подняла брови и бросила на него взгляд, которого он не мог не понять.

— О тебе этого не скажешь, Луиза, — продолжал он полуласково, полунасмешливо. — Хотя, видит Бог, все возможности у тебя были.

Миссис Брэдли поджала губы.

— Боюсь, Эллиот, я тебя не на шутку огорчаю, но, сказать по правде, я вполне довольна собой, как я есть.

— Мне, наверно, следует сообщить вам, что я уже не помолвлена с Ларри, — сказала Изабелла.

— Ах ты Господи! — воскликнул Эллиот. — Это расстраивает все мои планы на завтра. Где я успею найти другого мужчину?

— О, завтракать он придет.

— После того, как ты расторгла помолвку? Насколько я знаю, это не принято,

Изабелла прыснула. Она не сводила глаз с Эллиота, потому что чувствовала на себе пристальный взгляд матери и не хотела на него ответить.

— Мы не поссорились. Мы сегодня все обговорили и пришли к выводу, что то была ошибка. Он не хочет возвращаться в Америку; хочет остаться в Париже. Думает съездить в Грецию.

— Это еще зачем? В Афинах нет приличного общества. Да и греческое искусство я лично никогда не ставил особенно высоко. В позднем эллинизме есть что-то декадентское, это по-своему прелестно, но Фидий — нет, нет.

— Посмотри на меня, Изабелла, — сказала миссис Брэдли.

Изабелла повернулась к ней с легкой улыбкой на губах. Миссис Брэдли внимательно в нее вгляделась, но произнесла только «гм». Глаза безусловно не заплаканы, вид совершенно спокойный.

— Я считаю, что это к лучшему, Изабелла, — сказал Эллиот. — Я готов был с этим примириться, но никогда не способствовал вашему браку. Он тебе не пара, а уж его поведение в Париже ясно доказывает, что из него не выйдет ничего путного. С твоей внешностью, с твоими связями ты вполне можешь рассчитывать на что-нибудь лучшее. По-моему, ты поступила очень разумно.

Миссис Брэдли бросила на нее взгляд, исполненный тревоги.

— Ты не ради меня это сделала, Изабелла?

Изабелла решительно помотала головой.

— Нет, мамочка, я это сделала исключительно ради себя.

VI

Я между тем вернулся с Востока и на время поселился в Лондоне. Как-то утром, недели через две после описанных событий, мне позвонил Эллиот. Я удивился, услышав его голос, — обычно он приезжал в Англию только к самому концу сезона. Он сообщил мне, что миссис Брэдли с Изабеллой тоже здесь, и не зайду ли я к ним сегодня в шесть, мне будут рады. Остановились они, разумеется, в отеле «Кларидж». Я в то время жил неподалеку и не спеша добрался до отеля пешком — по Парк-лейн и дальше, тихими, чинными улицами Мэйфера. Эллиот занимал свой всегдашний номер «люкс». Стены в нем были обшиты панелями цвета сигарных ящиков, комнаты обставлены роскошно, но не кричаще. Эллиота я застал одного: мать с дочерью ездят по магазинам, вернутся с минуты на минуту. Он сразу рассказал мне, что Изабелла разорвала свою помолвку с Ларри.

Эллиот, исповедовавший несколько романтические и чисто традиционные взгляды на то, как людям следует себя вести в тех или иных обстоятельствах, был сбит с толку. Ларри, мало того что явился к завтраку на следующий день после разрыва, вообще держался так, словно положение не изменилось. Был по-прежнему любезен, внимателен и сдержанно весел. С Изабеллой обращался, как всегда, по-товарищески ласково. Не похоже было, что он издерган, расстроен или убит горем. Да и сама Изабелла не казалась удрученной. На вид она была все так же жизнерадостна, так же беззаботно смеялась и шутила, хотя только что круто и, конечно же, с болью душевной изменила свою жизнь. Эллиот ничего не понимал. Из их разговоров он заключил, что они не собираются отменять намеченных на ближайшее время развлечений. При первом же удобном случае он заговорил об этом с сестрой.

— Это неприлично, — заявил он. — Нельзя им всюду появляться вместе как жениху с невестой. Ларри, видно, совсем уж ничего не смыслит. А Изабеллу это ставит в

невыгодное положение. Взять хотя бы Фодерингема, этого молодого человека из британского посольства. Он явно увлечен Изабеллой; у него есть средства, и связи отличные; знай он, что путь свободен, он бы, по всей вероятности, сделал предложение. Мой тебе совет, поговори на этот счет с Изабеллой.

— Дорогой мой, Изабелле двадцать лет, и она научилась очень ловко и без всякой грубости намекать мне, что я суюсь не в свое дело. Поверь, вести с ней такие разговоры нелегко.

— Значит, ты плохо ее воспитала, Луиза. А дело это, между прочим, как раз твоё.

— Вот уж с чем она бы наверняка не согласилась.

— Не испытывай моего терпения, Луиза.

— Если б у тебя, мой милый, была взрослая дочь, ты бы знал, что справиться с брыкливым бычком куда легче. А уж понять, что у нее на уме... нет, спокойнее притворяться наивной старой дурой, какой она скорее всего меня и считает.

— Но ты хоть расспросила ее?

— Пробовала. А она только смеется и говорит, что рассказывать нечего.

— Она как, очень обескуражена?

— Говорю тебе, не знаю. Могу только сказать, что ест она за двоих и спит как младенец.

— Помяни мое слово, если ты не вмешаешься, они в один прекрасный день сбегут и поженятся, и слова никому не скажут.

Миссис Брэдли позволила себе улыбнуться.

— Тебе, наверно, утешительно думать, что сейчас мы находимся в стране, где незаконные связи всячески поощряются, а брак обставлен уймой препятствий.

— Так и должно быть. Брак — дело серьезное. На нем зиждется благополучие семьи и прочность государства. Но престиж брака можно сохранить лишь в том случае, если внебрачные отношения не только поощрять, но и санкционировать. Проституция, милая Луиза...

— Хватит, Эллиот, — перебила она. — Меня не интересуют твои взгляды на социальную и моральную ценность блуда в каком бы то ни было виде.

И тогда он выдвинул план, который положил бы конец беспрестанному общению между Изабеллой и Ларри, столь оскорблявшему его чувство приличия. Парижский сезон

подходит к концу, все стоящие люди готовятся отбыть на воды или в Довилль, прежде чем разъехаться на остаток лета по своим родовым замкам в Турени, Анжу или Бретани. Обычно Эллиот уезжал в Лондон в конце июня, но семейное чувство было в нем живо, а любовь к сестре и племяннице непритворна; в угоду им он уже совсем было решил пожертвовать собой и пожить еще в Париже даже тогда, когда Париж опустеет; теперь же ему представилась приятная возможность услужить другим, не отказываясь от собственных привычек. Вот он и предложил миссис Брэдли теперь же им всем троим поехать в Лондон, где сезон еще в разгаре и где новые знакомства и новые интересы отвлекут мысли Изабеллы от тягот ее двусмысленного положения. В газетах писали, что в Лондоне сейчас находится лучший специалист по диабету, и миссис Брэдли захотела ему показаться; этим легко будет объяснить их поспешный отъезд, а также побороть возможное нежелание Изабеллы расстаться с Парижем. Миссис Брэдли этот план понравился. Она устала тревожиться об Изабелле, не понимая, правда ли та весела и беззаботна или же уязвлена, разгневана, грустна, но храбрится и скрывает свои чувства. Миссис Брэдли могла только согласиться с Эллиотом, что посмотреть новых людей и новые места будет Изабелле полезно.

Эллиот стал без промедления названивать по телефону, и, когда Изабелла, после дня, проведенного с Ларри в Версале, вернулась домой, уже мог сообщить ей, что знаменитый врач согласился принять ее мать через три дня, что номер «люкс» в «Кларидже» заказан, и послезавтра они выезжают. Миссис Брэдли внимательно наблюдала за дочерью, пока Эллиот не без самодовольства излагал ей эти новости, но та и бровью не повела.

— До чего же я рада, что ты пойдешь к этому доктору, мамочка! — вскричала она с обычной своей экспансивностью. — Ну конечно, такую возможность нельзя упускать. И Лондон посмотреть мне ужасно хочется. Мы там сколько пробудем?

— Возвращаться в Париж нет смысла, — сказал Эллиот. — Через неделю там уже не будет ни души. Я хочу, чтобы вы прожили у меня в «Кларидже» до конца лондонского сезона. В июле всегда бывает несколько больших балов ну, и, кроме того, конечно, Уимблдон, теннисный турнир. А потом гудвудские скачки и регата в Каусе. Я не сомневаюсь, что Эллингеми рады будут пригласить нас

на свою яхту, а Бантоки всегда ездят целой компанией в Гудвуд.

Изабелла выразила полный восторг, и миссис Брэдли успокоилась. О Ларри она, похоже, и не вспомнила.

Эллиот как раз успел рассказать мне все это, когда явились мать с дочерью. Я не видел их больше полутора лет. Миссис Брэдли немного похудела и обрюзгла, выглядела усталой и больной. Зато у Изабеллы вид был цветущий. Ее яркий румянец, пышные каштановые волосы, сияющие карие глаза, чистая кожа сливались в образ такой победной молодости, такой упоенности жизнью, что, глядя на нее, хотелось смеяться от радости. Сам не знаю почему, она вызвала в моем представлении грушу, золотистую и сочную, которая только-только созрела и буквально просит, чтобы ее съели. Она излучала тепло, казалось — стоит протянуть руку, оно и тебя обогреет. Она показала мне выше ростом — то ли от высоких каблуков, то ли благодаря искусству портнихи, сумевшей скроить платье так, чтобы оно ее худило, и держалась она с естественной грацией девушки, с детства занимающейся спортом. Словом, это была чрезвычайно соблазнительная молодая особа. На месте ее матери я бы решил, что пора, очень даже пора выдать ее замуж.

Радуюсь случаю хоть в малой мере отблагодарить за гостеприимство, которое миссис Брэдли оказала мне в Чикаго, я пригласил их всех в театр, и еще — как-нибудь позавтракать в ресторане.

— Поторопитесь, милейший, — сказал мне Эллиот. — Я уже оповестил моих друзей, что мы здесь, и думаю, что очень скоро наши дни будут расписаны до конца сезона.

Я рассмеялся, поняв, что должны означать эти слова: что для таких, как я, у них скоро не будет времени. Эллиот смерил меня взглядом, в котором сквозила некоторая надменность.

— Но часов в шесть мы, разумеется, почти всегда дома, и будем рады вас видеть, — добавил он милостиво, но с явным намерением напомнить мне, что я — всего лишь писатель.

Однако бывает, что и святой не стерпит.

— Постарайтесь связаться с Сент-Олфердами, — сказал я. — Мне говорили, что они хотят продать своего Констебля — один из его солсберийских соборов.

— Я сейчас картин не покупаю.

— Да, я знаю, я думал, может, вы им поможете сбыть его с рук.

В глазах у Эллиота появился стальной блеск.

— Дорогой мой, англичане — великая нация, но писать маслом они никогда не умели и никогда не научатся. Английская школа меня не интересует.

VII

Весь следующий месяц я почти не видел Эллиота и его родственников. Их он принимал по-царски. Он возил их на субботу и воскресенье в одну знаменитую родовую усадьбу в Сассексе, а потом в еще более знаменитую в Уилтшире. Водил их в королевскую ложу в Опере в качестве гостей некой принцессы, приходившейся родней Виндзорскому дому. Возил на завтраки и обеды к сильным мира сего. Достал для Изабеллы приглашения на несколько балов. Сам принимал в «Кларидже» целый ряд гостей, чьи имена на следующий день выглядели в газетах очень эффектно. Он давал ужины у Сайро и в ресторане «Посольский». Словом, он делал все, что считал уместным, и у Изабеллы, еще не очень искушенной в жизни высшего света, даже голова покруживалась от роскоши и великолепия, которыми он ее услаждал. Ничто не мешало Эллиоту воображать, что он взвалил на себя эти заботы из чисто альтруистического побуждения — отвлечь мысли племянницы от ее злосчастного романа; однако ему, как я подозреваю, и самому было лестно дать сестре возможность воочию убедиться, что он — свой человек в кругу прославленных и знатных. Принимать гостей он умел и от души наслаждался, проявляя свою виртуозность.

Меня он тоже раза два приглашал, и время от времени я в шесть часов заглядывал в «Кларидж». Изабеллу всегда окружали молодые великаны-гвардейцы в ослепительных мундирах или элегантные, но не столь ослепительные молодые люди из министерства иностранных дел. Как-то раз она, ускользнув от своих кавалеров, отвела меня в сторону.

— У меня к вам просьба, — сказала она. — Помните, как мы с вами пили в аптеке содовую с мороженым?

— Прекрасно помню.

— Вы тогда мне очень помогли. Пожалуйста, помогите мне еще раз.

— Постараюсь.

— Мне нужно с вами поговорить. Может, как-нибудь позавтракаем вместе?

— Скажите только где.

— Где-нибудь, где нелюдно.

— Хотите, прокатимся в Хэмптон-Корт? Там и позавтракаем. Парк в это время года хорош, как никогда, и я вам покажу кровать королевы Елизаветы.

Она охотно согласилась и назначила день. Но когда этот день настал, погода, которая до тех пор нас баловала, вдруг резко переменялась. Небо затянуло тучами, моросил дождь. Я позвонил узнать, не предпочтет ли она позавтракать в городе.

— А то сегодня в парке не посидишь, и картины смотреть плохо, когда так темно.

— В парках я насиделась, а от старых мастеров у меня оскомины. Нет, поедем.

— Отлично.

Я заехал за ней, и мы отправились. В Хэмптон-Корте я знал одну небольшую гостиницу с хорошим рестораном и сразу дал шоферу адрес. По дороге Изабелла со свойственной ей живостью болтала о приемах, на которых побывала, и о людях, с которыми познакомилась. Она была в восторге от своего времяпрепровождения, но из ее замечаний о всяких новых знакомых я понял, что наблюдает она зорко и не обольщается пустыми словами. Из-за плохой погоды экскурсантов не было, и в ресторане мы сидели одни. Гостиница эта славилась простой английской кухней, мы ели вкуснейшую молодую баранину с зеленым горошком, а затем — яблочный пирог со сливками, да еще по кружке светлого пива — завтрак хоть куда. Поев, я предложил Изабелле перейти в пустую кофейню и посидеть в удобных креслах. Там было холодно, но уголь и растопка в камине были приготовлены, и я поднес к ним спичку. Огонь весело запыхал, в комнате сразу стало уютнее.

— Вот так-то, — сказал я. — А теперь выкладывайте, о чем вы хотели со мной поговорить.

— О том же, что и в тот раз, — отвечала она со смешком. — О Ларри.

— Я так и думал.

— Вы знаете, что мы расстроили помолвку?

— Да, Эллиот мне говорил.

— У мамы как гора с плеч, и он не нарадуется.

Секунду она колебалась, а потом стала рассказывать про свой разговор с Ларри, тот самый, который я уже попытался правдиво пересказать читателям. Кое-кого может удивить,

что Изабелла пожелала так много сообщить человеку, так мало ей знакомому. Я и видел-то ее всего раз десять, причем всегда на людях, если не считать того единственного разговора в аптеке. Но меня это не удивило. Прежде всего, писателю люди часто поверяют такое, чего не поверили бы никому другому (любой писатель может это подтвердить). Не знаю, чем это объяснить. Возможно, что, прочитав две-три его книги, они проникаются ощущением, что он — самый близкий им человек; либо, дав волю фантазии, они видят самих себя действующими лицами романа и готовы открыть ему душу, как то делают, по их мнению, вымышленные им персонажи. А еще, мне сдается, Изабелла чувствовала, что я симпатизирую и Ларри, и ей, что их молодость меня умиляет, а их горести вызывают мое сочувствие. Ждать сочувствия от Эллиота не приходилось — он не склонен был уделять внимание молодому человеку, грубо отмахнувшись от предоставленной ему совершенно исключительной возможности проникнуть в высшее общество. Мать тоже не могла ей помочь. У миссис Брэдли был здравый смысл и твердые правила. Здравый смысл подсказывал ей, что, если хочешь добиться успеха в жизни, надо считаться с условностями и человек, который с ними не считается, не хочет поступать, как все, — человек ненадежный. А твердые правила гласили, что долг мужчины — работать в такой области, где он, проявив энергию и инициативу, имеет шанс нажить достаточно денег, чтобы содержать жену и детей в соответствии с требованиями своего положения, дать сыновьям образование, которое позволит им, став взрослыми, честно зарабатывать на жизнь, и после своей смерти оставить жену должным образом обеспеченной.

У Изабеллы была хорошая память, и все перипетии их долгого разговора прочно в ней запечатлелись. Я молча выслушал ее до конца. Один только раз она прервалась, чтобы спросить меня:

— Кто был Рейсдаль?

— Рейсдаль? Голландский художник, пейзажист. А что?

О нем, оказывается, упомянул Ларри. Он сказал, что Рейсдаль нашел ответы на свои вопросы, а когда она спросила, кто он был, отделался шуткой.

— Как по-вашему, что он имел в виду?

Меня осенила догадка.

— А может быть, он сказал Рейсброк?

- Может, и так. А Рейсброк кто был?
- Фламандец, мистик, жил в четырнадцатом веке.
- А-а, — протянула она разочарованно.

Ей это ничего не сказало. Для меня же кое-что прояснило. Послужило первым указанием на то, куда ведут Ларри его размышления; и пока Изабелла продолжала свой рассказ, я, хотя и слушал ее по-прежнему внимательно, какой-то частицей мозга обдумывал возможности, скрывавшиеся за этим беглым упоминанием. Я не хотел придавать ему слишком большое значение, — возможно, имя Учителя Экстаза понадобилось Ларри просто как аргумент в споре, — но, с другой стороны, может быть и так, что он вложил в свои слова смысл, ускользнувший от Изабеллы. Своим ответом, что Рейсброк был просто «малый, с которым он не учился в школе», он, видимо, хотел окончательно сбить ее со следа.

— И что вы обо всем этом думаете? — спросила она, закончив свою повесть.

Я ответил не сразу.

— Помните, он когда-то говорил, что намерен просто бездельничать? Если то, что он вам рассказал, правда, выходит, что под бездельем он понимает довольно-таки тяжелый труд.

— Конечно, он говорил правду. Но неужели вы не понимаете? Если бы он так же напряженно работал в какой-нибудь практической области, он бы уже сейчас зарабатывал вполне приличные деньги.

— Некоторые люди странно устроены. Иные преступники трудятся до седьмого пота, подготавливая преступление, за которое попадают в тюрьму, а едва выйдя на свободу, начинают все сызнова и опять попадают в тюрьму. Если бы они вложили столько же стараний, столько же находчивости, выдумки, терпения в какое-нибудь честное дело, они бы жили безбедно и занимали высокие должности. Но так уж они устроены. Им нравится совершать преступления.

— Бедный Ларри, — засмеялась она. — Вы уж не хотите ли сказать, что он учит древнегреческий, чтобы подстроить ограбление банка?

Я тоже рассмеялся.

— Нет, конечно. Я пытаюсь внушить вам другое: что есть люди, одержимые таким сильным желанием заниматься чем-то определенным, что ничего не могут с собой

поделать. Они готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы удовлетворить это желание.

— Даже людьми, которые их любят?

— О да.

— А это не самый обыкновенный эгоизм?

— Вот уж не знаю, — улыбнулся я.

— Какая может быть польза от того, что Ларри изучает мертвые языки?

— Некоторым людям свойственна бескорыстная жажда знаний. Ничего постыдного в этом нет.

— А какой толк в знаниях, если не собираешься их применять?

— Он-то, может, и собирается. Может, само знание послужит для него достаточной наградой, как для художника — достаточная награда то, что он создал произведение искусства. А может, это только шаг на пути куда-то дальше.

— Если ему нужны были знания, почему он не пошел в университет, когда вернулся с войны? Ему это и доктор Нелсон, и мама советовали.

— Я говорил с ним об этом в Чикаго. Диплом ему ни к чему. Мне кажется, у него уже тогда было довольно точное представление о том, что ему нужно, и он знал, что университет ему этого не даст. Ведь там, где дело касается знаний, есть не только волки, которые бегают стаей, есть и одинокие волки. И Ларри, мне кажется, из тех, кто способен идти только своим одиноким путем.

— Помню, я как-то спросила его, не хочет ли он стать писателем. Он рассмеялся и сказал, что писать ему не о чем.

— Никогда не слышал, чтобы от писательства отказывались по таким неубедительным причинам, — сказал я улыбаясь.

Изабелла раздраженно от меня отмахнулась. Даже самая невинная шутка казалась ей в ту минуту неуместной.

— Не понимаю, просто не понимаю, почему он стал такой. До войны он был как все. Вы, может, не поверите, но он очень сильный теннисист и недурно играет в гольф. Раньше он делал все, что и мы, остальные. Был самым обыкновенным мальчиком и, судя по всему, должен был стать самым обыкновенным мужчиной. Вы же как-никак писатель. Вы должны найти этому объяснение.

— Кто я такой, чтобы разобраться в бесконечных сложностях человеческой природы?

— Поэтому я и хотела с вами поговорить, — продолжала она, не слушая.

— Вам тяжело?

— Нет, это не то слово. Когда Ларри нет рядом, все как будто в порядке. Это когда мы вместе, я чувствую себя такой слабой. И до сих пор что-то не отпускает, тянет, не дает распрямиться, вот как бывает после верховой прогулки, когда перед тем давно не садилась на лошадь; это не боль, это вполне можно терпеть, но чувствуешь все время. Скоро, наверно, пройдет. Только очень уж обидно, что Ларри себя губит.

— Может, еще и не погубит. Он пустился в долгий трудный путь, но в конце пути, возможно, и найдет то, что ищет.

— А что он ищет?

— Вы не догадались? А по-моему, из его слов это явствует. Он ищет Бога.

— Бог ты мой! — вскричала она удивленно и недоверчиво. Но мы тут же невольно рассмеялись — очень уж забавно получилось, что одно и то же слово мы употребили так по-разному. Изабелла, впрочем, сразу опять стала серьезной, мне даже показалось, что она немного испугана.

— С чего вы это взяли?

— Это всего лишь догадка. Но вы ведь просили меня как писателя сказать, что я обо всем этом думаю. К сожалению, вы не знаете, какое именно потрясение, пережитое на войне, так сильно повлияло на Ларри. Вероятно, это был какой-то внезапный удар, к которому он не был подготовлен. Вот мне и кажется, что это переживание, каково бы оно ни было, открыло ему глаза на быстротечность жизни и породило мучительное желание увериться в том, что есть все же воздаяние за все грехи и горести мира.

Я видел, что от такого поворота в нашем разговоре Изабелле стало не по себе. Она почувствовала, что теряет почву под ногами.

— Очень уж мрачно это звучит. Мир надо принимать таким, как он есть. Раз уж мы существуем, надо брать от жизни все, что можно.

— Должно быть, вы правы.

— Я вот знаю, что я — самая обыкновенная, нормальная женщина. И хочу жить в свое удовольствие.

— Видимо, это случай полной несовместимости характеров. И хорошо, что вы в этом убедились еще до брака.

— Я хочу выйти замуж и иметь детей, и жить...

— В той общественной сфере, в которой милостивому провидению угодно было вас поселить, — закончил я с улыбкой.

— А что в этом дурного? Сфера очень приятная, я ею вполне довольна.

— Вы с Ларри — как двое друзей, которые хотят вместе провести отпуск, только одного прельщает восхождение на ледяные пики Гренландии, а другого — рыбная ловля в атоллах у берегов Индии. Ясно, что им не сговориться.

— На ледяных пиках Гренландии я хоть могла бы добыть себе котиковое манто, а в атоллах у берегов Индии, по-моему, и рыбы-то нет.

— Это еще неизвестно.

— Почему вы так говорите? — спросила она, хмурясь. — Мне кажется, вы все время чего-то недоговариваете. Я понимаю, что главную роль здесь играю не я, а Ларри. Он идеалист, он мечтатель, и, даже если его высокая мечта не сбудется, честь ему и слава, что такая мечта у него была. А моя роль — практичной, расчетливой стяжательницы. Здравый смысл обычно не вызывает сочувствия, ведь так? Но вы забываете, что платить-то пришлось бы мне. Ларри витал бы в облаках, а мне осталось бы плестись за ним и сводить концы с концами. А я хочу жить.

— Я этого вовсе не забываю. Когда-то давно, еще в молодости, я знал одного человека, врача, и очень неплохого, но практиковать он не хотел. Он годами просиживал в библиотеке Британского музея и время от времени, с большими промежутками, производил на свет огромный труд, не то научный, не то философский, которого никто не читал и который он был вынужден издавать на свои средства. Таких никчемных фолиантов он написал четыре или пять. У него был сын, он мечтал служить в армии, но на учение в Сандхерсте не было денег, он пошел рядовым. И был убит на войне. Была у него и дочь, очень хорошенькая, я слегка за ней ухаживал. Та пошла на сцену, но таланта у нее не оказалось, и она колесила по провинции в составе второразрядных трупп, на крошечных ролях и за грошовое жалованье. Мать ее из года в год гнула спину на тяжелой нескончаемой домашней работе, здоровье ее сдало, и девушке пришлось вернуться домой и взвалить на себя ту же отупляющую работу, на которую у матери не было сил. Исковерканные, впустую прожитые жизни, и ради чего — неизвестно. Да, сойти с проторенного пути — та же лотерея. Много званных, но мало избранных.

— Мама и дядя Эллиот меня одобряют. А вы?

— Милый друг, какое это для вас имеет значение? Я же для вас посторонний человек.

— Вы для меня объективный наблюдатель, — пояснила она с милой улыбкой. — Мне ваше одобрение важно. Вы ведь тоже считаете, что я поступила правильно?

— Я считаю, что вы поступили правильно для себя, — ответил я, почти уверенный, что она не уловит маленькой разницы между своими словами и моими.

— Тогда почему меня совесть мучает?

— А она мучает?

Все еще улыбаясь, но теперь уже не весело, она кивнула головой.

— Я знаю, это единственный разумный выход. Каждый нормальный человек согласится, что иначе я поступить не могла. С какой практической точки зрения ни взглянуть — с точки зрения житейской мудрости, или приличий, или принятых понятий о том, что хорошо и что плохо, — я сделала то, что должна была сделать. И все-таки в глубине души меня что-то гложет, все кажется, что, будь я лучше, добрее, благороднее, я вышла бы за Ларри и разделила его жизнь. Если б только я достаточно его любила, мне все было бы нипочем.

— Можно сказать и наоборот: если б он достаточно вас любил, он исполнил бы вашу волю.

— Я и так пробовала думать. Но это не помогает... Наверно, самопожертвование больше свойственно женщинам, чем мужчинам. — Она усмехнулась. — Ну, знаете, Руфь и поля моавитские, и все такое.

— Так рискните.

До сих пор мы говорили в легком тоне, словно речь шла об общих знакомых, чьи дела мы не принимаем особенно близко к сердцу, и даже передавая мне свой разговор с Ларри, Изабелла одобрила свой рассказ живым, веселым юмором, словно не хотела, чтобы я отнесся к нему слишком серьезно. Но теперь она побледнела.

— Я боюсь.

Мы помолчали. По спине у меня пробежал холодок, как всегда бывает, когда я оказываюсь перед глубоким, подлинным человеческим чувством. Для меня в этом есть что-то грозное, пугающее.

— Вы очень его любите? — спросил я наконец.

— Не знаю. Он меня бесит. Выводит из себя. А тоскую я по нем ужасно.

И опять мы умолкли. Я не знал, что сказать. В маленькой кофейне было полутемно от густых кружевных занавесок на окнах. По стенам, оклеенным желтыми «мраморными» обоями, висели старые гравюры, изображавшие охоту и скачки. И вся комната с ее мебелью красного дерева, потертыми кожаными креслами и влажным, спертым воздухом напоминала кофейню из романа Диккенса. Я помешал в камине и подбавил угля. Внезапно Изабелла заговорила.

— Понимаете, я думала, если поставить вопрос ребром, он сдастся. Я ведь знала, что он слабый.

— Слабый? — вскричал я. — Из чего вы это заключили? Человек больше года поступал вопреки осуждению всех своих друзей и знакомых, потому что твердо решил не сворачивать с избранного пути...

— Я всегда могла подбить его на что угодно. Я из него веревки вила. И в компании нашей он никогда не верховодил. Куда мы, туда и он.

Я следил, как кольцо дыма от моей папиросы становилось все больше, а потом растаяло в воздухе.

— Мама и Эллиот были очень недовольны, что я после всюду с ним бывала, как будто ничего не случилось, но сама я как-то не принимала это всерьез. Все думала, что в конце концов он уступит. Я просто не могла поверить, что, когда мне удастся вбить в его глупую голову, что я не шушу, он и тогда будет упорствовать. — Она помедлила и одарила меня озорной, лукавой улыбкой. — Вы будете очень шокированы, если я расскажу вам одну вещь?

— Едва ли. Для этого много нужно.

— Когда мы решили уехать в Лондон, я позвонила Ларри и предложила ему провести мой последний вечер в Париже вместе. Дядя Эллиот, когда я им сказала, заявил, что это в высшей степени неприлично, а мама сказала, что, на ее взгляд, это лишнее. Когда мама говорит «это лишнее», надо понимать, что она решительно против. Дядя Эллиот спросил, что мы задумали, и я сказала, что мы решили где-нибудь пообедать, а потом поехать по ночным клубам. Он сказал маме, что она должна запретить эту эскападу. Мама спросила: «Если я тебе это запрещаю, ты слушаешься?» А я ответила: «Нет, мамочка, ни в коем случае». Тогда она сказала: «Ну вот, я так и думала. А раз так, много ли проку будет от моего запрета?»

— Ваша мама — на редкость разумная женщина.

— Она все, решительно все замечает. Когда Ларри за мной заехал, я пошла к ней проститься. Я была немножко накрашена, вы ведь знаете, в Париже без этого нельзя, а то чувствуешь себя такой голой, и когда она увидела, какое я надела платье, она так оглядела меня с головы до ног, что я даже поежилась, — не иначе как догадалась, что я задумала. Но она ничего не сказала. Только поцеловала меня и пожелала весело провести время.

— А что вы задумали?

Изабелла поглядела на меня с сомнением, словно еще не решила, до конца ли быть со мной откровенной.

— В зеркале я себе понравилась, и это был мой последний шанс. Ларри заранее заказал столик у Максима. Мы ели разные вкусные вещи, все мое самое любимое, и пили шампанское. Тараторили без умолку, во всяком случае я, и Ларри много смеялся. Я всегда могу его рассмешить, отчасти поэтому мне и было с ним так хорошо. Мы потанцевали, потом поехали в кафе «Мадрид». Там встретили знакомых и опять пили шампанское. Потом все вместе поехали в «Акацию». Ларри танцует очень хорошо, и мы с ним станцевались. Жара, музыка, вино — в голове туман, море по колено. Я танцевала с Ларри щекой к щеке и чувствовала, что он меня хочет. А уж я как его хотела... И тут я придумала. Подсознательно-то я, наверно, думала это все время. Я решила — пусть он проводит меня домой и войдет, а уж там — там неизбежное неизбежно случится.

— Право же, изящнее выразить вашу мысль было бы трудно.

— Моя комната была на отлете, далеко от маминой и дяди Эллиота, так что на этот счет я была спокойна. И я решила, что, когда мы вернемся в Америку, я напишу ему, что жду ребенка. Тогда он должен будет приехать и жениться на мне, а уж если он окажется дома, я сумею его там удержать, тем более что мама болеет. Я говорила себе: «Дура же я была, что раньше не додумалась. Ну конечно, теперь все будет в порядке». Когда музыка кончилась, мы еще постояли обнявшись и я сказала, что уже поздно, а поезд наш отходит в полдень, так что пора ехать домой. Мы взяли такси. Я к нему прижалась, а он обнял меня и стал целовать. Он меня целовал, целовал... это было такое счастье. Я и не заметила, как мы доехали. Ларри расплатился.

— Пойду домой пешком.

Такси укатило, я обняла его за шею и сказала:

— Зайди, выпьем на прощание.

— Ну что ж, давай.

Он позвонил, дверь открылась. Входя в вестибюль, он включил свет. Я посмотрела ему в глаза. Они были такие честные, доверчивые, такие невинные, так было ясно, что у него и в мыслях нет, что я готовлю ему западню, и я почувствовала, что не могу сделать ему такую гадость. Все равно что отнять у ребенка конфету. Знаете, что я сделала? Я сказала: «А в общем лучше, пожалуй, не стоит. Маме сегодня нездоровилось, может, она уснула, так я боюсь, не разбудить бы ее. Спокойной ночи». Я дала ему еще раз меня поцеловать и вытолкала его за дверь. Тем дело и кончилось.

— И теперь вы об этом жалеете?

— И не жалею, и не рада. Я просто не могла иначе. Как будто это не я сделала. Как будто кто-то действовал за меня. — Она скорчила забавную гримаску. — Мое лучшее «я», так это, кажется, называется.

— Наверно, так.

— Тогда пусть мое лучшее «я» и расплывается. Авось впрямь будет осторожнее.

На этом, в сущности, наш разговор закончился. Возможно, Изабелле стало легче на душе оттого, что она выложила кому-то все без утайки, но сделать для нее больше этого я не мог. Чувствуя, что не оправдал ожиданий, я все же попробовал хоть что-то сказать ей в утешение.

— Знаете, — сказал я, — когда бываешь влюблен и все получается тебе наперекор, страдаешь ужасно и кажется, что пережить это невозможно. Но море — великий целитель, скоро сами узнаете.

— Это как же понимать? — улыбнулась она.

— А вот как: любовь не выносит качки, от морских переездов она хиреет. Когда между вами и Ларри ляжет Атлантический океан, вы сами убедитесь, как мало осталось от той боли, что раньше казалась нетерпимой.

— Вы говорите по личному опыту?

— По опыту бурного прошлого. Когда меня одолевали муки неразделенной любви, я тут же брал билет на океанский лайнер.

Дождь, видимо, зарядил надолго; мы решили, что ничего страшного не будет, если Изабелла не увидит достопримечательностей Хэмптон-Корта, даже кровати королевы Елизаветы, — и поехали обратно в Лондон. После этого

я видел ее еще два или три раза, но не одну. А потом мне захотелось отдохнуть от Лондона, и я махнул в Тироль.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Прошло десять лет, в течение которых я не видел ни Изабеллу, ни Ларри. С Эллиотом я продолжал видеться, и даже (по причинам, о которых будет сказано ниже) чаще прежнего, и от него иногда узнавал что-нибудь новое про Изабеллу. О Ларри же он ничего не мог мне сказать.

— Откуда мне знать, может быть, он все еще в Париже, но едва ли мы когда-нибудь встретимся. Мы вращаемся в разных кругах, — пояснил он снисходительно. — Очень при-
скорбно, что он так опустил ся. Ведь он из хорошей семьи. Если бы он мне доверился, я несомненно мог бы вывести его в люди. Нет, Изабелла вовремя с ним рассталась.

Я не был столь разборчив, как Эллиот, и в Париже у меня было несколько знакомых, общаться с которыми он считал бы ниже своего достоинства. Во время моих коротких, но довольно частых наездов я спрашивал кое-кого из них, не встречали ли они Ларри, не слышали ли о нем; иные его помнили, но близко с ним не был знаком никто, и никто не мог мне сообщить о нем каких-либо сведений. Я побывал в ресторане, где он обычно обедал, там сказали, что он не заходил уже давно, должно быть уехал. И не попался он мне ни в одном кафе на бульваре Монпарнас, куда часто заглядывают обитатели этого района.

Когда Изабелла уехала, он собирался в Грецию, но потом передумал. А о том, что с ним было дальше, он сам поведал мне много лет спустя, я же расскажу об этом сейчас, потому что события удобнее располагать по возможности в хронологическом порядке. Все лето и почти всю осень он оставался в Париже.

— А потом, — сказал он, — я почувствовал, что хватит с меня книг, надо отдохнуть. Два года я сидел над книгами по восемь-десять часов в сутки. И я пошел работать в угольную шахту.

— Куда? — вскричал я, пораженный.

Он засмеялся.

— Я решил, что несколько месяцев физического труда — это как раз то, что мне нужно. Что это позволит мне разобраться в своих мыслях и перестать спорить с самим собой.

Я не ответил. Только ли это, думал я, было причиной для такого неожиданного шага или же этот шаг был связан с отказом Изабеллы выйти за него замуж? Ведь я понятия не имел, насколько глубоко он ее любит. Влюбленные находят тысячи способов убедить себя в том, что раз им чего-то хочется, значит это разумно. Отсюда, думается мне, и огромное число неудавшихся браков. Вот так же люди порой вверяют свои дела близкому другу, хоть и знают, что он мошенник: они отказываются верить, что мошенник — в первую очередь мошенник, а потом уже друг; они убеждены, что хотя с другими он поступает бесчестно, их-то он не обманет. У Ларри хватило сил не пожертвовать ради Изабеллы той жизнью, которую он себе выбрал, но возможно, что потерять ее оказалось горше, чем он ожидал. Возможно, он, как и все мы грешные, мечтал, что и волки будут сыты, и овцы целы.

— И что же было дальше? — спросил я.

— Я упаковал мои книги и одежду и сдал на хранение в «Америкен экспресс». Потом уложил в чемодан сменный костюм и кое-какое белье и пустился в путь. У моего учителя греческого языка сестра была замужем за управляющим одной шахтой в Лансе, и он дал мне к нему письмо. Вы Ланс знаете?

— Нет.

— Это на севере Франции, недалеко от бельгийской границы. Там я переночевал в первоклассной гостинице, а на следующий день рабочим поездом добрался до места. Вы когда-нибудь бывали в шахтерском поселке?

— Только в Англии.

— А они, наверно, везде на одно лицо. Шахта, дом управляющего, и ряд за рядом двухэтажные домики, все одинаковые, один как другой, хоть плачь. Еще — уродская церковь недавней постройки и несколько кабаков. Приехал я туда в холодный, ненастный день, уже начинался дождь. Нашел контору и предъявил управляющему мое письмо. Он был маленький, толстенький, с красными щечками и, как видно, любитель поесть. У них была нехватка рабочих рук, много шахтеров погибло на войне, они даже взяли на работу поляков, человек двести — триста. Он задал мне несколько вопросов, поморщился, когда узнал, что я американец, почему-то это показалось ему подозрительным, но его шурин дал обо мне хороший отзыв, и он меня зачислил. Хотел было дать мне работу на поверхности, но я

сказал, что хочу в шахту. Он сказал, что с непривычки трудно будет, я сказал — ничего, и он поставил меня подручным забойщика. Вообще-то это работа для мальчишек, но мальчишек тоже не хватало. Он был славный человек, спросил, устроился ли я с жильем, а когда узнал, что нет, написал мне на бумажке адрес одной женщины, которая наверняка сдаст мне койку. Вдова шахтера, муж погиб, оба сына работают в шахте.

Я взял свой чемодан и отправился. Нашел квартиру, дверь мне открыла высокая, тощая женщина, полуседая, с большими темными глазами. В молодости, наверно, была красивая. Она и тогда еще была бы недурна, несмотря на жуткую худобу, жаль только, двух передних зубов не хватало. Она сказала, что целой комнаты у нее нет, но есть комната с двумя койками, одну снимает поляк, вторая свободна. Наверху в одной комнате живут ее сыновья, в другой — она сама. Нижняя комната, которую она мне показала, раньше, наверно, называлась гостиной; я бы предпочел иметь свой угол, но подумал, что привередничать не стоит, к тому же и дождь разошелся вовсю, я уже успел промокнуть. Не хотелось опять выходить на улицу, и я сказал, что это мне подходит, и остался у нее. Гостиной им теперь служила кухня, там даже стояло несколько ветхих кресел. Во дворе был сарай для угля, он же баня. Братья и поляк брали завтраки с собой на работу, а мне она предложила поесть вместе с нею в полдень. Потом я сидел в кухне и курил, а она делала свои домашние дела и рассказывала о себе и своей семье. После смены вернулся домой поляк, а вскоре за ним и братья. Поляк молча кивнул мне, когда хозяйка сказала, что я буду жить с ним в одной комнате, взял с плиты большущий чайник и пошел в сарай мыться. Оба парня были рослые, красивые, даже под слоем грязи, и отнеслись ко мне приветливо. Им казалось ужасно смешно, что я американец. Одному было девятнадцать лет, через несколько месяцев идти на военную службу, другому восемнадцать.

Дождавшись возвращения поляка, парни тоже ушли смывать с себя грязь. Имя у поляка было трудное, и все звали его Кости. Был он верзила дюйма на три выше меня и сложения атлетического. Лицо у него было бледное, мясистое, нос картошкой и большой рот. Глаза голубые и как будто подведенные, потому что ему никак не удавалось отмыть брови и ресницы от угольной пыли. Эти черные

ресницы придавали его голубым глазам какой-то нестерпимый блеск. Некрасивый он был и нескладный. Сыновья хозяйки переделались и ушли, а поляк все сидел в кухне, курил и читал газету. Я достал из кармана книгу и тоже стал читать. Он глянул на меня раз, другой, потом отложил газету и спросил:

«Что читаете?»

Я молча протянул ему книгу. Это была «Принцесса Клевская», я купил ее на вокзале в Париже, благо формат был карманный. Он поглядел на книжку, потом с любопытством на меня и вернул ее. На губах у него мелькнула насмешливая улыбка.

«Вас это забавляет?»

«По-моему, очень интересно, даже увлекательно».

«Я это читал в школе, в Варшаве. Решил, что скука смертная. — По-французски он говорил хорошо, почти без акцента. — Теперь-то я ничего не читаю, только газеты и детективные романы».

Мадам Дюклер, наша хозяйка, сидела у столика и штопала носки, в то же время приглядывая за супом, который варила на ужин. Она рассказала Кости, что меня к ней прислал управляющий, и передала ему то, что я счел нужным сообщить ей о себе. Он слушал, попыхивая трубкой и глядя на меня своими блестящими голубыми глазами. Взгляд был жесткий и пронизательный. Он стал меня расспрашивать. Когда я сказал, что никогда не работал в шахте, насмешливая улыбка снова тронула его губы.

«Значит, вы не знаете, что вас ждет. Никто не пойдет работать в шахту, если есть выбор. Но это дело ваше. Не сомневаюсь, что у вас есть свои причины. В Париже вы где жили?»

Я сказал.

«Было время, я каждый год ездил в Париж. Только я держался ближе к Большим бульварам. У Ларю бывали? Это был мой любимый ресторан».

Я удивился. Ресторан, если помните, не из дешевых.

— Отнюдь.

Он, конечно, заметил мое удивление — опять я увидел эту насмешливую улыбку, — но от объяснений воздержался.

Мы еще потолковали о том о сем, потом вернулись братья, и мы поужинали. А после ужина Кости предложил мне пойти в бистро выпить пива. Там была всего одна комната, в одном конце стойка, а дальше мраморные столики и деревянные стулья. Еще там стояла пианола, кто-то сунул

в щель монету, и она орала танцевальный мотив. Кроме нашего, было занято еще три стола. Кости спросил, играю ли я в белоту. Меня этой игре обучили в Париже молодые люди, с которыми я вместе занимался, и Кости предложил мне сыграть на пиво. Я согласился, он потребовал карты. Я проиграл одну кружку, проиграл вторую. Тогда он предложил поиграть на деньги. Карта ему шла, а мне не везло. Ставки были ничтожные, но я проиграл несколько франков. От выигрыша и от пива он пришел в хорошее настроение и разговорился. И по манерам его, и по тому, как он говорил, я скоро понял, что человек он образованный. Когда речь опять зашла о Париже, он спросил, не знал ли я такую-то и такую-то — американок, которых я встречал у Эллиота, когда тетя Луиза с Изабеллой у него гостили. Сам он, видимо, знал их лучше, чем я, и мне стало любопытно, как он дошел до своей теперешней жизни. Было еще не поздно, но вставать нам предстояло с рассветом.

«Давай по последней», — предложил он.

Он потягивал пиво и смотрел на меня своими маленькими зоркими глазками, и тут я сообразил, кого он мне напоминает: сердитого кабана.

«Зачем тебе понадобилось работать в этой треклятой шахте?» — спросил он.

«Хочу обогатить свой опыт».

«*Tu es fou, mon petit*»¹.

«А вы зачем здесь работаете?»

Он неуклюже вздернул тяжелые плечи.

«Мой отец был царским генералом. Я учился в кадетском корпусе, а в войну служил офицером в кавалерии. Я ненавидел Пилсудского. Мы сговорились его убить, но кто-то нас выдал. Тех из нас, кого сумели схватить, он расстрелял. Мне в последнюю минуту удалось бежать через границу. Что мне оставалось? Либо Иностранный легион, либо угольная шахта. Я выбрал меньшее из зол».

Я уже говорил Кости, на какую работу меня определили, и тогда он промолчал, а теперь поставил локоть на стол и сказал:

«Ну-ка, отогни мою руку».

Я знал этот старый способ меряться силами и приложил к его ладони свою. Он рассмеялся: «Через неделю руч-

¹ С ума сошел, малыш (*фр.*).

ка у тебя будет не такая нежная». Я стал давить что было силы, но у него ручища была как железная, и постепенно он отвел мою руку назад, до самого стола. И тут же снизошел до похвалы:

«Силенка у тебя ничего. Другие и столько не выдерживают. Знаешь что, подручный у меня никуда не годится, плюгавый такой французишка, силы как у вши. Пойдем-ка завтра со мной, я скажу старшему, пусть лучше даст мне тебя».

«Я бы с удовольствием. А он согласится?»

«Подмазать надо. Лишние пятьдесят франков у тебя найдутся?»

Он протянул руку, я достал из бумажника кредитку. Мы пошли домой и легли спать. Длинный это получился день, я заснул как убитый.

— И что же, трудная оказалась работа? — спросил я Ларри.

— Сначала было зверски трудно, — признался он, ухмыляясь. — Кости договорился со старшим, и меня дали ему в подручные. Он в то время работал в забое размером в ванную комнату в отеле, а попадать туда надо было через штрек, такой низкий, что приходилось ползти на четвереньках. Жарко там было как в пекле, мы работали в одних штанах. И очень было противно смотреть на Кости с его огромным белым торсом — этакий гигантский слизняк. Грохот отбойного молотка в этой тесной норе буквально оглушал. Моя работа состояла в том, чтобы подбирать куски угля, которые он вырубал, складывать их в корзину и протаскивать эту корзину через штрек в штольню, а там его грузили на вагонетки и везли к подъемникам. Я только одну эту угольную шахту и видел, так что не знаю, везде ли принят такой порядок. Мне он казался дилетантским, а работа адова. В середине рабочего дня мы делали перерыв, съедали свой завтрак и курили. Я еле мог дожждаться конца смены, зато мыться потом было чистое наслаждение. Ноги, бывало, никак не отдерешь — черные, как чернила. На руках, конечно, появились волдыри, болели они дьявольски, но потом подсохли. Я привык к этой работе.

— И надолго вас хватило?

— В забое меня держали неполных два месяца. Вагонетки, на которых уголь подвозили к подъемнику, таскал тягач, откатчик на нем работал никудышный, и мотор то и дело глох. Однажды он никак не мог его запустить, совсем

замучился. Ну, а я в технике разбираюсь, я понял, в чем там дело, и через полчаса он у меня заработал. Старший рассказал про это управляющему, тот меня вызвал и спросил, знаю ли я толк в машинах. В результате мне дали место того откатчика. Работа, конечно, очень однообразная, зато легкая, и мотор перестал шалить, а значит — мною были довольны.

Кости рвал и метал, когда меня от него взяли. Он, мол, на меня не жаловался, он ко мне привык. Я его неплохо узнал за это время, как-никак целыми днями вместе работали, по вечерам вместе ходили в бистро и спали в одной комнате. Станный он был человек. Вас бы такой, вероятно, заинтересовал. С другими поляками он не знался, мы и в те кафе не ходили, в которых они бывали. Он все не мог забыть, что он дворянин и был кавалерийским офицером, а на них смотрел как на последнюю шваль. Их это, понятно, обижало, но поделаться они ничего не могли: он был силен как бык, и если б дошло до драки, даже если б они пустили в ход ножи, один уложил бы их два десятка. Я-то кое с кем из них все же познакомился, и они мне сказали, что кавалерийским офицером он действительно был и служил в отборных частях, а вот что он покинул Польшу по политическим причинам — это враки. Его вышибли из офицерского клуба в Варшаве и уволили из полка, потому что он плутовал в карты и его на этом поймали. И мне они советовали не играть с ним. Уверяли, что он потому их и сторонится, что они слишком много о нем знают и отказываются с ним играть.

А я и правда все время ему проигрывал — так, понемножку, по несколько франков за вечер, но когда он выигрывал, то непременно платил за выпивку, так что, в сущности, получалось одно на одно. Я думал, что мне просто не везет, либо он лучше меня играет, но после этих разговоров стал держать ухо востро и уже не сомневался, что он передергивает, а вот как это он делает — хоть убей не мог уловить. Ловок был до черта. Я уже понимал, что не может ему все время идти хорошая карта, следил за ним, как рысь. А он был хитер как лисица, и наверняка догадался, что мне насчет него намекнули. Как-то вечером мы поиграли немного, а потом он поглядел на меня с этой своей насмешливой, скорее даже жестокой улыбкой — по-другому он улыбаться не умел — и говорит:

«Хочешь, покажу тебе фокус?»

Взял колоду и велел назвать какую-нибудь карту. Потом стасовал, дал мне вытянуть одну карту, и оказалась та самая, которую я назвал. Показал и еще пару фокусов, потом спросил, играю ли я в покер. Я сказал, что играю. Он сдал. У меня оказались четыре туза и король. «И много бы ты поставил на такую сдачу?» Я сказал, что поставил бы все, что имел. «Ну и дурак бы был». Он открыл карты, которые сдал себе. Оказалось — флеш. Как он это проделал — не знаю. А он только смеется: «Не будь я честным человеком, я бы тебя давно по миру пустил».

«Вы и так на мне заработали».

Мы продолжали играть почти каждый вечер. Я пришел к выводу, что мошенничает он не столько ради денег, сколько ради забавы. Ему приятно было сознание, что он меня дурачит, а больше всего, кажется, радовало, что я его раскусил, а за техникой его уследить не могу.

Но это была только одна его сторона, а меня больше интересовала другая. И никак они между собой не вязались. Хоть он и хвастал, что ничего не читает, кроме газет и детективных романов, человек он был культурный. Отлично говорил — язвительно, едко, цинично, но так, что заслушаешься. Был набожным католиком, над кроватью у него висело распятие, и каждое воскресенье он ходил в церковь. А по субботам напивался. Наше быстро в субботу вечером было битком набито, воздух — хоть топор вешай. Туда приходили и степенные пожилые шахтеры с семьями, и молодые горластые парни, и многие мужчины, обливаясь потом, с громкими выкриками сражались в белоту, а их жены сидели немного позади и смотрели. Теснота и шум действовали на Кости своеобразно — он становился серьезным и начинал рассуждать, о чем бы вы думали? — о мистицизме. Я в то время только и знал об этом, что очерк Метерлинка о Рейсброке, попался мне как-то в Париже. А Кости толковал про Плотина, и про Дионисия Ареопагита, и про сапожника Якоба Беме, и про мастера Экхарта. Было что-то фантастическое в том, как этот косолапый проходимец, выброшенный из своего общественного круга, этот озлобленный ерник и бродяга толкует о конечной реальности мира и о блаженстве слияния с Богом. Для меня все это было внове, сбивало с толку, будоражило. Словно человек проснулся в затемненной комнате, и вдруг сквозь щель в занавесках пробился луч света, и он чувствует, что стоит их раздернуть — и перед глазами в сиянии зари

откроется широкая равнина. Но если я пытался навести Кости на эту тему, когда он был трезвый, он смотрел на меня злыми глазами и рывкал: «Почем я знаю, что я горю, когда сам не знал, что говорю?»

Но я понимал, что он врет. Он прекрасно знал, о чем говорил. Он много чего знал. Конечно, он был пьян, но выражение его глаз, восторг, написанный на его уродской физиономии, — этого одним алкоголем не объяснишь. Было тут и что-то еще. Когда он в первый раз об этом заговорил, он сказал одну вещь, которую я никогда не забуду, так она меня ужаснула: он сказал, что мир — это не творение, потому что из ничего ничего не бывает; это еще куда ни шло, но дальше он добавил, что зло — столь же непосредственное проявление Божественного начала, как и добро. Странно было услышать такое в прокуренной шумной пивней, под аккомпанемент танцевальных мотивчиков на пианоле.

II

Новую главу я начинаю с единственной целью — дать читателю короткую передышку, ведь разговор наш продолжался без перерыва. Пользуясь случаем, скажу, что говорил Ларри не спеша, местами делая паузы, чтобы подобрать нужное слово, и, хотя я, конечно, повторяю его рассказ не дословно, я постарался передать не только смысл его, но и манеру изложения. Его голос приятного музыкального тембра был богат интонациями; он не помогал себе жестами, только изредка умолкал, чтобы раскурить трубку, и, говоря, смотрел мне прямо в лицо ласковыми глазами, в которых то и дело загоралась усмешка.

— Пришла весна, в этой плоской, унылой части Франции она приходит поздно, дожди и холода еще держались, но выпадали и теплые, ясные дни, и тогда особенно не хотелось покидать белый свет и в расшатанной клетке, набитой шахтерами в темных комбинезонах, спускаться на сотни футов вниз, в недра земли. Наступить-то весна наступила, но в этой серой, неприглядной местности выглядела робко, точно была не уверена, что ей рады. Так иногда увидишь цветок в горшке — лилию или нарцисс в окне полусгнившего дома в трущобах, и непонятно, что он тут делает. Как-то в воскресенье утром мы еще валялись в постели — по воскресеньям мы всегда вставали поздно, — я читал, а Кости вдруг и скажи:

«Ухожу я отсюда. Хочешь со мной?»

Я знал, что летом многие здешние поляки уезжают на родину убирать урожай, но для этого время еще не пришло, да и не рискнул бы Кости вернуться в Польшу.

«А вы куда собираетесь?» — спросил я.

«Бродяжить. Через Бельгию и Германию, на Рейн. Можно наняться поработать на какой-нибудь ферме, на лето и хватит».

Я не стал долго раздумывать и сказал, что мне это по душе.

На следующий день мы взяли расчет. Я уговорил одного парня обменять мне рюкзак на мой чемодан. Лишнюю одежду отдал младшему сыну мадам Дюклер, мой размер ему годился. Кости оставил у них мешок, что нужно с собой, тоже уложил в рюкзак, и во вторник, как только хозяйка напоила нас кофе, мы отправились в путь.

Мы не торопились, зная, что на работу нас могут взять не раньше, чем подойдет сенокос, и с прохладцей продвигались по Франции и Бельгии, через Намюр и Льеж, а в Германию вошли у Аахена. В день проходили миль десять-двенадцать, не больше. Приглянется какая-нибудь деревня — делаем остановку. Всегда находился трактир, где переночевать, поесть и выпить пива. С погодой нам в общем везло. И замечательно было проводить все дни на воздухе после стольких месяцев в шахте. Я раньше, кажется, и не понимал, какая это радость для глаз — зеленый луг или дерево, когда листья на нем еще не распустились, но ветви словно окутаны легкой зеленой дымкой. Кости стал учить меня немецкому, — сам он говорил на нем не хуже, чем по-французски. Он называл мне все, что встречалось нам на пути — корова, лошадь, человек, потом заставлял повторять за ним простые немецкие фразы. Так мы коротали время, а когда вступили в Германию, я уже мог хотя бы попросить, что мне нужно.

Кельн оказался в стороне от нашего маршрута, но Кости непременно пожелал туда завернуть, как он сказал — ради Одиннадцати Тысяч Дев¹, а когда мы туда пришли, он

¹ Согласно средневековой легенде, возле теперешнего Кельна погибли в первые века нашей эры 11 000 девушек-христианок, сопровождавших британскую принцессу Урсулу во Францию и в пути убитых гуннами. Туристам в Кельне до сих пор показывают хранящиеся в стене церкви Св. Урсулы черепа и кости, якобы найденные в земле на месте их захоронения.

загулял. Я не видел его три дня, потом он явился в комнату, которую мы заняли в каком-то рабочем бараке, черный как туча. Под глазом фонарь, губа рассечена, смотреть страшно — это он где-то ввязался в драку. Целые сутки проспал, а потом мы двинулись вверх по долине Рейна на Дармштадт, он сказал, что там земли плодородные и скорее всего можно получить работу.

Чудесно там было. Погода держалась, мы прошли много городов и деревень. В которых было что поглядеть — останавливались и глядели. Ночевали где придется, раза два даже на сеновале. Ели в придорожных харчевнях и, когда добрались до виноградников, перешли с пива на вино. В харчевнях заводили дружбу с тамошними жителями. Кости напускал на себя грубовато-простецкую манеру, весьма располагающую, играл с ними в скат, это такая немецкая карточная игра, и обчищал их так добродушно, с такими солеными шуточками, что они отдавали ему свои пфенниги чуть ли не с радостью. А я практиковался на них в немецком. В Кельне я купил маленький англо-немецкий разговорник, и дело у меня шло на лад. А по вечерам, влив в себя литра два белого вина, Кости странным замогильным голосом разглагольствовал о полете от Единого к Единому, о Темной Ночи Души и о конечном экстазе, в котором творение сливается воедино с предметом своего восхищения. Но если я пытался вытянуть из него еще что-нибудь рано утром, когда мы опять шагали среди смеющейся природы и роса еще сверкала на траве, он приходил в такую ярость, что готов был меня поколотить.

«Да ну тебя, идиот несчастный, — огрызался он. — На что тебе понадобился этот вздор? Учи-ка лучше немецкий».

Не очень-то поспоришь с человеком, если у него кулак как паровой молот и он не задумается пустить его в ход. Я видел его приступы бешенства. Я знал, что он способен избить меня до бесчувствия и бросить в канаве, да еще обшарить мои карманы, это тоже с него бы случилось. Он по-прежнему был для меня загадкой. Когда язык у него развязывался от спиртного и он заводил разговор о Неизреченном, он сбрасывал с себя привычное сквернословие, как тот грязный комбинезон, что носил в шахте, и выражался вполне литературно, даже красноречиво. И был, мне кажется, вполне искренен. Сам не знаю, как я к этому пришел, но однажды мне взбрело в голову, что тяжелая, изнурительная работа в шахте была ему нужна ради умерщвления плоти.

Может, он ненавидит свое огромное нескладное тело и нарочно его мучает, а его шулерство, цинизм и жестокость — это бунт его воли против... как бы это сказать, против какого-то сокровенного инстинкта святости, против жажды Бога, которая и ужасает его, и владеет им неотступно.

А время-то шло, весна миновала, листва на деревьях стала густая и темная, в виноградниках наливались гроздья. Грунтовые проселочные дороги, по которым мы ходили, стали пыльными. До Дармштадта оставалось совсем немного, и Кости сказал, что пора нам подыскивать работу. Деньги у нас почти все вышли. У меня в бумажнике было несколько аккредитивов, но я решил, что без крайней нужды не буду их разменивать. И вот мы, как увидим ферму побогаче, стали заходить и спрашивать, не требуются ли работники. Вид наш, надо полагать, не внушал доверия. Мы были грязные, потные, все в пыли. Кости — тот выглядел прямо как разбойник с большой дороги, да и я, наверно, немногим лучше. Раз за разом мы уходили ни с чем. Один фермер сказал, что Кости он согласен взять, а я ему не нужен, но Кости заявил, что мы товарищи и без меня он не пойдет. Я пробовал его уговорить, но он ни в какую. Это меня удивило. Я знал, что чем-то пришелся ему по вкусу, вот только чем — не мог уразуметь, казалось бы, ему нужны были дружки совсем иного сорта. Но чтобы он настолько ко мне привязался, что из-за меня откажется от работы — этого я не думал. Я даже почувствовал себя виноватым перед ним, потому что он-то мне, в сущности, не нравился, даже был мне противен, но, когда я промямлил что-то вроде благодарности, он разом меня оборвал.

В конце концов удача нам улыбнулась. Мы только что прошли одну деревню и, поднявшись в гору, набрали на ферму, она стояла на отшибе и вид имела вполне приличный. Постучались, дверь отворила женщина. Мы, как всегда, предложили свои услуги. Сказали, что платы нам не надо, будем работать за харчи и ночлег, и она, как ни странно, не захлопнула перед нами дверь, а велела подождать. Она кликнула кого-то, и из дома вышел мужчина. Он нас как следует разглядел, спросил, откуда мы, потребовал документы. Увидев, что я американец, еще раз оглядел меня с головы до ног. Что-то ему не понравилось, но он все же пригласил нас зайти, выпить по стакану вина. Он провел нас в кухню, и мы уселись. Женщина принесла жбан и стаканы. Хозяин нам рассказал, что его батрака

боднул бык, парень в больнице и всю страду не сможет работать. А с работниками нынче туго, столько мужчин убито на войне, другие уходят на фабрики, вон их сколько понастроили на Рейне. Это нам было известно, мы, собственно, на это и рассчитывали. Ну, короче говоря, он нас нанял. В доме места было сколько угодно, но наше соседство его, видно, не прельщало; как бы там ни было, он предупредил, что на сеновале есть две койки и спать мы будем там.

Работа оказалась не тяжелой. Ухаживать за коровами, за свиньями, привести в порядок инвентарь. Оставалось и свободное время. Я любил поваляться в душистой траве, а вечером уходил бродить и мечтать. Хорошая была жизнь.

Семья состояла из старика Беккера, его жены, овдовевшей снохи и ее детей. Сам Беккер был грузный седой мужчина лет около пятидесяти; он прошел всю войну, был ранен в ногу и еще хромотал. Рана сильно болела, и он глушил боль вином. Спать ложился обычно пьяный. С Кости они спелись, после ужина вместе уходили в трактир, резались в скат и пили. Фрау Беккер раньше была батрачкой. Ее взяли из приюта, а после смерти своей первой жены Беккер на ней женился. Она была намного лет моложе его, по-своему недурна — цветущая блондинка, краснощекая, с голодным чувственным взглядом. Кости смекнул, что тут есть чем поживиться. Я сказал ему, чтоб не валял дурака: работа у нас хорошая, глупо будет ее потерять. Он меня высмеял, сказал, что Беккера ей мало и она сама виснет. Я знал, что звать к его порядочности бесполезно, но советовал ему быть осторожным: Беккер-то, может быть, и не заподозрит ничего дурного, а вот его сноха — та все примечает.

Сноху звали Элли, она была крепкая, ядреная, еще молодая — тридцати не было, черноволосая, с бледным квадратным лицом и угрюмым выражением черных глаз. Она еще носила траур по мужу — он был убит под Верденом. Очень была набожная, по воскресеньям два раза ходила в деревню — утром к ранней обедне, под вечер ко всеношной. У нее было трое детей, младший родился уже после смерти отца, и за столом она если и открывала рот, так только чтобы на них прикрикнуть. Понемногу работала на ферме, но почти все свое время посвящала детям, а вечерами сидела одна в гостиной, с открытой дверью, чтобы услышать, если кто из них заплачет, и читала романы. Друг

друга эти женщины терпеть не могли. Элли презирала фрау Беккер за то, что она приютская и раньше жила в услужении, и не могла ей простить, что она — хозяйка дома и вправе командовать.

Сама Элли была дочерью богатого фермера, за ней дали хорошее приданое. Училась она не в деревенской школе, а в Цвингенберге, ближайшем городке, где была женская гимназия, и образование получила вполне приличное. А бедная фрау Беккер с четырнадцати лет батрачила, и только и умела, что кое-как читать и писать. Это тоже служило причиной раздоров, Элли не упускала случая похвалиться своими познаниями, а фрау Беккер, багровая от гнева, возражала, что жене фермера образование ни к чему.

Тогда Элли бросала взгляд на личный знак своего мужа, который носила на руке на стальной цепочке, и с выражением горечи на угрюмом лице говорила:

«Не жене. Всего лишь вдове. Всего лишь вдове героя, отдавшего жизнь за отечество».

Бедняга Беккер только и делал, что их разнимал.

— А к вам они как относились? — перебил я Ларри.

— А-а, они решили, что я дезертировал из американской армии и не могу вернуться в Америку, а то меня посадят в тюрьму. Этим они объясняли, почему я не хожу в трактир с Беккером и Кости. Думали, что я не хочу привлекать к себе внимание и подвергаться расспросам деревенского полицейского. Когда Элли узнала, что я стараюсь научиться немецкому, она достала свои старые учебники и сказала, что будет со мной заниматься. И вот после ужина мы с ней стали уходить в гостиную, оставив фрау Беккер на кухне, и я читал ей вслух, а она поправляла мое произношение и разъясняла непонятные слова. Я подозревал, что делает она это не столько из желания мне помочь, сколько чтобы покичиться перед фрау Беккер.

Кости тем временем обхаживал фрау Беккер, но все без толку. Она была веселая, общительная, не прочь пошутить с ним и посмеяться, а любезничать с женщинами он умел. Она, наверно, догадалась, куда он гнет, и это ей, может быть, даже льстило, но, когда он попробовал ее ущипнуть, приказала рукам воли не давать и закатила ему оплеуху, надо полагать — довольно увесистую.

Ларри чуть помедлил и застенчиво улыбнулся.

— Я никогда не воображал, что женщины за мной гонятся, но у меня появилось ощущение, что фрау Беккер...

ну, в общем, что я ей нравлюсь. Мне это было неприятно. Она ведь была намного старше меня, да и старик Беккер, что ни говори, обошелся с нами по-божески. За столом, когда она раскладывала еду, я невольно замечал, что мне достаются самые большие порции, и она как будто искала случая остаться со мной наедине. И улыбалась мне, что называется, вызывающе. Спрашивала, есть ли у меня девушка, а то, мол, такому молодому мужчине, наверно, скучно в их глуши. Ну и все в этом роде. У меня было всего три рубашки, уже порядком сношенные. Она как-то сказала, что стыдно ходить в таких лохмотьях и пусть я их принесу, она зачинит. Это слышала Элли и, когда мы в следующий раз остались вдвоем, предложила починить все, что у меня есть рваного. Я сказал, что Бог с ним, не надо. Но дня через два обнаружил, что носки мои заштопаны, а рубашки залатаны и лежат где лежали — на лавочке на сеновале, куда мы складывали свои вещи. Которая из них это сделала — я не знал. Я, конечно, не принимал фрау Беккер всерьез, она была добрая душа, я думал, может, в ней говорят материнские чувства, но однажды Кости мне сказал:

«Слушай, ей не я нужен, а ты. Мое дело табак».

«Чепуха, — сказал я. — Она мне в матери годится».

«Ну и что? Валяй, малыш, я тебе мешать не буду. Хоть она и не молоденькая, но женщина хоть куда».

«Да ладно, хватит болтать».

«А чего ты тянешь? Надеюсь, не из-за меня? Я философ, я понимаю, что не на ней свет клином сошелся. Я ее не виню. Ты молодой. Я тоже был молод. *Jeunesse ne dure qu'un moment*¹».

Меня не очень-то радовало, что Кости так уверен в том, во что сам я не хотел верить. Я растерялся, потом стал припоминать кое-какие мелочи, на которые в свое время не обратил внимания, кое-какие слова Элли, которые пропустил мимо ушей. Теперь я их понял и убедился, что ей тоже все ясно. Она неожиданно появлялась в кухне, когда мы с фрау Беккер бывали там одни. Выходило, что она за нами шпионит, это мне не понравилось. Я знал, что она ненавидит фрау Беккер и не знает, как ей насолить. Конечно, ни на чем таком поймать она нас не могла, но женщина она была недобрая и мало ли что способна была выдумать и наговорить старику Беккеру. Мне оставалось только

¹ Молодость длится всего мгновение (фр.).

притворяться дураком, точно я и не понимал, что хозяйка имеет на меня виды. На ферме мне было хорошо, и работа нравилась, и я не хотел оттуда уходить, пока мы не уберем урожай.

Я невольно улыбнулся — очень уж ясно я себе представил, как выглядел тогда Ларри — в залатанной рубаше и коротких штанах, лицо и шея дочерна загорели под жарким солнцем рейнских берегов, легкое худощавое тело и черные глаза в глубоких глазницах. Нетрудно было поверить, что при виде его белокурая фрау Беккер, полногрудая и дебелая, вся трепыхалась от страсти.

— И что же было дальше? — спросил я.

— Ну, лето подошло к концу. Работали мы как черти. Скосили и заскирдовали сено. Тут поспела вишня. Мы с Кости залезали на лестницы и обирали ее, а обе женщины складывали в огромные корзины, а Беккер возил их в Цвингенберг и продавал. Потом жали рожь. Ну, и за скотиной, конечно, по-прежнему ухаживали. Вставляли до зари, работали дотемна. Я успокоился, решил, что фрау Беккер поставила на мне крест. По мере возможности я теперь держал ее на расстоянии. И читать по-немецки по вечерам стало трудно, у меня уже за ужином глаза слипались, и я почти сразу уходил на сеновал и валился на койку. Беккер и Кости продолжали ходить по вечерам в трактир. Но когда Кости возвращался, я уже крепко спал. На сеновале было жарко, и спал я голый.

Как-то ночью меня разбудили. Спросонок я сперва не мог понять, что случилось. Почувствовал на губах горячую ладонь и вдруг понял — кто-то лежит со мной рядом. Я оттолкнул эту ладонь, и тогда чьи-то губы впились в мои, две руки меня обхватили, и я почувствовал, что ко мне прижимаются тяжелые груди фрау Беккер.

«Sei still, — шепнула она. — Тише».

Она прильнула ко мне, целовала жаркими, полными губами, руки ее шарили по моему телу, ноги цеплялись за мои.

Ларри умолк. Я не сдержал смешка.

— И что вы сделали?

— А что мне было делать? Рядом на койке спал Кости, я слышал его тяжелое дыхание. Роль Иосифа Прекрасного всегда казалась мне немного комичной. Мне было двадцать три года. Я не мог устроить сцену и вытолкать ее вон. Не хотелось ее обижать. Я сделал то, чего от меня ждали.

Потом она осторожно встала и неслышно спустилась вниз. У меня отлегло от сердца, а перетрусил я здорово. Я еще подумал — как она решилась? Вполне возможно, что Беккер вернулся пьяный и заснул, как чурбан, но они спали в одной постели, он мог проснуться и обнаружить, что ее нет. А тут еще Элли. Та всегда уверяла, что плохо спит. Если она не спала, так, наверно, слышала, как фрау Беккер спустилась со второго этажа и вышла из дому. И тут меня как ударило. Когда фрау Беккер была со мной в постели, я чувствовал прикосновение чего-то металлического, но не придавал этому значения, не тот был момент, я даже потом не спросил себя, что бы это могло быть. А тут меня осенило. Я сидел боком на койке, с тревогой гадая, что теперь может последовать, но от этой мысли вскочил как ужаленный. Металлическое — это был мужнин личный знак, который Элли носила на руке, и приходила ко мне не фрау Беккер, а Элли.

Я покатился со смеху.

— Вам смешно, — сказал Ларри, — а мне тогда было не до смеха.

— Но теперь-то, задним числом, неужели вы не усматриваете в этом хотя бы легкой примеси комического?

Он слабо, словно против воли, улыбнулся.

— Пожалуй. Но я оказался в нелепейшем положении. Я не представлял себе, что будет дальше. Элли мне не нравилась, я считал ее очень неприятной женщиной.

— Но как вы могли их спутать?

— Темнота была — хоть глаз выколи. Она ничего не говорила, только шепотом велела мне молчать. Обе они были крупные, полные. Я думал, что фрау Беккер ко мне равнодушна, а насчет Элли у меня этого и в мыслях не было. Та все вспоминала своего мужа. Я закурил и стал обдумывать свое положение, и чем дольше я его обдумывал, тем меньше оно мне нравилось. И я решил, что для меня самое милое дело — смыться.

Сколько раз я злился на Кости за то, что его так трудно будить. Когда мы работали в шахте, я, бывало, умучаюсь, пока его подниму, чтобы не опоздал к смене. Но теперь я только радовался, что он спит так крепко. Я засветил фонарь, оделся, в одну минуту покидал свои вещи в рюкзак, благо их было немного, и продел руки в лямки. По чердаку я прошел в одних носках, а башмаки надел, только когда спустился с лестницы: Ночь была темная, безлун-

ная, но дорогу я знал и свернул к деревне. Шел быстро, чтобы миновать ее, пока там все спят. До Цвингенберга было всего двенадцать миль, я дошагал туда, когда городок еще только просыпался. Никогда не забуду эту прогулку. Кругом ни звука, только мои шаги по дороге да изредка где-нибудь на ферме прокричит петух. Потом серый полумрак, еще не светло, но и не совсем темно, и первые проблески зари, и солнце всходит под пение птиц, и сочная зелень лугов и рощ, и пшеница серебристо-золотая в прохладном свете раннего дня. В Цвингенберге я выпил чашку кофе с булочкой, потом зашел на почту и послал телеграмму в «Америкен экспресс», чтобы мои книги и одежду переслали мне в Бонн.

— Почему в Бонн? — перебил я.

— А он мне понравился, когда мы останавливались там поблизости по дороге из Кельна. Понравилось, как свет ложился на крыши и на Рейн, и узкие улицы, и виллы с садами, и проспекты, обсаженные каштанами, и университетские здания в стиле рококо. Я еще в тот раз подумал, что хорошо бы там когда-нибудь пожить. Но я решил, что в таком непрезентабельном виде являться туда не стоит. Я ведь выглядел настоящим бродягой, и как на меня посмотрят, если я приду в пансион и спрошу комнату. Я уехал поездом во Франкфурт, там купил чемодан и кое-что из одежды. В Бонне я прожил с перерывами год.

— И что же, извлекли вы для себя что-нибудь из своей жизни на шахте и на ферме?

— Да, — сказал Ларри, улыбаясь, и кивнул головой.

Но уточнять он не стал, а я уже достаточно его знал и убедился, что если ему хочется о чем-то рассказать, он расскажет, а если не хочется — преспокойно отделается шуткой, и тогда настаивать бесполезно. Напомню читателю — все вышеизложенное я услышал от него через десять лет после того, как это случилось. До этой новой встречи я понятия не имел, где он и чем занят. Я даже не знал, жив он или умер. Если бы не общение с Эллиотом, который держал меня в курсе главных событий в жизни Изабеллы и тем самым напоминал о Ларри, я, несомненно, успел бы забыть о его существовании.

III

Изабелла вышла замуж за Грэя Мэтюрина в начале июня, через год после того, как расстроилась ее помолвка

с Ларри. Как ни жаль было Эллиоту покидать Париж в разгар сезона, когда его ждали приглашения на столько светских сборищ, семейные чувства не позволили ему пренебречь тем, что он почитал своим долгом. Братья Изабеллы были связаны службой в далеких краях, а значит, ему надлежало совершить утомительное путешествие в Чикаго и быть у племянницы посаженным отцом. Памятуя о том, что французские аристократы шли на гильотину в своих самых пышных нарядах, он не поленился съездить в Лондон, чтобы обзавестись новой визиткой, двубортным жилетом сероголубого оттенка, а также цилиндром. Вернувшись в Париж, он пригласил меня в гости и показался мне в полном параде. Его очень тревожило, что серая жемчужина, которую он обычно носил в галстuke, совсем теряется на фоне серого же галстука, выбранного им для этого торжественного случая. Я напомнил ему, что у него есть другая булавка — изумруд с брильянтом.

— Будь я просто гостем — куда ни шло, — возразил он, — но для той роли, которая мне предназначена, жемчужина просто необходима.

Предстоящий брак соответствовал всем его представлениям о приличиях, он был очень доволен и говорил о нем тем елейным тоном, каким вдовствующая герцогиня могла бы изъясняться по поводу союза между отпрыском рода Ларошфуко и дочерью маркиза Монморанси. В качестве осязаемого знака своего одобрения он вез с собой свадебный подарок — прекрасный портрет одной из французских принцесс королевской крови кисти Натъе.

Генри Мэтьюрин, как выяснилось, купил для молодых дом на Астор-стрит, в двух шагах от миссис Брэдли и недалеко от его собственного роскошного особняка на Набережной. По счастливой случайности, к которой, прости Господи, сам Эллиот, возможно, приложил руку, в Чикаго как раз ко времени этой покупки оказался Грегори Брабазон, и внутренняя отделка дома была поручена ему. Когда Эллиот вернулся в Европу — прямо в Лондон, махнув рукой на остаток парижского сезона, — он привез с собой снимки новых интерьеров. Грегори Брабазон не пожалел трудов. В гостиной и столовой царил стиль Георга II, очень получилось величественно. Для библиотеки, долженствовавшей служить Грэю также кабинетом, он вдохновился некой комнатой во дворце Амалиенбург в Мюнхене, и, если не считать того, что в ней не осталось места для книг,

получилось прелестно. Спальню для молодой американской четы он устроил такую, что Людовик XV, зайдя навестить мадам де Помпадур, почувствовал бы себя здесь как дома, разве что удивился бы, зачем нужна вторая кровать; зато ванная комната Изабеллы его бы ошеломила: стены, потолок, ванна — все здесь было стеклянное, а по стенам серебряные рыбки резвились среди позолоченных водорослей.

— Дом, конечно, тесноват, — сказал Эллиот, — но на отделку, если верить Генри, ухлопано сто тысяч долларов. Для иных это целое состояние.

Бракосочетание совершилось со всей помпой, какую могла себе позволить епископальная церковь.

— Не то, разумеется, что венчание в Нотр-Дам, — пояснил он снисходительно, — но для протестантской церемонии совсем неплохо.

Пресса была на высоте — Элиот небрежно перекинул мне через стол пачку газетных вырезок. Показал он мне и снимки: Изабелла, крепенькая, но очаровательная в подвенечном уборе, и Грэй, грузноватый, но очень эффектный, немного стесняющийся своего парадного костюма. Был там и групповой снимок — новобрачные с подружками невесты, и еще одна группа, на которой фигурировала миссис Брэдли, разодетая в пух и прах, и Эллиот, с неподражаемой грацией придержащий на коленях свой новый цилиндр. Я спросил, как здоровье миссис Брэдли.

— Она сильно убавила в весе, и цвет лица ее мне не нравится, но чувствует себя неплохо. Конечно, ей все это далось нелегко, но теперь зато сможет отдохнуть.

Через год Изабелла родила дочку и назвала ее, по последней моде, Джоун; а еще через два года произвела на свет вторую девочку, и той, опять же следуя моде, дала имя Присцилла.

Один из компаньонов Генри Мэтюрина умер, два других, не без нажима с его стороны, вскоре вышли из дела, так что он остался единственным главою фирмы, которой и всегда-то управлял самовластно. Тогда он осуществил свою давнишнюю мечту — взял в компаньоны Грэя. Дела фирмы шли блестяще.

— Они с каждым днем богатеют, милейший, — сказал мне Эллиот. — Грэй в двадцать пять лет зарабатывает пятьдесят тысяч в год, а это еще только начало. Ресурсы Америки неисчерпаемы. То, что мы сейчас наблюдаем, — не бум, а естественное развитие великой страны.

Грудь его так и распирало от наплыва несвойственных ему патриотических чувств.

— Генри Мэтюрин не вечен, у него высокое кровяное давление. Грэй к сорока годам будет стоить миллионов тридцать. Это грандиозно, милейший, грандиозно.

Годы шли, Эллиот регулярно переписывался с сестрой и время от времени сообщал мне, о чем она пишет. Грэй и Изабелла очень счастливы, малютки — прелесть. Образ жизни они ведут, на взгляд Эллиота, именно такой, как нужно; гостей принимают по-царски, и друзья так же по-царски принимают их; он даже с удовольствием поведал мне, что за три месяца Изабелла и Грэй ни разу не пообедали вдвоем. Этот вихрь веселья прервала смерть миссис Мэтюрин — той бесцветной, но родовитой особы, на которой Генри Мэтюрин женился, когда еще только завоевывал себе место в Чикаго, куда его отец пришел неотесанным деревенским парнем искать счастья. Из уважения к ее памяти сын и невестка целый год не приглашали к обеду больше шести гостей зараз.

— Я всегда считал, что восемь — идеальное количество, — сказал мне Эллиот, придерживаясь своего правила во всем находить хорошую сторону. — Не слишком много для общего разговора и достаточно, чтобы создать впечатление званого вечера.

Грэй ничего не жалел для жены. На рождение первого ребенка он подарил ей кольцо с огромным брильянтом, на рождение второго — соболье манто. Дела не позволяли ему надолго отлучаться из Чикаго, но когда у него выдавались свободные дни, они всей семьей проводили их в Марвине, в огромном доме Генри Мэтюрина. Генри обожал сына, ни в чем ему не отказывал и однажды подарил к Рождеству усадьбу в Южной Каролине, чтобы было куда съездить на две недели пострелять уток.

— Наших королей коммерции вполне можно приравнять к тем меценатам времен итальянского Возрождения, которые наживали свои богатства торговлей. Например, Медичи. Два французских короля не погнушались взять в жены девиц из этого прославленного рода, и помяните мое слово, недалек тот час, когда европейские монархи будут домогаться руки той или иной принцессы долларов. Как это сказал Шелли? «Снова славные дни наступают. Возвращается век золотой».

Генри Мэтюрин много лет указывал миссис Брэдли и Эллиоту, как лучше распоряжаться деньгами, и они име-

ли все основания верить в его прозорливость. Он не поощрял спекуляций и помещал их деньги в самые солидные ценные бумаги; однако с ростом курса акций их сравнительно скромные состояния тоже росли, что и поражало их, и радовало. Эллиот как-то сказал мне, что, не ударив для этого палец о палец, он оказался в 1926 году почти вдвое богаче, чем был в 1918-м. Ему минуло шестьдесят пять лет, он поседел, на лице пролегли морщины, под глазами появились мешки, но держался он молодцом. Он всегда был воздержан в своих привычках, всегда следил за своей внешностью и не намерен был смиряться перед жестокостью времени, пока мог одеваться у лучшего лондонского портного, пока его подстригал и брил всегда один и тот же проверенный парикмахер, и каждое утро к нему являлся массажист, пекущийся о сохранности его стройной фигуры. Он давно забыл, что некогда унизился до такого недостойного занятия, как купля-продажа, и, хотя не говорил этого прямо, ибо у него хватало ума воздерживаться от лжи, в которой его могли уличить, не прочь был туманно намекнуть, что провел молодые годы на дипломатической службе. Должен сказать, что, доведись мне когда-нибудь писать портрет посла великой державы, я не задумываясь стал бы писать его с Эллиота.

Но время не стоит на месте. Знатные дамы, с чьей помощью Эллиот начинал свою карьеру, либо умерли, либо совсем одряхлели. Многие английские аристократки, овдовев, вынуждены были передать родовые поместья невесткам и перебраться на виллу в Челтнеме либо в скромный особняк близ Риджентс-парка. Стаффорд-Хаус обращен в музей, Керзон-Хаус сдан в аренду какому-то учреждению, Девоншир-Хаус продается. Яхта, на которую Эллиота годами приглашали во время регаты, перешла в другие руки. Новые герои светских подмостков не нуждались в постаревшем Эллиоте. Он казался им скучным и нелепым. Они еще принимали его приглашения на изысканные завтраки в отеле «Кларидж», но от него не укрывалось, что приезжают они не столько к нему, сколько чтобы повидать друг друга. Его письменный стол уже не был завален пригласительными карточками — только выбирай, и часто, слишком часто, втайне моля Бога, чтобы никто не узнал о таком его унижении, он теперь обедал один в своем номере «люкс». Знатные англичанки, перед которыми двери в высшее общество оказываются закрыты в результате какой-нибудь скандаль-

ной истории, начинают интересоваться искусством и окружают себя художниками, писателями, музыкантами. Эллиоту гордость не позволяла так себя унижать.

— Налог на наследство и спекулянты, нажившиеся на войне, подорвали основы английского общества, — говорил он мне. — Люди готовы знаться с кем попало. В Лондоне есть еще хорошие портные, сапожники и шляпочники, но в остальном — Лондона больше нет. Известно ли вам, мой милый, что у Сент-Эртов за столом прислуживают не лакеи, а горничные?

Сообщил он мне это, когда мы пешком возвращались с некоего званого завтрака, во время которого произошел один неловкий инцидент. Наш высокородный хозяин обладал прекрасной коллекцией картин, и один из гостей, молодой американец по имени Поль Бартон, выразил желание их посмотреть.

— У вас ведь, кажется, есть Тициан?

— Был когда-то. Теперь он в Америке. Какой-то иудей предложил нам за него кучу денег, а у нас в то время с деньгами было туго, вот мой родитель его и продал.

Я заметил, что Эллиот, весь ошетилившийся, бросил на веселого маркиза испепеляющий взгляд, и догадался, что картину купил он. И так посмели обозвать его, уроженца Виргинии, потомка одного из героев, подписавших Декларацию независимости! Никогда еще он не подвергался такому оскорблению. Мало того, Поля Бартон он люто ненавидел. Этот молодой человек появился в Лондоне вскоре после войны. Двадцать три года, блондин, очень красивый, обаятельный, прекрасный танцор и к тому же богатый. Он явился к Эллиоту с рекомендательным письмом, и тот, по доброте сердечной, представил его кое-кому из своих друзей, да еще преподал ему несколько ценных советов относительно того, как ему себя вести. Опираясь на собственный опыт, он объяснил, сколь полезно чужаку, жаждущему войти в хорошее общество, оказывать мелкие услуги старым дамам и терпеливо выслушивать рассуждения именитых господ, даже самые скучные.

Но мир, в который вступал Поль Бартон, был уже не тот, в который Эллиот Темплтон на целое поколение раньше проник ценой таких упорных усилий. Это был мир, одержимый одним желанием — развлекаться. Поль Бартон благодаря своему живому, общительному нраву и приятной наружности в несколько недель добился того, на что Эл-

лиоту потребовалось много лет неустанных стараний. Вскоре помощь Эллиота стала ему не нужна, и он не пытался это скрывать. При встречах он бывал с ним любезен, но в манере его сквозила обидная фамильярность. Эллиот приглашал людей в гости не потому, что любил их, а потому, что они умели оживить застольную беседу, и, поскольку Поль Бартон пользовался успехом, продолжал время от времени приглашать его на свои завтраки; но обычно молодой человек оказывался занят, а два раза подвел Эллиота, лишь в самую последнюю минуту предупредив, что не будет. В прошлом Эллиот и сам частенько так поступал и знал, чем это объяснить: не иначе как он только что получил более соблазнительное приглашение.

— Вы можете мне не верить, — бушевал он в тот злощастный день, — но даю вам слово, он теперь обращается со мной свысока. Со мной! «Тициан, Тициан», — передразнил он. — Да покажи ему Тициана, он и не поймет, что это такое.

Никогда еще я не видел Эллиота таким разъяренным, и я угадал причину его гнева: он вообразил, что Поль Бартон спросил про Тициана нарочно, пронюхав каким-то образом, что картина была куплена Эллиотом, и теперь превратит ответ благородного лорда в пошлый, порочащий его анекдот.

— Ничтожество он, жалкий сноб, а что может быть на свете отвратительнее снобизма. Только благодаря мне его вообще принимают в порядочных домах. Чем его отец занимается, вы знаете? Торгует канцелярской мебелью. Канцелярской мебелью! — Он вложил в эти слова убийственный сарказм. — Говоришь людям, что в Америке он нуль, и происхождения самого низкого, а им хоть бы что, даже не удивляются. Нет, милейший, на английском обществе пора поставить крест.

И во Франции, на взгляд Эллиота, дело обстояло не лучше. Там знатные дамы его молодости — те, что еще не умерли, — посвящали свои дни бриджу (Эллиот эту игру терпеть не мог), церкви и заботам о внуках. В чинных особняках аристократии обитали фабриканты, аргентинцы, чилийцы, разведенные или разъехавшиеся с мужьями американки и все они устраивали богатые приемы, но на этих приемах Эллиот, к великому своему смущению, встречал политических деятелей, говоривших по-французски с вульгарным акцентом, журналистов, не умевших держать себя

за столом, и даже актеров. Отпрыски титулованных семейств не гнушались жениться на дочерях лавочников. Париж, правда, веселился, но какое убогое это было веселье! Молодежь в безрассудной погоне за удовольствиями не находила ничего более интересного, чем шататься по тесным, душным ночным клубам, пить шампанское за сто франков бутылка и танцевать до пяти часов утра бок о бок с городскими подонками. От дыма, шума и духоты у Эллиота сразу разбалчивалась голова. Да, это был не тот Париж, где он тридцать лет назад обрел духовную родину. Не тот Париж, куда души праведных американцев переселяются после смерти.

IV

Но у Эллиота был тонкий нюх. Внутренний голос подсказывал ему, что скоро, скоро прибежищем знати и высшего общества снова станет Ривьера. Он хорошо знал этот кусок побережья, так как не раз проводил по несколько дней в Монте-Карло, в отеле «Париж», по дороге из Рима, куда его время от времени призывали обязанности папского камергера, или в Каннах, на вилле у кого-нибудь из своих друзей. Но то бывало зимой, теперь же до него доходили слухи, что становится модным проводить на Ривьере и лето. Большие отели не закрывались круглый год, их постояльцы упоминались в светской хронике парижских газет, и Эллиот с одобрением читал там знакомые имена.

— «От суетного света я бегу», — процитировал он однажды. — Я достиг того возраста, когда человеку пристало насладиться красотами природы.

Слова эти могут показаться загадочными. Но нет. Эллиот всегда воспринимал природу как помеху в жизни хорошего общества и просто отказывался понимать, как люди могут куда-то ехать, чтобы увидеть озеро или гору, когда у них перед глазами есть комод эпохи регентства или картина Ватто. Но теперь у него неожиданно оказалась в руках изрядная сумма денег. Дело в том, что Генри Мэтьюрин, подстрекаемый сыном и не в силах больше смотреть со стороны, как его знакомые биржевики за одни сутки наживаются состояния, перестал наконец противиться силе событий и, отбросив свою всегдашнюю осторожность, включился в общий ажиотаж. Он написал Эллиоту, что к рискованным спекуляциям относится, как и раньше, отрицательно, но сейчас это не риск, это подтверждение его веры в неисчер-

паемые возможности родной страны. Его оптимизм зиждется на здравом смысле. Ничто не может приостановить бурное развитие Америки. Закончил он письмо сообщением, что недавно купил известное количество солидных акций для нашей милой Луизы Брэдли и рад известить Эллиота, что они принесли ей двадцать тысяч долларов. Если Эллиот не прочь кое-что заработать и даст ему свободу действий, он об этом не пожалеет. Эллиот, питавший пристрастие к избитым цитатам, сказал, что способен устоять против чего угодно, кроме искушения, и с этого дня, получая вместе с утренним завтраком газету, стал первым делом просматривать не светскую хронику, а биржевые сводки. Операции, которые Генри Мэтьюрин провел для него, оказались такими удачными, что у Эллиота очистилась кругленькая сумма в пятьдесят тысяч долларов, доставшаяся ему как бы в подарок.

Он решил истратить эту сумму и купить дом на Ривьере. Бежать от суетного света он собирался в Антиб, расположенный как раз между Каннами и Монте-Карло и связанный удобным сообщением с обоими этими пунктами; но всемогущее ли провидение или собственный безошибочный инстинкт заставил его остановить свой выбор именно на том городке, которому предстояло в скором времени стать средоточием фешенебельной жизни, — это навек останется тайной. Жить на вилле казалось ему по-мещански вульгарным, претило его взыскательному вкусу, поэтому он купил в старом городе два дома, соединил их в один и завел там центральное отопление, ванные и прочие санитарные удобства, на которые, следуя примеру американцев, стали со скрипом раскошеливаться и по сю сторону океана. В ту пору многие увлекались мореным деревом, и Эллиот обставил свой дом старинной провансальской мебелью, безусловно, мореной, но обитой, в угоду современным веяниям, новомодными тканями. Он еще не готов был признать Пикассо и Брака («Это ужас, мой милый, просто ужас!»), с которыми так носились иные ослепленные энтузиасты, но почувствовал, что может наконец-то открыто оказать покровительство импрессионистам, и развесил по стенам несколько превосходных полотен. Мне запомнился его Моне — прогулка в лодке, его Писарро — кусок набережной и мост через Сену, таитянский пейзаж Гогена и прелестный Ренуар — девушка в профиль, с желтыми волосами, спадающими на спину. Во всей обстановке дома было что-то

свежее, веселое, нестандартное и простое — та самая простота, которая, как известно, стоит недешево.

И тут началась самая блестящая полоса в жизни Эллиота. Он привез из Парижа своего первоклассного повара, и кухня его скоро прославилась на всю Ривьеру. Дворецкого и лакея одел в белые костюмы с золотыми погонами. Приемы устраивал со всей роскошью, какую только допускал хороший вкус. Берега Средиземного моря кишмя кишели членами королевских фамилий со всех концов Европы; одних привлек туда климат, другие были в изгнании, третьи считали для себя удобнее жить за границей из-за грехов молодости или предосудительного брака. Здесь были Романовы из России, Габсбурги из Австрии, Бурбоны из Испании, обеих Сицилий и Пармы; были принцы Виндзорского дома и принцы дома Браганса; были королевские высочества из Швеции и из Греции. Эллиот приглашал их в гости. Были там также принцы и принцессы некоролевской крови, всего лишь герцоги и герцогини, князья и княгини из Австрии, Италии, Испании, России и Бельгии. Эллиот приглашал их в гости. Зимой на Ривьеру приезжали король Швеции и король Дании, заглядывал ненадолго Альфонсо Испанский. Их Эллиот тоже приглашал в гости. Я не устал восхищаться тем, как он, склоняясь в почтительных поклонах перед этими высокими особами, умудрялся сохранять независимую позу гражданина свободной страны, где все, как сказано, рождаются равными.

В то время я, проведя несколько лет в путешествиях, купил дом на Кап-Ферра, так что с Эллиотом мы виделись часто. Я настолько вырос в его глазах, что иногда он приглашал меня на свои самые парадные вечера.

— Приезжайте, мой милый, сделайте мне одолжение, — говорил он в таких случаях. — Я, конечно, не хуже вашего знаю, что члены царствующих фамилий — скучнейший народ. Но другие люди любят с ними встречаться, и как-никак наш долг оказывать внимание этим несчастным. Впрочем, видит Бог, они этого не заслуживают. Благодарности от них не дождешься, они вас используют, а когда вы им больше не нужны — выбрасывают, как обтрепанную рубашку; принимают от вас бесчисленные услуги, но сами и не подумают чем-то вам услужить.

Эллиот позаботился о том, чтобы установить хорошие отношения с местными властями, и за столом у него можно было встретить и префекта округа, и епископа епархии в

сопровождении его старшего викария. Епископ, прежде чем принять духовный сан, был кавалерийским офицером, на войне командовал полком. Это был румяный, коренастый мужчина, охотно прибегавший к грубоватому казарменному жаргону, и его бледнолицый, аскетического вида викарий вечно сидел как на иголках, ожидая, что он вот-вот сболтнет что-нибудь непристойное. Когда его шеф рассказывал свои любимые анекдоты, он слушал с виноватой улыбкой на губах. Но епархией своей епископ управлял весьма толково, и проповеди его были столь же красноречивы и возвышенны, сколь забавны были застольные шутки. Он одобрял Эллиота за благочестивую щедрость, которую тот проявлял к церкви, ценил его любезность и умение вкусно накормить, так что они стали добрыми друзьями. Таким образом Эллиот мог льстить себя мыслью, что он не без приятности обеспечивает себе блаженство за гробом и, если дозволено мне так выразиться, нашел вполне приемлемый компромисс между Богом и мамоной.

Эллиоту очень хотелось показать свой новый дом сестре; он всегда чувствовал, что она одобряет его не безоговорочно, так пусть убедится своими глазами, какой изящный образ жизни он теперь ведет и какими обзавелся друзьями. Это положит конец ее неуверенности. Она будет вынуждена признать, что он преуспел. Он написал ей, приглашая приехать вместе с Изабеллой и Грэем и остановиться — не у него, поскольку в доме нет места, но в качестве его гостей в ближайшем отеле. Миссис Брэдли ответила, что для нее время дальних путешествий миновало, со здоровьем у нее неважно и лучше ей сидеть дома; к тому же и Грэй крепко привязан к Чикаго: в делах небывалое оживление, он наживает много денег, и ему нельзя отлучаться. Эллиот любил сестру, это письмо его встревожило. Он написал Изабелле. Та ответила по телеграфу, что хотя мать ее далеко не здорова, один день в неделю даже проводит в постели, но непосредственной опасности нет, при надлежащем уходе она может прожить еще долго; а вот Грэю необходимо отдохнуть, ничего не мешает ему взять отпуск, ведь за делами может пока присмотреть его отец; так что этим летом — нет, но будущим они обязательно придут.

А 23 октября 1929 года началась паника на Нью-Йоркской бирже.

Я в то время был в Лондоне и хорошо помню, что мы в Англии далеко не сразу поняли, до чего положение серьезно и какими оно чревато последствиями. Сам я, естественно, был огорчен, потеряв порядочную сумму, но потерял я в основном на акциях и, когда пыль оседа, убедился, что мой наличный капитал почти весь уцелел. Я знал, что Эллиот в последние годы пустился в спекуляции, и подозревал, что его как следует стукнуло, но увиделись мы только на Рождестве, когда оба вернулись на Ривьеру. Тогда он сообщил мне, что Генри Мэтюрин умер, а Грэй разорен.

Я плохо разбираюсь в финансовых вопросах и вполне допускаю, что в моем изложении его рассказ покажется невразумительным. Насколько я мог понять, в крушении фирмы оказалось повинно и своеволие Генри Мэтюрина, и опрометчивость Грэя. Генри Мэтюрин сперва не поверил, что биржевой крах — не шутка; он убедил себя, что это происки нью-йоркских биржевиков, задумавших околпачить провинциальных собратьев, и, стиснув зубы, стал пригоршнями швырять деньги, чтобы поддержать курс акций. Он осыпал проклятиями чикагских маклеров, которые дали этим нью-йоркским мерзавцам себя запугать. Он всегда кичился тем, что ни один из его мелких клиентов, будь то вдова, живущая на крошечное наследство, или офицер в отставке, не потерял ни цента, следуя его советам, и теперь, вместо того чтобы предоставить им нести убытки, восполнял эти убытки из собственного кармана. Он говорил, что готов обанкротиться, что новое состояние он всегда сумеет нажить, но если маленькие люди, доверившиеся ему, потеряют все, что имели, он будет навеки опозорен. Он мнил себя великодушным, а был всего-навсего тщеславен. Его огромное состояние растаяло, и однажды ночью с ним случился сердечный приступ. Ему шел седьмой десяток, всю жизнь он и работал, и развлекался, не жалея сил, переедал и пил без меры; промучившись несколько часов, он умер от закупорки сердечной артерии.

Грэю пришлось справляться с положением одному. Он перед тем много спекулировал на стороне, без ведома отца, и свои личные дела запутал окончательно. Пробовал выпутаться, но безуспешно. Банки отказали ему в ссудах, более опытные биржевики твердили, что единственный выход для него — объявить себя неплатежеспособным. Дальнейшее

мне неясно. Он не смог покрыть свои обязательства и был, сколько я понимаю, объявлен банкротом; свой дом он успел заложить и рад был передать его кредиторам по закладной; отцовские дома, и чикагский, и второй, в Марвине, были проданы за бесценок; Изабелла продала свои драгоценности; осталась у них только усадьба в Новой Каролине, в свое время приобретенная на имя Изабеллы, — на нее не нашлось покупателя. Грэй пошел ко дну.

— А вы-то как, Эллиот? — спросил я.

— О, я не жалуясь, — отвечал он небрежно. — Для стриженной овцы Бог умеряет ветер.

Я не стал его расспрашивать — его финансовые дела меня не касались, — но пребывал в уверенности, что он, как и все мы, в той или иной мере пострадал.

На Ривьере кризис поначалу отразился слабо. Правда, я узнал, что кое-кто понес большие потери, многие виллы остались на зиму закрыты, для нескольких других искали покупателя. В отелях множество номеров пустовало, казино в Монте-Карло сетовало, что сезон выдался не из лучших. Но по-настоящему гром грянул лишь два года спустя. Тут один агент по продаже недвижимости рассказал мне, что на отрезке берега от Тулона до итальянской границы продается 48000 земельных участков, больших и малых. Акции казино резко упали. Крупные отели снизили цены в тщетной надежде привлечь публику. Из иностранцев остались только потомственные бедняки, которым дальше беднеть было некуда, а они денег не тратили, им просто нечего было тратить. Владельцы магазинов рвали на себе волосы. Однако Эллиот не сократил свой штат прислуги и, в отличие от многих, не уменьшил ей жалованья; как и раньше, для титулованных гостей у него находились отборные яства и вина. Он купил себе роскошный новый автомобиль — выписал его из Америки, заплатив большую пошлину. Он щедро жертвовал на организованное епископом бесплатное питание для семей безработных. Словом, он жил так, будто кризиса и не было, будто полвина населения земного шара не ощущала его последствий.

Причину этого я узнал случайно. Эллиот в эту пору перестал приезжать в Англию, только раз в год наведывался на две недели обновить гардероб, но в свою парижскую квартиру по-прежнему переселялся на три осенних месяца, а также на май и июнь, поскольку на это время его друзья покидали Ривьеру; сам он больше всего любил Ривьеру ле-

том — отчасти из-за купанья, но главным образом, думается, потому, что жаркая погода оправдывала некоторую вольность в одежде, которой он обычно не позволял себе из чувства приличия. А тут он щеголял в ярчайших брюках — красных, зеленых, синих, желтых, подбирая к ним пуловеры контрастирующих тонов — палевые, сиреневые, терракотовые или в пестрый рисунок; а комплименты, на которые напрашивались эти наряды, принимал со стыдливой грацией актрисы, когда ее уверяют, что новую роль она сыграла божественно.

Весной, возвращаясь в Кап-Ферра, я провел день в Париже и пригласил Эллиота позавтракать. Мы встретились в баре отеля «Риц», уже не переполненном, как бывало, веселящимися студентами из Америки, а всеми покинутом, как драматург после премьеры провалившейся пьесы. Мы выпили по коктейлю — Эллиот наконец примирился с этим заокеанским обычаем — и заказали завтрак. А позавтракав, он предложил мне пройти по антикварным лавкам, и я, хотя сам не имел свободных денег, с радостью вызвался его сопровождать. Мы перешли Вандомскую площадь, и тут он, извинившись, попросил меня заглянуть с ним на минутку к Шерве — он там заказал кое-что из белья и хочет узнать, готов ли заказ. Речь шла о нижних сорочках и кальсонах, на которых должны были вышить его монограмму. Сорочки еще не поступили из мастерской, кальсоны же приказчик мог показать хоть сейчас.

— Покажите, — сказал Эллиот и, когда приказчик вышел, добавил: — Мне их здесь шьют по моей особой выкройке.

Их принесли, они были шелковые, но в остальном показались мне точно такими же, как те, что я часто покупал у Мейси, но вдруг мне бросилось в глаза, что над переплетенными буквами Э. и Т. вышита изящная корона. Я не сказал ни слова.

— Очень мило, очень мило, — сказал Эллиот. — Ну что ж, когда сорочки будут готовы, пришлите все вместе

Мы вышли из магазина, и Эллиот сказал мне с улыбкой:

— Корону заметили? Сказать по правде, я и забыл о ней, когда звал вас зайти со мной к Шерве. Я, кажется, еще не говорил вам, что Его святейшество милостиво соизволил восстановить ради меня наш старый семейный титул.

— Чего?! — переспросил я, от удивления забыв о вежливости.

— Вы разве не знали? Ведь я по женской линии происхожу от графа Лаурия, который прибыл в Англию в свите Филиппа Второго и женился на фрейлине королевы Марии.

— Нашей старой приятельницы Марии Кровавой?

— Да, так, помнится, ее прозвали еретики, — сухо ответил Эллиот. — Я, кажется, не рассказывал вам, что сентябрь тысяча девятьсот двадцать девятого года провел в Риме. Ехал туда с неохотой, ведь в это время из Рима все разъезжаются, но, на мое счастье, чувство долго перевесило во мне жажду мирских развлечений. Друзья в Ватикане предупредили меня, что биржевой крах — дело ближайшего будущего, и советовали продать все мои американские бумаги. У католической церкви за плечами мудрость двадцати веков, так что я ни минуты не колебался. Я телеграфировал Генри Мэтьюрину, чтобы он продал все и купил золото, и Луизе телеграфировал, чтобы тоже так распорядилась. Генри в ответной каблограмме спросил, в своем ли я уме, и отказался действовать до подтверждения моих инструкций. Я тут же категорически предложил ему выполнить их и сообщить об исполнении. Бедная Луиза моего совета не послушалась и поплатилась за это.

— Значит, когда катастрофа разразилась, вы себе и в ус не дули?

— Не знаю, зачем вам понадобилось употреблять это вульгарное выражение, но смысл происшедшего оно передает довольно точно. Я ничего не потерял; мало того, сорвал, как вы бы, вероятно, выразились, изрядный куш. Через некоторое время мне удалось купить такие же акции снова, за малую долю их прежней стоимости, и поскольку я всем этим был обязан прямому вмешательству провидения, иначе не скажешь, я решил, что простая справедливость требует, чтобы я со своей стороны оказал провидению услугу.

— Да? И что же вы предприняли?

— Вам, конечно, известно, что дуче осушает и заселяет большие земельные площади в Понтийских болотах, а мне дали понять, что Его святейшество сильно озабочен отсутствием Божьих храмов для людей, обживающих эти земли. Короче говоря, я построил небольшую церковь в романском стиле, точную копию одной церкви, которую видел в Провансе, скажу не хвастаясь — настоящую игрушечку. Освящена она во имя святого Мартина, потому что мне посчастливилось разыскать старинный витраж с изображе-

нием святого Мартина, разрезающего свой плащ, чтобы отдать половину нагому нищему, и, поскольку символ оказался так уместен, я купил этот витраж и поместил над алтарем.

Я не стал перебивать Эллиота вопросом, какую связь он усматривает между знаменитым поступком святого и барышом, который он, Эллиот, получил, вовремя спустив свои акции, а теперь отдал всевышнему, как комиссию посреднику. Но я — человек прозаический, и символика часто от меня ускользает. А Эллиот продолжал:

— Когда я удостоился чести показать фотографии святому отцу, он сообразовал сказать мне, что в них с первого взгляда можно распознать безупречный вкус, и добавил несколько слов о том, как отрадно ему в наш развращенный век встретить человека, в котором благочестие сочеталось бы с редкой художественной одаренностью. То было памятное переживание, мой милый, памятное переживание. Но каково же было мое удивление, когда вскоре после этого мне стало известно, что он удостоил меня титула. Как американский гражданин, я из скромности им не пользуюсь, кроме как в Ватикане, разумеется. Моему Жозефу я запретил величать меня *monsieur le comte*¹, и вы, надеюсь, сохраните мою тайну. Но я бы не хотел, чтобы Его святейшество подумал, будто я не ценю оказанной мне почести, и исключительно из уважения к нему заказываю метки с короной на моем личном белье. Могу добавить, что я испытываю скромную гордость, скрывая свой титул под строгим костюмом джентльмена-американца.

Мы расстались. Эллиот сказал, что переберется на Ривьеру в конце июня. Но случилось иначе. Он уже подготовил переезд своей челяди, сам намереваясь не спеша следовать из Парижа в автомобиле с тем расчетом, чтобы к его приезду жизнь в доме была налажена, как вдруг пришла телеграмма от Изабеллы, извещавшая, что здоровье ее матери резко ухудшилось. Эллиот, движимый любовью к сестре и сознанием родственного долга, сел в Шербуре на первый же пароход и из Нью-Йорка примчался в Чикаго. Он сообщил мне письмом, что миссис Брэдли очень плоха, исхудала до неузнаваемости. Протянуть она может еще несколько недель, а возможно и месяцев, но так или иначе он считает своей печальной обязанностью остаться с ней до конца.

¹ Господин граф (*фр.*).

Он писал, что переносить чикагскую жару не так уж трудно, гораздо мучительнее отсутствие подходящего общества, но, впрочем, сейчас у него ни к чему не лежит душа. Соотечественники разочаровали его тем, как поддались воздействию кризиса, — он ожидал, что в несчастье они проявят больше самообладания. Зная, что на свете нет ничего легче, чем стойко сносить чужие невзгоды, я подумал, что Эллиоту, который сейчас богаче, чем когда-либо в жизни, такая строгость не к лицу. В конце письма он просил меня кое-что передать кое-кому из его друзей и главное — непременно объяснить всем, кого встречу, почему его дом остался на лето закрытым.

Спустя примерно месяц я получил от него еще одно письмо, на этот раз с известием, что миссис Брэдли скончалась. Письмо дышало искренним чувством. Я бы не подумал, что он способен изъясняться с таким достоинством, так прочувствованно и просто, если бы уже давно не убедился, что, несмотря на свой снобизм и нелепое жеманство, человек он добрый, благожелательный и порядочный. Он писал, что финансовые дела миссис Брэдли немного запутаны. Ее старший сын, — дипломат, замещал сейчас в Токио посла и не смог оставить свой пост. Второй сын, Темплтон, в пору моего первого знакомства с семейством Брэдли служивший на Филиппинах, был затем отозван в Вашингтон и занимал ответственную должность в государственном департаменте. Когда состояние матери было признано безнадежным, он приезжал с женой в Чикаго, но сразу после похорон возвратился в столицу. А раз так, Эллиот не считал себя вправе уехать из Америки до того, как все будет улажено. Миссис Брэдли завещала свое состояние поровну троим детям, но в связи с биржевым крахом 29-го года понесла большие убытки. К счастью, нашелся покупатель на ферму в Марвине, которую Эллиот называл поместьем нашей бедной Луизы.

«Расставаться с родовым гнездом всегда грустно, — писал он, — но за последние годы столько моих друзей в Англии были к этому вынуждены, что, я надеюсь, Изабелла и мои племянники смирятся с неизбежным столь же покорно и мужественно. *Noblesse oblige*¹».

Продажа чикагского дома миссис Брэдли тоже совершилась беспрепятственно. Городские власти уже давно намечали

¹ Высокое положение обязывает (*фр.*).

снести ряд особняков, один из которых принадлежал ей, и построить на их месте громадный квартирный дом: привести этот план в исполнение мешала только упорная решимость миссис Брэдли умереть там, где жила. Стоило ей испустить дух, как явились подрядчики с предложением, которое наследники и поспешили принять. Но и при этом доход у Изабеллы остался ничтожный.

Грэй после краха пробовал получить работу, хотя бы место клерка у одного из маклеров, сумевших удержаться на поверхности, но в делах наступил застой, работники не требовались. Он просил старых знакомых пристроить его на любую, пусть самую скромную и низко оплачиваемую должность, но безуспешно. Отчаянные попытки предотвратить катастрофу, не отпускающая тревога, унижение — все это привело к нервному срыву, у него начались головные боли, такие сильные, что порой он на сутки выбывал из строя, а потом еще долго чувствовал себя как выжатый лимон. Изабелле подумалось, что лучше всего им сейчас уехать с детьми в усадьбу в Южной Каролине и пожить там, пока Грэй не поправится. Тамошняя земля, когда-то приносившая сто тысяч долларов в год как рисовая плантация, уже давно захирела, превратившись в болота и заросли, способные привлечь только утиной охотой, и покупать ее никто не желал. Там они и жили с тех пор, как Грэй разорился, и туда собирались вернуться и ждать, когда положение улучшится и Грэй сможет найти работу.

«Этого я не мог допустить, — писал Эллиот. — Дорогой мой, они там живут как свиньи. Изабелла без горничной, у детей нет гувернантки, две чернокожие няньки, и больше никакой прислуги. Я предложил им мою парижскую квартиру — пусть поживут там, пока ситуация в этой фантастической стране не изменится. Прислужой я их обеспечу, — кстати сказать, моя младшая кухарка отлично готовит, я ее оставлю в Париже, а себе с легкостью найду кого-нибудь на ее место. Счета буду оплачивать сам, чтобы свой небольшой доход Изабелла могла тратить на туалеты и на мелкие семейные удовольствия. Это, разумеется, означает, что я буду проводить гораздо больше времени на Ривьере, так что и с Вами, милейший, рассчитываю видаться чаще прежнего. При том, во что превратились Лондон и Париж, я на Ривьере и чувствую себя уютнее. Только здесь я еще могу общаться с людьми, с которыми нахожу общий язык. Я, вероятно, буду изредка наезжать в Париж, но эти дни вполне

могу перебраться и в «Рице». Рад сообщить, что я наконец уговорил Изабеллу и Грэя принять мое предложение, и, как только здесь все будет закончено, мы приедем все вместе. Продажа мебели и картин (весьма, кстати сказать, посредственных и едва ли даже это подлинники) состоится через две недели, а пока что я перевез Изабеллу с семейством к себе в отель «Дрейк», — им, наверно, тяжело было бы оставаться в старом доме до последней минуты. В Париже посмотрю, как они водворятся, и приеду на Ривьеру. Не забудьте поклониться от меня Вашему коронованному соседу».

Кто усомнится в том, что Эллиот, этот архисноб, был в то же время добрейшим и великодушнейшим из смертных?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Итак, Эллиот, водворив Мэтьюринов в своей просторной квартире на Левом берегу, в конце года возвратился на Ривьеру. Свой дом он спланировал в расчете на собственные требования, в нем не было места для семьи из четырех человек, так что он, если б и захотел, не мог бы поселить их у себя. Не думаю, чтобы это его огорчало. Он отлично понимал, что как одинокий холостяк ценится выше, чем если бы всюду появлялся в сопровождении племянницы и племянника, и что устраивать изысканные вечера для избранных (которые он всякий раз тщательно обдумывал заранее), ему было бы несравненно труднее, если бы нужно было принимать в расчет двух постоянных обитателей дома.

«Нет, для них будет куда лучше обосноваться в Париже и привыкать к цивилизованной жизни. Да и девочкам пора учиться, мне уже рекомендовали одну школу, привилегированную и близко от моего дома».

Таким образом с Изабеллой я увиделся только весной, когда приехал на несколько недель в Париж в связи с одной своей работой и снял номер в гостинице в двух шагах от Вандомской площади. Гостиницу эту я ценил не только за удобное местоположение, но и за ее особенную атмосферу. Это было обширное старое здание с внутренним двором, уже лет двести назад служившее харчевней. Ванные там были отнюдь не роскошные и уборные оставляли желать лучшего,

спальни с железными, покрашенными в белый цвет кроватями, старомодными белыми покрывалами и огромными зеркальными шкафами выглядели небогато; но гостиные были обставлены прекрасной старинной мебелью. В моей гостиной диван и кресла, наследие мишурного царствования Наполеона III, хоть и не очень удобные, обладали некой цветистой прелестью. В этой комнате я окунался в эпоху прославленных французских писателей. Глядя на ампирные часы под стеклянным колпаком, я представлял себе, как прелестная женщина в локонах и оборках следит за минутной стрелкой, поджидая Растиньяка, дворянина-авантюриста, чей жизненный путь от его скромного начала до конечного триумфа Бальзак живописал из романа в роман. Легко было вообразить, что доктор Бьяншон, ставший для своего создателя настолько реальной фигурой, что, умирая, Бальзак сказал: «Только Бьяншон мог бы мне помочь», — что именно здесь этот врач шупал пульс и осматривал язык знатной старухи, которая приехала из провинции повидаться со стряпчим по поводу своей тяжбы и, прихворнув, велела привести ей лекаря. А за этим секретером изнывающая от любви красавица в кринолине, возможно, писала страстное письмо неверному любовнику или желчный старик в зеленом сюртуке и воротнике, подпирающем уши, строчил гневный разнос транжире-сыну.

На следующий день по приезде я позвонил Изабелле и спросил, угостит ли она меня чаем, если я зайду к ней в пять часов. Когда степенный дворецкий провел меня в гостиную, она сидела на диване с французской книгой, но тут же встала и с теплой очаровательной улыбкой обеими руками пожала мне руки. До этого я разговаривал с ней всего раз десять и только два раза наедине, но она сразу дала мне понять, что мы не случайные знакомые, а старые друзья. Минувшие десять лет уничтожили пропасть, отделяющую юную девушку от средних лет мужчины, и разницы в возрасте я уже почти не ощущал.

Она приняла меня как сверстника, и, хотя я усмотрел в этом тонкую лесть светской женщины, через пять минут мы уже болтали легко и непринужденно, словно товарищи, чье общение и не прерывалось. Она научилась в совершенстве владеть собой, держаться свободно и уверенно.

Но больше всего меня поразила перемена в ее внешности. Я помнил ее миловидной цветущей девочкой, рискующей с годами превратиться в толстушку; то ли она почуяла опас-

ность и приняла героические меры, чтобы сбавить свой вес, то ли это было нечастое, но счастливое последствие родов, только стройна она стала на диво. Тогдашняя мода еще подчеркивала ее стройность. Она была в черном, и я с первого взгляда решил, что ее шелковое платье, не слишком простое и не слишком нарядное, сшито в одном из лучших парижских ателье; и носила она его с небрежной грацией женщины, для которой дорогие туалеты — нечто само собой разумеющееся. Десять лет назад, даже пользуясь советами Эллиота, она одевалась как-то слишком броско и в своих парижских нарядах словно чувствовала себя немного скованно. Теперь Мари-Луиза де Флоримон уже не могла бы сказать, что ей недостает шика. Она была сплошной шик, вся до кончиков ярко-розовых ногтей. Черты лица стали тоньше, и я только теперь оценил редкостную красоту ее прямого носа. Ни на лбу, ни под карими глазами не было ни морщинки — кожа ее, хоть и утратила свежий румянец юности, осталась чистой и гладкой; несомненно, тут сыграли свою роль массаж, лосьоны и кремы, но они же придали ее лицу какую-то нежную прозрачность, до странности привлекательную. Худые щеки были чуть нарумянены, губы едва заметно подкрашены, пышные каштановые волосы по моде подстрижены и завиты. Я заметил, что на пальцах у нее нет ни одного кольца, и вспомнил, ведь Эллиот писал мне, что она продала все свои драгоценности. Но и руки у нее были красивые, хоть и не особенно маленькие. В тот год женщины днем носили короткие платья, и я видел ее ноги в телесного цвета чулках, длинные и стройные. Ноги нередко подводят даже самых хорошеньких женщин. Ноги Изабеллы, в юности ее самое уязвимое место, теперь были безупречно хороши. Словом, из девочки, пышущей здоровьем, живой и яркой, она превратилась в прекрасную женщину. Что красотой своей она в какой-то мере обязана искусству, поддержке и умерщвлению плоти, дела не меняло, — очень уж удачен был результат. Возможно, что грация движений и благородство осанки дались ей ценою сознательных усилий, но казались они совершенно естественными. Мне подумалось, что эти четыре месяца в Париже добавили последние штрихи к произведению искусства, создававшегося годами. Даже Эллиот, при всей своей требовательности, не нашел бы к чему придираться. Я, не столь строгий критик, был искренне восхищен.

Она сказала, что Грэй уехал в Мортфонтен играть в гольф, но скоро вернется.

— И девочек моих вы должны посмотреть. Они сейчас на прогулке в саду Тюильри, я их жду с минуты на минуту. Они прелесть.

Мы поболтали о том о сем. В Париже ей нравится, жить в квартире Эллиота очень удобно. Перед отъездом он познакомил их с теми из своих друзей, которые, по его мнению, могли прийти им по вкусу, и сейчас у них уже составилась очень приятный кружок. Он убедительно просил ее и Грэя почаще приглашать гостей.

— Просто умора, живем как богатые люди, а ведь на самом деле мы нищие.

— Будто уж так плохо?

— У Грэя нет ни гроша, а у меня в точности такой же доход, какой был у Ларри, когда он хотел на мне жениться, а я отказалась, потому что воображала, что на такие деньги не проживешь, а теперь у меня к тому же двое детей. Забавно, правда?

— Это хорошо, что вы способны оценить комизм положения.

— Что вы знаете о Ларри?

— Я? Ничего. В последний раз я его видел еще до того, как вы тогда приезжали в Париж. Я был немного знаком кое с кем из его знакомых и пробовал выяснить, что с ним случилось. Но с тех пор уже сколько лет прошло. И никто о нем ничего не знал. Он как в воду канул.

— Мы знакомы с управляющим того банка в Чикаго, где у Ларри есть счет, он нам рассказывал, что время от времени получает требования из каких-то немыслимых мест. Китай, Бирма, Индия. Видно, он ведет кочевой образ жизни.

На языке у меня вертелся вопрос, и я не постеснялся задать его. В конце концов, если хочешь что-то узнать, самое простое — спросить.

— Вы не жалеете, что не вышли за него замуж?

Она светло улыбнулась.

— Я очень счастлива с Грэем. Он удивительный муж. До краха мы жили чудесно. Нам нравятся одни и те же люди, одни и те же развлечения. Он милый. И приятно, когда тебя обожают. Он до сих пор влюблен в меня, как в первые дни после свадьбы. Считает, что лучше меня нет женщины на всем свете. Вы не представляете себе, какой он добрый,

заботливый. А щедр был просто до глупости, ему, понимаете, казалось, что для меня все недостаточно хорошо. Поверите ли, я за все эти годы не слышала от него ни одного резкого или обидного слова. Да что и говорить, мне повезло.

Я подумал, уж не кажется ли ей, что она ответила на мой вопрос. Но заговорил о другом.

— Расскажите мне про ваших дочек.

В передней раздался звонок.

— Да вот и они. Сами увидите.

Девочки вошли в сопровождении бонны, и мне представили сперва старшую, Джоун, затем Присциллу. Они по очереди протянули мне ручки и сделали книксен. Одной было восемь лет, другой шесть. Обе были длинненькие; ведь Изабелла была высокого роста, а Грэй, насколько я помнил, — настоящий великан; но миловидны были лишь постольку, поскольку все дети миловидны. Вид у них был хрупкий. От отца они унаследовали черные волосы, от матери — карие глаза. Присутствие незнакомого человека их не смутило — они наперебой болтали о том, что делали на прогулке, и выразительно поглядывали на миниатюрные пирожные, поданные к чаю, к которому мы еще не приотронулись. Получив разрешение взять по одному, они потоптались на месте, не зная, какое выбрать. Они не скрывали своей нежности к матери и втроем образовали прелестную семейную группу. Когда пирожные были выбраны и съедены, Изабелла велела детям уходить, и они повиновались беспрекословно. У меня осталось впечатление, что она воспитывает их в строгости.

Когда они ушли, я сказал Изабелле все, что принято говорить матерям о их детях, и она выслушала мои комплименты сдержанно, но с явным удовольствием. Я спросил, как Грэй чувствует себя в Париже.

— Да неплохо. Дядя Эллиот оставил нам автомобиль, так что он может хоть каждый день ездить играть в гольф, и еще он записался в клуб путешественников и там играет в бридж. То, что дядя Эллиот предложил нам помощь и эту квартиру, нас, конечно, просто спасло. У Грэя нервы совсем сдали, и до сих пор еще бывают страшные головные боли. Даже если бы подвернулось место, он не мог бы никуда поступить, и это, понятно, его угнетает. Он хочет работать, чувствует, что работать необходимо, а он никому не нужен и переживает это как унижение. Понимаете, он считает,

что кто не работает, тот не мужчина, а раз он не может работать, так и жить не стоит. Это чувство собственной ненужности для него невыносимо. Он и сюда не хотел ехать, пока я его не убедила, что отдых и перемена обстановки вернут его в нормальное состояние. Но пока он опять не впряжется в работу, он не успокоится, уж это я знаю.

— Трудно вам, наверно, пришлось эти два с половиной года.

— Я вам скажу. Сначала, когда нас стукнуло, я не могла в это поверить. В голове не укладывалось, что мы разорены. Что другие могут разориться, я понимала, но мы — нет, это невозможно. Мне все казалось, что в последнюю минуту что-то случится и мы будем спасены. А потом, когда гром все-таки грянул, мне показалось, что жизнь кончена, впереди один сплошной мрак. Две недели я была безутешна. Это был такой ужас — со всем расстаться, зная, что тебе больше никогда не будет хорошо, что у тебя отнято все самое интересное. А через две недели я сказала: «Нет, к черту, не буду больше ни о чем жалеть», — и, честное слово, больше ни о чем не жалела. Пожила в свое удовольствие, и хватит. Что прошло, то прошло.

— Но надо полагать, бедность легче сносить в роскошной квартире в фешенебельном районе, с помощью вышколенного дворецкого и превосходной кухарки, которым не надо платить, да еще если прикрыть наготу платьем от Шанель?

— Не угадали, от Ланвена, — засмеялась она. — Вы, я вижу, не изменились за десять лет. Как грубый циник, вы мне не поверите, но я скорее всего приняла предложение дяди Эллиота только ради Грэя и детей. На мои две тысячи восемьсот годовых мы бы отлично просуществовали в Южной Каролине — сеяли бы рис, рожь, кукурузу, разводили свиней. Ведь я как-никак родилась и выросла на ферме в Иллинойсе.

— Допустим. — Я улыбнулся, так как мне было известно, что родилась она в одной из самых дорогих больниц Нью-Йорка.

Тут наш разговор был прерван приходом Грэя. Я видел его два-три раза двенадцать лет назад, но помнил снимок в день свадьбы, который показывал мне Эллиот (снимок этот в красивой рамке стоял потом у него на рояле, так же как и портреты короля Швеции, королевы Испании и герцога де Гиза, с их собственноручными надписями), и вид его меня поразил. Волосы у него отступили со лба, на ма-

кушке обозначилась лысина, лицо было красное, одутловатое и — двойной подбородок. За годы легкой жизни и щедрых возлияний он сильно прибавил в весе, и, если бы не высокий рост, его можно было бы назвать тучным. Но что меня потрясло, так это выражение его глаз. Мне запомнилось, как доверчиво и открыто эти синие ирландские глаза глядели на мир, когда вся жизнь была у него впереди и не сулила ничего, кроме счастья. Теперь в них застыла горестная растерянность, и, даже не зная его истории, можно было догадаться, что какой-то страшный удар разрушил его веру в себя и в заведенный порядок вещей. В нем чувствовалась какая-то робость, словно он в чем-то провинился, хоть и неумышленно, и теперь ему стыдно. Нервы у него явно были не в порядке. Со мной он поздоровался очень сердечно, даже изобразил радость, словно при встрече со старыми другом, но его шумное радушие я воспринял всего лишь как привычку, едва ли отражающую подлинное чувство.

Подали напитки, он смешал нам коктейли. В гольф он поиграл отлично, был доволен своими успехами. Он пустился в пространное повествование о том, какие трудности преодолел у одной из лунок, и Изабелла делала вид, что слушает с живейшим интересом. Я еще немного посидел, потом пригласил их в ресторан и в театр и откланялся.

После этого я стал навещать Изабеллу три-четыре раза в неделю, под вечер, закончив дневную порцию работы. В это время она обычно бывала одна и не прочь поболтать. Люди, с которыми ее познакомил Эллиот, были, за малым исключением, намного старше ее. Мои же знакомые были по большей части заняты до самого вечера, и мне приятнее было беседовать с Изабеллой, чем тащиться в клуб и играть в бридж с нудными французами, не склонными особенно радоваться вторжению чужеземца. Она упорно обращалась со мной как с ровесником, это было прелестно, и говорилось нам легко, мы смеялись, шутили, поддевали друг друга, болтали то о себе, то об общих знакомых, то о картинах и книгах, так что время летело незаметно. Один из моих недостатков состоит в том, что я не способен привыкнуть к некрасивой внешности; обладай мой друг хоть ангельским характером, я и через много лет не примирюсь с тем, что у него плохие зубы или нос немного набок. С другой стороны, я не устаю восхищаться человеческой красотой, и после двадцати лет близкого знакомства меня,

как и в первый день, пленяет хорошо вылепленный лоб или тонко очерченные скулы. Вот так и с Изабеллой: входя в ее гостиную, я всякий раз заново ощущал легкий радостный трепет при виде ее прекрасного удлиненного лица, молочной белизны ее кожи и теплого блеска светло-карих глаз.

А потом произошло нечто неожиданное.

II

Во всех больших городах имеются самостоятельные общины, не поддерживающие связи друг с другом, — маленькие мирки внутри большого мира, которые живут каждый своей жизнью, члены которых общаются только между собой, словно обитают на островах, разделенных несудоходными проливами. Опыт убедил меня, что в первую очередь это относится к Парижу. Здесь высшее общество редко когда принимает в свою среду посторонних, политические деятели вращаются в своем собственном продажном кругу, буржуазия, крупная и мелкая, держится особняком, писатели водят дружбу с писателями (читая дневники Андре Жида, поражаешься, как мало у него было близких людей, не принадлежащих к его профессии), художники знают с художниками, а музыканты с музыкантами. То же происходит и в Лондоне, но там границы проведены не так четко, и есть дома, где за обеденным столом можно одновременно увидеть герцогиню, актрису, художника, члена парламента, адвоката, портниху и писателя.

Обстоятельства моей жизни сложились так, что в разные годы я хотя бы на короткое время входил едва ли не во все миры Парижа, даже (через Эллиота) в замкнутый мир бульвара Сен-Жермен; но всего милее моему сердцу — милее, чем скромный кружок, тяготеющий к тому, что теперь именуется авеню Фош, милее, чем космополитическая компания, ужинающая у Ларю и в кафе «Париж», милее, чем шумное, развязное веселье Монмартра, — тот квартал, главной артерией которого служит бульвар Монпарнас. В молодости я прожил год в крошечной квартирке неподалеку от бронзового Бельфортского льва, на пятом этаже, откуда открывался широкий вид на кладбище. Для меня Монпарнас и теперь еще овеян атмосферой тихого провинциального городка, отмечавшей его в ту пору. На узкой, неказистой улице Одессы у меня и сейчас сжимается сердце при воспоминании о захудалом ресторанчике, где

мы когда-то собирались к обеду — художники, иллюстраторы, скульпторы и я, единственный писатель, если не считать изредка появлявшегося там Арнольда Беннета, — а потом засиживались допоздна, увлеченные жаркими, яростными, нелепыми спорами о литературе и живописи. Мне и сейчас доставляет радость прохаживаться по бульвару, глядя на молодых людей, таких же молодых, каким я был тогда, и выдумывать про них разные истории. Когда выдается свободное время, я беру такси и еду посидеть в старом кафе «Купол». Теперь там встретишь не только богему; туда зачастили мелкие торговцы с ближайших улиц, приезжают и туристы с другого берега Сены в надежде увидеть канувший в прошлое мир. Конечно, там по-прежнему полно студентов, художников и писателей, только теперь это по большей части иностранцы, и за столиками слышишь русскую, испанскую, немецкую и английскую речь. Но говорят там, думается, примерно то же, что и сорок лет назад, только темой им служит не Моне, а Пикассо, не Гийом Аполлинер, а Андре Бретон. Для меня они как родные дети.

Недели через две после приезда в Париж я приехал однажды в «Купол», и, так как на террасе почти не было мест, мне пришлось занять столик у самого края тротуара. День был ясный, теплый. Листья на платанах только-только распустились, и в воздухе было разлитو чисто парижское ощущение безделья и легкой душевной приподнятости. Настроение у меня было умиротворенное, но не сонное, а скорее радостное. Вдруг какой-то человек, шедший мимо, остановился возле меня и с улыбкой, обнажившей очень белые зубы, сказал «Здравствуйте!» Я поглядел на него, не понимая. Он был высокий и худой, без шляпы, с копной темных, давно не стриженных волос. Верхнюю губу и подбородок скрывали густые темные усы и борода. Лоб и шея дочерна загорели. На нем была обтрепанная рубашка без галстука, поношенный коричневый пиджак и старые серые спортивные брюки. Какой-то оборванец, в первый раз вижу. Я решил, что это один из тех бездельников, каких много идет ко дну в Париже, и ожидал услышать жалостную повесть о злосчастной судьбе — способ выклянчить несколько франков на обед и ночлег. Он стоял передо мной, руки в карманах, поблескивая белыми зубами, с веселой искоркой в темных глазах.

— Не помните меня? — сказал он.

— Я вас никогда в жизни не видел.

Я был готов дать ему двадцать франков, но не намерен был дать себя одурачить выдумкой, будто мы с ним знакомы.

— Ларри, — сказал он.

— Боже мой! Садитесь. — Он весело хмыкнул, шагнул вперед и сел на свободный стул за моим столиком. — Выпить хотите? — Я сделал знак официанту. — Как я мог вас узнать, когда вы так обросли?

Официант подошел, и он заказал оранжад. Теперь, взглядевшись, я вспомнил его необычные глаза — черная радужка сливалась в одно со зрачком, что придавало его взгляду и пристальность, и непроницаемость.

— И давно вы в Париже?

— Месяц.

— Надолго?

— Как поживется.

Я задавал ему вопросы, а сам спешил кое-что сообразить. Я заметил, что брюки его снизу висят махрами, а пиджак продран на локтях. Одно слово — нищий, сколько таких слонялось на пристанях в портовых городах Востока. В те дни мысли невольно обращались к кризису, и я успел подумать, что он остался без гроша в результате биржевого краха 29-го года. Мысль была не из приятных, и, поскольку я не люблю обиняков, я прямо спросил его:

— Вы что, на мели?

— Нет, у меня все в порядке. Почему вы так решили?

— Да потому, что вид у вас голодный, а одежда просится на помойку.

— Неужели уж до того дошло? Я как-то об этом не думал. Вернее, я собирался кое-что себе купить, да все руки не доходят.

Я подумал, что в нем говорит либо стеснительность, либо гордость, и нечего мне дальше слушать этот вздор.

— Не валяйте дурака, Ларри. Я не миллионер, но и не беден. Если у вас нет денег, возьмите у меня займы несколько тысяч франков. Меня это не разорит.

Он рассмеялся мне в лицо:

— Спасибо, конечно, но деньги у меня есть. Больше, чем я в состоянии истратить.

— Несмотря на кризис?

— О, это меня не коснулось. Мои деньги все в государственных бумагах. Может быть, они тоже упали в цене, я

не знаю, и никогда не интересовался, но одно мне известно: дядя Сэм честный старик, платит по купонам, как и раньше. А я за последние годы тратил так мало, что у меня там должно было порядочно накопиться.

— Вы сейчас-то откуда явились?

— Из Индии.

— Ах да, я слышал, что вы там были. Мне Изабелла говорила. Она, оказывается, знакома с управляющим вашим чикагским банком.

— Изабелла? А вы когда ее видели?

— Вчера.

— Значит, она в Париже?

— Вот именно. Живет в квартире Эллиота Темплтона.

— Как здорово, ужасно хочется ее повидать.

Пока мы говорили, я внимательно наблюдал за ним, но в глазах его прочел только вполне естественное удивление и радость, никаких более сложных чувств.

— Грэй тоже здесь. Вы ведь знаете, что они поженились?

— Да, мне тогда написал дядя Боб... доктор Нелсон, мой опекун, но он уже несколько лет как умер.

Поскольку доктор Нелсон был, видимо, единственным звеном, связывавшим его с Чикаго, я подумал, что он, вероятно, не в курсе дальнейших событий. Я рассказал ему о рождении дочек Изабеллы, о смерти Генри Мэтьюрина и миссис Брэдли, о банкротстве Грэя и великодушии Эллиота.

— А Эллиот тоже здесь?

— Нет.

Впервые за сорок лет Эллиот проводил весну не в Париже. Ему было семьдесят лет, хотя выглядел он моложе, и как естественно для этого возраста, по временам он чувствовал себя усталым и больным. Он постепенно отказался от всякой гимнастики, кроме ходьбы. Он стал мнителен, и два раза в неделю его навещал врач, делавший ему то в одну, то в другую ягодицу укол модного в то время лекарства. За едой, будь то дома или в гостях, он доставал из кармана крошечную золотую коробочку, извлекал из нее таблетку и проглатывал с видом погруженного в себя человека, совершающего религиозный обряд. Врач посоветовал ему пройти курс лечения в Монтекатино, курорте на севере Италии, а оттуда он собирался в Венецию, присмотреть купель, подходящую по стилю к его романской церкви.

Парижем он поступился без труда — столица год от года доставляла ему все меньше удовольствия. Стариков он не любил и обижался, когда его приглашали на вечера, где собирались только люди его возраста, молодые же были ему скучны. Зато большое место среди его интересов занимало теперь украшение построенной им церкви, тут он мог предаваться своей неистребимой страсти — покупать произведения искусства — в твердой уверенности, что делает это во славу Божию. В Риме он отыскивал старинный престол из бледно-желтого камня, а во Флоренции уже полгода как торговал триптих сиенской школы, который задумал над ним водрузить.

Ларри спросил меня, нравится ли Грэю в Париже.

— Боюсь, он здесь чувствует себя не в своей тарелке.

Я попробовал объяснить ему, какое впечатление у меня сложилось о Грэе. Он слушал, не сводя с меня задумчивых, немигающих глаз, и почему-то у меня возникло ощущение, что слушает он не ушами, а каким-то внутренним, более чувствительным органом слуха. Это было странно и жутковато.

— Впрочем, увидите сами, — закончил я.

— Да, ужасно хочется их повидать. Адрес, наверно, есть в телефонной книге.

— Только советую вам предварительно постричься и сбрить бороду, а то вы их напугаете до полусмерти, и у детей, чего доброго, родимчик сделается.

Он засмеялся.

— Да, я сам это подумал. Какой смысл выставять себя напоказ.

— И заодно могли бы приодеться.

— Пообносился я здорово, это верно. Когда я решил уехать из Индии, оказалось, что у меня только и есть одежды, что на мне.

Он оглядел мой костюм и спросил, у какого портного я шью. Портного я назвал, но добавил, что он в Лондоне, так что едва ли может быть ему полезен. Мы оставили эту тему и вернулись к Изабелле и Грэю.

— Я их часто видал, — сказал я. — Они живут душа в душу. С Грэем я ни разу не говорил с глазу на глаз, да и вряд ли он стал бы говорить со мной об Изабелле, но я знаю, он по-настоящему ее любит. Лицо у него скорее угрюмое, и глаза измученные, но, когда он смотрит на Изабеллу, в них столько доброты, мягкости, даже трогательно. Видимо, все это трудное время она была для него креп-

кой опорой, и он ни на минуту не забывает, скольким ей обязан. А Изабелла сильно изменилась. — Я не сказал ему, какой она стала красавицей. Я не был уверен, сумеет ли он оценить, как хорошенькая, бойкая девушка сама себя превратила в эту изящную, утонченную, восхитительную женщину. Некоторых мужчин коробит от того, что женская красота призывает себе на помощь искусство. — Она жалеет Грэя. Всеми силами старается вернуть ему веру в себя.

Время клонилось к вечеру, и я предложил Ларри пройтись по бульвару и пообедать.

— Нет, пожалуй не стоит, спасибо, — отвечал он. — Мне пора.

Он встал, дружески кивнул мне и шагнул на мостовую.

III

На следующий день я виделся с Изабеллой и Грэем и рассказал им, что встретил Ларри. Они удивились так же, как я накануне.

— До чего же хочется его увидеть, — сказала Изабелла. — Давайте позвоним ему прямо сейчас.

Тут я вспомнил, что не спросил Ларри, где он остановился. Изабелла отчитала меня по первое число.

— Я не уверен, что он сказал бы мне, если б я и спросил, — отбивался я, смеясь. — Наверно, тут мое подсознание вмешалось. Вы же помните, он никогда не любил рассказывать, где живет. Это была одна из его причуд. Он может в любую минуту здесь появиться.

— Да, с него станется, — сказал Грэй. — Его в прежние времена никогда не оказывалось там, где ожидал его встретить. Сегодня он тут, а завтра неведомо где. Бывало, увидишь его в комнате, думаешь, сейчас подойду поздороваться, а оглянулся — его и след простыл.

— Правда, правда, — сказала Изабелла. — Я всегда на него за это злилась. Что ж, придется, видно, ждать, пока он сам надумает пожаловать.

Он не явился ни в тот день, ни на следующий, ни еще через день. Изабелла в сердцах решила, что я вообще все это выдумал. Я оправдывался, приводил причины, почему он исчез. Но звучали они неубедительно. Про себя же я подозревал, что ему просто расхотелось встречаться с Изабеллой и Грэем и он подался куда-нибудь вон из Парижа. Мне представлялось, что он не способен где-либо осесть

надолго и готов в любую минуту, повинувшись капризу или по причинам, казавшимся ему уважительными, сняться с места.

Наконец он явился. В тот день шел дождь и Грэй не поехал в Мортфонтен. Мы с Изабеллой пили чай, Грэй потягивал виски с ликером, как вдруг дворецкий отворил дверь, и в комнату не спеша вошел Ларри. Изабелла, вскрикнув, вскочила с места, бросилась ему на шею и поцеловала в обе щеки. Грэй, чья толстая красная физиономия покраснела еще больше, горячо сжал ему руку.

— Рад тебя видеть, старина, — сказал он сдавленным от волнения голосом.

Изабелла прикусила губу, и я видел, что она с трудом сдерживает слезы.

— Выпьем, друг, — еле выговорил Грэй.

Я был тронут их искренней радостью при виде скитальца. Сознание, что он так много для них значит, не могло не быть ему приятно. Он широко улыбался. Однако мне было ясно, что он вполне владеет собой. Он заметил посуду на столе.

— Я бы выпил чашку чая, — сказал он.

— Брось, какой там чай! — воскликнул Грэй. — Разопьем бутылку шампанского!

— Я предпочитаю чай, — улыбнулся Ларри.

Его хладнокровие, возможно, умышленное, возымело свое действие. Они успокоились, хоть и продолжали смотреть на него влюбленными глазами. Я не хочу сказать, что на их вполне естественные излияния он отвечал холодно или свысока: напротив, он был донельзя сердечен и обаятелен; но в его манере я улавливал что-то, что не мог назвать иначе как отчужденностью, и причина ее была мне непонятна.

— Почему ты сразу к нам не пришел, ужасный ты человек?! — с притворным негодованием накинулась на него Изабелла. — Я пять дней не отходила от окна, все высматривала тебя, а от каждого звонка у меня сердце екало и в рту пересыхало.

Ларри лукаво усмехнулся.

— Мистер М. сказал мне, что в таком непотребном виде ваш слуга и на порог меня не пустит. Я слетал в Лондон обновить гардероб.

— Уж это вы зря, — улыбнулся я. — Могли бы купить готовый костюм в «Прентан» или «Ля бель жардиньер».

— А я решил — если принимать цивилизованный вид, так по всем правилам. Я десять лет не покупал себе европейской одежды. Я отправился к вашему портному и сказал ему, что мне нужен костюм через три дня. Он сказал, что сошьет за две недели, ну, и мы сошлись на четырех днях. Я вернулся из Лондона час назад.

На нем был синий костюм, отлично сшитый по его сухощавой фигуре, белая рубашка с мягким воротничком, синий шелковый галстук, и коричневые ботинки. Волосы коротко подстрижены, лицо гладко выбрито. Вид не только аккуратный, но элегантный. Он буквально преобразился. Он был очень худ; скулы выдавались резче, виски запали глубже, глаза стали больше, чем мне помнилось по прежним временам; но выглядел он отлично, и мало того, его дочерна загорелое, без единой морщины лицо выглядело поразительно молодо. Он был на год моложе Грэя, обоим недавно перевалило за тридцать, но Грэю можно было дать сорок лет, а Ларри — двадцать. У Грэя, большого, погрузневшего, все движения были медлительные и тяжеловесные, у Ларри — свободные, легкие. Держался он по-мальчишески весело и открыто, но я все время ощущал в нем какой-то невозмутимый покой, не свойственный тому юноше, которого я знал когда-то. И все время, что длился разговор, непринужденный, как всегда между старыми друзьями, которым есть что вспомнить, и то Грэй, то Изабелла подкидывали какие-нибудь мелкие чикагские новости, и все дружно смеялись и судачили о том о сем, легко переходя с одного на другое, — я не мог отделаться от ощущения, что Ларри, хоть смеялся он от души и оживленную болтовню Изабеллы слушал с явным удовольствием, воспринимал все это как бы издали. Не то чтобы он играл роль — искренность его не вызвала сомнений. Но что-то в нем — не знаю, как это назвать, настороженность, чувствительность, сила? — отгораживало его от других.

Были вызваны девочки и сделали Ларри вежливый книксен. Он по очереди протянул им руку, глядя на них с подкупающей нежностью, и они, серьезно уставившись на него, подали ему ручку. Изабелла радостно сообщила, что они молодцы и учатся неплохо, дала им по тартинке и отослала в детскую.

— Когда уляжетесь, я приду и десять минут вам почитаю.

Сейчас ей не хотелось отрываться, уж очень она наслаждалась обществом Ларри. Девочки подошли проститься с отцом. И какую же любовью осветилось его грубое красное лицо, когда он прижал их к себе и расцеловал. Было ясно как день, что он гордится ими, души в них не чаает, и, когда они ушли, он повернулся к Ларри и сказал с чудесной застенчивой улыбкой:

— Хорошие малышки, верно?

Изабелла ласково глянула на него.

— Грэю дай только волю, он избаловал бы их до смерти. Он бы дал мне умереть с голоду, лишь бы их кормить икрой и паштетом.

Он улыбнулся ей и сказал:

— Неправда, и ты сама это знаешь. Я тебя люблю больше жизни.

В глазах Изабеллы мелькнула ответная улыбка. Да, она это знала, и ее это радовало. Счастливая пара.

Она стала уговаривать нас остаться у них обедать. Я было отказался, думая, что им приятнее будет побыть втроем, но она и слушать не захотела.

— Я велю Мари положить в суп еще одну морковку, и как раз выйдет четыре порции. На второе курица, вам и Грэю дадим ноги, а мы с Ларри будем есть крылышки, а пюре пусть сделает побольше, чтобы на всех хватило.

Грэй тоже как будто упрашивал всерьез, и я дал уговорить себя поступить так, как мне хотелось.

В ожидании обеда Изабелла подробно рассказала Ларри то, что я уже сообщил ему вкратце. Хотя она и старалась поведать эту печальную повесть как можно веселее, на лице Грэя изобразилась угрюмая тоска. Изабелла поспешила его подбодрить.

— Теперь-то это все позади. Мы еще легко отделались. Как только положение улучшится, Грэй получит великолепную должность и наживет миллионы.

Подали коктейли, и после двух бокалов бедняга воспрянул духом. Ларри, хоть и взял бокал, почти не притронулся к нему, и когда Грэй, не заметив этого, предложил ему повторить — отказался. Мы вымыли руки и сели обедать. Грэй велел подать шампанского, но, когда дворецкий стал наливать Ларри, тот сделал знак, что пить не будет.

— Ну что ты, хоть немножко! — воскликнула Изабелла. — Это из запасов дяди Эллиота, самое лучшее, только для особенно дорогих гостей.

— Честно говоря, я предпочитаю воду. Когда проживешь так долго на Востоке, нет ничего вкуснее воды, которую можно пить без опаски.

— Но случай-то исключительный.

— Ладно, один бокал выпью.

Обед был превосходный, но Изабелла, как и я, заметила, что Ларри ест очень мало. Вероятно, она спохватилась, что до сих пор без умолку говорила сама, а Ларри оставалось только слушать, и теперь она стала расспрашивать его о том, как он провел те десять лет, что они не виделись. Он отвечал охотно и не таясь, но так неопределенно, что, в сущности, сказал нам очень мало.

— Ну, понимаете, бродил по белу свету. Год провел в Германии, пожил в Италии, в Испании. И по Востоку пошатался.

— А сейчас ты откуда?

— Из Индии.

— И сколько ты там пробыл?

— Пять лет.

— Интересно было? — спросил Грэй. — На тигров охотился?

— Нет, — улыбнулся Ларри.

— Что же ты делал в Индии целых пять лет? — спросила Изабелла.

— Небо коптил, — ответил он с незлобивой иронией.

— А факирский фокус с веревкой видел? — спросил Грэй.

— Нет, не видел.

— Что же ты видел?

— Много чего.

Тогда и я задал ему вопрос.

— Верно ли, что йоги вырабатывают в себе способности, которые нам кажутся сверхъестественными?

— Право, не знаю. Могу только сказать, что в Индии это представление очень распространено. Но самые умные не придают таким способностям никакого значения, считают, что они только задерживают духовный рост. Помню, один из них рассказал мне про некоего йога, как он подошел к реке и у него не было денег заплатить перевозчику, а тот отказался перевезти его даром, и тогда он взял и перешел на другой берег прямо по воде. Тот йог, что мне это рассказывал, презрительно пожал плечами и добавил: «Цена такого рода чудесам — тот самый грош, который был нужен, чтобы переправиться на лодке».

— Но вы-то как думаете, тот йог в самом деле шел по воде?

— Мой собеседник, во всяком случае, в этом не сомневался.

Слушать Ларри доставляло большое удовольствие, потому что у него был на редкость приятный голос, не слишком низкий, но звучный, гибкий, богатый интонациями.

После обеда мы снова перешли в гостиную пить кофе. Я никогда не бывал в Индии и жаждал узнать о ней побольше.

— Вы там общались с какими-нибудь писателями или мыслителями? — спросил я.

— А вы, я вижу, проводите между ними различие, — поддразнила меня Изабелла.

— Это как раз и входило в мои планы, — ответил Ларри.

— И как вы с ними разговаривали? По-английски?

— Самые интересные из них если и говорили по-английски, то очень неважно, а уж понимали совсем плохо. Я выучил хиндустани. А когда подался на юг, стал немного объясняться и на тамильском.

— Сколько же языков вы теперь знаете, Ларри?

— Ой, не считал. Штук шесть, наверно.

— Я хочу узнать что-нибудь еще про йогов, — сказала Изабелла. — Ты с кем-нибудь из них был близко знаком?

— Если можно говорить о близком знакомстве с людьми, которые почти все свое время проводят в Бесконечности, — улыбнулся он. — У одного я прожил в ашраме два года.

— Два года? А что такое ашрама?

— Ну, это вроде как обитель отшельника. Там есть святые люди, которые живут в полном одиночестве в каком-нибудь храме в лесу или на склонах Гималаев. Есть и такие, которых окружают ученики. Какой-нибудь добрый человек, алчущий праведности, строит хижину, большую или маленькую, для йога, который поразил его своим благочестием, а ученики селятся поблизости, спят на галерейке, или в кухне, если таковая имеется, или просто под деревьями. У меня была крошечная хибарка, в ней еле помещалась походная койка, стол, стул и полка для книг.

— Где это было? — спросил я.

— В Траванкуре, это чудесный край зеленых гор, и долин, и медленных рек. Выше в горах водятся тигры, лео-

парды, слоны и бизоны, но ашрама стояла на берегу речной заводи, среди кокосовых и арековых пальм. До ближайшего города было мили четыре, но люди приходили оттуда, да и из других мест намного дальше, или приезжали на повозках, запряженных волами, чтобы послушать моего йога, если он был в настроении говорить, а не то просто посидеть у его ног и вместе с другими ощутить покой и счастье, которые исходили от него, как аромат от туберозы.

Грэй заерзал на стуле. Видимо, ему стало не по себе от этих разговоров.

— Выпьем? — предложил он мне.

— Нет, спасибо.

— А я выпью. Ты как, Изабелла?

Он грузно поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стояли виски, ликер и стаканы.

— А еще белые люди там были?

— Нет, только я.

— Как ты мог это выдержать два года? — вскричала Изабелла.

— Они промелькнули мгновенно. У меня в жизни бывали дни, которые тянулись куда дольше.

— Но чем ты заполнял свое время?

— Читал. Ходил на далекие прогулки. Плавал в лодке по заводи. Размышлял. Это, знаете ли, тяжелый труд. После двух-трех часов выматываешься так, будто пятьсот миль вел машину, только и мечтаешь, как бы отдохнуть.

Изабелла чуть сдвинула брови. Она была озадачена, пожалуй, даже немного испугана. Должно быть, она начинала догадываться, что тот Ларри, которого она знала в прошлом, — такой доверчивый, веселый, своенравный, но пленительный, и тот, что вошел в комнату несколько часов назад, — два разных человека, хотя внешне он почти не изменился и казался таким же простым и приветливым. Когда-то она уже потеряла его и, увидев его снова, приняв его за прежнего Ларри, решила, что, как бы ни сложились обстоятельства, он все еще ей подвластен; теперь же, когда она словно поймала солнечный луч, а он ускользал у нее между пальцев, она слегка встревожилась. Я много смотрел на нее в тот вечер, это всегда бывало приятно, и я видел, сколько нежности было в ее глазах, когда они обращались на аккуратно подстриженный затылок Ларри и его небольшие, плотно прижатые к черепу уши, и как выражение их менялось, когда она отмечала его запавшие виски и худобу

шек. Она скользила взглядом по его длинным рукам, очень худым, но крепким и сильным, поглядывала на его подвижные губы, изящно очерченные, полные, хоть и не чувственные, на его чистый лоб и точеный нос. Свое новое платье он носил не как Эллиот, на манер джентльмена из модного журнала, а свободно, непринужденно, точно год не надевал ничего другого. Казалось, он будил в Изабелле материнский инстинкт, которого я никогда не замечал в ее отношении к собственным детям. Она была женщина с опытом, он все еще выглядел юным, и мне чудилась в ней гордость матери — смотрите-ка, мой сын стал совсем взрослый, и разговаривает так складно, и умные люди его слушают, как будто он и вправду много понимает. Смысл того, что он говорил, по-моему, не доходил до ее сознания.

Сам же я тем временем не отставал от Ларри.

— Какой он был из себя, ваш йог?

— Вы имеете в виду внешность? Ну, роста среднего, не тощий и не толстый, кожа светло-коричневая, бритый, волосы короткие, седые. Ходил в одних трусах, но выглядел франтом, не хуже молодых людей с рекламы «Братьев Брукс».

— И что в нем особенно вас привлекло?

Ларри ответил не сразу. С минуту его глубоко посаженные глаза словно пытались проникнуть мне в самую душу.

— Святость.

Его ответ немного смутил меня. В этой комнате с красивой мебелью и прелестными рисунками по стенам неожиданное слово брызнуло, как струйка воды, просочившейся сквозь потолок из переполненной ванны.

— Все мы читали о святых, — продолжал Ларри. — Святой Франциск, святой Иоанн с крестом, но то было много веков назад. Мне и в голову не приходило, что в наше время можно встретить святого во плоти. Но с той минуты, как я его увидел, я уже не сомневался, что он святой. Это было удивительное переживание.

— И что оно вам дало?

— Душевный покой, — ответил он с полуулыбкой, почти небрежно, и тут же рывком встал с места. — Мне пора.

— Подожди уходить! — взмолилась Изабелла. — Ведь еще рано.

— Спокойной ночи, — сказал он, все еще улыбаясь и как бы не заметив ее слов. Потом поцеловал ее в щеку. — На днях увидимся.

— Ты где живешь? Я тебе позвоню.

— Не стоит. Здесь в Париже это дело сложное, сама знаешь. К тому же наш телефон все время портится.

В душе я посмеялся тому, как ловко он сумел утаить свой адрес. Почему-то он всегда норовил скрыть, где живет. Я пригласил их всех пообедать в Булонском лесу послезавтра вечером. В такую чудесную весеннюю погоду хорошо будет посидеть на воздухе, под деревьями, Грэй может отвезти нас туда в своем купе. Я ушел вместе с Ларри и охотно прогулялся бы с ним, но, как только мы очутились на улице, он пожал мне руку и быстро зашагал прочь. Я поздравлял такси.

IV

Мы сговорились встретиться у Мэтьюринов и выпить по коктейлю, прежде чем пуститься в путь. Я приехал раньше Ларри. Пригласив их в очень шикарный ресторан, я ожидал увидеть Изабеллу в полном параде: там все женщины будут разодеты в пух и прах, неужели же она даст им себя затмить? Но на ней было простенькое шерстяное платье.

— У Грэя опять мигрень, — сказала она. — Мучается ужасно. Я не могу его оставить. Кухарку я на вечер отпустила — уйдет, как только накормит детей ужином, придется самой что-то для него сготовить и заставить его съесть. Вы с Ларри поезжайте без нас.

— Грэй в постели?

— Нет, он с этими болями никогда не ложится. Нужно бы, конечно, но он не хочет. Он в библиотеке.

То была небольшая обшита деревом комната, коричневая с золотом, которую Эллиот целиком вывез из какого-то старинного замка. От любопытных книги были защищены золочеными решетками и заперты на ключ. Это, пожалуй, было и к лучшему: большую часть их составляли эротические, украшенные гравюрами произведения восемнадцатого века. Впрочем, в новых сафьяновых переплетах они выглядели очень мило. Мы вошли. Грэй сидел мешком в большом кожаном кресле, на полу возле него валялись иллюстрированные журналы. Глаза у него были закрыты, лицо, обычно красное, посерело. Он попытался встать, но я остановил его.

— Аспирин вы ему давали? — спросил я Изабеллу.

— Не помогает. У меня есть один американский рецепт, но от него тоже никакого толку.

— Не беспокойся, родная, — сказал Грэй. — До завтра пройдет. — Он попробовал улыбнуться. — Простите, что так подвел, — обратился он ко мне. — Поезжайте-ка вы все обедать.

— И не подумаю, — сказала Изабелла. — Представляешь, как мне будет весело, когда ты тут терпишь все муки ада?

— Бедная девочка, она, кажется, меня любит, — сказал Грэй и опять закрыл глаза.

Вдруг лицо его исказилось. Режущая боль, пронизавшая ему голову, была почти зримой. Дверь тихо отворилась, и вошел Ларри. Изабелла объяснила ему, в чем дело.

— Ой, как нехорошо, — сказал он, бросив на Грэя сочувствующий взгляд. — Неужели ничего нельзя сделать?

— Ничего, — сказал Грэй, не открывая глаз. — Я об одном прошу, оставьте меня в покое и поезжайте веселиться.

Я и сам подумал, что это было бы единственным разумным решением, но принять его Изабелле не позволит совесть.

— Можно, я попробую тебе помочь?—спросил Ларри.

— Никто мне не может помочь, — ответил Грэй устало. — Когда-нибудь она меня доконает, иногда думаешь — уж поскорей бы.

— Я неправильно сказал, что хочу тебе помочь; может, мне удастся помочь тебе помочь самому себе.

Грэй медленно открыл глаза.

— А как ты можешь это сделать?

Ларри достал из кармана какую-то серебряную монету и вложил ее Грэю в руку.

— Зажми ее в кулак и держи руку ладонью книзу. Не противься мне. Не напрягайся, только держи монету в кулаке. Еще до того, как я сосчитаю до двадцати, пальцы у тебя разожмутся и монета выпадет.

Грэй повиновался. Ларри сел у письменного стола и начал считать. Изабелла и я стояли не шевелясь. Раз, два, три, четыре... Пока он считал до пятнадцати, рука Грэя оставалась неподвижной, а потом чуть дрогнула, и я не то чтобы увидел, но каким-то образом уловил, что пальцы расслабляются. Вот большой палец отделился от кулака. Теперь было ясно видно, что и другие пальцы пришли в движение. Когда Ларри досчитал до девятнадцати, монета упала на пол и покатилась мне под ноги. Я поднял ее и

рассмотрел. Она была тяжелая, неправильной формы, и с одной стороны был выбит рельефный портрет молодого мужчины, в котором я узнал Александра Македонского. Грэй растерянно уставился на свою руку.

— Я не ронял монету, — сказал он. — Она сама упала.

Его правая рука лежала на подлокотнике кожаного кресла.

— Тебе удобно сидеть? — спросил Ларри.

— Если вообще может быть удобно, когда голова раскалывается.

— Ладно, ты расслабься. Ничего не делай. Не думай. Не сопротивляйся. Когда я досчитаю до двадцати, твоя правая рука оторвется от кресла и окажется у тебя над головой. Раз, два, три, четыре...

Он считал медленно, своим чудесным звучным голосом, и, когда досчитал до девяти, кисть Грэя чуть приподнялась, оторвавшись от кожаной поверхности, и, повиснув в каком-нибудь дюйме от нее, на секунду задержалась.

— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

Рука дернулась и теперь уже вся, от плеча, пошла вверх. Она уже не касалась кресла. Изабелла, немного испуганная, вцепилась мне в руку. Картина и вправду была захватывающая. Мне не приходилось видеть, как люди ходят во сне, но я представляю себе, что они двигаются так же странно, как двигалась рука Грэя. Воля тут словно не участвовала. Мне подумалось, что сознательным усилием руку и невозможно было бы поднять так медленно и равномерно. Ее словно поднимала какая-то подсознательная сила, независимая от разума. Так — медленно, туда-сюда — ходит поршень в цилиндре.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...

Слова падали медленно, медленно, точно капли из неисправного крана. Рука поднималась все выше, выше и вот она уже у Грэя над головой, а вот, со счетом двадцать, тяжело падает обратно на подлокотник.

— Я не поднимал руку, — сказал Грэй. — Я ничего не мог с ней поделать. Она сама.

Ларри чуть заметно улыбнулся.

— Это неважно. Я просто хотел, чтобы ты в меня поверил. Где эта монета?

Я протянул ее.

— Держи. — Грэй взял ее в руку. Ларри глянул на свои часы. — Сейчас тринадцать минут девятого. Через шестьде-

сят секунд веки у тебя так отяжелеют, что ты закроешь глаза. И уснешь. Ты проспишь шесть минут. В восемь двадцать ты проснешься здоровый.

Мы с Изабеллой молчали, не спуская глаз с Ларри. Он больше ничего не сказал. Он устремил пристальный взгляд на Грэя, но смотрел словно не на него, а сквозь него, куда-то дальше. В охватившем нас молчании было что-то таинственное, так молчат цветы в саду, когда сгущаются сумерки. Вдруг пальцы Изабеллы крепче впились в мою руку. Я взглянул на Грэя. Глаза у него были закрыты, дыхание легкое и ровное: он спал. Так мы простояли, казалось, целую вечность. Мне очень хотелось курить, но я не решался чиркнуть спичкой. Ларри застыл в неподвижности. Глаза его смотрели в какую-то неведомую даль. Не будь они открыты, можно было подумать, что он в трансе. И вдруг он весь обмяк, глаза приняли свое обычное выражение, и он посмотрел на часы. В то же мгновение Грэй открыл глаза.

— Тьфу, — сказал он, — я, кажется, задремал. — И разом встряхнулся. Я заметил, что он уже не так бледен. — Голова-то прошла!

— Вот и хорошо, — сказал Ларри. — Выкури папиросу, и поедем все вместе обедать.

— Но это просто чудо. Я совсем здоров. Как ты это сделал?

— Это не я. Ты сам это сделал.

Изабелла убежала переодеваться, а тем временем мы с Греем выпили по коктейлю. Хотя Ларри был явно против, Грэй упорно толковал о случившемся. Он был в полном недоумении.

— Вот уж не ожидал, что у тебя что-нибудь выйдет. Согласился, потому что лень было спорить, так паршиво себя чувствовал.

И он стал подробно описывать, как начинаются его мигрени, как они его мучают и какой он бывает разбитый, когда боль отпускает. Ему все не верилось, что сейчас он в норме, точно ничего и не было. Вернулась Изабелла. На ней было платье, которого я еще не видел, длинное до полу, белый футляр из материи, которая, кажется, называется марокен, с воланом из черного тюля. Да, с такой дамой каждому было бы лестно появиться на людях.

В «Шато де Мадрид» царил веселье, и мы все были в ударе. Ларри без конца смешил нас всякой забавной чепухой — я и не знал за ним такого таланта. Мне подумалось,

что он задался целью отвлечь наши мысли от его поразительного дара, проявлению которого мы так неожиданно стали свидетелями. Но Изабеллу трудно было сбить с толку. Какое-то время она готова была подпевать ему, однако не забывала, что желает удовлетворить свое любопытство. После обеда, когда подали кофе и ликеры и она, очевидно, решила, что под влиянием вкусной еды, одного-единственного стакана вина и дружеской беседы тормоза у Ларри ослабли, она устремила на него ясный взгляд.

— А теперь расскажи нам, как ты вылечил Грэя.

— Ты же сама видела, — улыбнулся он.

— Ты этому выучился в Индии?

— Да.

— Он ужасно мучается. Может, ты и вообще мог бы избавить его от этих мигреней?

— Не знаю. Возможно.

— Это было бы для него так важно. Ведь он не может и надеяться получить приличное место, пока рискует в любой день на двое суток выбыть из строя. А без работы он все равно что не живет.

— Я, знаешь ли, не чудотворец.

— Но это было настоящее чудо. Я своими глазами видела.

— Нет. Я просто внушил Грэю идею, а остальное он сделал сам. — Он повернулся к Грэю. — Ты завтра что делаешь?

— Игру в гольф.

— Я к тебе загляну в шесть часов, побеседуем. — И снова Изабелле, с обворожительной улыбкой: — Мы с тобой не танцевали десять лет. Может быть, я разучился, хочешь, проверим?

V

После этого мы видели Ларри часто. Всю следующую неделю он приходил каждый день и на полчаса уединялся с Грэем в библиотеке. Он, по собственному выражению, пытался убедить его отделаться от этих противных мигреней, и Грэй проникся к нему чисто детским доверием. Из того немногого, что сказал Грэй, я понял, что Ларри, кроме того, пытается вернуть ему подорванную веру в себя. Дней через десять у Грэя опять разболелась голова, а Ларри ждали только вечером. На этот раз мигрень была сравнительно легкая, но Грэй так верил в могущество Ларри, что твердил: надо его найти, он в несколько минут с ней справится. Изабелла позвонила мне по телефону, но я тоже не знал,

где он живет. Когда Ларри наконец явился и избавил Грэя от боли, тот попросил его оставить свой адрес, чтобы в случае необходимости можно было сразу его призвать. Ларри улыбнулся.

— Звони в «Америкен экспресс» и проси передать. Я буду им звонить каждое утро.

Позже Изабелла спросила меня, почему Ларри скрывает свой адрес. Ведь он и раньше делал из этого тайну, и тогда оказалось, что он просто живет в третьеразрядной гостинице в Латинском квартале.

— Понятия не имею, — отвечал я. — Могу только предложить весьма произвольную догадку, скорее всего неверную. Возможно, он инстинктивно относит некую духовную обособленность и к своему жилищу.

— О господи, это еще что за головоломка? — вскричала она сердито.

— Вы не задумывались над тем, что, когда он с нами и как будто держится так просто, открыто, дружески, в нем чувствуется какая-то отчужденность, словно он отдает не всего себя, а где-то в тайнике души что-то придерживает... какое-то напряжение, или тайну, или замысел, или знание... не знаю, что именно... и это позволяет ему оставаться от всех в стороне?

— Я знаю его с детства, — раздраженно перебила она.

— Иногда он напоминает мне большого актера, виртуозно играющего в ерундовой пьесе. Как Элеонора Дузе в «Хозяйке гостиницы».

Изабелла на минуту задумалась.

— Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. С ним бывает так весело, и он вроде бы такой же, как мы, как все люди, а потом вдруг такое ощущение, точно он ускользнул, как колечко дыма, когда хочешь его поймать. Что же это в нем есть, отчего он такой чудной, как вы думаете?

— Может быть, что-то до того элементарное, что этого и не замечаешь.

— Например?

— Ну, например, — доброта.

Изабелла нахмурилась.

— Пожалуйста, не говорите таких вещей. У меня от них начинает болеть под ложечкой.

— А может, в глубине сердца?

Она посмотрела на меня долгим взглядом, словно хотела прочесть мои мысли. Потом взяла со столика папиросу,

закурила и откинулась в кресле, глядя, как дым колечками поднимается в воздух.

— Хотите, чтобы я ушел?

— Нет.

Я помолчал, глядя на нее и, как всегда, любуясь ее точеным носиком и прелестной линией подбородка.

— Вы сильно влюблены в Ларри?

— Ну вас к дьяволу, я всю жизнь только его и любила.

— Зачем же вы вышли замуж за Грэя?

— Надо было за кого-то выходить. Грэй меня обожал, и маме хотелось, чтобы мы поженились. Все мне твердили, какое счастье, что я разделалась с Ларри. А к Грэю я очень хорошо относилась и сейчас отношусь. Вы не знаете, какой он милый. Нет человека добрее его, заботливее. Многим кажется, что у него ужасный характер, но со мною он всегда был сущий ангел. Когда у него были деньги, он только и хотел, чтобы я у него что-нибудь выпрашивала, такую радость ему доставляло мне угождать. Как-то я сболтнула, что хорошо бы иметь свою яхту и поплыть вокруг света, так, если бы не крах, он бы и яхту купил.

— Бывают же такие люди, — ввернул я вполголоса.

— Мы жили чудесно. Я всегда буду ему за это благодарна. Он дал мне много счастья.

Я взглянул на нее, но промолчал.

— По-настоящему я его, наверно, не любила, но можно прекрасно прожить и без любви. В глубине души я тосковала по Ларри, но, когда его не было рядом, это меня особенно не тревожило. Помните, вы мне когда-то сказали, что, когда вас разделяют три тысячи миль океана, сносить муки любви не так трудно? Тогда это показалось мне циничным, но вы, разумеется, правы.

— Если вам больно видаться с Ларри, не разумнее ли перестать с ним видаться?

— Но боль-то эта — блаженство. И потом вы же знаете, какой он. В любой день может исчезнуть как тень, когда солнце спрячется, и жди, когда еще его опять увидишь.

— Вы не подумывали развестись с Грэем?

— У меня нет причин с ним разводиться.

— Это не мешает вашим соотечественницам разводиться с мужьями, когда им вздумается.

Она рассмеялась.

— Почему же они так поступают?

— А вы не знаете? Потому что американка желает обрести в своем муже идеал, который англичанка мечтает обрести разве что в своем дворецком.

Изабелла вскинула голову так надменно, что вполне могла растянуть мышцу на шее.

— Оттого, что Грэй не умеет себя выразить, вам кажется, что в нем нет ничего хорошего.

— Вот это уж неверно, — перебил я. — Мне кажется, в нем есть что-то очень ценное. Он умеет любить. Стоит только увидеть его лицо, когда он смотрит на вас, сразу понимаешь, как беззаветно он вам предан. И детей своих он любит куда больше, чем вы.

— Вы еще, чего доброго, скажете, что я плохая мать.

— Напротив, вы, по-моему, превосходная мать. Вы хотите, чтобы они были здоровы и веселы. Вы следите за тем, как они питаются и каждый ли день у них работает кишечник. Вы учите их правилам поведения, читаете им вслух и заставляете молиться на сон грядущий. Если они заболеют, вы сейчас же вызовете врача и будете прилежно их выхаживать. Но вы не боготворите их так, как он.

— А это и не нужно. Я человек и с ними обращаюсь, как с людьми. Мать только вредит своим детям, если ничем, кроме них, не интересуется.

— По-моему, вы совершенно правы.

— И они, между прочим, меня обожают.

— Это я заметил. Вы для них самая красивая, самая прелестная и удивительная. Но с вами им не так просто, не так уютно, как с Грэем. Вас они обожают, это верно, но его они любят.

— Его нельзя не любить.

Мне понравилось, как она это сказала. Она никогда не обижалась на правду, это было одно из ее самых привлекательных свойств.

— После краха Грэй совсем погибал. Он неделями работал в конторе до полуночи, а я сидела дома и терзалась от страха, боялась, что он пустит себе пулю в лоб, до того он чувствовал себя опозоренным. Понимаете, и он, и его отец так гордились своей фирмой, и своей честностью, и здравостью суждений. Для него горше всего было не то, что мы сами разорились, а что разорены люди, которые ему доверились, вот чего он не мог пережить. Ему все казалось, что он чего-то не предусмотрел. Я никак не могла внушить ему, что он не виноват.

Изабелла достала из сумочки помаду и подмазала губы.

— Но я не об этом хотела вам рассказать. Единственное, что у нас осталось, это усадьба, а Грэй необходимо было куда-то увезти, ну вот, мы и подкинули девочек маме, а сами укатили. Он всегда любил туда ездить, но мы еще ни разу не жили там одни, — возили с собой целую компанию и веселились напропалую. А тут ему и на охоту ходить не хотелось, хоть стреляет он хорошо. Он брал лодку и часами плавал один по болотам, наблюдая птиц. Плавал по всем протокам, где с обеих сторон камыши, а над головой небо. Там бывают дни, когда протоки синие, как Средиземное море. Дома он не распространялся о своих впечатлениях. Скажет, что было чудесно, и все. Но я-то понимала. Я знала, что этот простор, и красота и тишина глубоко его волнуют. Там бывает такой час перед закатом, когда освещение просто сказочное. Он, бывало, стоит и смотрит как замороженный. И верхом он подолгу ездил по глухим, таинственным лесам, они там, как в пьесах Метерлинка — серые, безмолвные, даже жутко. А весной бывает короткая пора — каких-нибудь две недели, когда цветет кизил и распускаются листья на кустарнике, и вся эта свежая зелень на фоне серого испанского мха — как радостный гимн, а на земле ковер из огромных белых лилий и дикой азалии. Грэй не умел выразить, что это для него значит, но значило это очень много. Он упивался этой красотой. Я, конечно, описываю все это нескладно, но вы не поверите, какое это было волнующее зрелище — такой большой, взрослый мужчина, и весь во власти чистого, высокого чувства. Если есть на небе Бог, Грэй в такие минуты бывал к нему близок.

Изабелла и сама немного расчувствовалась и крошечным платочком смахнула две слезинки, блеснувшие в уголках ее глаз.

— Может быть, вы фантазируете? — улыбнулся я. — Приписываете Грэю мысли и чувства, которыми сами его наделили?

— Как я могла бы их выдумать, если бы не видела? Меня-то вы знаете. Я-то счастлива только тогда, когда у меня под ногами асфальтовый тротуар, а по всей улице — зеркальные витрины, и в них шляпы, меховые манто, браслеты с бриллиантами и несессеры с золотыми застежками.

Я посмеялся, и с минуту мы молчали. Потом она вернулась к прежней теме.

— Я ни за что не разведусь с Грэем. Слишком много мы пережили вместе. И он без меня как без рук. Это даже лестно и накладывает известную ответственность. А кроме того...

— Продолжайте.

Она искоса взглянула на меня, в глазах блеснул озорной огонек. Словно она не была уверена, как я отнесусь к тому, что она надумала мне сказать.

— Он изумительный любовник. Мы женаты десять лет, а он такой же страстный, как был вначале. Это не вы в какой-то пьесе сказали, что ни один мужчина не желает одну и ту же женщину дольше пяти лет?.. Так вот, вы не знали, о чем говорите. Грэй меня желает так же, как в первую ночь. В этом смысле он дал мне много радости. Я ведь очень чувственная женщина, хотя по виду этого не скажешь.

— Ошибаетесь. Как раз скажешь.

— И что же, это можно поставить мне в упрек?

— Напротив. — Я испытующе взглянул на нее. — Так вы не жалеете, что десять лет назад не вышли за Ларри?

— Нет. Это было бы безумием. Но, конечно, если б я знала то, что знаю теперь, я бы уехала куда-нибудь и прожила с ним три месяца, а потом раз и навсегда вычеркнула его из своей жизни.

— Думаю, для вас лучше, что вы не пошли на такой эксперимент; вы рисковали убедиться, что связаны с ним такими узами, которых не могли бы разорвать.

— Не думаю. То было всего лишь физическое влечение. Вы ведь знаете, часто лучший способ превозмочь желание состоит в том, чтобы его удовлетворить.

— А известно ли вам, что вы заядлая собственница? Вы мне сказали, что у Грэя поэтическая натура и что он — пылкий любовник; охотно верю, что и то, и другое вам дорого; но вы мне не сказали, что вам дороже, чем то и другое вместе взятое, а это — ощущение, что вы крепко держите его в ваших прелестных, хоть и не таких уж маленьких ручках. Ларри всегда ускользал от вас. Вы помните эту оду Китса? «Любовник смелый, никогда тебе ее не целовать, хоть цель близка».

— Напрасно вам кажется, что вы знаете все на свете, — сказала она чуть язвительно. — Удержать мужчину женщина может только одним способом. И запомните: важен не первый раз, когда она ложится с ним в постель, а второй. Если она после этого его удержит, значит, удержит навсегда.

— Что и говорить, вы набрались любопытных сведений.

— А я много где бываю, смотрю, слушаю и мотаю на ус.
— Если не секрет, откуда у вас эта последняя информация?

В ее улыбке была бездна лукавства.

— От одной женщины, с которой я подружилась на выставке мод. Продавщица сказала мне, что это самая шикарная кокетка в Париже, и я решила с ней познакомиться. Адриенна де Труа. Слышали про такую?

— Никогда.

— Какой пробел в вашем образовании! Ей сорок пять лет, она даже не красива, но осанка благороднее, чем у всех Эллиотовых герцогинь. Я к ней подседа и разыграла наивную молодую американочку. Сказала, что должна с ней поговорить, потому что в жизни не видела никого более восхитительного, что она совершенна, как греческая камея.

— Ну и нахальство!

— Сперва она держалась холодно, этак «не тронь меня», но я продолжала щебетать, и она оттаяла. Мы хорошо поболтали. Когда показ окончился, я пригласила ее как-нибудь позавтракать в «Рице». Сказала, что всегда восхищалась ее неподражаемым шиком.

— Разве вы ее и раньше видели?

— Никогда. От моего приглашения она отказалась, не хочет, мол, меня компрометировать, в Париже столько злых языков, но ей было приятно, что я ее пригласила, и, когда она увидела, что у меня губы дрожат от огорчения, сама пригласила меня позавтракать у нее дома. А когда увидела, что я буквально сражена ее любезностью, даже похлопала меня по руке.

— И вы пошли?

— А как же. У нее премиленький домик на авеню Фош, а прислуживал нам дворецкий, вылитый Джордж Вашингтон. Я просидела у нее до четырех часов. Мы, так сказать, распустили волосы, сняли корсеты и всласть потрепались о всяких женских делах. В тот день я столько узнала нового, что хоть книгу пиши.

— Вот бы и написали. Как раз подходящий материал для дамского журнала «Домашний очаг».

— Да ну вас, — рассмеялась она.

Я заговорил не сразу, мне хотелось что-то додумать.

— Вот не знаю, был Ларри когда-нибудь в вас влюблен или нет.

Она выпрямилась в кресле. Куда девалась светская любезность. Глаза ее метали молнии.

— То есть как? Конечно, он был в меня влюблен. Вы что же думаете, девушка не знает, когда мужчина в нее влюблен?

— Ну да, в каком-то смысле, вероятно, был. Он ни с одной девушкой не был так близко знаком. Вы вместе росли. Он не представлял себе, что может быть иначе. Жениться на вас казалось ему так естественно. И ничего особенно нового это бы в ваши отношения не внесло, только жили бы под одной крышей и спали вместе.

Изабелла, немного смягчившись, ждала продолжения, и я, зная, как любят женщины слушать рассуждения о любви, продолжал:

— Моралисты пытаются нас убедить, что половой инстинкт имеет мало общего с любовью. Они склонны зачислить его в эпифеномены.

— О Господи, это еще что за зверь?

— Видите ли, некоторые психологи считают, что сознание сопровождает работу мозга и определяется ею, но само на нее не влияет. Представьте себе отражение дерева в воде: без дерева оно не могло бы существовать, но никакого воздействия на дерево не оказывает. На мой взгляд, утверждение, что может быть любовь без страсти, — абсурд; когда люди уверяют, что любовь может длиться, даже если страсть умерла, они имеют в виду другое: привязанность, дружбу, общность интересов и вкусов, привычку. Главное — привычку. Половые сношения могут продолжаться по привычке, вот так же у людей пробуждается голод к тому часу, когда они привыкли есть. Влечение без любви, разумеется, возможно. Влечение — это не страсть. Это — естественное проявление полового инстинкта и значит оно не больше, чем любая другая функция животного организма. Поэтому-то и неразумны женщины, воображающие, что все пропало, когда их мужья изредка позволяют себе согрешить на стороне, если время и место тому способствуют.

— Это относится только к мужчинам?

Я улыбнулся.

— Если вы настаиваете, я готов допустить здесь полное равноправие. Единственная разница в том, что мужчин такие мимолетные связи не задевают сколько-нибудь глубоко, а женщин задевают.

— Смотря какая женщина.

Но я упорно гнул свою линию.

— Если любовь — не страсть, значит, это не любовь, а что-то другое; а страсти, чтобы не угаснуть, нужно не удовлетворение, а преграды. Как вы думаете, почему Китс призывал влюбленного на своей греческой урне не горевать? «Навеки ты влюблен, навек она прекрасна». Почему? Да потому, что она недостижима, и, сколько бы он за ней ни гнался, она всегда будет от него ускользать. Ведь оба они вмурованы в мрамор урны, боюсь — не лучшего образца своей эпохи. Ваша любовь к Ларри и его любовь к вам была проста и естественна, как любовь Паоло и Франчески или Ромео и Джульетты. К счастью для вас, она не кончилась трагедией. Вы вышли замуж за богача, а Ларри пустился бродить по свету в поисках смысла жизни. Страсть здесь была ни при чем.

— А вы откуда знаете?

— Страсть не торгуется. Паскаль сказал, что у сердца свои доводы, не подвластные рассудку. Если я правильно его понял, смысл этих слов в том, что, когда сердцем завладевает страсть, оно находит свои доводы, не только убедительные, но безусловно доказывающие, что для любви не жаль ничего. Оно убеждает вас, что честью пожертвовать не трудно, что и стыд — недорогая цена. Страсть пагубна. Она погубила Антония и Клеопатру, Тристана и Изольду, Парнелла и Китти О'Ши. А если она не губит, то умирает сама. И тогда приходит горестное сознание, что лучшие годы растрачены впустую, что ты навлек на себя позор, терпел лютые муки ревности, сносил самые горькие унижения, излил всю свою нежность, все богатства твоей души на потаскушку, безмозглую дуру, тень, в которой ты воплотил свою мечту и которой вся-то цена — полушка.

Еще не закончив эту тираду, я заметил, что Изабелла меня не слушает, потому что занята другими мыслями. Но ее следующий вопрос меня удивил.

— Вы как думаете, Ларри девственник?

— Дорогая моя, ему тридцать два года.

— А я в этом уверена.

— Но на каком основании?

— Такие вещи женщина угадывает безошибочно.

— Я знавал одного молодого человека, который несколько лет имел бешеный успех, потому что уверял одну красавицу за другой, что никогда не знал женщины. По его словам, это оказывало магическое действие.

— Можете говорить что хотите, я верю в свою интуицию.

Время шло к вечеру. Изабелла и Грэй были приглашены в гости, и ей пора было одеваться. А у меня вечер оказался свободный, и я с удовольствием прошелся по весеннему бульвару Распай. В женскую интуицию я никогда особенно не верил — очень уж часто она подсказывает то, во что им хочется верить — и теперь, вспомнив конец нашего длинного разговора с Изабеллой, я невольно рассмеялся. А заодно мне вспомнилась Сюзанна Рувье, и я сообразил, что не видел ее уже несколько дней. Если она не занята, то, вероятно, согласится пообедать со мной и сходить в кино. Я остановил проползавшее мимо такси и дал шоферу ее адрес.

VI

Сюзанна Рувье была мною упомянута в начале этой книги. Я знал ее лет десять — двенадцать, и в то время, о котором сейчас идет речь, ей, вероятно, было под сорок. Красотой она не блистала, скорее наоборот. Высокого для француженки роста, с коротким туловищем, но длинноногая и длиннорукая, она держалась не очень ловко, словно не знала, куда девать свои длинные руки и ноги. Цвет волос она меняла как ей вздумается, но чаще всего он бывал каштановый с рыжим отливом. У нее было небольшое квадратное личико с резко выдающимися нарумяненными скулами и большой рот с густо накрашенными губами. Казалось бы — ничего привлекательного, но вот поди ж ты, а еще у нее была хорошая кожа, крепкие белые зубы и большие ярко-синие глаза. Глаза свои она ценила по достоинству и, чтобы еще усилить их прелесть, красила ресницы и веки. Взгляд у нее был зоркий, трезвый, дружелюбный, и неподдельное добродушие сочеталось в ней с изрядной долей бесстыдства. А бесстыдство при ее образе жизни было ей необходимо. Ее мать, вдова мелкого государственного чиновника, после смерти мужа вернулась в свою родную деревню в Анжу и жила на пенсию, а Сюзанну, когда той исполнилось пятнадцать лет, отдала в обучение портнихе в ближайшем городке, откуда она могла приезжать домой на воскресенье. И тут, во время двухнедельного отпуска, когда ей было семнадцать лет, ее соблазнил один художник, приехавший в их деревню на лето писать пейзажи. Она к тому времени уже знала, что без денег ее шансы на заму-

жество равны нулю, и когда в конце лета художник предложил увезти ее в Париж, согласилась не задумываясь. Он поселил ее у себя в студии, на Монмартре, и там она провела с ним очень приятный год.

А когда год кончился, он сказал ей, что не продал ни одного холста и больше не может позволить себе такую роскошь, как любовница. Он спросил, не хочет ли она уехать на родину, а когда она ответила, что не хочет, сказал, что ее с радостью взял бы к себе другой художник, живущий в том же доме. Человек, которого он ей назвал, уже несколько раз пытался с нею заигрывать, и она его неизменно одергивала, но так добродушно и весело, что он не обижался. Он не был ей противен, так что переезд совершился вполне мирно. Было даже удобно, что не надо тратиться на такси, чтобы перевезти ее чемодан. Ее второй любовник, намного старше первого, но еще представительный и бодрый, писал ее во всевозможных позах, одетой и обнаженной, и она прожила с ним два счастливых года. Она гордилась тем, что первого настоящего успеха он добился с ее помощью, и позже показывала мне вырезанную из журнала репродукцию с картины, после которой о нем заговорили. Картину купили для одного из американских собраний. Сюзанна была изображена в натуральную величину, обнаженная и примерно в той же позе, как «Олимпия» Мане. Художник сразу усмотрел в ее фигуре нечто современное и занятное; из худощавой он сделал ее болезненно худой, еще удлинил ее длинные ноги и руки, подчеркнул выдающиеся скулы, а синим глазам придал неестественную величину. Судить о цвете по репродукции было, разумеется, невозможно, но изящество рисунка я не мог не признать. Благодаря этой картине он приобрел известность, что и позволило ему жениться на восхищавшейся им богатой вдове, и Сюзанна, искренне убежденная в том, что всякий мужчина должен думать о своем будущем, приняла конец их сердечных отношений без слова жалобы.

Но она уже знала себе цену. Ей нравилось быть близко к искусству, нравилось позировать, а после рабочего дня она с удовольствием сидела в кафе с художниками, их женами и любовницами и слушала, как они спорят о живописи, поносят торговцев и рассказывают неприличные анекдоты. И теперь, поняв, что дело идет к концу, она заранее подготовила почву. Выбор ее пал на молодого человека, не имеющего постоянной подруги и, как ей показалось, талантлив-

вого. Она улучила минуту, когда он сидел в кафе один, обрисовала ему ситуацию и без дальних слов подала ему мысль, что хорошо бы им жить вместе.

— Мне двадцать лет, я хорошая хозяйка. Я и на хозяйстве сэкономлю, и натурщице не придется платить. Ты только посмотри на свою рубашку, просто срам на что она похожа, и в студии у тебя от пыли не продохнешь. За тобой нужен женский глаз.

Он знал, что она славный малый. Ее предложение показалось ему забавным, и, поняв, что он готов согласиться, она добавила:

— В конце концов, попробовать-то можно. Если дело не пойдет, останемся с чем были.

Как художник нового толка, он писал с нее портреты сплошь из квадратов и кубов. Писал ее с одним глазом и без рта. Писал в виде геометрического чертежа в черных, коричневых и серых тонах. Писал в виде решетки из линий, сквозь которую смутно угадывалось человеческое лицо. Она прожила с ним полтора года и ушла от него по собственной воле.

— Почему? — спросил я ее. — Разве он вам не нравился?

— Да нет, он был славный мальчик. Но мне показалось, что он не движется вперед. Он стал повторяться.

Преемника она ему нашла без труда. Она осталась верна художникам.

— Я всегда была при живописи, — заявила она. — Один раз полгода жила со скульптором, но это совсем не то, сама даже не знаю почему.

Она с удовольствием вспоминала, что со всеми своими любовниками расставалась по-хорошему. Она была не только отличной натурщицей, но и отличной хозяйкой. Она наводила идеальный порядок во всех студиях, что на какое-то время служили ей жилищем, для нее это был вопрос чести. Она прекрасно стряпала и умела приготовить вкусное блюдо буквально за гроши. Она штопала своим сожителям носки и пришивала пуговицы к рубашкам.

«Хоть ты и художник, а неряхой ходить негоже».

Только раз у нее вышла осечка — с молодым англичанином, самым богатым из всех ее знакомых, у него даже был автомобиль.

— Но длилось это недолго, — рассказывала она. — Он часто напивался и тогда бывал несносный. Это бы еще ладно, будь он хороший художник, но, дорогой мой, писал

он безобразно. Я предупредила, что уйду от него, а он расплакался. Сказал, что любит меня. «Мой бедный друг, — сказала я ему, — любишь ты меня или нет, не имеет ровно никакого значения. Важно, что у тебя нет таланта. Уезжай-ка ты к себе в Англию и займись оптовой торговлей. На большее ты не способен».

— И что он на это сказал? — поинтересовался я.

— Вломился в амбицию и велел мне убраться вон. Но совет я ему дала правильный. Надеюсь, он меня послушался. Человек он был неплохой, но художник никудышный.

Здравый смысл и покладистый характер сильно облегчают жизненный путь женщине легкого поведения, но профессии Сюзанны, как и всякой иной профессии, присущи и взлеты, и спады. Вот, например, тот швед. Она допустила оплошность — она в него влюбилась.

— Это был юный бог, — рассказывала она. — Ростом с Эйфелеву башню, с широченными плечами, могучей грудью, а талия такая тонкая, чуть не пальцами можно обхватить, живот плоский, совсем плоский, как ладонь, и мускулы, как у боксера. У него были золотые волнистые волосы и кожа цвета меда. И писал он недурно — мазок смелый, размашистый, и очень богатая палитра.

Она захотела иметь от него ребенка. Он был против, но она сказала, что всю ответственность берет на себя. «А когда ребенок родился, сам не мог налюбоваться. Такая прелестная крошка — волосики светлые, глаза голубые, вся в папу».

Сюзанна прожила с ним три года.

— Он был глуповат, с ним бывало скучно, но очень был милый, и уж до того красив, за это что угодно можно простить.

А потом он получил из Швеции телеграмму — отец при смерти, выезжай немедленно. Он обещал вернуться, но у нее сердце чувало, что нет, не вернется. Он оставил ей все деньги, какие при нем были. Месяц от него не было известий, потом пришло письмо, — он писал, что отец умер, дела его оказались порядком расстроены, и он считает своим долгом остаться с матерью и пойти по стопам отца — торговать лесом. Не в ее характере было предаваться отчаянию. Решив, что ребенок свяжет ей руки, она без промедления увезла дочку и десять тысяч франков к матери, и препоручила то и другое ее заботам.

— У меня сердце разрывалось от горя. Я обожала девочку, но что поделаешь, приходится быть практичной.

— И что же было дальше?

— Да ничего, обошлось. Нашла себе друга.

Но потом она заболела брюшным тифом. Она всегда говорила о нем «мой брюшной тиф», как миллионер говорит «мой дом в Палм-Бич» или «мои охотничьи угодья». Она чуть не умерла, три месяца пролежала в больнице. Выписалась — кожа да кости, слабая как мышь. А уж нервная — только и могла, что плакать с утра до ночи. И никому она в то время не была нужна, позировать у нее не хватало сил, а денег осталось всего ничего.

— О-ля-ля, — сокрушенно вспоминала она, — тяжелые настали времена, что и говорить. Хорошо хоть, друзья были. Но вы знаете, что такое художники, они и сами-то еле сводят концы с концами. Красавицей я никогда не была, что-то, конечно, во мне было, но это раньше, а тут и годы начали сказываться. И вот однажды, совершенно случайно, я встретила своего кубиста. Мы сколько лет не виделись, он за это время успел жениться и развестись, покончил с кубизмом и заделался сюрреалистом. Он сказал, что я могу ему быть полезна и вообще одному жить плохо, предложил мне кров и еду, и, будьте уверены, я не заставила себя просить.

Сюзанна жила с ним, пока не встретила своего фабриканта. Фабриканта привел в студию один их приятель в надежде, что тот пожелает купить какую-нибудь картину бывшего кубиста, и Сюзанна, загоревшись этой мыслью, постаралась принять его как можно любезнее. В тот день он ничего не купил, но попросил разрешения еще раз зайти посмотреть картины. Зашел он через две недели, и на этот раз у нее создалось впечатление, что его интересуют не столько картины, сколько она сама. На прощание так ничего и не купив, он с излишней сердечностью пожал ей руку. На другой день тот приятель, что его привел, подстерег Сюзанну, когда она шла на рынок за провизией, и сообщил ей, что фабрикант ею пленился и просил узнать, не пообедают ли она с ним в следующий раз, когда он будет в Париже, — он хочет ей кое-что предложить.

— Что он во мне нашел, вы не знаете?

— Он увлекается современным искусством. Он видел ваши портреты. Вы его заинтриговали. Он провинциал и делец. Для него вы олицетворяете Париж — искусство, романтику, все, чего ему не хватает в Лилле.

— А он богатый? — осведомилась она с присущей ей деловитостью.

— И даже очень.

— Ладно, пообедаю с ним. Послушаю, что он скажет, от этого вреда не будет.

Он повез ее к Максиму, это ей польстило; одета она была очень строго и, глядя на окружающих женщин, чувствовала, что вполне может сойти за респектабельную замужнюю даму. Он заказал бутылку шампанского, чем убедил ее, что понимает светское обхождение. Когда подали кофе, он изложил ей свой план, на ее взгляд, очень похвальный. Он рассказал ей, что раз в две недели приезжает в Париж на заседание правления и по вечерам ему скучно обедать одному или, если захочется женского общества, ходить в публичный дом. Он женат, у него двое детей, и для человека с его положением это как-то неудобно. Их общий знакомый все ему про нее рассказал, он знает, что она женщина тактичная. Он уже не молод и не хочет связываться с какой-нибудь легкомысленной девчонкой. Он понемножку коллекционирует картины современной школы, и ее причастность к искусству для него не безразлична. Затем он перешел к делу. Он готов снять и обставить для нее квартиру и обеспечить ее ежемесячным доходом в две тысячи франков. Взамен за это он хотел бы раз в две недели одну ночь наслаждаться ее обществом. Сюзанна еще никогда не имела в своем распоряжении столько денег и быстро прикинула, что на такую сумму сможет не только жить и одеваться согласно требованиям своего нового положения, но и содержать дочку и кое-что отложить на черный день. Однако она ответила не сразу. Она ведь всегда состояла «при живописи», как она выражалась, и была твердо убеждена, что, становясь любовницей дельца, она себя роняет.

— *C'est a prendre ou a laisser*, — сказал он. — Ваше дело принять или отказаться.

Он не вызывал у нее отвращения, а ленточка ордена Почетного легиона доказывала, что он человек заслуженный. Она улыбнулась.

— *Je prends*, — ответила она. — Принимаю.

VII

До этого Сюзанна всегда жила на Монмартре, но теперь, решив, что с прошлым нужно порвать, выбрала себе квар-

тиру на Монпарнасе, у самого бульвара. Квартира эта, состоявшая из двух комнат, крошечной кухоньки и ванной, помещалась на шестом этаже, но в доме был лифт. А ванная и лифт — пусть даже он вмещал всего двух человек и двигался со скоростью улитки, а спускаться надо было пешком — свидетельствовали, на ее взгляд, не только о роскоши, но и хорошем тоне.

В первые месяцы их союза мосье Ашиль Гавен, так его звали, наезжая раз в две недели в Париж, останавливался в отеле и, проведя с Сюзанной столько часов, сколько требовалось для утоления его любовных томлений, возвращался к себе в номер и спал там в одиночестве, пока не наступало время вставать, чтобы поспеть на поезд, увозивший его к повседневным трудам и тихим радостям семейной жизни; но затем Сюзанна высказалась в том смысле, что он зря тратит деньги и что для него было бы экономнее, да и удобнее, оставаться у нее до утра. Он не мог не согласиться с ее доводами. Заботливость Сюзанны его тронула — ведь и в самом деле, ничего приятного не было в том, чтобы в холодную зимнюю ночь выходить на улицу и искать такси, — и он мысленно похвалил ее за нежелание вводить его в лишние расходы. Женщина, которая ведет счет не только своим деньгам, но и деньгам своего любовника, — хорошая женщина.

Мосье Ашиль имел все основания считать, что рассудил здраво. Обедали они обычно в каком-нибудь из дорогих монпарнассских ресторанов, но время от времени Сюзанна угощала его обедом дома, и ее стряпня неизменно приходилась ему по вкусу. В теплые вечера он обедал без пиджака, в сладостном убеждении, что распутничает и приобщается к богеме. Он уже давно полюбил покупать картины, но Сюзанна настояла на том, что сама будет санкционировать каждую его покупку, и он скоро привык полагаться на ее суждение. С комиссионерами она не связывалась, а водила его прямо в студии художников, и таким образом картины обходились ему вдвое дешевле. Он знал, что она откладывает деньги, и когда она ему сказала, что каждый год прикупает немножко земли в своей родной деревне, преисполнился гордости. Всем истинным французам, считал он, свойственно желание владеть землей, и оттого, что и ей оно оказалось не чуждо, он стал еще больше уважать ее.

Сюзанна, со своей стороны, тоже была довольна. Она и не изменяла ему, и не была верна; иными словами, она

воздерживалась от долговременных связей с другими мужчинами, но, если кто приглянется, не отказывала себе в удовольствии. Однако никому не разрешалось оставаться у нее до утра. Это, по ее мнению, было бы черной неблагодарностью по отношению к богатому и почтенному человеку, которому она была обязана своим положением обеспеченной порядочной женщины.

Я познакомился с Сюзанной, когда она жила с одним художником, моим знакомым, и не раз сидел у него в студии, пока она позировала; и позже я изредка с нею встречался, но подружился мы, только когда она переехала на Монпарнас. А тогда выяснилось, что мосье Ашиль — так она всегда его называла и за глаза, и в глаза — читал в переводе кое-какие мои книги, и однажды вечером он пригласил меня отобедать с ними в ресторане. Мосье Ашиль оказался человеком небольшого роста, на голову ниже Сюзанны, с темной седеющей шевелюрой и аккуратными седыми усиками. Был он полноват и успел отрастить брюшко, но это только придавало ему солидности. Подобно многим низеньким толстякам, он на ходу высоко поднимал голову, и было очевидно, что он вполне собою доволен. Он угостил меня прекрасным обедом. Был отменно любезен. Сказал мне, как он рад, что я старый друг Сюзанны — сразу видно, что я человек *comme il faut*, и он надеется, что мы будем видеться и впредь. Его самого, увы, дела держат в Лилле, бедная девочка слишком много бывает одна, ему будет приятна мысль, что она общается с образованным человеком. Сам он промышленник, но всегда восхищался людьми искусства.

— Ah, mon cher monsieur, искусство и литература всегда составляли славу Франции. Так же, конечно, как и ее военная доблесть. И я, владелец фабрики шерстяных изделий, говорю без обиняков, что ставлю писателя и художника на одну доску с полководцем и государственным мужем.

Трудно вообразить чувства более благородные.

Сюзанна наотрез отказалась заводить прислугу — частью из соображений экономии, частью же потому, что по известным причинам не желала, чтобы кто-то совал нос в ее дела. Свою квартирку, обставленную в современном духе, она держала в чистоте и порядке, сама шила себе белье. Но все равно, поскольку она больше не позировала, у нее оставалось много свободного времени, и она, как женщина работающая, тяготилась этим. В какую-то минуту ее осенила

мысль, почему бы ей, общавшейся со столькими художниками, и самой не попробовать свои силы в живописи? Не долго думая, она накупила холстов, кистей и красок, и взялась за дело. Случалось, что, сговорившись вместе пообедать, я заходил за ней раньше условленного времени и заставлял ее в длинной блузе, погруженной в работу. Как зародыш в чреве матери повторяет все стадии развития своего вида, так Сюзанна повторяла одно за другим пристрастия своих любовников. Она писала пейзажи, как ее пейзажист, абстрактные полотна, как ее кубист, и с помощью цветных открыток парусные лодки на причале, как ее швед. Рисунком она не владела, но цвет несомненно чувствовала, и хоть картины у нее получались неважные, писать их доставляло ей огромное удовольствие.

Мосье Ашиль поощрял ее занятия живописью. Близость с художницей льстила его самолюбию. По его настоянию она послала один холст на осенний салон, и оба очень гордились тем, что картина была принята и выставлена. Он преподал ей хороший совет.

— Не старайся писать, как мужчина, моя дорогая, — сказал он, — пиши, как женщина. Не стремись к силе, довольствуйся обаянием. И будь честной. В деловой жизни мошенничество иногда сходит с рук, но в искусстве честность — не только лучшая, но единственно возможная политика.

В то время, о котором я пишу, их связь длилась уже пять лет, к обоюдному удовлетворению.

— Он, конечно, меня не волнует, — говорила Сюзанна, — но он неглуп, он человек с весом. Я достигла того возраста, когда приходится думать о своем положении.

Она умела сочувствовать, умела понимать, и мосье Ашиль высоко ценил ее мнение. Она была вся внимание, когда он обсуждал с ней свои дела, финансовые и семейные. Она соболеznовала ему, когда его дочь провалилась на экзамене, и радовалась вместе с ним, когда его сын обручился с богатой девушкой. Сам он женился на единственной дочери человека, подвизавшегося в той же отрасли промышленности, и слияние двух конкурирующих фирм оказалось прибыльным для обеих сторон. Его, естественно, радовало, что у его сына хватило ума понять простую истину: лучшая основа для счастливого брака — это общность деловых интересов. Он поделился с Сюзанной своей заветной мечтой — выдать дочь замуж за аристократа.

— А почему бы и нет, с ее-то приданым? — сказала Сюзанна.

Свою дочь она, благодаря мосье Ашилю, смогла отдать в монастырскую школу, а после школы он обещал за свой счет послать девушку на курсы машинописи и стенографии, чтобы ей было чем заработать себе на жизнь.

— Она, когда вырастет, будет красавицей, — сказала мне Сюзанна. — Но образование и умение стучать на машинке ей не помешают. Сейчас она еще мала, трудно сказать, но у нее может не оказаться темперамента.

Со свойственной ей деликатностью она предоставила мне самому понять, что крылось за этими словами. Я понял ее как нельзя лучше.

VIII

Дней через десять после того, как я столь неожиданно встретил Ларри, мы с Сюзанной как-то вечером, пообедав в ресторане и сходяв в кино, сидели в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас и тянули пиво, как вдруг он сам появился в дверях. Сюзанна ахнула и, к моему удивлению, громко его окликнула. Он подошел к нашему столику, расцеловался с ней и пожал мне руку. На ее лице было написано крайнее изумление.

— Можно к вам подсесть? — спросил он. — Я сегодня не обедал, вот решил закусить.

— До чего же я рада тебя видеть, *mon petit*! — воскликнула она. — Откуда ты взялся? Почему столько времени не подавал признаков жизни? Господи, какой ты худой! Я уж думала, может, ты умер.

— Как видишь, нет, — отвечал он с веселым блеском в глазах. — Ну, как Одетта?

Одеттой звали дочку Сюзанны.

— Растет, совсем большая стала. И хорошенькая. Она тебя помнит.

— Вы и не говорили мне, что знаете Ларри, — сказал я.

— А зачем? Я же не знала, что вы его знаете. Мы с ним старые друзья.

Ларри заказал яичницу с ветчиной. Сюзанна стала рассказывать ему о дочери, потом о себе. Он слушал ее, не прерывая, улыбаясь своей чудесной улыбкой. Она рассказала ему, что угомонилась и занимается живописью, и тут призвала меня в свидетели.

— Правда ведь, я делаю успехи? На гениальность я не претендую, но таланта у меня не меньше, чем у многих моих знакомых художников.

— И продаешь картины? — спросил Ларри.

— Мне это не нужно, — отвечала она беспечно. — У меня есть постоянный доход.

— Счастливица.

— Скажи лучше — умница. Обязательно приходи посмотреть мои картины.

Она написала ему свой адрес на клочке бумаги и взяла с него обещание прийти. Веселая, возбужденная, она болтала без умолку. И вдруг Ларри попросил счет.

— Ты что, уходишь? — вскричала она.

— Ухожу, — улыбнулся он.

Он расплатился, помахал нам рукой и ушел. Я невольно рассмеялся. Меня всегда забавляла эта его манера — сейчас он здесь, с тобой, а через минуту, без всяких объяснений, уже исчез, точно растворился в воздухе.

— Почему он так быстро ушел? — обиженно спросила Сюзанна.

— Может быть, его ждет какая-нибудь девушка, — поддразнил я ее.

— А что, очень просто. — Она достала из сумочки пуховку и напудрилась. — Жаль мне ту женщину, которая в него влюбится. О-ля-ля.

— Почему вы так говорите?

Минуту она смотрела на меня с таким серьезным выражением, какое я редко у нее видел.

— Я сама когда-то чуть в него не влюбилась. Это все равно, что влюбиться в отражение в воде, или в солнечный луч, или в облако. Еще бы немножко... До сих пор, как вспомню, так вся дрожу, вот такая мне грозила опасность.

К черту деликатность. Не любопытствовать, в чем тут дело, было бы выше человеческих сил. К счастью, ни в скрытности, ни в молчаливости Сюзанну не обвинишь.

— Как вы вообще с ним познакомились? — спросил я.

— О, это было давно. Шесть, семь лет назад, не помню точно. Одетте было лет пять. Он был знаком с Марселем, с которым я тогда жила, приходил иногда в студию и сидел, пока я позировала. Изредка приглашал нас обедать. И никогда-то, бывало, не знаешь, когда он появится. То пропадет на месяц, а то приходит три дня подряд. Марсель все

звал его заходить почаще, уверял, что при нем лучше пишется. А потом меня свалил мой брюшной тиф. Очень мне туго пришлось после больницы. — Она пожала плечами. — Да это я вам уже рассказывала. Так вот однажды, когда я обошла несколько студий в поисках работы и никому не понадобилась, и с утра ничего не ела, только выпила стакан молока с рогаликом, и за комнату платить было нечем, я случайно встретила его на бульваре Клиши. Он остановился, спросил, как дела, и я ему рассказала про свой брюшной тиф, а он и говорит: «Выглядишь ты неважно, подкормиться надо». И было что-то такое в его голосе и в глазах, что я не выдержала — разрыдалась.

Случилось это рядом с «Ля мер Марьетт», он взял меня за локоть, провел к столику и усадил. Я была так голодна, что, кажется, съела бы старый башмак; а когда принесли омлет, чувствую — кусок в горло не лезет. Он заставил меня немножко поесть и выпить стакан вина. Мне стало лучше, потом я и спаржи поела. Я ему все про себя рассказала. Позировать нет сил, на вид страшилище, кожа да кости, ни один мужчина на меня не польстится. Я спросила его, не даст ли он мне взаймы денег, уехать к себе в деревню. Там я хоть буду вместе с дочкой. Он спросил, хочется ли мне туда ехать, я говорю, что конечно, нет. Маме я не нужна, она и сама-то еле-еле перебивается на свою пенсию при том, как все вздорожало, а те деньги, что я присылала для Одетты, давно кончились. Но если я к ней явлюсь, она скорей всего меня не выгонит, увидит, что я совсем больная. Он долго на меня смотрел, я уж думала — сейчас скажет, что выручить меня деньгами не может, а он сказал:

«Хочешь, отвезу тебя в одно местечко в деревне, и тебя и малышку? Мне и самому не мешает отдохнуть».

Я не поверила своим ушам. Сколько времени его знала, и никогда он ко мне не подъезжал.

«Ты кому это говоришь? — говорю и даже засмеялась. — Мой бедный друг, я сейчас мужчинам без надобности». А он улыбнулся. Вы замечали, какая у него удивительная улыбка? Сладкая как мед.

«Не говори глупостей, у меня этого и в мыслях нет».

Я так плакала, что слова сказать не могла. Он дал мне денег съездить за дочкой, а потом мы вдвоем уехали в деревню. И в какое же место замечательное он нас привез!

Сюзанна описала мне это место. В трех милях от городка, забыл какого; они на машине приехали прямо в гостиницу.

Гостиница была старенькая, стояла на реке, и лужайка тянулась от дома до самого берега, на лужайке росли платаны, они там в тени и завтракали и обедали. Летом туда приезжает много художников писать этюды, но это позже, а тогда они были единственными постояльцами. Кормили их на убой. По воскресеньям туда съезжались люди из разных мест позавтракать на воздухе, а в будни редко кто нарушал их уединение. Отдых, сытная еда и вино сделали свое дело — Сюзанна стала поправляться и не могла нарадоваться, что дочка при ней.

— А с Одеттой уж так был мил, она его обожала. Мне приходилось ее удерживать, чтобы не лезла к нему все время, но ему она как будто и не мешала. Я смеялась, на них глядя, — точно двое ребят.

— Чем же вы заполняли время? — спросил я.

— О, всегда находилось что поделать. Брали лодку, ездили ловить рыбу, а то попросим у хозяина его «ситроен» и катим в город. Ларри там нравилось. Старые дома, площадь. Тишина такая, только и слышишь, что свои шаги по булыжнику. Там была ратуша времен Людовика Четырнадцатого и старинная церковь, а на краю города — замок с парком Ленотра. Когда сидишь в кафе на площади, кажется, что шагнула на триста лет назад, а «ситроен» у обочины как будто явился из другого мира.

После одной из таких вылазок Ларри и рассказал ей ту историю про молодого авиатора, которую я привел в начале этой книги.

— Интересно, почему он рассказал это вам, — заметил я.

— Понятия не имею. У них там во время войны был госпиталь, а на кладбище ряды и ряды маленьких крестов. Мы там побывали. Пробыли недолго — мне жутко стало, сколько их там, и все молодые. На обратном пути Ларри почти все время молчал. У него и всегда-то был плохой аппетит, а тут за обедом почти ничего не съел. Я так хорошо все это помню — вечер был чудесный, на небе звезды, мы сидели на берегу, и тополя выделялись на фоне черноты, а он курил свою трубку. И вдруг ни с того ни с сего рассказал мне про своего друга, как тот умер, а его спас. — Сюзанна глотнула пива. — Станный он человек. Я его никогда не пойму. Он читал мне вслух. Иногда днем, когда я шила что-нибудь малышке, а то по вечерам, когда уложу ее спать.

— Что же он вам читал?

— Да разное. Письма мадам де Севинье, кое-что из Сен-Симона. Вы это можете вообразить? Я-то раньше никогда ничего не читала, только газеты да изредка какой-нибудь роман, если услышу, как его обсуждают в студии и не хочу прослыть душой. Я понятия не имела, что читать так интересно. Эти старые писатели не так глупы, как может показаться.

— Кому это может показаться? — усмехнулся я.

— А потом он и меня заставил читать. Мы вместе читали «Федру» и «Беренику». Он читал мужские роли, а я женские. Вы себе представить не можете, как это было здорово, — добавила она простодушно. — Он на меня так странно поглядывал, когда я плакала в трогательных местах. Плакала-то я, конечно, потому, что очень была слабая. Вы знаете, эти книжки я до сих пор храню. Даже сейчас, как начну читать некоторые из писем мадам де Севинье, которые он мне читал, так и слышу его голос и вижу, как река течет медленно-медленно, и тополя на том берегу. Иногда так сердце сожмется, что не могу дальше читать... Теперь-то я знаю, это были самые счастливые недели в моей жизни. Этот человек — суший ангел.

Сюзанна расчувствовалась и тут же испугалась (напрасно), как бы я не стал над ней смеяться. Она пожала плечами и улыбнулась.

— Вы знаете, я уже давно решила, что как достигну того возраста, когда ни один мужчина не захочет больше со мной спать, так вернусь в лоно церкви и покаюсь в грехах. Но в тех грехах, что я совершила с Ларри, ничто не заставит меня покаяться. Никогда, никогда!

— Но послушать вас, так вам и каяться не в чем.

— А я вам еще не все рассказала. Понимаете, организм у меня крепкий, а тут я все время была на воздухе, ела досыта, хорошо спала и забот не знала, так что недели через три уже была совершенно здорова. И выглядела хорошо — румянец вернулся, волосы опять стали блестеть. Я чувствовала себя на двадцать лет. Ларри каждое утро купался в реке, а я на него смотрела. У него прекрасное тело, не такое атлетическое, как было у моего шведа, но сильное и стройности необыкновенной.

Пока я была такая слабая, он проявлял ангельское терпение, но когда я поправилась, то подумала — к чему его дольше манежить? Раза два намекнула, что я, мол, к его

услугам, да он как будто не понял. Конечно, вы, англосаксы, особенные люди — грубые и в то же время сентиментальные, любовники из вас никуда, уж это точно. Ну, я и подумала: «Может, он из деликатности. Он столько для меня сделал и девочку позволил с собой взять, может, он теперь не решается просить того, на что имеет полное право». И как-то вечером, когда мы прощались на ночь, я ему и говорю: «Хочешь, я к тебе сегодня приду?»

Я рассмеялся.

— Тут уж вы обошлись без намеков.

— К себе-то я не могла его позвать, там Одетта спала, — ответила она наивно. — Он поглядел на меня своими этими добрыми глазами, а потом улыбнулся и говорит: «Ты сама-то хочешь прийти?»

«А ты как думаешь, брезгаю?»

«Ну так приходи».

Я зашла к себе, разделась и прокралась по коридору в его комнату. Он лежал в постели, читал и курил. Когда я вошла, отложил трубку и книгу и подвинулся, чтобы дать мне место.

Сюзанна умолкла, и мне не хотелось торопить ее вопросами. Но скоро она заговорила снова.

— Станный он был любовник. Очень ласковый, даже нежный, настоящий мужчина, но не страстный, если вы можете это понять, и без тени порочности. Точно школьник. Это было немножко смешно и немножко трогательно. Уходила я с таким чувством, словно не он должен быть мне благодарен, а я ему. А закрывая дверь, я увидела, что он уже взял свою книгу и опять читает.

Я рассмеялся.

— Очень рада, что сумела вас развеселить, — сказала она мрачно. Но она не была лишена чувства юмора и сама поперхнулась смешком. — Я очень скоро убедилась, что если буду ждать приглашений, то прожду до скончания века, и потом уже, когда захочется, просто шла к нему и ложилась в постель. Он всегда принимал меня по-хорошему. В общем он был наделен нормальными человеческими инстинктами, но напоминал человека, который так занят, что забывает поесть, но если поставить перед ним вкусную еду, съест с аппетитом. Я всегда знаю, когда мужчина в меня влюблен, и дура бы я была, если б воображала, что Ларри меня любит, но думала, он ко мне привык. В жизни приходится быть практичной, и я тут же прикидывала, как

было бы хорошо, если бы в Париже он взял меня к себе жить. Наверно, он и девочку мне оставит, а этого мне ужасно хотелось. Чутье мне подсказывало, что влюбиться в него было бы неразумно, вы ведь знаете, какие мы, женщины, несчастные, так часто бывает, что стоит полюбить — и сама уже не вызываешь любви, и я решила быть насто-роже.

Сюзанна затянулась сигаретой и выпустила дым через ноздри. Было уже поздно, почти все столики опустели, но у стойки еще кое-кто толкался.

— Однажды утром, когда я сидела на берегу с шитьем, а Одетта играла в кубики, которые он ей купил, он вышел из дому и подошел к нам.

«Хочу с тобой проститься», — сказал он.

«А ты что, уезжаешь?»

«Да».

«Как, совсем?»

«Ты теперь совершенно здорова. Вот тебе деньги — дожить лето и на первое время, когда вернешься в Париж».

Я так расстроилась, что и не знала, что сказать. Он стоял передо мной и улыбался невинно, как он умеет.

«Я тебе чем-нибудь не угодила?»

«Что ты, и не думай этого. Просто мне надо работать. Мы с тобой чудесно здесь прожили. Одетта, беги сюда, прости с дядей».

Она была маленькая, ничего не понимала. Он подхватил ее на руки и расцеловал. Потом и меня поцеловал, и пошел назад в гостиницу; а через минуту слышу — машина отъехала. Я поглядела на деньги, которые держала в руке, — двенадцать тысяч франков. Все случилось так быстро, что я ничего не успела ему сказать. «Zut alors¹, — подумала я. — Счастье еще, что я не разрешила себе в него влюбиться». Но понять я, хоть убей, ничего не могла.

Мне опять стало смешно.

— Знаете ли, — сказал я, — одно время меня считали неплохим юмористом, а все потому, что я говорил людям правду. Это казалось им так удивительно, что они думали — я шушу.

— Не вижу, при чем это.

— А при том, что Ларри, по-моему, единственный абсолютно бескорыстный человек, какого я знаю. Поэтому

¹ Ну и плевать (*фр.*).

его поступки кажутся странными. Мы не привыкли к людям, которые что-то делают просто из любви к Богу, в которого не верят.

Сюзанна в изумлении уставилась на меня.

— Мой бедный друг, не иначе, как вы выпили лишнего.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Я не спешил заканчивать работу и уезжать из Парижа. Очень уж хорош он был весной, когда на Елисейских полях цвели каштаны и такой веселый свет озарял улицы. В воздухе была разлита радость, легкая, быстротечная радость, от которой походка становилась пружинистой, а мысли бежали быстрее. Я отлично себя чувствовал в обществе моих разнообразных друзей и, отдаваясь приятным воспоминаниям о прошлом, хотя бы мысленно воскрешал в себе горячность молодости. Не мог же я допустить, чтобы работа помешала этому наслаждению минутой, какого мне, возможно, уже никогда не испытать в такой полной мере.

С Грэм, Изабеллой и Ларри мы совершали экскурсии в разные интересные места, расположенные неподалеку. Побывали в Шантильи и Версале, в Сен-Жермене и Фонтенбло. Непременной частью всякой поездки был вкусный и обильный завтрак. Грэй съедал очень много, как того требовало его огромное тело, и, случалось, выпивал лишнего. Может быть, ему помогло лечение Ларри, а может быть, просто время брало свое, но он безусловно шел на поправку. Мучительные головные боли прекратились, и в глазах уже не было той грустной растерянности, что так не понравилась мне, когда я в первый раз увидел его в Париже. Говорил он мало, разве что начнет длинно и скучно о чем-нибудь рассказывать, но когда мы с Изабеллой болтали всякий вздор, часто раздражался громким одобрительным хохотом. Казалось, он всем доволен. Человек он был неинтересный, но до того незлобивый и нетребовательный, что невольно вызывал симпатию. Провести вдвоем с таким человеком вечер едва ли заманчиво, но переспектива прожить с ним бок о бок полгода не пугает.

Радовала глаз его любовь к Изабелле. Он поклонялся ее красоте, считал ее самой блестящей, самой восхитительной женщиной в мире; и трогательна была его преданность, прямо-таки собачья преданность Ларри. А Ларри тоже, ви-

димо, был вполне доволен жизнью. У меня создалось впечатление, что эту весну он воспринимает как передышку в своих напряженных, неведомых нам исканиях и спокойно дает себе отдохнуть. Он тоже был не особенно говорлив, но это не имело значения, самое его присутствие стоило любого разговора. Он держался так просто, так приветливо и весело, что большего от него и не требовалось, и я уже тогда понимал, что именно благодаря ему нам всем так хорошо вместе. Он не острил, не старался блеснуть, но без него нам было бы скучно.

На обратном пути из одной нашей поездки я стал свидетелем сцены, глубоко меня поразившей. Мы побывали в Шартре и возвращались в Париж. Грэй вел машину, Ларри сидел рядом с ним, а Изабелла и я — сзади. Все мы устали от долгого дня. Ларри вытянул руку вдоль спинки переднего сиденья. От этого движения рукав его рубашки задрался, обнажив узкое запястье и часть загорелой руки, поросшей тонкими светлыми волосками, которые золотило вечернее солнце. Меня поразило молчание и неподвижность Изабеллы, и я взглянул на нее. Она сидела окаменев, словно загипнотизированная, и часто дышала. Глаза ее были прикованы к этому жилистому запястью с золотыми волосками и длинным, тонким, но крепким пальцем. Я никогда не видел, чтобы на человеческом лице была написана такая неприкрытая голодная страсть. Это была маска похоти. Я бы ни за что не поверил, что прелестные черты Изабеллы способны выражать столь откровенную чувственность. Красота ее исчезла, лицо было уродливое и страшное. Оно наводило на мысль о животном, о суке в охоте, и мне стало нехорошо. Она не замечала меня, не замечала ничего, кроме этой руки, так непринужденно лежавшей на спинке сиденья и будившей в ней бешеное желание. Потом словно судорога прошла по ее лицу, она передернулась и отодвинулась в угол машины.

— Дайте мне сигарету, — сказала она, я с трудом узнал ее голос, такой он был грубый и хриплый.

Я дал ей закурить. Она с жадностью затянулась, а потом всю дорогу молчала.

Доехав до дому, Грэй попросил Ларри отвезти меня в гостиницу, а потом поставить машину в гараж. Ларри пересел на его место, я сел рядом. Пересекая тротуар, Изабелла взяла Грэя под руку, прижалась к нему и одарила его взглядом, которого я не видел, но о значении которого

мог догадаться. Мне подумалось, что в эту ночь ложе с ним разделит очень страстная женщина, но он никогда не узнает, какими угрызениями совести вызваны ее пылкие ласки.

Июнь подходил к концу, мне пора было домой на Ривьеру. Знакомые Эллиота, собиравшиеся на лето в Америку, сдали Мэтьюринам свою виллу в Динаре, и они должны были уехать туда с детьми, как только кончатся занятия в школе. Ларри оставался в Париже, но он уже присмотрел себе подержанный «ситроен» и обещал в августе приехать к ним на несколько дней погостить. В последний мой вечер в Париже я пригласил их всех пообедать.

И в этот-то вечер мы встретили Софи Макдональд.

II

Изабелла возымела желание поездить по злачным местам и, поскольку я был с ними немного знаком, выбрала меня в гиды. Меня эта идея не вдохновила, потому что в Париже завсегдатаи таких мест не скрывают своей враждебности к туристам из другого мира. Но Изабелла не слушала возражений. Я предупредил ее, что это будет очень скучно, и просил одеться попроще. После обеда мы на часок заехали в Фоли-Бержер, а потом пустились в путь. Сначала я повез их в один погребок около Нотр-Дам, где собираются бандиты со своими партнершами; я был знаком с хозяином, и он освободил нам места за длинным столом, за которым уже сидели какие-то темные личности, но я заказал вина на всю компанию, и мы дружно выпили. Было жарко, дымно и грязно. Потом я повез их в «Сфинкс», где женщины, голые под кричаще нарядными вечерними платьями, не прикрывающими грудь, сидят в ряд друг против друга на двух скамьях, а когда заиграет оркестр, вяло танцуют парами, рыская глазами по лицам мужчин, сидящих за мраморными столиками вдоль стен. Мы заказали теплого шампанского. Некоторые из женщин, проплывая мимо нас, едва заметно подмигивали Изабелле, и мне было любопытно, понимает ли она эти знаки.

Потом мы поехали на улицу Лапп. Это узкая темная улица, где вас сразу охватывает атмосфера дешевого разврата. Мы вошли в первое попавшееся кафе. Обычный молодой человек с бледным испитым лицом колотил по клавишам, второй, старый и усталый, наяривал на скрипке, а третий извлекал нестройные звуки из саксофона. Зал был

битком набит, ни одного свободного столика, но хозяин; сразу распознав в нас посетителей с деньгами, без дальних слов согнал с места какую-то парочку, пристроил их за другой столик, уже занятый, и усадил нас. Те двое, которых ради нас потеснили, обиделись и стали отпускать по нашему адресу отнюдь не лестные замечания. Танцы были в разгаре, танцевали матросы в беретах с красными помпонами, мужчины в кепи, с повязанными на шее платками, женщины зрелого возраста и совсем молоденькие, с наштукатуренными лицами, простоволосые, в коротких юбках и ярких блузках. Мужчины кружили в танце пухлых мальчиков с подведенными глазами, тощие, остроликие женщины — толстухи с крашеными волосами, были и смешанные пары. В горле першило от запаха дыма, спиртного и потных тел. Музыка звучала и звучала, и неаппетитная эта толпа, эти застывшие, блестящие от пота лица двигались по комнате с какой-то старательной торжественностью, отвратительной и страшной. Мужчины почти все были тшедушные, худосочные, лишь кое-где мелькали зверского вида верзилы. Я пригляделся к музыкантам. Играли они так, словно были не люди, а заводные механизмы, и я подумал, неужели было время, когда они, только вступая в жизнь, мечтали стать великими исполнителями, на чьи концерты публика будет съезжаться со всех концов света? Ведь чтобы стать даже скверным скрипачом, нужно брать уроки, постоянно упражняться, значит, и этот бедняга много потрудился, а ради чего? Чтобы целыми ночами играть фокстроты в этой вонючей дыре? Музыка смолкла, пианист вытер лоб грязным носовым платком. Танцоры рассыпались, растеклись, расползлись по своим столикам. И вдруг мы услышали американский голос:

— Господи, это надо же!

На другом конце зала поднялась с места женщина. Ее кавалер пытался ее удержать, но она оттолкнула его и нетвердой походкой двинулась через комнату. Она была очень пьяна. Подойдя к нашему столику, она остановилась, слегка покачиваясь, с бессмысленной улыбкой на лице. Как будто смешнее нас она в жизни ничего не видела. Я оглянулся на своих спутников. Изабелла смотрела на нее, не понимая, Грэй угрюмо насупился, а Ларри словно глазам своим не верил.

— Привет, — сказала она.

— Софи, — сказала Изабелла.

— А ты думала кто? — фыркнула она и схватила за рукав пробежавшего мимо официанта. — Венсан, принеси мне стул.

— Сама принесешь, — огрызнулся он, вырываясь.

— *Salaud!* — крикнула она и плюнула в него.

— *T'en fais pas, Sophie,* — сказал крупный мужчина с густой сальной шевелюрой, сидевший за соседним столиком. — Вот тебе стул.

— Это надо же, какая встреча, — сказала она, продолжая раскачиваться. — Привет, Грэй. Привет, Ларри. — Она опустила на стул, который пододвинул ей наш сосед. — Выпьем по этому случаю! *Patron!* — заорала она.

Хозяин уже некоторое время на нас поглядывал и подошел сразу.

— Это твои знакомые, Софи?

— *Ta gueule!* — Она рассмеялась пьяным смехом. — Друзья детства. Я их угощаю шампанским. И не вздумай поить нас какой-нибудь лошадиной мочой. Давай чего лучше, чтобы не вырвало.

— Ты пьяна, моя бедная Софи.

— Поди ты к черту.

Он удалился, радуясь случаю продать бутылку шампанского — до сих пор мы предусмотрительно пили только бренди с содовой. А Софи тупо уставилась на меня.

— Это кто же еще с тобой, Изабелла?

Изабелла назвала меня.

— А-а, помню, вы когда-то приезжали в Чикаго. Тонный дядечка, да?

— Есть грех, — улыбнулся я.

Я ее совершенно не помнил, да оно и не удивительно — в Чикаго я был больше десяти лет назад, и столько перевидал людей и тогда, и позже.

Она была высокого роста, а стоя казалась еще выше, потому что была очень худа. На ней была ядовито-зеленая шелковая блузка, мятая и вся в пятнах, и короткая черная юбка. Волосы, коротко подстриженные и завитые, но растрепанные, отливали хной. Она была безобразно накрашена — щеки нарумянены до самых глаз, веки густо-синие; брови и ресницы слиплись от краски, губы атели помадой. А руки с ярко-розовыми ногтями были грязные. Ни одна женщина вокруг не выглядела так непристойно, и я заподозрил, что она не только пьет, но и употребляет наркотики. И все же ей нельзя было отказать в какой-то порочной

привлекательности; она то и дело вызываясь вскидывала голову, и грим еще подчеркивал необычный, светло-зеленый цвет ее глаз. Даже отупев от вина, она сохраняла какую-то бесстыдную отвагу, что, вероятно, будило в мужчинах самые низменные инстинкты. Она всех нас оптом наградила издевательской улыбкой.

— Что-то я не замечаю, чтобы вы особенно радовались нашей встрече.

— Я слышала, что ты в Париже, — отозвалась Изабелла с натянутой улыбкой.

— Что ж не позвонила? Мой номер есть в справочнике.

— Мы только недавно приехали.

Грэй поспешил на выручку.

— Ну как, Софи? Хорошо проводишь здесь время?

— Чудесно. А ты, говорят, прогорел?

Он залился багровым румянцем.

— Да.

— Не повезло, значит. В Чикаго сейчас, наверно, жуткая жизнь. Хорошо, я вовремя оттуда убралась. Да что же этот сукин сын не несет выпивку?

— Вон он идет, — сказал я, заметив официанта, пробиравшегося к нам с подносом.

Услышав мой голос, она обратилась ко мне.

— Любящие мужнины родичи, так их растак, вытурили меня из Чикаго. Я, видите ли, мараю их доброе имя. — Она залилась беззвучным смехом. — Теперь я эмигрант на пособии.

Шампанское подали и разлили. Она трясущейся рукой поднесла бокал к губам.

— К черту тонную публику. — Она осушила бокал и взглянула на Ларри. — А ты нынче что-то неразговорчив.

Он все время спокойно ее рассматривал. Не отрывал от нее глаз с той минуты, как она появилась. Теперь он ласково улыбнулся.

— Я вообще не болтливоего нрава.

Снова заиграла музыка, и к нашему столику подошел мужчина — среднего роста, хорошо сложенный, с блестящей шапкой спутанных черных волос, крючковатым носом и толстыми чувственными губами: этакий грешный Савонарола. Как и большинство мужчин в кафе, он был без воротничка, в узком пиджаке, стянутом в талии.

— Пошли, Софи. Потанцуем.

— Отстань. Я занята. Не видишь, что ли, я здесь с друзьями.

— J'm en fous de tes amis. Плевать я хотел на твоих друзей. Пошли танцевать.

Он потянул ее за локоть, но она вырвала руку.

— Fous-moi la paix, espese de con! — выкрикнула она в испугении.

— Merde.

— Mange.

Грэй не понимал, что они говорят, но Изабелла, хорошо разбиравшаяся в непечатном лексиконе, что вообще свойственно добродетельным женщинам, поняла все прекрасно, и на лице ее застыла гадливая гримаса. Мужчина занес руку с раскрытой ладонью, мозолистой ладонью рабочего, и уже готов был залепить Софи пощечину, но тут Грэй приподнялся на стуле.

— Allez vous ong!¹ — крикнул он со своим ужасающим акцентом.

Тот замер и яростно воззрился на Грэя.

— Берегись, Коко, — горько усмехнулась Софи. — Он из тебя котлету сделает.

Мужчина одним взглядом оценил рост и вес Грэя и его огромную силу. Он хмуро пожал плечами, грязно выругался и пошел прочь. Софи захихикала. Остальные молчали. Я подлил ей шампанского.

— Живешь в Париже, Ларри? — спросила она, отставив пустой бокал.

— Пока что да.

Разговаривать с пьяными всегда трудно, особенно трезвым. Мы поболтали еще минут десять, неловко и невесело. Потом Софи отодвинулась от стола вместе со стулом.

— Пойду к своему дружку, не то он опять в бутылку полезет. Ужасный он грубиян, но мужик что надо. — Она кое-как встала на ноги. — Пока, друзья. Заходите еще. Я тут каждый вечер бываю.

Она протолкалась между танцующими и скрылась из глаз. Я чуть не рассмеялся, увидев, какое ледяное презрение выражают классические черты Изабеллы. Никто не проронил ни слова. И вдруг Изабеллу прорвало:

— Гнусное место. Пошли отсюда.

Я заплатил за наши напитки и за шампанское, которое заказала Софи, и мы двинулись к выходу. Публика танцевала, никто нас не задира. Шел третий час, на мой

¹ Уходите! (фр.).

взгляд — самое время ложиться спать, но Грэй заявил, что он голоден, и я предложил поехать на Монмартр к «Графу», где открыто всю ночь. Ехали мы в молчании. Я сидел рядом с Грэем и показывал дорогу. Ночной ресторан сиял огнями. Кое-кто еще сидел на террасе. Мы вошли внутрь и заказали яичницу и пива. Изабелла успела прийти в себя, во всяком случае, казалась спокойной. Она чуть насмешливо поздравила меня с тем, как хорошо я знаю парижское дно.

— Сами напросились, — сказал я.

— Мне страшно понравилось. Я замечательно провела вечер.

— Черт, — сказал Грэй. — Мерзость. Да еще Софи.

Изабелла равнодушно пожала плечами.

— Вы совсем ее не помните? — обратилась она ко мне. — Она сидела рядом с вами, когда вы в первый раз у нас обеды. Тогда волосы у нее не были такого ужасного цвета. От природы она светлая шатенка.

Я стал припоминать тот вечер, и передо мной возникла совсем молоденькая девушка, у нее были зеленовато-голубые глаза, и она очень мило вскидывала головку. Некрасивая, но свеженькая и непосредственная, меня тогда позабавила в ней смесь застенчивости и лукавства.

— Ну конечно, вспомнил. Мне еще понравилось ее имя. У меня одну тетушку звали Софи.

— Она вышла замуж за Боба Макдональда.

— Славный был малый, — сказал Грэй.

— Он был поразительно красив. Никогда не понимала, что он в ней нашел. Она вышла замуж сразу после меня. Ее родители были в разводе, мать уехала в Китай со вторым мужем, он работал в «Стандард ойл». А она жила в Марвине с родственниками отца. Мы тогда много видались, но после замужества она как-то от нас отделилась. Боб Макдональд был юристом, зарабатывал мало, они снимали дешевую квартирку на Северной стороне. Но дело не в том. Они просто не хотели ни с кем видаться. Обожали друг друга. Даже когда уже были женаты два или три года, и ребенок у них родился, ходили в кино и сидели там обнявшись, как влюбленные. В Чикаго про них анекдоты ходили.

Ларри слушал ее молча, лицо его было непроницаемо.

— А потом? — спросил я.

— Как-то вечером они возвращались в Чикаго в своем маленьком открытом автомобиле, и ребенок был с ними. Им всюду приходилось брать его с собой, прислуги-то не

было. Софи все делала по дому сама, да и вообще они в нем души не чаяли. И какая-то пьяная компания в огромной машине врзалась в них на скорости восемьдесят миль в час. Боб и ребенок были убиты на месте, а Софи отделалась сотрясением мозга и двумя сломанными ребрами. Смерть Боба и ребенка от нее скрывали, сколько можно было, но в конце концов пришлось сказать. Говорят, это было ужасно. Она чуть не лишилась рассудка. Кричала не переставая. За ней следили день и ночь, один раз ей чуть не удалось выброситься из окна. Мы, конечно, делали все, что могли, но она нас возненавидела. После больницы ее поместили в санаторий на несколько месяцев.

— Бедняжка.

— Когда ее выписали, она запила и, пьяная, путалась с кем попало. Родители Боба совсем с ней измучились. Они очень милые люди, очень тихие, ее поведение их ужасало. Сперва мы все старались ей помочь, но это было безнадежно. Пригласишь ее на обед, а она является пьяная, того и гляди, свалится без чувств. Потом она связалась с неприличной компанией, и нам пришлось от нее отступить. Один раз ее арестовали за то, что нетрезвая вела машину. С ней был какой-то итальянец, которого она подцепила в кабаке, а его, оказывается, искала полиция.

— На какие же средства она жила? — спросил я.

— Получила по страховке за Боба, и владельцы той машины, что в них врзалась, были застрахованы, от них ей тоже перепало. Но этого хватило ненадолго. Она швырялась деньгами, как пьяный матрос, и через два года оказалась без гроша. Взять ее домой в Марвин бабушка отказалась. Тогда родители Боба сказали, что положат ей содержание с условием, что она уедет за границу.

— История повторяется с вариантами, — заметил я. — Было время, когда неудавшихся членов семьи отправляли с моей родины в Америку, а теперь их, видимо, отправляют с вашей родины в Европу.

— Все-таки мне ее жалко, — сказал Грэй.

— В самом деле? — сухо отозвалась Изабелла. — Мне ни капельки. Конечно, это был страшный удар, я от всей души ей сочувствовала. Мы ведь знали друг друга с детства. Но нормальные люди справляются с такими вещами. Раз она пустилась во все тяжкие, значит, у нее в натуре было что-то порочное. Она всегда была неуравновешена; даже ее любовь к Бобу была какой-то чрезмерной. Если б у нее был

твердый характер, она бы так или иначе устроила свою жизнь.

— Если бы да кабы... Не слишком ли вы строги, Изабелла? — проговорил я негромко

— Вовсе нет. Я смотрю на вещи здраво и не вижу причин проливать слезы над Софи. Видит Бог, я для Грэя и девочек на все готова и, если бы они погибли в автомобильной катастрофе, я бы волосы на себе рвала от горя, но рано или поздно я бы взяла себя в руки. Разве ты не одобрил бы меня, Грэй? Или ты бы предпочел, чтобы я каждый вечер напивалась и спала с любым парижским апашем?

И тут Грэй произнес самую остроумную тираду, какую я когда-либо от него слышал.

— Разумеется, я бы предпочел, чтобы ты бросилась на мой погребальный костер в новом платье от Молине, но, поскольку сейчас это уже не принято, самое лучшее для тебя было бы, вероятно, пристраститься к бриджу. И, пожалуйста, помни, что нужно ходить только с козыря, если тебе не обеспечены три с половиной или четыре верных взятки.

Некстати было бы напоминать Изабелле, что ее любовь к мужу и детям, пусть вполне искреннюю, едва ли можно назвать страстной. Может быть, она прочла мою мысль в то мгновение, как я это подумал, потому что она тут же обратилась ко мне, словно вызывая на спор:

— Ну, а вы что скажете?

— Я как Грэй, мне жаль девочку.

— Какая она девочка, ей тридцать лет.

— Должно быть, для нее со смертью мужа и ребенка наступил конец света. Должно быть, ей было все равно, что с ней станет, и она бросилась вниз головой в позорный, унижительный разврат, чтобы расквитаться с жизнью, которая обошлась с ней так жестоко. До этого она жила в раю, а когда рай кончился, не могла примириться с обыкновенной землей, населенной обыкновенными людьми, и с отчаяния ринулась напрямик в пекло. Я представляю себе, что, когда у нее отняли нектар богов, она решила взамен глушить себя джином.

— Такие вещи пишут в романах. Вздор это, вы сами знаете, что вздор. Софи валяется в грязи, потому что это ей нравится. Не она первая потеряла мужа и ребенка. Не от этого она пошла по рукам. Зло из добра не родится. Оно всегда в ней сидело. До этой катастрофы она держалась в

рамках, а тут показала себя во всей красе. И нечего ее жалеть. Она всегда была такая.

За все это время Ларри не проронил ни слова. Он казался невесел, и мне подумалось, что он нас почти не слушает. И вот он заговорил, но странным, тусклым голосом, точно не с нами, а с самим собой, и глаза его словно смотрели в туманную даль прошлого.

— Я ее помню, когда ей было четырнадцать лет, с длинными волосами, зачесанными со лба и перевязанными сзади черным бантом, с серьезным веснушчатым личиком. Она была скромная, благородная, мечтательная девочка. Читала все, что могла достать, и мы с ней говорили о книгах.

— Когда это? — спросила Изабелла, чуть нахмурившись.

— А когда ты со своей мамой ездила по гостям. Она ведь тогда жила у деда, я к ним приходил, и мы сидели под большим вязом возле их дома и читали друг другу вслух. Она увлекалась поэзией и сама писала стихи.

— В этом возрасте все пишут стихи. Очень плохие.

— Что и говорить, давно это было, да и я, вероятно, не мог судить о них правильно.

— Тебе тогда самому-то было лет шестнадцать, не больше.

— Конечно, все это было не свое, она явно подражала Роберту Фросту. Но, по-моему, для ее возраста стихи были замечательные. У нее был тонкий слух и хорошее чувство ритма. Она улавливала звуки и краски деревни, первое мягкое дуновение весны и запах растрескавшейся земли после дождя.

— А я не знала, что она пишет стихи, — сказала Изабелла.

— Она это скрывала, боялась, что все вы будете над ней смеяться. Она была очень застенчивая.

— Это-то у нее прошло.

— Когда я вернулся с войны, она была почти взрослая. Успела много прочесть о положении рабочего класса и сама кое-что увидела в Чикаго. Начиталась Карла Сэндберга и как одержимая писала свободным стихом о страданиях бедняков и эксплуатации народных масс. Наверное, это было банально, но зато искренне, продиктовано состраданием и мечтой о лучшем будущем. В то время она собиралась посвятить себя общественной деятельности, отказаться от личной жизни, очень это было трогательно. Мне кажется, она на многое была способна. Была не глупа, не слезлива. В ней угадывалась на редкость чистая, возвышенная душа. В тот год мы с ней много общались.

Я заметил, что Изабелла слушает его с нарастающим раздражением. Ларри был далек от мысли, что он вонзил ей нож в сердце и каждым новым словом поворачивает его в ране. Но когда она заговорила, на губах ее играла улыбка.

— Интересно, почему она именно тебе открыла свою тайну?

Ларри поднял на нее доверчивый взгляд.

— Не знаю. Она из всех вас была самая бедная, а я был сбоку припека. Я ведь и жил там только потому, что у дяди Боба была практика в Марвине. Может быть, ей казалось, что это нас как-то сближает.

Родных у Ларри не было. У большинства из нас есть хотя бы двоюродные братья или сестры, пусть мы с ними почти не знакомы, но они дают нам почувствовать себя членами человеческой семьи. Отец Ларри был единственным сыном, мать — единственной дочерью; один из его дедов, квакер, еще молодым человеком погиб в море, у другого не было ни братьев, ни сестер. Ларри был в полном смысле слова один на свете.

— А тебе не приходило в голову, что Софи в тебя влюблена?

— Нет.

— Ну и напрасно.

— Когда Ларри вернулся с войны раненым героем, половина всех девушек в Чикаго по нем вздыхала, — грубовато-добродушно вставил Грэй.

— Тут дело было серьезнее. Она на тебя только что не молилась. И ты хочешь меня убедить, что не знал этого?

— Тогда не знал и сейчас не верю.

— Наверно думал, что она для этого слишком возвышенная?

— Я все вспоминаю худенькую девочку с бантом в волосах и серьезным личиком и как она читала оду Китса и голос у нее дрожал от слез, потому что стихи были такие красивые. Где-то она теперь?

Изабелла чуть заметно вздрогнула и бросила на него пытливым, вопрошающим взгляд.

— Да вы знаете, который час? Я прямо валяюсь от усталости. Поехали домой.

III

На следующий вечер я отбыл голубым экспрессом на Ривьеру, а дня через три наведаясь в Антиб к Эллиоту рас-

сказать ему парижские новости. Выглядел он плохо. Курс лечения в Монтекатине не оправдал его ожиданий, и последующие разъезды вконец его измотали. Купель он в Венеции нашел, потом махнул во Флоренцию покупать триптих, к которому уже давно приценивался. Чтобы лично присмотреть за тем, как будут размещать эти предметы, он поехал в Понтийские болота и поселился в паршивенькой гостинице, где неимоверно страдал от жары. Его драгоценные покупки задержались в дороге, но он твердо решил не бросать начатое дело и дождался их. Когда все было наконец приведено в порядок, он остался очень доволен эффектом и сделал несколько снимков, которые и показал мне. Церковь, хоть и небольшая, производила величественное впечатление, а интерьер ее лишний раз подтверждал прекрасный вкус Эллиота.

— В Риме я видел саркофаг времен раннего христианства прекрасной работы, долго думал, не купить ли его, но в конце концов отказался от этой мысли.

— Чего ради вам понадобился саркофаг времен раннего христианства?

— Чтобы лечь в него, милейший. Он был очень красивый и хорошо гармонировал бы с купелью, если бы установить его с другой стороны от входа. Но эти ранние христиане были какие-то недомерки, я бы в нем не поместился. Мне не улыбалось лежать до Страшного суда, подогнув колени к подбородку, как неродившийся младенец. Очень неудобная поза.

Я рассмеялся, но Эллиот продолжал совершенно серьезно:

— Я придумал кое-что получше. Я уже договорился, правда, не без труда, но этого следовало ожидать, что меня похоронят под полом, у подножия алтарных ступеней, так что нищие крестьяне Понтийских болот, подходя к святому причастию, будут топтать над моим прахом своими грубыми башмаками. Прелестная идея, вы не находите? Просто гладкая каменная плита, и на ней мое имя и даты рождения и смерти. *Si monumentum quaeris, circum-spice*. Ну, вы знаете, «если ищешь его памятник, оглянись вокруг».

— Да, Эллиот, я знаю латынь настолько, чтобы понять заезженную цитату, — съязвил я.

— Простите меня, милейший. Я так привык к вопиющему невежеству высшего общества, я просто забыл, что говорю с писателем.

Стрела попала в цель.

— Но я вот что еще хотел вам сказать, — добавил он. — В завещании у меня все написано, но вас я прошу проследить, чтобы моя воля была исполнена. Я не хочу быть погребенным на Ривьере среди всяких отставных полковников и французских буржуа.

— Разумеется, Эллиот, я выполню вашу просьбу, но мне кажется, эти разговоры можно отложить еще на много лет.

— Я, знаете ли, не молодею и, сказать вам по чести, чувствую, что пожил достаточно. Как это у Ландора... «Я руки грел...»

Память на стихи у меня плохая, но это коротенькое стихотворение я помнил:

Презрев людей, врагов я не имел,
Любил природу, в песнях славил Бога.
Я у камина жизни руки грел,
Огонь погас — и мне пора в дорогу.

— Вот именно, — сказал он.

Я невольно подумал, что применить эти строки к себе Эллиот мог лишь с большой натяжкой. Однако он тут же сказал:

— Здесь выражено в точности то, что я чувствую. Я мог бы только добавить, что всегда вращался в лучшем европейском обществе.

— Это нелегко было бы втиснуть в катрен.

— Высшее общество умерло. Одно время я надеялся, что Америка займет место Европы и создаст свою аристократию, к которой простонародье проникнется должным уважением, но с кризисом все эти надежды пошли прахом. Моя бедная родина становится безнадежно плебейской страной. Поверите ли, милейший, когда я последний раз был в Америке, один шофер такси назвал меня «братец».

Но хотя Ривьера, еще не оправившаяся от катастрофы 29-го года, была не та, что прежде, Эллиот продолжал принимать гостей и ездить в гости. Раньше он всегда сторонился евреев, делая исключение только для Ротшильдов, но теперь самые пышные приемы устраивали именно представители избранного племени, а от приглашения на пышный прием Эллиот был не в силах отказаться. Он бродил среди нарядной толпы, милостиво пожимая руки и

целуя ручки, но с видом растерянной отрешенности, как монарх в изгнании, несколько смущенный тем, какие люди его окружают. А между тем монархи в изгнании отлично проводили время, и пределом их честолюбивых замыслов было знакомство с какой-нибудь звездой экрана. Это современное отношение к актерам, как к людям, с которыми встречаешься в свете, Эллиот тоже не одобрял; но одна ушедшая на покой актриса построила себе в ближайшем с ним соседстве роскошное жилище и держала открытый дом. Под ее кровом неделями жили министры, герцоги, титулованные дамы. Эллиот стал у нее частым гостем.

— Разумеется, это очень пестрое общество, — говорил он. — Но можно общаться и не со всеми, а по своему выбору. К тому же она моя соотечественница, и надо ее выручать. Я не сомневаюсь, что ее постоянным гостям приятно встречаться с человеком, с которым можно говорить на одном языке.

Порой ему так явно нездоровилось, что однажды я выразил сомнение, полезно ли ему так переутомляться.

— Дорогой мой, — возразил он, — в моем возрасте я не могу отдыхать. Я не зря пятьдесят лет вращался в самых высоких кругах и давно убедился, что человека, который не появляется всюду, очень скоро забывают.

Понимал ли он, какое трагическое признание заключено в этих словах? У меня уже не хватало духу смеяться над Эллиотом; теперь он вызывал у меня не смех, а жалость. Он жил исключительно ради общества, званые вечера были его стихией, не получить приглашения было смертельной обидой, побыть одному было унижением, и он, теперь уже старик, пребывал в постоянном страхе.

Так прошло лето. Эллиот только и делал, что сновал взад-вперед по Ривьере: завтракал в Каннах, обедал в Монте-Карло, в промежутках умудрялся поспеть на званый чай или вечеринку с коктейлями и, несмотря на усталость, старался быть неизменно любезным, разговорчивым, приятным. Он был в курсе всех сплетен, очередной скандал становился известен ему во всех подробностях первому, если не считать лиц, непосредственно в нем замешанных. На человека, который сказал бы ему, что его существование бессмысленно и пусто, он бы воззрился в самом искреннем изумлении. Он был бы не на шутку огорчен таким проявлением плебейства.

Наступила осень, и Эллиот решил съездить в Париж — посмотреть, как там Изабелла, Грэй и дети, и вообще показаться в столице. Оттуда он собирался ненадолго в Лондон, побывать у портного, а заодно навестить кое-кого из старых друзей. Я, со своей стороны, думал проехать прямо в Лондон, но он предложил довести меня до Парижа в своем автомобиле. Поездка эта приятная, и я согласился, а согласившись, решил и сам провести в Париже несколько дней. Ехали мы не торопясь, останавливались в тех местах, где хорошо кормят. У Эллиота было что-то неладно с почками, и пил он только минеральную воду «виши», но всякий раз сам выбирал для меня вино и, будучи человеком добрым, неспособным злиться на своего ближнего за то, что тот испытывает удовольствие, которого сам он лишен, искренне радовался, когда я хвалил его выбор. Мало того, он готов был взять на себя все мои дорожные расходы, но тут уж я воспротивился. Он немного надоел мне своими рассказами о великих мира сего, с которыми ему довелось общаться, но в общем поездкой я остался доволен. Прелестны были ландшафты на нашем пути, уже тронутые красками ранней осени. Позавтракав в Фонтенбло, мы добрались до Парижа часам к четырем. Эллиот завез меня в мою скромную старомодную гостиницу, а сам свернул за угол, в «Риц».

Изабелла была предупреждена о нашем приезде, так что я не удивился, что меня ждет записка от нее, а вот содержание записки меня удивило.

«Приходите, как только приедете. Случилось что-то ужасное. Дядю Эллиота не приводят. Ради Бога, приходите как можно скорее».

Я любопытен не меньше всякого другого, но для начала нужно было умыться и сменить рубашку, а потом уж я сел в такси и поехал на улицу Сен-Гильом. Меня провели в гостиную. Изабелла вскочила с места.

— Куда вы запропастились? Я вас уже сколько времени жду.

Было пять часов, и я еще не успел ответить, как явился дворецкий с чаем. Изабелла, стиснув руки, нетерпеливо на него поглядывала. Я был в полном недоумении.

— Я только что приехал. Мы засиделись за завтраком в Фонтенбло.

— Господи, как он копается, с ума можно сойти, — сказала Изабелла.

Дворецкий поставил на столик поднос с чайником, сахарницей и чашками и с убийственной неторопливостью расположил вокруг него тарелки с бутербродами, тартинками и печеньем. Наконец он ушел, притворив за собою дверь.

— Ларри женится на Софи Макдональд.

— Это кто?

— Что за дурацкий вопрос! — вскричала она, гневно сверкая глазами. — Та пьяная девка, которую мы встретили в том гнусном кафе, куда вы нас заташили. И как вас угораздило повезти нас в такое место? Грэй был возмущен.

— А-а, вы говорите о вашей чикагской приятельнице, — сказал я, пропустив мимо ушей ее незаслуженный упрек. — Как вы про это узнали?

— Как я могла про это узнать? Сам вчера явился сюда и сказал. Я с тех пор места себе не нахожу.

— Может, вы сядете, нальете мне чаю и расскажете все по порядку?

— Пожалуйста, все перед вами.

Она села к столу и с раздражением смотрела, как я наливаю себе чай. Я удобно устроился на диванчике у камина.

— Последнее время мы не так часто его видели, то есть после того как вернулись из Динара; он приезжал туда на несколько дней, но остановиться у нас не захотел, жил в отеле. Приходил на пляж, играл там с детьми. Дети его обожают. Мы играли в гольф в Сен-Бриаке. Грэй как-то его спросил, видел ли он еще Софи. Он ответил: «Да, видел ее несколько раз». Я спросила зачем. Он говорит: «По старой дружбе». Тогда я сказала: «Я бы на твоём месте не стала тратить на нее время».

А он улыбнулся, вы знаете, как он улыбается, как будто ему кажется, что вы сказали что-то смешное, хотя это вовсе не смешно, и говорит: «Но ты не на моем месте, а на своем».

Я только пожала плечами и заговорила о чем-то другом. И не думала больше об этом. Представляете себе мой ужас, когда он пришел ко мне и сказал, что они решили пожениться.

«Нет, — сказала я. — Нет, Ларри».

«Да, — сказал он, и так спокойно, точно его спросили, поедет ли он на пикник. — И прошу тебя, Изабелла, будь с ней очень ласкова».

«Ну, знаешь, это уж слишком! — сказала я. — Ты рехнулся. Она же скверная, скверная, скверная».

— А почему вы так думаете? — перебил я.

— Пьет без просыпа, путается со всякими подонками.

— Это еще не значит, что она скверная. Сколько угодно весьма почтенных граждан и напиваются регулярно, и развратничают. Это дурные привычки, все равно как кусать ногти, но, на мой взгляд, не хуже. Скверным я называю человека, который лжет, мошенничает, в ком нет доброты.

— Если вы примете ее сторону, я вас убью.

— Как они опять свиделись с Ларри?

— Он нашел ее адрес в телефонном справочнике. Зашел к ней. Она была больна, и немудрено, при таком-то образе жизни. Он привел к ней врача, приспособил кого-то ходить за ней. С этого и пошло. Он говорит, что она бросила пить. Болван несчастный, воображает, что она излечилась.

— А вы забыли, как Ларри помог Грэй? Его-то он излечил, правда?

— Это совсем другое дело. Грэй сам хотел вылечиться. А она не хочет.

— Кто вам сказал?

— Просто я знаю женщин. Когда женщина вот так пустится во все тяжкие — кончено. Обратно дороги для таких нет. Вы что думаете, она останется с Ларри? Как бы не так, рано или поздно вырвется на волю. Это у нее в крови. Ей нужен грубый мужлан. Ее только это и волнует, только за таким она и пойдет. Ларри с нею жизни рад не будет.

— Все это очень вероятно, но я не вижу, что тут можно поделать. Ларри идет на это с открытыми глазами.

— Я ничего не могу поделать, а вот вы можете.

— Я?

— Вы ему нравитесь, он прислушивается к вашим словам. Вы единственный человек, который имеет на него влияние. Вы знаете жизнь. Пойдите к нему и скажите, что нельзя ему совершать такую глупость. Скажите ему, что он себя губит.

— А он мне скажет, что это не мое дело, и будет совершенно прав.

— Но вы ему симпатизируете, по крайней мере интересуетесь им, не можете вы допустить, чтобы он исковеркал свою жизнь.

— Его самый старый и самый близкий друг — это Грэй. Думаю, что и он тут бессилен, но уж если кому говорить с Ларри, так это ему.

— Да ну, Грэй, — отмахнулась она.

— А знаете, это может оказаться не так уж плохо. Я знал несколько случаев — один в Испании, два на Востоке, когда мужчины женились на проститутках. Из них получились отличные жены; они были благодарны своим мужьям за то, что те дали им прочное положение, и, уж конечно, они знали, чем угодить мужчине.

— Слушать вас тошно. Неужели вы думаете, я для того пожертвовала собой, чтобы Ларри угодил в сети закоренелой нимфоманки?

— Как это вы жертвовали собой?

— Я отказалась от Ларри исключительно потому, что не хотела ему мешать.

— Бросьте, Изабелла. Вы отказались от Ларри ради крупных брильянтов и собольего манто.

Не успел я это сказать, как в голову мне полетела тарелка с бутербродами. Тарелку я каким-то чудом поймал, но бутерброды разлетелись по полу. Я встал и отнес тарелку обратно на стол.

— Ваш дядя Эллиот не поблагодарил бы вас, если б вы разбили его тарелку из сервиза, который делали по особому заказу для третьего герцога Дорсетского, им цены нет.

— Подберите бутерброды, — цыкнула она.

— Сами подберите, — сказал я, снова усаживаясь на диван.

Она встала и, задыхаясь от бешенства, собрала с пола ломтики хлеба, намазанные маслом.

— А еще называете себя английским джентльменом, — бросила она злобно.

— Вот уж в чем неповинен. Никогда себя так не называл.

— Убирайтесь отсюда ко всем чертям! Видеть вас не могу!

— Это жаль. А мне видеть вас всегда доставляет удовольствие. Вам когда-нибудь говорили, что нос у вас в точности как у Психеи из музея в Неаполе? А ведь это одно из лучших воплощений девственной красоты. У вас чудесные ноги, длинные и стройные, я не перестаю на них дивиться, потому что, когда вы были девочкой, они были толстые и нескладные. Даже не представляю себе, как вы этого достигли.

— Железная воля и милость Божия, — буркнула она.

— Но, конечно, самое обворожительное в вас — это руки. Они такие тонкие и такие изящные.

— А мне казалось, вы считаете их слишком большими.

— По вашему росту и сложению — вовсе нет. Меня всегда поражает, с какой грацией вы ими пользуетесь. Не знаю, врожденное это или приобретенное, но каждый ваш жест исполнен красоты. Иногда ваши руки напоминают цветы, иногда это летящие птицы. Они способны выразить больше, чем любые ваши слова. Они — как руки на портретах Эль Греко. Да что там, когда я смотрю на них, я готов поверить в маловероятную теорию Эллиота, будто среди ваших предков был испанский гранд.

Она подняла на меня сердитый взгляд.

— Это еще что за новости? Первый раз слышу.

Я рассказал ей про графа Лаурия и придворную даму королевы Марии, от чьих потомков по женской линии Эллиот ведет теперь свой род. Пока я говорил, Изабелла не без самодовольства рассматривала свои длинные пальцы с блестящими розовыми ногтями.

— Все от кого-нибудь да произошло, — сказала она. Потом, скривив губы в улыбке, глянула на меня лукаво, но уже без всякой злобы и добавила: — Гнусная вы личность.

Вот как легко образумить женщину, если говорить ей правду.

— Бывают минуты, когда вы мне даже не противны, — сказала Изабелла.

Она пересела ко мне на диван, продела руку под мой локоть и потянулась поцеловать меня. Я отодвинулся.

— Не желаю, чтобы щеку мне мазали губной помадой, — сказал я. — Хотите меня поцеловать — целуйте в губы. Милосердное провидение для этого их и предназначило.

Она усмехнулась, повернула мою голову к себе и запечатлела на моих губах тонкий слой помады. Ощущение было из самых приятных.

— А теперь вы мне, может быть, скажете, что вам от меня нужно.

— Совет.

— Совет я вам дам охотно, хотя уверен, что вы его не послушаетесь. Единственное, что вы можете сделать, это смириться с неизбежным.

Она снова вскипела, отскочила от меня и плюхнулась в кресло с другой стороны от камина.

— Не буду я сидеть сложа руки и смотреть, как Ларри себя губит. Я на что угодно пойду, а не дам ему жениться на этой твари.

— Ничего у вас не выйдет. Поймите, он во власти одного из самых сильных чувств, какие могут владеть человеческим сердцем.

— Вы хотите сказать, что, по-вашему, он в нее влюблен?

— Это бы еще что.

— Так что же?

— Вы когда-нибудь читали Евангелие?

— Вероятно, читала.

— Помните, как Иисус поведен был в пустыню и постился там сорок дней и сорок ночей? Потом, когда он взалкал, к нему приступил дьявол и сказал: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Но Иисус не поддался искушению. Тогда дьявол поставил его на крыле храма и сказал: «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо ангелам было заповедано о нем. Но Иисус опять устоял. Тогда дьявол возвел его на высокую гору, и показал ему все царства мира, и сказал, что даст их ему, если он, падши, ему поклонится. Но Иисус сказал: «Отыди, сатана». На этом кончает свой рассказ добрый простодушный Матфей. Но это не конец. Дьявол был хитер. Он еще раз приступился к Иисусу и сказал: «Если ты примешь позор и поругание, удары, терновый венец и смерть на кресте, ты спасешь род человеческий, ибо нет любви выше, чем у того человека, который жизнь свою отдал за друзей своих». Иисус пал. Дьявол хохотал до колик, ибо он знал, сколько зла сотворят люди во имя своего спасителя.

Изабелла негодуяюще воззрилась на меня.

— Откуда вы это взяли?

— Ниоткуда. Только что придумал.

— По-моему, это глупо и кощунственно.

— Я только хотел вам объяснить, что самопожертвование — страсть настолько всепоглощающая, что по сравнению с ней даже голод и воздержание — безделка. Она мчит своего раба к гибели в час наивысшего утверждения его личности. Предмет страсти не имеет значения: может быть, за него стоит погибать, а может быть, нет. Эта страсть пьянит сильнее любого вина, потрясает сильнее любой любви, затягивает сильнее любого порока. Жертвуя собой, человек становится выше Бога, ибо как может Бог, бесконечный и всемогущий, пожертвовать собой? В лучшем слу-

чае он может принести в жертву своего единственного сына.

— О Господи, скука какая, — сказала Изабелла.

Я оставил ее слова без внимания.

— Неужели вы думаете, что Ларри прислушается к голосу осторожности и здравого смысла, когда он одержим такой страстью? Вы не знаете, чего он искал все эти годы. Я тоже не знаю, я только догадываюсь. Все эти годы труда, весь этот накопленный им разнообразный опыт не перетянут чашу весов теперь, когда на другую легло его желание, нет — настоящая, жгучая потребность спасти душу падшей женщины, которую он знал невинным ребенком. Я думаю, что вы правы, я думаю, что затея его безнадежна; при его исключительно чувствительной натуре ему уготованы все муки ада; дело его жизни, в чем бы оно ни состояло, останется незавершенным. Подлый Парис убил Ахиллеса, послав стрелу ему в пятку. Ларри лишен той беспощадности, без которой даже святой не может заработать свой нимб.

— Я его люблю, — сказала Изабелла. — Видит Бог, я ничего от него не требую. Ничего не жду. Более бескорыстной любви просто не бывает. Он будет так несчастлив.

Она заплакала, и я, думая, что это ей на пользу, не стал ее утешать. Я стал лениво развлекаться той мыслью, что так неожиданно пришла мне в голову. Стал ее развивать. Как не предположить, что дьявол, окинув взором кровопролитные войны, вызванные христианством, гонения и муки, которым христиане подвергали христиан, злобу, лицемерие, нетерпимость, остался доволен итогом. И вспоминая, что это он взвалил на человечество тяжкое бремя сознания своей греховности, которое замутнило красоту звездной ночи и набросило грозную тень на мимолетные утехи мира, созданного для радости, он наверняка посмеивается, тихонько приговаривая: «Да, со мной шутки плохи».

Изабелла достала из сумки платок и зеркальце и осторожно приложила платок к уголкам глаз.

— Дождешься от вас сочувствия, как же, — проворчала она.

Я не ответил. Она прошлась по лицу пуховкой и подмала губы.

— Вы сказали, что догадываетесь, чего он искал все эти годы. Чего же?

— Имейте в виду, это только догадка, очень возможно, что я ошибаюсь. Мне кажется, что он искал такой филосо-

фии или, может быть, религии, которая удовлетворяла бы и его ум, и сердце.

Изабелла задумалась. Вздохнула.

— До чего же странно, что такое могло прийти в голову юному провинциалу из Марвина, штат Иллинойс!

— Не более странно, чем то, что Лютер Бе рбанк, родившийся на ферме в Массачусетсе, вывел сливы без косточек или что Генри Форд, родившийся на ферме в Мичигане, изобрел «модель Т».

— Но это практичные вещи. Это вполне в американской традиции.

Я засмеялся.

— Может ли что быть практичнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?

Изабелла устало опустила руки.

— Что я, по-вашему, должна сделать?

— Вы ведь не хотите окончательно потерять Ларри?

Она покачала головой.

— Вы знаете, до чего он принципиален. Если вы откажетесь иметь дело с его женой, он откажется иметь дело с вами. Если в вас есть хоть капля разума, вы подружитесь с Софи. Вы забудете прошлое и будете с ней очень-очень ласковы — вы это умеете, когда захотите. Она выходит замуж, вероятно, ей нужно купить кое-что из одежды. Почему бы вам не предложить поездить с ней по магазинам? Я думаю, она за это ухватится.

Изабелла слушала меня, прищулив глаза. Казалось, она вникает в каждое мое слово. Когда я кончил, она словно что-то взвесила про себя, но угадать ее мысли я не мог. А потом она меня удивила.

— Послушайте, пригласите ее на завтрак. Мне это не совсем удобно после того, что я вчера наговорила Ларри.

— А если я соглашусь, вы обещаете хорошо себя вести?

— Как ангел, — отвечала она с самой обворожительной своей улыбкой.

— Тогда не будем откладывать.

В комнате был телефон. Я быстро узнал номер Софи и после обычных проволок, к которым люди, пользующиеся французским телефоном, привыкают относиться терпеливо, услышал в трубке голос. Я назвал себя.

— Я только что приехал в Париж, — сказал я, — и узнал, что вы с Ларри решили пожениться. Хочу вас поздравить. От души желаю счастья. — Я чуть не вскрикнул, пото-

му что Изабелла, стоявшая рядом, пребольно ущипнула меня за палец. — Я здесь очень ненадолго и хотел пригласить вас и Ларри на послезавтра позавтракать в «Риц». Будут Грэй с Изабеллой и Эллиот Темплтон.

— Я спрошу Ларри, он здесь. — И после паузы: — Да, спасибо, с удовольствием.

Я уточнил час, добавил, чего требовала вежливость, и положил трубку. На лице Изабеллы мелькнуло выражение, немного меня насторожившее.

— О чем вы думаете? — спросил я. — Что-то мне ваше лицо не нравится.

— Жаль, а я думала, как раз мое лицо вам по вкусу.

— Уж вы не замышляете ли какую-нибудь каверзу?

Она очень широко раскрыла глаза.

— Честное слово, нет. Просто мне ужасно интересно посмотреть, как выглядит Софи, после того как Ларри наставил ее на путь истинный. Авось она хоть не явится в «Риц» со слоем штукатурки на лице.

V

Мой маленький прием сошел недурно. Первыми приехали Грэй с Изабеллой, через пять минут после них — Ларри и Софи Макдональд. Женщины тепло расцеловались. Грэй поздравил Софи с помолвкой. Я поймал оценивающий взгляд, которым Изабелла окинула Софи с головы до ног. Сам я ужаснулся ее виду. В тот раз в кабаке на улице Лапп, безобразно накрашенная, рыжая и в ярко-зеленой кофте, она выглядела непристойно и была очень пьяна, и все-таки в ней было что-то вызывающее, какая-то низкосортная привлекательность; теперь же она казалась слинявшей и гораздо старше Изабеллы, хотя была года на два моложе. Она все так же вскидывала голову, но теперь, не знаю почему, это производило жалкое впечатление. Она перестала красить волосы, и выглядело это неряшливо, как всегда бывает, когда крашенные волосы начинают отрастать. Лицо у нее без косметики (если не считать алого мазка на губах) было нечистое и болезненно бледное. Я помнил, какими ярко-зелеными казались тогда ее глаза, теперь они как-то выцвели и поблекли. На ней было красное платье, по всему видно — с иголочки новое; туфли, шляпа и сумочка — в тон платью. Я плохо разбираюсь в женских туалетах, но мне показалось, что одета она безвкусно и слишком нарядно для такого случая. На груди у нее сверкала стекляшками иску-

ственного золота брошь, каких много продается на улице Риволи. Рядом с Изабеллой в черных шелках, с ниткой японского жемчуга на шее, все это выглядело аляповато и дешево.

Я заказал коктейли, но Ларри и Софи предупредили, что пить не будут. Тут появился Эллиот. Однако его продвижение по огромному вестибюлю совершалось медленно: он то и дело встречал знакомых, одному пожимал руку, другой целовал ручку. Держался он так, словно «Риц» — его собственный дом и он заверяет гостей, что счастлив, что они смогли принять его приглашение. О Софи ему рассказали только то, что ее муж и ребенок погибли в автомобильной катастрофе и теперь она выходит замуж за Ларри. Добравшись наконец до нас, он поздравил обоих в изысканно учтивых выражениях, на которые был мастер. Мы прошли в ресторан, и, поскольку нас было четверо мужчин и две женщины, я посадил Изабеллу и Софи друг против друга, так, чтобы Софи оказалась между мной и Грэм; стол был круглый, небольшой, удобный для общего разговора. Завтрак я заказал заранее, и тут же к нам подошел официант с карточкой вин.

— В винах вы ничего не понимаете, милейший, — сказал мне Эллиот. — Альбер, дайте карту сюда. — Он внимательно просмотрел ее. — Сам я пью только «виши», но не могу допустить, чтобы мои друзья пили не самые лучшие вина.

С Альбером, официантом по винам, они были старые друзья и после оживленного обсуждения совместно решили, какими винами мне следует угостить моих гостей. Затем Эллиот обратился к Софи:

— Куда вы думаете поехать в свадебное путешествие?

Он бросил взгляд на ее платье, и по тому, как чуть заметно дрогнули его брови, я понял, что мнение у него сложилось неблагоприятное.

— Мы поедem в Грецию.

— Я туда уже десять лет собираюсь, — сказал Ларри, — да все как-то не получалось.

— В это время года там, наверно, изумительно! — воскликнула Изабелла с наигранным восторгом.

Как и она, я сразу вспомнил, что именно в Грецию звал ее Ларри, когда хотел, чтобы она стала его женой. Провести медовый месяц в Греции было у него, по-видимому, навязчивой идеей.

Разговор не очень-то клеился, и мне пришлось бы нелегко, если б не Изабелла. Она вела себя безупречно. Всякий раз, как нам грозила опасность умолкнуть и я мучительно придумывал, о чем бы еще заговорить, она заполняла паузу легкой светской болтовней, и я мысленно благодарил ее. Софи, та вообще только отвечала, когда к ней обращались, да и то как будто с усилием. Куда девалась ее оживленность. Что-то в ней словно умерло, и я подумал, по силам ли ей напряжение, которого требует от нее Ларри. Если я не ошибся и она действительно не только пила, но и употребляла наркотики, то теперь, когда она сразу лишилась того и другого, нервы у нее, должно быть, в плачевном состоянии. Время от времени они переглядывались. В его взгляде я читал нежность и желание подбодрить, в ее глазах — трогательную мольбу. Возможно, что Грэй его доброе сердце подсказало то же, что мне — привычка наблюдать, но только он стал рассказывать ей, как Ларри излечил его от головных болей, сделавших его инвалидом, и как он уверовал в Ларри, и скольким ему обязан.

— Теперь-то я совершенно здоров, — продолжал он. — Как только найду что-нибудь подходящее, приступаю опять к работе. У меня уже несколько зацепок есть, в одном месте вот-вот должно решиться. Ух, и хорошо будет вернуться домой.

Намерения у Грэя были самые добрые, но, пожалуй, ему не хватило такта — ведь тем же методом внушения (так я его для себя определил), который оправдал себя в случае с Грэем, Ларри, вероятно, пользовался, чтобы излечить Софи от тяжелого алкоголизма.

— А мигрени у вас совсем прекратились? — спросил Эллиот.

— Уже три месяца не было, а чуть мне покажется, что начинается, хватаюсь за свой талисман. — Он вытащил из кармана старинную монету, которую дал ему Ларри. — Я с ним не расстаюсь. Я бы его и за миллион долларов не продал.

Завтрак кончился, нам подали кофе. Тот же официант подошел спросить, потребуется ли ликер. Все отказались, только Грэй пожелал выпить рюмку коньяку. Когда бутылка появилась, Эллиот ее проверил.

— Да, это я могу рекомендовать. Это вам не повредит.

— Может быть, и мосье выпьет рюмочку? — спросил официант.

— Увы, запрещено.

Эллиот рассказал ему, что у него плохо с почками, врач категорически потребовал, чтобы он отказался от спиртного.

— Капля зубровки мосье не повредила бы. Для почек, я слышал, она даже полезна. Мы только что получили партию из Польши.

— В самом деле? Она сейчас редко попадается. Ну-ка, покажите мне бутылку.

Пока официант, дородный, представительный мужчина с серебряной цепью на шее, ходил за бутылкой, Эллиот объяснил нам, что это — польская разновидность водки, но гораздо более высокого качества.

— Мы, бывало, пили ее у Радзивиллов, когда я гостил у них во время охотничьего сезона. Видели бы вы, как эти польские князья с ней расправлялись — стаканами пили, и ни в одном глазу, даю слово. Голубая кровь, конечно, аристократы до кончиков ногтей. Софи, вам нужно ее попробовать, и тебе тоже, Изабелла. Когда еще представится такой случай.

Бутылка появилась. Ларри, Софи и я не поддались искушению, но Изабелла выразила желание попробовать. Я удивился — обычно она пила очень умеренно, а тут уже выпила два коктейля и два-три стакана вина. Официант налил ей рюмку бледно-зеленой жидкости. Она понюхала.

— Ой, как пахнет чудесно!

— А что я говорил! — воскликнул Эллиот. — Там в нее добавляют какие-то травы, они и дают этот тонкий букет. Пожалуй, выпью капельку, составлю тебе компанию. Один раз не страшно.

— Вкус божественный, — сказала Изабелла. — В жизни не пила такой прелести.

Эллиот поднес рюмку к губам.

— Так и вспоминается прежнее время. Вы, молодежь, никогда не гостили у Радзивиллов, вы не знаете, как люди жили. Совсем особенный стиль. Феодальный. Ничего не стоило вообразить, что вернулся в средневековье. На станции вас встречала карета шестеркой, с форейтором. За обедом за каждым стулом стоял ливрейный лакей.

Он еще долго расписывал роскошь и величие замка, блестящие вечера, которые там задавали, и у меня закралось подозрение, разумеется, недостойное, что все это — результат сговора между Эллиотом и официантом, позволившего ему поразглагольствовать об этой княжеской фамилии и о сборище польских аристократов, с которыми он когда-

то был на короткой ноге. Он говорил, как заведенный, и вдруг предложил:

— Еще рюмочку, Изабелла?

— Ох нет, боюсь. Но вкусно до невероятия. Я так рада, что узнала эту зубровку. Грэй, давай купим такую.

— Я распоряжусь, чтобы вам прислали несколько бутылок.

— Дядя Эллиот, неужели правда? — в упоении вскричала Изабелла. — Вы так нас балуете. Грэй, ты попробуй обязательно. Она пахнет свежим сеном, весенними цветами, тмином и лавандой, и вкус такой мягкий, нежащий, точно слушаешь музыку в лунную ночь.

Такие излияния были не в характере Изабеллы, она, очевидно, чуть-чуть опьянела. Мы стали прощаться. Я пожал руку Софи.

— Когда же свадьба? — спросил я ее.

— Через полторы недели. Надеюсь, мы вас увидим?

— К сожалению, меня уже не будет в Париже. Я завтра уезжаю в Лондон.

Пока я прощался с остальными, Изабелла отвела Софи в сторонку и о чем-то с ней пошепталась, а потом обратилась к Грэю:

— Да, знаешь, Грэй, я еще не домой. У Молинэ показывают моды, мы с Софи туда заедем. Ей не мешает посмотреть последние модели.

— Я бы с удовольствием, — сказала Софи.

Мы расстались. Вечером я угостил обедом Сюзанну Рувье, а наутро отбыл в Англию.

VI

Через две недели, как и было намечено, Эллиот приехал в отель «Кларидж», и вскоре после этого я к нему заглянул. Он уже заказал несколько костюмов и с излишними, на мой взгляд, подробностями, стал мне объяснять, какие выбрал фасоны и ткани и почему. Когда я, наконец, смог вставить слово, я спросил его, как прошла свадьба.

— Никак не прошла, — ответил он мрачно.

— То есть?..

— За три дня до назначенного срока Софи исчезла. Ларри всюду ее искал.

— Но это просто невероятно! Они что, поссорились?

— Ничего подобного. Все уже было готово. Я обещал быть посаженным отцом. Сразу после венчания они должны

были уехать Восточным экспрессом. Если хотите знать мое мнение, Ларри счастливо отделался.

Я понял, что Изабелла рассказала ему все про Софи.

— Что же все-таки произошло? — спросил я.

— Ну так вот, вы помните тот день, когда мы были вашими гостями в «Рице». Оттуда Изабелла повезла ее к Молинэ. Вы помните, как Софи была одета? Ужас какой-то, а не платье. Вы плечи заметили? Это верный признак того, хорошо ли сшито платье, — как оно сидит в плечах. Конечно, цены у Молинэ были для нее, бедняжки, недоступны, и Изабелла, вы же знаете, какая она щедрая, да к тому же они знали друг друга с детства, сказала, что подарит ей платье, чтобы она хоть венчаться могла в чем-то приличном. Она, конечно, возрадовалась. Ну, короче говоря, в один прекрасный день Изабелла попросила ее заехать к ней в три часа, чтобы им вместе отправиться на последнюю примерку. Софи явилась вовремя, но, как на грех, Изабелле пришлось вести одну из девочек к дантисту, так что домой она вернулась только в пятом часу, а Софи к тому времени уже ушла. Изабелла подумала, что Софи надоело ждать, и она поехала к Молинэ одна, она бросилась туда, но Софи туда не приезжала. Тогда она вернулась домой. В тот день они с Ларри должны были у нее обедать. Ларри пришел вовремя, и она первым делом спросила его, где Софи.

Он очень удивился, позвонил ей домой, но никто не ответил. Он сказал, что съездит за ней. Изабелла и Грэй долго ждали их с обедом, но ни он, ни она не явились, и они пообедали вдвоем. Вы, конечно, знаете, какую жизнь вела Софи до того, как вы встретили ее на улице Лапп, очень, кстати сказать, неудачная это была затея с вашей стороны повезти их туда. Так вот, Ларри всю ночь рыскал по разным притонам, где она тогда бывала, но нигде ее не нашел. Время от времени он заглядывал к ней на дом, но консьержка говорила: нет, не была. Он три дня ее разыскивал. Как в воду канула. А на четвертый день опять пошел к ней на дом, и консьержка сказала, что она приезжала, уложила чемодан и уехала в такси.

— Как Ларри, очень был сражен?

— Я его не видел. Изабелла говорит, что в общем да.

— И она так и не написала, не дала о себе знать?

— Нет.

Я задумался.

— Как вы это объясняете? — спросил я.

— Дорогой мой, точно так же, как и вы. Не выдержала; опять сорвалась с цепи.

Это-то было ясно, и все-таки как-то загадочно. Почему она выбрала для бегства именно этот день?

— Как смотрит на все это Изабелла?

— Конечно, ей жаль, но она умница, по ее словам, она всегда считала, что для Ларри жениться на такой женщине было бы страшным несчастьем.

— А Ларри?

— Она к нему очень добра. Говорит, что с ним трудно, потому что он не желает обсуждать эту тему. Ничего, он это переживет; Изабелла говорит, что он никогда не был влюблен в Софи. Он только потому хотел на ней жениться, что видел в этом какое-то рыцарство.

Я представил себе, как мужественно Изабелла переносит поворот событий, безусловно доставивший ей величайшее удовлетворение. Я не сомневался, что при следующей нашей встрече она мне скажет, что с самого начала знала, чем это кончится.

Но следующая наша встреча состоялась без малого через год. К тому времени я мог бы ей рассказать о Софи такое, что заставило бы ее задуматься, но обстоятельства сложились так, что у меня не было охоты рассказывать. В Лондоне я пробыл почти до Рождества, а потом меня потянуло домой, и по пути на Ривьеру я не стал останавливаться в Париже. Я засел за новую книгу и несколько месяцев прожил в полном уединении. Изредка я видался с Эллиотом. Здоровье его явно ухудшалось, и меня огорчало, что он упорствует и не хочет отказаться от светской жизни. А он обижался на меня, потому что я не ездил за тридцать миль на его приемы. Я хотел сидеть дома и работать, а он уверял, что я загордился.

— Сезон выдался просто блестящий, — говорил он мне. — Запереться в четырех стенах и пропускать все самое интересное — да это просто преступление. И почему вы решили поселиться в наименее фешенебельной части Ривьеры — этого я никогда не пойму, проживи я хоть до ста лет.

Бедный, глупый Эллиот, было ясно как день, что до такого возраста ему нипочем не дожить.

К июню я вчерне закончил роман и разрешил себе отпуск. Упаковав небольшой чемодан, я сел на яхту, с которой мы летом купались в бухте Де Фосс, и поплыл вдоль

берега в сторону Марселя. Бриз дул слабый, с перерывами, и мы почти все время шли под мотором. Одну ночь простояли в Каннах, другую в Сент-Максими, третью в Санари и так добрались до Тулона. К этому порту я всегда питал особую симпатию. Корабли французского военного флота придают ему вид и романтический, и веселый, по его старым улицам я готов бродить без конца. Я могу часами слоняться по набережной, глядя, как матросы, отпущенные на берег, разгуливают парами или со своими девушками, как фланируют штатские, точно у них только и дела, что греться на солнышке. Благодаря множеству кораблей и мелких суденышек, развозящих народ во все концы громадной гавани, Тулон кажется конечным пунктом, где сходятся дороги со всего света, и, сидя в кафе, ослепленный сверканием моря и неба, уносишься на крыльях воображения в самые дальние уголки земли. Пристаешь на баркасе к коралловой отмели с бахромой из кокосовых пальм где-то в Тихом океане; сходишь по трапу на пристань в Рангуне, где тебя ждет рикша; смотришь с верхней палубы вниз на крикливую, жестикулирующую толпу негров, пока твой пароход швартуется у мола в Порт-о-Пренсе.

Мы прибыли в Тулон незадолго до полудня, и часа в три дня я сошел на берег и не спеша зашагал по набережной, разглядывая товары в витринах, людей, попадающих навстречу, и людей, сидящих под навесами кафе и кабачков. Вдруг я увидел Софи, и в тот же миг она увидела меня. Она улыбнулась и поздоровалась. Я остановился и пожал ей руку. Она сидела одна за столиком, а перед ней стоял пустой стакан.

— Присаживайтесь, выпьем, — сказала она.

— Я угощаю, — ответил я, опускаясь на стул.

На ней была полосатая, синяя с белым фуфайка французских матросов, ярко-красные брючки и босоножки, из которых выглядывали накрашенные ногти больших пальцев. Волосы на непокрытой голове, коротко остриженные и завитые, были цвета золота, такого бледного, что казались скорее серебряными. Намазана она была так же густо, как в тот вечер, когда мы увидели ее на улице Лапп. Судя по блюдецкам на столе, она успела пропустить не один стаканчик, но была трезвая. И как будто рада меня видеть.

— Как они там все в Париже? — спросила она.

— Да, кажется, ничего. Я их не видел с того дня, когда мы вместе завтракали в «Рице».

Она выпустила через нос целое облако дыма и рассмеялась.

— Я таки не вышла за Ларри.

— Я знаю. А почему?

— Милый мой, когда дошло до дела, я решила — нет, спасибо, не стану я разыгрывать Магдалину с таким Иисусом Христом.

— Почему вы передумали в последнюю минуту?

Она поглядела на меня с насмешкой. Задорно вскинутая голова, плоская грудь и узкие бедра, да еще этот костюм — ни дать ни взять порочный мальчишка; но надо признать, что сейчас она была куда привлекательнее, чем в том унылом красном платье с провинциальной претензией на шик, в котором я видел ее в последний раз. Лицо и шея у нее сильно загорели, и, хотя на коричневой коже румяна и наведенные черные брови выглядели особенно нагло, весь ее облик, хоть и крайне вульгарный, не лишен был известной соблазнительности.

— Рассказать?

Я кивнул. Гарсон принес мне пива, ей — бренди с зельтерской. Она закурила от окурка предыдущей сигареты.

— Я три месяца капли в рот не брала. И не курила. — Она заметила мой удивленный взгляд и рассмеялась. — Я не про сигареты. Про опиум. Чувствовала себя ужасно. Когда оставалась одна, кричала криком. И все повторяю, бывало: «Не выдержу я этого, не выдержу». Когда Ларри был со мной, было еще терпимо, но без него это был суший ад.

Я смотрел на нее, а когда она упомянула про опиум, вгляделся внимательнее и заметил суженные зрачки — признак того, что теперь-то она опиум курит. Глаза ее светились зеленым блеском.

— Изабелла заказала мне подвенечное платье. Интересно, что-то с ним случилось. Очаровательное было платье. Мы договорились, что я за ней зайду и мы поедем к Молине. Что говорить, в тряпках она толк знает. Ну, пришла я к ней, а ее слуга говорит, что она повела Джоун к зубному врачу и просила передать, что скоро вернется. Я прошла в гостиную. Там еще не было убрано после кофе, и я спросила этого лакея, нельзя ли выпить чашечку. Я одним только кофе тогда и спасалась. Он сказал, что сейчас принесет, и унес пустые чашки и кофейник. А на подносе осталась бутылка. Я посмотрела на нее, оказалось — то самое польское зелье, о котором вы все толковали в «Рице».

— Зубровка. Да, помню, Эллиот обещал прислать ее Изабелле.

— Вы все тогда ахали, какой у нее аромат, и мне стало любопытно. Я вытащила пробку и понюхала. И верно, запах первый сорт. Я закурила. Тут вернулся лакей с кофе. Кофе тоже был хорош. Столько болтают про французский кофе, ну и пусть себе пьют на здоровье, мне подавай американский. Единственное, без чего я здесь скучаю. Но у Изабеллы кофе был недурен, я выпила чашку и сразу взбодрилась. Ну, сижу и смотрю на бутылку. Искушение было страшное, но я решила — к черту, не буду о ней думать, и опять закурила. Я думала, Изабелла вот-вот вернется, но она все не шла: я стала нервничать — терпеть не могу ждать, а в комнате и почитать было нечего. Я ходила из угла в угол, рассматривала картины, а проклятая бутылка так и стоит перед глазами. Тогда я подумала — налью в рюмку и погляжу. У нее цвет был такой красивый.

— Бледно-зеленый.

— Вот-вот. Забавно, у нее цвет точно такой, как запах. Такой цвет иногда бывает в сердцевинке белой розы. Мне захотелось проверить: а вкус у нее тоже такой? Одна капля ведь не повредит, я хотела только пригубить и вдруг услышала какой-то шум, подумала, что это Изабелла, и опрокинула всю рюмку, со страха, что она меня застучает. Но это оказалась не она. Ох, и как же мне хорошо стало! Ни разу так не было с тех пор, как я зареклась пить. Почувствовала, что я живая. Если б Изабелла тогда пришла, я сейчас, наверно, была бы замужем за Ларри. Интересно, что бы из этого получилось.

— А она не пришла?

— Нет. Я на нее страшно разозлилась. Заставляет меня ждать, да за кого она меня принимает? Смотрю — рюмка опять полная; наверно, я сама и налила, но, честное слово, не заметила когда. Не выливать же ее обратно, ну, я ее и проглотила. Что и говорить, вкус замечательный. Я точно воскресла. Хотелось смеяться. Я три месяца так себя не чувствовала. Помните, тот старичок рассказывал, что видел, как в Польше ее стаканами хлещут и не пьянеют? Ну, я и подумала, неужели же я хуже какого-то польского сукина сына, и если уж расплачиваться, так было бы за что, выплеснула остатки кофе в камин, а чашку налила до краев. Еще говорят о каком-то нектаре — подумаешь, невидаль. Дальше я не очень помню, что было, но когда я спохвати-

лась, в бутылке оставалось на самом доньшке. Тут я подумала, что надо смываться, пока Изабеллы нет. Она чуть меня не поймала. Только я вышла на площадку, слышу внизу голос Джоун. Я взлетела вверх по лестнице, переждала, пока они вошли в квартиру, а тогда опрометью скатилась вниз — и в такси. Велела шоферу гнать во всю мочь, а когда он спросил куда, расхохоталась ему в физиономию. Настроение у меня было — море по колено.

— И вы вернулись к себе домой? — спросил я, хотя знал ответ заранее.

— Вы что ж, думаете, я совсем уж спятила? Я же знала, что Ларри будет меня искать. Я ни в одно из своих любимых местечек не решилась толкнуться, поехала к Хакиму. Там-то, думаю, Ларри меня не найдет. И покурить хотелось.

— А что такое Хаким?

— Хаким — он алжирец и всегда может достать опиум, если есть чем заплатить. Он вам что угодно добудет — мальчика, мужчину, женщину, негра. У него всегда полдюжины алжирцев к услугам. Я провела там три дня. Не знаю уж, скольких мужчин перепробовала. — Она захихикала. — Всех цветов, размеров и видов. Наверстала, можно сказать, потерянное время. Но, понимаете, мне было страшно. В Париже я не чувствовала себя в безопасности, боялась, как бы Ларри меня не нашел, да и деньги у меня почти все вышли, ведь этим подонкам надо платить, чтобы с тобой легли. Ну, я оттуда выбралась, заехала к себе на квартиру, сунула консьержке сто франков и велела, если меня будут спрашивать, говорить, что уехала. Уложила вещи и в тот же вечер укатила поездом в Тулон. Только здесь и вздохнула свободно.

— И с тех пор все время здесь?

— Ага, и здесь останусь. Опиума — завались, его матросы привозят с Востока, и он здесь хороший, не то дерьмо, что продают в Париже. У меня комната в гостинице. «Флот и торговля», знаете? Там, если вечером зайти, все коридоры им пропахли. — Она сладострастно потянула носом. — Приторный такой запах, едкий, сразу понятно, что во всех номерах курят, и так делается уютно. И води к себе кого хочешь. В пять часов утра стучат в дверь, чтобы морячки, кому нужно на корабль, не опоздали, так что и эта забота с тебя снята. — И вдруг, без перехода: — Я видела вашу книгу в магазине здесь, на набережной. Знай я, что вас увижу, я бы ее купила и дала вам надписать.

Я и сам, проходя мимо книжного магазина, заметил в витрине среди других новинок недавно вышедший перевод одного из моих романов.

— Едва ли это было бы вам интересно, — сказал я.

— Почему это вы так решили? Я ведь умею читать.

— И писать, кажется, тоже?

Она глянула на меня и рассмеялась.

— Да, девчонкой писала стихи. Дрянно, наверно, была ужасная, но мне казалось очень красиво. Вам небось Ларри рассказывал. — Она примолкла. — Жизнь-то, как ни посмотри, паршивая штука, но, уж если есть в ней капля радости, последним идиотом надо быть, чтобы ею не пользоваться. — Она вызывающе вскинула голову. — Так надпишете книгу, если я куплю?

— Я завтра уезжаю. Если вам в самом деле хочется, я занесу вам экземпляр в гостиницу.

— Чего же лучше.

В это время к причалу подошел военный катер, и с него хлынула на берег толпа матросов. Софи окинула их взглядом.

— А вон и мой дружок. — Она помахала кому-то. — Можете поставить ему стаканчик, а потом катитесь. Он у меня корсиканец, ревнив до черта.

Молодой человек двинулся в нашу сторону, остановился было, увидев меня, но в ответ на приглашающий жест подошел к нашему столику. Он был высокий, смуглый, гладко выбритый, с великолепными темными глазами, орлиным носом и иссиня-черными волнистыми волосами. На вид лет двадцати, не больше. Софи представила меня как американца, друга ее детства.

— Глуп как пробка, но красив, — сказала она мне.

— Вас, я вижу, привлекает бандитский тип.

— Это вы правильно подметили.

— Смотрите, как бы вам в один прекрасный день не перерезали горло.

— Очень может быть. — Она ухмыльнулась. — Что ж, туда и дорога.

— А нельзя ли по-французски? — резко сказал матрос.

Софи обратила на него взгляд, в котором сквозила насмешка. По-французски она говорила свободно и бойко, с сильным американским акцентом, придававшим непристойностям, которыми она уснащала свою речь, неотразимо комичное звучание.

— Я ему сказала, что ты очень красивый, а сказала по-английски, шадя твою скромность. — Она повернулась ко мне. — И он очень сильный. Мускулы как у боксера. Пощупайте.

Ее лезть мгновенно растопила угрюмость матроса, и он со снисходительной улыбкой напрянул руку, так что бицепсы вздулись огромными желваками.

— Пощупайте, — сказал он. — Валяйте, шупайте.

Я послушался и выразил восхищение, которого от меня ожидали. Мы еще поболтали немного, потом я расплатился и встал.

— Мне пора.

— Приятная была встреча. Не забудьте про книжку.

— Не забуду.

Я пожал им обоим руки и пошел прочь. По дороге купил свой роман и надписал на нем имя Софи и свое.

Потом, поскольку ничего лучшего не пришло мне в голову, приписал первую строку прелестного стихотворения Ронсара, вошедшего во все антологии:

«Mignonne, allons voir si la rose...»¹

Я занес книгу в гостиницу. Она стояла на набережной, и я не раз там останавливался. Когда на заре вас будит рожок, сзывающий матросов обратно на корабли, солнце поднимается из мглы над водной гладью гавани и суда, окутанные перламутровой дымкой, кажутся призраками. На следующий день мы отплыли в Касси, где я закупил вина, потом в Марсель, где нужно было забрать давно заказанный новый парус. Неделию спустя я был дома.

VII

Меня ждала записка от Жозефа, лакея Эллиота, с известием, что Эллиот заболел и хотел бы меня повидать, так что на другой день я поехал в Антиб. Прежде чем провести меня наверх в спальню, Жозеф рассказал мне, что у Эллиота был приступ уремии и врач считает его состояние тяжелым. На этот раз приступ прошел и ему лучше, но почки у него серьезно поражены и полное выздоровление невозможно. Жозеф состоял при Эллиоте сорок лет и был ему верным слугой, но, хотя говорил он печально, в его манере явно чувствовалось удовольствие, что свойственно многим слугам, когда в доме стрясется беда.

¹ Взгляни, любимая, на розу... (фр.).

— *Se pauvre monsieur*¹, — вздохнул он. — Конечно, у него были странности, но человек он был хороший. Рано ли, поздно ли, все умрем.

Послушать его, так Эллиот был уже при последнем издыхании.

— Я уверен, что он обеспечил ваше будущее, Жозеф, — сказал я сердито.

— Будем надеяться, — отозвался он скорбно.

Эллиот, к моему удивлению, выглядел молодцом. Он был бледен, очень постарел, но держался бодро. Побритый, аккуратно причесанный, он лежал в голубой шелковой пижаме, на кармашке которой была вышита его монограмма с графской короной. Та же монограмма, только крупнее, украшала уголок отвернутой на одеяло простыни.

Я справился о его самочувствии.

— Все прекрасно, — ответил он весело. — Временное недомогание, и больше ничего. Через несколько дней буду на ногах. В субботу у меня завтракает великий князь Димитрий, и я сказал моему доктору, чтобы к этому дню вылечил меня непременно.

Я провел у него полчаса и, уходя, просил Жозефа дать мне знать, если ему станет хуже. А через неделю, приехав на завтрак к одним из своих соседей, ахнул от изумления, застав его там среди других гостей. В полном параде он выглядел как живой труп.

— Не следовало бы вам выезжать, Эллиот, — сказал я.

— Глупости, милейший. Фрида пригласила принцессу Матильду, не мог же я ее подвести. Я ведь общался с итальянской королевской семьей много лет, с тех самых пор, как покойная Луиза была посланницей в Риме.

Я не знал, восхищаться ли его неукротимым духом или грустить о том, что в свои годы, настигнутый смертельной болезнью, он все еще одержим страстью к высшему свету. Никто бы и не подумал, что он болен. Как умирающий актер, загримировавшись и выйдя на сцену, забывает на время про свои схватки и боли, так Эллиот играл свою роль царедворца с привычной уверенностью. Он был бесконечно учтив, оказывал кому следует внимание, граничащее с лестью, злословил, по своему обыкновению, лукаво и беззлобно. Никогда еще, кажется, его светские таланты не проявлялись с таким блеском. Когда ее королевское

¹ Бедный хозяин (*фр.*).

высочество отбыла (а надо было видеть, как грациозно Эллиот ей поклонился, сочетая в этом поклоне почтение к ее высокому рангу и стариковское любование красивой женщиной), я не удивился, услышав, как хозяйка дома сказала ему, что он, как всегда, был душой общества.

Через несколько дней он опять слег, и врач запретил ему выходить из комнаты. Эллиот негодовал.

— Надо же было этому случиться именно теперь! Такого блестящего сезона давно не было.

И он долго перечислял мне важных персон, проводивших то лето на Ривьере.

Я навещал его раза два в неделю. Иногда он был в постели, иногда лежал в шезлонге, облаченный в роскошный халат. Этих халатов у него, как видно, был неистощимый запас — я ни разу не видел его в одном и том же. Однажды, уже в начале августа, он показался мне необычно молчаливым. Жозеф, открывая мне дверь, сказал, что ему как будто получше, и его вялость меня удивила. Я попробовал развлечь его какими-то местными сплетнями, но он не проявил к ним интереса. Брови его были озабоченно сдвинуты, выражение лица хмурое.

— Вы будете на рауте у Эдны Новемали? — спросил он неожиданно.

— Нет, конечно.

— Она вас пригласила?

— Она всю Ривьеру пригласила.

Принцесса Новемали была сказочно богатая американка, вышедшая замуж за итальянского принца, притом не рядового принца, каких в Италии пруд пруди, а главу знатного рода, потомка кондотьера, в шестнадцатом веке отхватившего себе целое княжество. Она была вдова, лет шестидесяти, и, когда фашистское правительство замахнулось на слишком большую, по ее мнению, долю ее американских доходов, уехала из Италии и построила себе возле Канн на прекрасном участке земли флорентийскую виллу. Мрамор для облицовки стен в огромных гостиных она вывезла из Италии, художников для росписи потолков тоже выписала из-за границы. Ее картины и статуи все были высшего качества, обстановка так безупречна, что это вынужден был признать даже Эллиот, не любитель итальянской мебели. Сад был очарователен, а бассейн для плавания, должно быть, обошелся в целое состояние. Дом ее вечно был полон гостей, за стол редко когда садилось меньше двадцати

человек. Теперь она задумала устроить маскарад в ночь августовского полнолуния, и, хотя до него оставалось еще три недели, на Ривьере только и было разговоров что об этом празднестве. Будет фейерверк, из Парижа приедет негритянский оркестр. Монархи в изгнании с завистливым восхищением сообщали друг другу, что она истратит на этот вечер больше денег, чем они могут позволить себе прожить за год.

Они говорили: «Это по-царски».

Они говорили: «Это безумие».

Они говорили: «Это безвкусица».

— Какой у вас будет костюм? — спросил меня Эллиот.

— Я же сказал вам, Эллиот, я не поеду. Не собираюсь я в мои годы нацеплять на себя маскарадный костюм.

— Она меня не пригласила, — произнес он хрипло, обратив на меня мученический взгляд.

— Пригласит, — сказал я равнодушно. — Наверно, еще не все приглашения разосланы.

— Нет, не пригласит. — Голос его сорвался. — Это умышленное оскорбление.

— Да полно вам, Эллиот. Я уверен, тут просто какой-то недосмотр.

— По недосмотру можно не позвать кого угодно, но не меня.

— Да вы и все равно не поехали бы к ней, ведь вы нездоровы.

— Обязательно поехал бы. Лучший вечер сезона! Ради такого я бы и со смертного одра поднялся. И костюм у меня есть — моего предка Лаурия.

Я не нашелся, что на это ответить.

— Перед вашим приходом у меня побывал Поль Бартон, — неожиданно сказал Эллиот.

Я не вправе рассчитывать, что читателю запомнится этот персонаж, — мне самому пришлось вернуться вспять, чтобы посмотреть, под каким именем я его вывел. Поль Бартон был тот молодой американец, которого Эллиот ввел в лондонское общество и который вызвал его ненависть тем, что раззнакомился с ним, когда перестал в нем нуждаться. Последнее время о нем много говорили — сперва потому, что он принял английское подданство, потом — потому что женился на дочери некоего газетного магната, получившего звание пэра. Можно было не сомневаться, что с такими связями в сочетании с собственной пробивной силой он далеко пойдет. Эллиот был вне себя.

— Всякий раз, как я просыпаюсь среди ночи и слышу, как мышь скребется за обшивкой стены, я говорю себе: «Это Поль Бартон лезет в гору». Помяните мое слово, милейший, он еще пролезет в палату лордов. Хорошо, что я до этого не доживу.

— Что ему было нужно? — спросил я, так как знал не хуже Эллиота, что этот молодой человек зря утруждать себя не станет.

— Я вам скажу, что ему было нужно, — прорычал Эллиот. — Он хотел, чтобы я дал ему надеть мой костюм графа Лаурия.

— Ну и нахальство!

— Вы понимаете, что это значит? Это значит, что он знал, что Эдна не пригласила меня и не собирается приглашать. Это она его надоумила. Старая стерва! Что бы она без меня делала? Я устраивал для нее вечера, я познакомил ее со всеми, кого она знает. Спит со своим шофером, это-то вам, конечно, известно. Гадость какая! А он тут сидел и рассказывал мне, что в саду готовится иллюминация и фейерверк будет. Я люблю фейерверки. И еще сообщил мне, что Эдну осаждают просьбами о приглашениях, но она всем отказывает, потому что хочет, видите ли, чтобы сборище было самое изысканное. А обо мне как будто и речи не могло быть.

— И что же, дадите вы ему надеть ваш костюм?

— Еще чего! И не подумаю. Я в этом костюме в гроб лягу. — Эллиот сел в постели и стал раскачиваться и причитать, как женщина. — Это так жестоко. Я их ненавижу. Всех ненавижу. Когда я мог их принимать, они со мной носились, а теперь я старый, больной, никому не нужен. С тех пор как я слег, о моем здоровье и десять человек не спрашивались и за всю эту неделю — один-единственный несчастный букет. Я ничего для них не жалел. Они ели мои обеды, пили мое вино. Я исполнял их поручения. Устраивал для них приемы. Наизнанку выворачивался, лишь бы им услужить. И что за это имею? Ничего, ничего, ничего. Им и дела нет, жив я или умер. О, как это жестоко! — Он заплакал. Крупные тяжелые слезы скатывались по морщинистым щекам. — И зачем, зачем только я уехал из Америки!

Страшное это было зрелище: старик, одной ногой в могиле, плачет, как ребенок, потому что его не пригласили на праздник, — неприличное зрелище и в то же время нестерпимо жалкое.

— Не горюйте, Эллиот, — сказал я, — может, еще в тот день будет дождь. Это ей все карты путает.

Он ухватился за мои слова, как вошедший в поговорку утопающий за соломинку. Стал хихикать сквозь слезы.

— Об этом я не подумал. Буду теперь молиться, чтобы пошел дождь. Вы правы, это ей все карты путает.

Мне удалось отвести его суетные мысли в другое русло, и, когда я уходил, он был если не весел, то спокоен. Но я-то не мог на этом успокоиться и, вернувшись домой, позвонил Эдне Новемали, сказал, что буду сегодня в Каннах, и попросил разрешения заехать к ней позавтракать. Она велела мне передать, что будет рада меня видеть, но больше никого к завтраку не ждет. Тем не менее я застал у нее человек десять гостей. Она была неплохая женщина, щедрая и гостеприимная, единственным серьезным ее недостатком был злой язык. Даже о близких друзьях она говорила Бог знает что, но делала это по глупости, не зная, как иначе обратить на себя внимание. Словечки ее передавались из уст в уста, в результате чего жертвы ее злословия переставали с ней зняться; но в доме у нее бывало весело и сытно, и, как правило, они почитали за лучшее не помнить зла. Мне не хотелось прямо обращаться к ней с просьбой пригласить Эллиота, это был бы слишком для него унизительно, и я выжидал, как повернется дело. За завтраком только и разговоров было что о предстоящих торжествах.

— Вот Эллиоту и представится случай пощеголять в своем испанском костюме, — ввернул я как мог небрежно.

— А я его не приглашала, — сказала она.

Я изобразил удивление:

— Почему?

— А чего ради? Он уже, можно сказать, вышел в тираж. Скудный человек и к тому же ужасный сноб и сплетник.

Я подумал, что это уж слишком, что она безнадежно глупа, — ведь все эти обвинения можно было с тем же успехом отнести к ней самой.

— А кроме того, — добавила она, — я хочу, чтобы его костюм надел Поль Бартон. Это будет просто божественно.

Больше я ничего не сказал, но решил любыми средствами раздобыть для бедного Эллиота желанное приглашение. После завтрака Эдна увела своих гостей в сад, и я не замедлил этим воспользоваться. Когда-то я гостил в этом доме несколько дней и помнил расположение комнат.

Я не сомневался, что пригласительных карточек осталось еще сколько угодно и что они находятся в комнате секретаря. Туда я и направился с намерением стянуть карточку и сунуть в карман, а потом вписать в нее имя Эллиота и опустить в ящик. Поехать он все равно не поедет, где уж там, ему бы только получить приглашение. Я открыл дверь и замер на пороге — секретарша Эдны сидела на своем месте, а я-то думал, что она все еще в столовой. Это была немолодая шотландка по имени мисс Кейт, рыжеватая, веснушчатая, в пенсне и по виду — убежденная девственница. Я собрался с духом.

— Принцесса повела всю компанию смотреть сад, а я подумал — загляну к вам выкурить папироску.

— Милости просим.

Мисс Кейт говорила с шотландским акцентом и, когда давала волю суховатому юмору, который приберегала для избранных, подчеркивала этот акцент, так что шутки ее звучали ужасно забавно; но стоило вам рассмеяться, как она бросала на вас удивленный и обиженный взгляд, словно с вашей стороны было очень неумно усмотреть в ее словах что-то смешное.

— С этим праздником у вас, наверно, работы невпророт, мисс Кейт, — сказал я.

— Да уж хватает, совсем с ног сбилась.

Зная, что ей можно довериться, я перешел прямо к делу.

— Почему старуха не пригласила мистера Темплтона, мисс Кейт?

Мисс Кейт разрешила своим строгим чертам на миг смягчиться улыбкой.

— Вы же ее знаете. У нее зуб на него. Она сама вычеркнула его имя из списка.

— А он ведь при смерти. Ему уже не подняться. И он глубоко уязвлен таким пренебрежением.

— Если ему хотелось сохранить с принцессой добрые отношения, не стоило ему болтать направо и налево, что она спит со своим шофером. У него жена и трое детей.

— А это правда?

Мисс Кейт глянула на меня поверх пенсне.

— Я работаю секретарем двадцать один год, сэр, и взяла за правило полагать, что все мои работодатели чисты, как первый снег. Правда, когда одна из моих знатных дам оказалась на третьем месяце в положении, притом что

милорд уже шесть месяцев как охотился на львов в Африке, вера моя сильно поколебалась, но тут она совершила коротенькую поездку в Париж — очень, надо сказать, дорогостоящую поездку, — и все кончилось хорошо. И у миледи, и у меня как гора с плеч свалилась.

— Мисс Кейт, я пришел сюда не выкурить папиросу, а стащить пригласительный билет, чтобы послать мистеру Темплтону.

— Это было бы весьма непохвально.

— Согласен. Смиловитесь, мисс Кейт, дайте мне карточку. Он не придет, а счастлив будет безмерно. Ведь вы ничего против него не имеете?

— Нет, он всегда был со мной вполне вежлив. Он настоящий джентльмен, чего нельзя сказать про большинство людей, которые являются сюда набивать себе брюхо на деньги ее высочества.

У всякой важной особы есть в подчинении кто-то, к чьим словам она прислушивается. Эти подчиненные очень чувствительны к малейшей обиде и, если обойтись с ними не так, как они, по их понятиям, того заслуживают, способны вас возненавидеть и с помощью упорных нелестных намеков настроить против вас своих патронов. Эллиот знал это как нельзя лучше, и у него всегда находилось ласковое слово и дружелюбная улыбка для бедной родственницы, старой горничной или доверенного секретаря. Я был уверен, что он частенько занимал мисс Кейт легкой светской беседой и не забывал прислать ей к Рождеству коробку конфет или нарядную сумочку.

— Ну же, мисс Кейт, будьте человеком!

Мисс Кейт поправила пенсне на своем внушительном носу.

— Вы, конечно же, не хотите толкнуть меня на бесчестный поступок, мистер Моэм, не говоря уже о том, что эта старая корова даст мне расчет, если узнает, что я ее ослушалась. Карточки лежат на столе, каждая в конверте. Мне хочется поглядеть в окно — размяться, а то ноги затекли от долгого сиденья, да и просто полюбоваться видом. Ну, а за то, что делается у меня за спиной, с меня ни Бог, ни человек не спросит.

Когда мисс Кейт вернулась на свое место, конверт с приглашением лежал у меня в кармане.

— Рад был повидать вас, мисс Кейт, — сказал я, протягивая ей руку. — В чем вы думаете появиться на маскараде?

— Я дочь священника, сэр, — отвечала она. — Такие легкомысленные забавы я предоставляю высшим классам. После того как я прослежу, чтобы репортеров «Геральда» и «Мейл» накормили ужином и подали им бутылку шампанского, но не самого лучшего, какое есть у нас в погребах, мои обязанности будут закончены и я удалюсь в свою спальню, где смогу без помехи насладиться детективным романом.

VIII

Дня через два, когда я снова навестил Эллиота, он весь сиял от радости.

— Вот, — сказал он. — Получил приглашение. Пришло сегодня утром.

Он достал карточку из-под подушки и показал мне.

— Я же вам говорил, — сказал я. — Ваша фамилия начинается на «Т». Очевидно, секретарша только что добралась до нее.

— Я еще не ответил. Отвечу завтра.

На одно мгновение я испугался.

— Хотите, я отвечу за вас? И опущу, когда выйду.

— Нет, зачем же. Я вполне способен сам отвечать на приглашения.

К счастью, подумал я, конверт вскрыет мисс Кейт, и у нее хватит ума утаить его от Эдны. Эллиот позвонил.

— Хочу показать вам свой костюм.

— Вы что, в самом деле собираетесь ехать?

— Конечно. Я не надевал его с бала у Бьюмонтов.

На звонок явился Жозеф, и Эллиот велел ему принести костюм. Он хранился в большой плоской картонке, обернутый папиросной бумагой. Длинное белое шелковое трико, короткие панталоны из золотой парчи с разрезами, подшитыми белым атласом, такой же камзол, плащ, огромный стоячий плюшевый воротник, плоская бархатная шапка и длинная золотая цепь, с которой свисал орден Золотого руна. Я узнал роскошное одеяние Филиппа II на портрете Тициана в Прадо и, когда Эллиот сообщил мне, что это точная копия того костюма, в котором граф Лаурия присутствовал на бракосочетании испанского короля с королевой Англии, невольно подумал, что на этот раз он безусловно дал волю воображению.

На следующее утро меня позвали к телефону. Звонил Жозеф — ночью у Эллиота опять был приступ, и врач,

которого тут же вызвали, не уверен, доживет ли он до вечера. Я поехал в Антиб. Эллиот был без сознания. До сих пор он упорно отказывался от сиделки, но сейчас у его постели дежурила женщина, к счастью, присланная врачом из английской больницы, что находится между Ниццей и Болье. Я вышел из дому и послал телеграмму Изабелле. Они всей семьей проводили лето на недорогом приморском курорте Ла-Боль. Путь был не близкий, я опасался, что они уже не застанут Эллиота в живых. Если не считать двух братьев Изабеллы, которых он не видел много лет, другой родни у него не было.

Но воля к жизни была в нем сильна, — а может, действовали лекарства, — только попозже он пришел в себя. Совершенно разбитый, он еще бодрился и для развлечения стал задавать сиделке нескромные вопросы о ее половой жизни. Я пробыл у него почти до вечера, а на следующее утро приехал опять и застал его слабым, но довольно бодрым. Сиделка впустила меня к нему совсем ненадолго. Меня беспокоило, что я не получаю ответа на свою телеграмму. Послал я ее в Париж, потому что не знал их адреса в Ла-Боль, и теперь боялся, что консьержка ее не переслала. Только через два дня они известили меня, что выезжают. Оказалось, что они, как на грех, совершали автомобильную поездку по Бретани, а телеграмма ждала их дома. Я посмотрел расписание — они могли приехать не раньше, чем через тридцать шесть часов.

Наутро Жозеф позвонил мне очень рано. Эллиот провел беспокойную ночь и требует меня. Я тотчас поехал. Жозеф встретил меня на пороге.

— Мосье не против, если я заговорю об одном деликатном деле? — сказал он мне. — Я-то, конечно, неверующий, я считаю, что вся эта религия — просто сговор духовенства, чтобы держать народ в подчинении, но мосье знает, что такое женщины. Моя жена и горничная в один голос твердят, что нашему бедному хозяину надо причаститься перед смертью, а времени, как видно, осталось мало. — Он бросил на меня смущенный взгляд. — Да и кто знает, может, оно и лучше, когда придет твой час, уладить отношения с церковью.

Я отлично понял его. Большинство французов, какие бы насмешки они себе ни позволяли, стремятся под конец помириться с религией, которая вошла им в плоть и кровь.

— И вы хотите, чтобы я с ним об этом поговорил?

— Если бы мосье был так любезен...

Задача эта мне не улыбалась, но Эллиот как-никак уже много лет был набожным католиком, так почему бы ему не выполнить предписаний своей религии? Я поднялся к нему в спальню. Он лежал на спине, бледный и изможденный, но в полном сознании. Я попросил сиделку оставить нас одних.

— Боюсь, вы серьезно больны, Эллиот, — сказал я. — Я подумал... подумал, может, вы хотите повидать священника?

С минуту он смотрел на меня молча.

— Вы хотите сказать, что я скоро умру?

— Ну что вы, будем надеяться на лучшее. Но как знать, что может случиться.

— Понимаю.

Он умолк. Очень это страшно, когда приходится говорить человеку то, что я сказал Эллиоту. Я не мог смотреть на него. Стиснул зубы, чтобы не заплакать. Я сидел на краю его постели молча, лицом к нему, оперевшись на вытянутую руку.

Он слабо похлопывал меня по руке.

— Не огорчайтесь, мой дорогой. Вы же знаете, *noblesse oblige*.

Я истерически рассмеялся.

— Чудак вы, Эллиот.

— Вот так-то лучше. А теперь позвоните епископу и передайте, что я желаю исповедаться и причаститься святых тайн. Я буду ему признателен, если он пошлет ко мне аббата Шарля. Мы с ним друзья.

Аббат Шарль был старший викарий епископа, о котором я уже упоминал. Я спустился к телефону, меня соединили с самим епископом.

— Это срочно? — спросил он.

— Очень.

— Я займусь этим незамедлительно.

Приехал доктор, и я рассказал ему, что предпринял. Он вместе с сиделкой прошел к Эллиоту, а я остался ждать внизу, в столовой. Езды от Ниццы до Антиба всего двадцать минут, и немногим более чем через полчаса к подъезду подкатил черный закрытый автомобиль. В столовую заглянул Жозеф.

— *C'est Monseigneur en personne, Monsieur*, — сообщил он взволнованно. — Это сам епископ.

Я вышел его встретить. Сопровождал его почему-то не старший викарий, а совсем молодой аббат, несший шкатулку, в которой, очевидно, находились сосуды, нужные для совершения таинства. Следом шофер тащил старый черный чмодан. Епископ протянул мне руку и представил своего помощника.

— Как чувствует себя наш бедный друг?

— Он очень, очень болен, монсеньор.

— Не откажите в любезности указать нам комнату, где облачиться.

— Вот здесь столовая, монсеньор, а гостиная на втором этаже.

— Благодарю, мы устроимся в столовой.

Мы с Жозефом остались ждать в холле. Вскоре дверь открылась, и вышел епископ, а за ним аббат нес в обеих руках потир, накрытый тарелкой, на которой лежала освященная облатка. Поверх была накинута салфетка из тончайшего, прозрачного батиста. До сих пор я видел епископа только за обеденным столом и помнил, что едок он был хоть куда, отдавал должное хорошему вину и со вкусом рассказывал анекдоты, иногда весьма рискованные. Он виделся мне как крепкий, коренастый мужчина среднего роста. Сейчас, в стихаре, в епитрахили, фигура у него была не только высокая, но и величественная. Его красное лицо, обычно игравшее лукавыми, хоть и не злобными улыбками, было невозмутимо и важно. В нем ничего не осталось от кавалерийского офицера, которым он некогда был; сейчас он казался тем, чем и был на самом деле, — крупным церковным сановником. Меня не удивило, что Жозеф при его появлении перекрестился. Епископ в ответ чуть заметно склонил голову.

— Проводите меня к страждущему, — сказал он.

Я хотел пропустить его вперед, но он знаком просил меня возглавить шествие. Мы поднялись по лестнице в торжественном молчании. Я вошел к Эллиоту.

— Епископ приехал сам, Эллиот.

Эллиот попытался приподняться и сесть.

— Монсеньор, на такую великую честь я не смел и надеяться.

— Лежите спокойно, друг мой. — Епископ обратился ко мне и к сиделке: — Оставьте нас. — А затем к аббату: — Я позову вас, когда кончу.

Аббат огляделся, и я понял, что он ищет, куда бы поставить потир. Я сдвинул в сторону черепаховые щетки на

туалетном столике. Сиделка ушла вниз, а я увел аббата в соседнюю комнату, служившую Эллиоту кабинетом. Раскрытые окна глядели в синее небо, он подошел к одному из них. Я сел в кресло. На море шли гонки яхт, белые паруса ослепительно сверкали на фоне лазури. Большая черная шхуна, распустив красные паруса, пробивалась в порт, борясь с бризом. Я признал в ней рыболовное судно, привозившее от берегов Сардинии омаров, дабы не оставить роскошные рестораны и казино без рыбного блюда. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Это Эллиот исповедовался в грехах. Мне очень хотелось курить, но я боялся оскорбить чувства аббата. Он стоял неподвижно, глядя вдаль, — стройный и молодой, явно итальянец по рождению — с волнистой черной шевелюрой, прекрасными темными глазами и оливковой кожей. Во всем его облике угадывались горячие страсти юга, и я подумал, какая же неумемная вера, какое жгучее желание побудило его отказаться от радостей жизни, от присущих его возрасту плотских утех и посвятить себя служению Богу.

Голоса в соседней комнате внезапно смолкли, и я посмотрел на дверь. Она отворилась, появился епископ.

— Venez¹, — сказал он аббату.

Я остался один. Снова послышался голос епископа, и я понял, что он читает отходную. Потом снова молчание — это Эллиот вкушал крови и тела Христова. Сам я не католик, но всякий раз, бывая на мессе, я испытываю чувство трепетного благоговения, должно быть унаследованное от далеких предков, когда звоночек служки возвещает, что священник поднял для обозрения святыне дары; и сейчас меня тоже пронизала дрожь, как от холодного ветра — дрожь восторга и страха. Дверь снова отворилась.

— Можете войти, — сказал епископ.

Я вошел. Аббат аккуратно накрывал батистовой салфеткой потир и золоченую тарелочку, на которой недавно лежала облатка. Глаза Эллиота сияли.

— Проводите монсеньера до его машины, — сказал он.

Мы спустились по лестнице. Жозеф и горничные ждали в холле. Женщины плакали. Их было три, и они по очереди опускались на колени и целовали перстень епископа, а он благословлял их двумя пальцами. Жена Жозефа подтолкнула

¹ Входите (фр.).

его, он тоже упал на колени и поцеловал перстень. Епископ едва заметно улыбнулся.

— Вы ведь неверующий, сын мой?

Жозеф явно сделал над собою усилие.

— Да, монсеньор.

— Пусть это вас не смущает. Вы были своему хозяину добрым и верным слугой. Господь не осудит вас за ваши заблуждения.

Я вышел с ним на улицу и открыл дверцу машины. Он поклонился мне, потом снисходительно улыбнулся.

— Наш бедный друг очень сдал. Недостатки его не шли глубже поверхности; он был человек большого сердца и не питал зла к своим ближним.

IX

Решив, что Эллиоту захочется побыть одному после совершенного над ним обряда, я пошел почитать в гостиную, но не успел я усесться с книгой, как пришла сиделка сказать, что он хочет меня видеть. Не знаю, что поддержало его — укол, который врач сделал ему перед приездом епископа, или волнение этой встречи, но взгляд у него был ясный, состояние спокойное и бодрое.

— Я удостоился великой чести, милейший, — сказал он. — Войду в царствие небесное с рекомендательным письмом от кардинала. Теперь там, наверно, все двери будут для меня открыты.

— Боюсь, общество покажется вам очень смешанным, — улыбнулся я.

— Не скажите, милейший. Из Священного писания нам известно, что классовые различия существуют на небесах точно так же, как на земле. Там есть серафимы и херувимы, ангелы и архангелы. В Европе я всегда вращался в лучших кругах и не сомневаюсь, что буду вращаться в лучших кругах на небе. Господь сказал: «В доме отца моего много обителей». По меньшей мере странно было бы поселить простонародье в условиях, к которым оно совершенно непривычно.

Мне подумалось, что райские кущи представляются Эллиоту в виде замка какого-нибудь барона Ротшильда — с панелями восемнадцатого века по стенам, столиками-буль, шкафчиками-маркетри и гарнитурами времен Людовика XV, обитыми вышитым шелком.

— Поверьте мне, милейший, — продолжал Эллиот, помолчав, — никакого этого чертова равенства там не будет.

Потом он как-то сразу задремал. Я сел у его постели с книгой. Он то просыпался, то опять засыпал. В час дня сиделка зашла сказать, что Жозеф предлагает мне позавтракать. Жозеф был подавлен и тих.

— Подумать только, монсеньер епископ сам приезжал. Это он большую честь оказал нашему бедному хозяину. Вы видели, что я поцеловал его перстень?

— Видел.

— Сам бы я нипочем этого не сделал. Но хотелось убажить мою бедную жену.

Позавтракав, я опять поднялся к Эллиоту. Пришла телеграмма от Изабеллы — они прибудут голубым экспрессом завтра утром. Я был почти уверен, что они опоздают. Заехал врач и только покачал головой. На закате Эллиот проснулся и немножко поел. Это, видимо, придало ему сил. Он поманил меня. Голос его был едва слышен.

— Я не ответил на приглашение Эдны.

— Полно, Эллиот, не думайте сейчас об этом.

— Почему? Я всегда помнил о светских приличиях и не вижу причин забывать о них сейчас, когда я покидаю сей мир. Где эта карточка?

Она лежала на каминной полке. Я вложил ее ему в руку, но не уверен, что он видел ее.

— Почтовая бумага на столе у меня в кабинете. Принесите ее, я продиктую вам ответ.

Я принес из соседней комнаты бумагу и бювар и сел у его постели.

— Готовы?

— Да.

Глаза его были закрыты, но губы скривились в озорной усмешке, и я ждал любого сюрприза.

— «Мистер Темплтон сожалеет, что не может принять любезное приглашение принцессы Новемали, будучи связан более ранней договоренностью со своим Спасителем».

Последовал смешок, призрачный, чуть слышный. Лицо его заливала жуткая синяя бледность, от него исходил тошнотворный запах, характерный для его болезни. Бедный Эллиот, он так любил опрыскивать себя духами от Шанель и Молине! Он все еще держал в руке похищенную мною карточку, я подумал, что она ему мешает, и попробовал отнять ее, но пальцы его сжались крепче. Я даже вздрогнул, когда он произнес совсем отчетливо:

— Старая стерва.

Это были его последние слова. Он впал в кому. Сиделка, продежурившая у него всю предыдущую ночь, валилась с ног, и я отправил ее поспать, сказав, что не засну и позову ее, если понадобится. Делать и правда было уже нечего. Я зажег лампу под темным колпаком и читал, пока не заболели глаза, а тогда погасил свет и сидел в темноте. Ночь была теплая, окна стояли настежь. Через равные промежутки времени комнату слабо озаряли вспышки маяка. Луна, которой предстояло, набрав полную силу, воссиять над шумным мишурным весельем маскарада у Эдны Новемали, зашла, и в иссиня-черном небе устрещающе ярко горели бесчисленные звезды. Вероятно, я задремал, но чувства мои не спали, и внезапно меня привел в сознание сердитый, нетерпеливый звук, самый страшный звук, какой можно услышать, — предсмертный хрип. Я подошел к постели и при вспышке маяка пощупал у него пульс. Эллиот был мертв. Я зажег лампу у изголовья и посмотрел на него. Челюсть у него отвисла. Глаза были открыты, и, прежде чем их закрыть, я заглянул в них. Я был глубоко взволнован, кажется, по щекам у меня скатилось несколько слез. Старый, добрый друг. Грустно было вспомнить, как глупо, без пользы и без смысла он прожил свою жизнь. Какое теперь имеет значение, что он побывал на стольких званных вечерах, знался с графами, князьями и герцогами? Они уже сейчас о нем забыли.

Будить измученную сиделку не было смысла, и я вернулся в свое кресло у окна. В семь часов, когда она вошла в комнату, я спал. Я оставил на нее то, что еще требовалось сделать, выпил кофе и поехал на вокзал встречать Изабеллу и Грэя. Я сообщил им о смерти Эллиота и предложил остановиться у меня, поскольку в его доме мало места, но они предпочли гостиницу. А я уехал к себе, чтобы принять ванну, побриться и переодеться.

Вскоре мне позвонил Грэй сказать, что имеется письмо Эллиота на мое имя, — оно хранилось у Жозефа. Поскольку в письме могло оказаться что-нибудь, предназначенное только для моих глаз, я сказал, что приеду немедленно, и таким образом меньше чем через час уже опять вошел в дом Эллиота. В письме с надписью «Вручить тотчас после моей смерти» содержались указания касательно его похорон. Я знал, что его заветное желание — покоем в построенной им церкви, и уже успел сказать об этом Изабелле. Кроме того, он желал быть набальзамированным и назвал специалис-

тов, которым следовало поручить это ответственное дело. «Я навел справки, — писал он далее, и узнал, — что работают они превосходно. Доверяю вам проследить, чтобы не было допущено халтуры. Одетым я желаю быть в костюме моего предка графа Лаурия, с его мечом на боку и с орденом Золотого руна на груди. Выбор гроба оставляю на ваше усмотрение. Что-нибудь без претензий, но соответствующее моему положению. Чтобы никому не доставлять лишних хлопот, прошу перевозку моих останков поручить компании «Томас Кук и сын», и они же пусть выделяют своего человека для сопровождения гроба к месту вечного упокоения».

Я вспомнил, что Эллиот и раньше говорил о своем намерении лечь в гроб в маскарадном костюме, но в то время считал это минутной фантазией. Однако Жозеф твердил, что волю покойного необходимо исполнить, да, в конце концов, почему бы и нет? И вот, когда тело набальзамировали, мы с Жозефом отправились обрядить его в это нелепое одеяние. Гнусная то была работа. Мы засунули его длинные ноги в белое шелковое трико, натянули поверх парчовые панталоны. Труднее всего оказалось продеть руки в рукава камзола. Мы застегнули на нем огромный плюшевый воротник, на плечи приладили атласный плащ. И, наконец, надели ему на голову плоскую бархатную шапку, а на шею повесили орден Золотого руна. Бальзамировщики нарумянили ему щеки и подкрасили губы. Костюм был широк для его иссохшего тела, и выглядел он как хорист в одной из ранних опер Верди. Печальный Дон Кихот, борец за пустое дело. Когда его положили в гроб, я пристроил бутфорский меч у него между ног, а руки сложил на эфесе — так мне запомнилось скульптурное надгробие какого-то крестоносца.

Изабелла и Грэй поехали на похороны в Италию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Считаю своим долгом предупредить читателя, что он спокойно может пропустить эту главу, не потеряв сюжетной нити, которую мне еще предстоит дотянуть. Глава эта — почти целиком пересказ разговора, который у меня состоялся с Ларри. Впрочем, должен добавить, что, если бы не этот разговор, я бы, возможно, вообще не стал писать эту книгу.

В ту осень, месяца через три после смерти Эллиота, я по дороге в Англию провел неделю в Париже. Изабелла и Грэй из своего невеселого путешествия в Италию вернулись в Бретань, а теперь опять жили в квартире Эллиота на улице Сен-Гильом. Изабелла рассказала мне про его завешание. Он отказал церкви, которую построил, определенную сумму денег на панихиды за упокой его души и еще сумму — на содержание самой церкви. Щедрое даяние на благотворительные цели получил епископ в Ницце. Мне досталось несколько двусмысленное наследство: его собрание порнографических книг восемнадцатого столетия и прекрасный рисунок Фрагонара — сатир и нимфа, занятые делом, которое обычно совершается без свидетелей. Повесить такой рисунок на стену нельзя — слишком неприличен, а упиваться непристойностями в одиночестве не в моем характере. Он хорошо позаботился о своих слугах. Двум племянникам завещал по 10 000 долларов, а все остальное — Изабелле. Сколько именно — она не сказала, а я не спросил, но, судя по ее довольному тону, наследство она получила немалое.

Грэй уже давно, с тех пор как восстановилось его здоровье, рвался в Америку, к работе, и Изабелла, хоть ей и неплохо жилось в Париже, заразилась его нетерпением. Он уже налаживал связи со старыми деловыми знакомыми, но самое интересное место из тех, что ему предлагали, могло быть предоставлено лишь при условии крупного вступительного взноса. До сих пор у него таких денег не было, теперь же, со смертью Эллиота, Изабелла легко могла выделить их из своего капитала, и Грэй, заручившись ее одобрением, вступил в переговоры с тем расчетом, чтобы, если перспективы действительно окажутся хороши, поехать в Америку и изучить ситуацию на месте. Но до этого им еще много чего предстояло сделать. Нужно было договориться с французским казначейством относительно налога на наследство. Нужно было продать дом в Антибе и распорядиться парижской квартирой. Нужно было устроить в отеле Друо распродажу с аукциона мебели Эллиота, его картин и рисунков. Они представляли большую ценность, и имело смысл подождать до весны, когда в Париж съезжаются крупнейшие коллекционеры. Изабелла была не прочь прожить в Париже еще одну зиму; дочери ее уже болтали по-французски не хуже, чем на родном языке, и ее радовала

возможность еще на несколько месяцев оставить их во французской школе. За три года они сильно вытянулись, теперь это были длинноногие, худые, неугомонные подростки; материнская красота в них еще не проступила, но они были хорошо воспитаны и ненасытно любопытны.

Ну и хватит об этом.

III

Ларри я встретил случайно. Я справлялся о нем у Изабеллы, и она сказала, что после возвращения из Ла-Боль видела его очень мало. Теперь у них с Грэем было много новых друзей одного с ними поколения, и они чаще выезжали и принимали гостей, чем в те приятные недели, когда мы столько времени проводили вчетвером. Однажды вечером я пошел в «Комеди Франсез» смотреть «Беренику». Читать я ее, конечно, читал, но на сцене не видел, а поскольку ставят ее редко, грех было упустить такой случай. Это отнюдь не лучшая из трагедий Расина, фабула ее слишком бедна для пяти действий, но она волнует, и в ней есть несколько знаменитых сцен. Сюжет основан на коротком отрывке из Тацита: Тит, страстно влюбленный в Беренику, царицу Палестины, и даже, как полагают, обещавший взять ее в жены, в первые же дни своего правления удаляет ее из Рима по политическим соображениям — сенат и народ Рима решительно против его союза с иноземной царицей. Стержень пьесы — борьба, происходящая в его душе между любовью и долгом, и, когда его одолевают сомнения, сама Береника, уверившись, что он ее действительно любит, убеждает его послушать веления долга и расстанется с ним навсегда.

Вероятно, только француз способен в полной мере оценить изящество и величие Расина и музыку его стихов, однако и иностранец, раз сделав скидку на чопорную формальность его стиля, не может остаться равнодушен к его страстной нежности и к благородству его чувств. Расин, как мало кто другой, понимал, сколько драматизма заложено в человеческом голосе. Для меня, во всяком случае, раскаты этих сладкозвучных александрийских стихов вполне возмещают недостаток внешнего действия, и от длинных монологов, с безупречным мастерством доведенных до ожидаемой кульминации, сердце у меня замирает ничуть не меньше, чем от самых захватывающих погонь и перестрелок на экране.

После третьего действия был антракт, и я вышел покурить в фойе, осененное саркастической беззубой улыбкой Гудонова Вольтера. Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся, не скрывая легкой досады — жаль было расплескать высокую радость, которой наполнили меня звучные строки Расина, — и увидел Ларри. Как всегда, я ему обрадовался. Я не видел его целый год и тут же предложил встретиться после спектакля и пойти куда-нибудь выпить пива. Ларри ответил, что не обедал сегодня и проголодался, и, со своей стороны, предложил отправиться на Монмартр. И вот, найдя друг друга в вестибюле, мы вместе вышли на улицу. Театру «Комеди Франсэз» присуща своя особенная духота. Она пропитана запахом многих поколений тех хмурых женщин, так называемых *ouvreuses*, что показывают вам ваши места и всем своим видом требуют за это на чай. Свежий воздух оживил нас, ночь была ясная, и мы пошли пешком. Дуговые фонари на авеню Оперы горели так вызывающе ярко, что звезды небесные, точно снисходя до состязания с ними, приглушили свой блеск мраком бесконечного расстояния. По дороге мы говорили о спектакле. Ларри был недоволен. Ему хотелось чего-то более естественного, чтобы текст произносили так, как люди говорят в жизни, и жестикация была не такая театральная. Я не мог согласиться с такой точкой зрения. Расин — это патетика, великолепная патетика, и исполнения требует патетического. Я наслаждался правильным чередованием рифм, а условные жесты, предписываемые давней традицией, на мой взгляд, вполне соответствовали всему строю этого формального искусства. Мне думалось, что и сам Расин был бы доволен таким исполнением. Я восхищался тем, как актеры, даже связанные традиционными канонами, сумели вложить в свою игру столько человечности, страсти и правды. Искусство торжествует, если ему удастся подчинить условность высокой цели.

Мы дошли до авеню Клиши и завернули в ночной ресторан «Граф». Было только начало первого, народу полно, но мы нашли свободный столик и заказали яичницу с ветчиной. Я сказал Ларри, что недавно видел Изабеллу.

— Грэй будет рад вернуться в Америку, — сказал он. — Здесь он как рыба, вынутая из воды. Он не будет счастлив, пока опять не окунется в работу. Наверно, наживет уйму денег.

— Этим он будет обязан вам. Вы ведь исцелили его не только физически, но и духовно. Вернули ему веру в себя.

— Я сделал очень немного. Всего только научил его, как исцелиться.

— Но как вы сами постигли это немногое?

— Совершенно случайно. Когда был в Индии. Я страдал от бессонницы и упомянул об этом в разговоре с одним старым йогом, а он сказал, что этому легко помочь. Он проделал со мной то, что я на ваших глазах проделал с Грэем. и в ту ночь я впервые за несколько месяцев спал как убитый. А потом, примерно год спустя, я был в Гималаях с одним приятелем-индусом, и он растянул лодыжку. Врача поблизости не было, а нога болела невыносимо. Я и подумал, попробую-ка я сделать то, что сделал старый йог. И поверите ли, подействовало, боль как рукой сняло. — Ларри засмеялся. — Уверяю вас, я сам удивился невероятно. Тут ничего особенного нет, нужно только внушить больному какую-то мысль.

— Легко сказать.

— Вас бы удивило, если бы рука у вас поднялась над столом без участия вашей воли?

— Безусловно.

— Ну так она поднимется. Когда мы вернулись в цивилизованный мир, мой приятель рассказал кое-кому об этом случае и привел ко мне на лечение еще несколько человек. Мне не хотелось этим заниматься, потому что тут было что-то непонятное, но он настоял. Каким-то образом я им помог. Я обнаружил, что способен избавлять людей не только от боли, но и от страха. Просто удивительно, сколько людей от него страдает. Я имею в виду не какую-нибудь боязнь замкнутого пространства или боязнь высоты, а страх смерти или, того хуже, страх жизни. Зачастую это люди вполне здоровые и благополучные, но притом настоящие мученики. Порой мне казалось, что никакое другое чувство не завладевает людьми так властно, и я готов был приписать это глубокому животному инстинкту, унаследованному человеком от того неведомого первобытного существа, что впервые ощутило трепет жизни.

Я слушал Ларри и с интересом ждал продолжения, — как правило, он был немногословен, а тут разговорился. Быть может, пьеса, которую мы только что смотрели, сняла в нем какое-то торможение, и ритм полновзвучных стихов, подобно музыке, помог ему преодолеть природную замкнутость. Вдруг до моего сознания дошло, что моя рука ведет себя странно. Я успел забыть про вопрос, который

как бы в шутку задал мне Ларри. А тут оказалось, что моя рука уже не лежит на столе, а оторвалась от него примерно на дюйм. Я был озадачен. Я стал смотреть на нее и увидел, что она слегка дрожит. Я ощутил какое-то нервное покалывание, что-то дернулось, и вот уже и локоть отделился от стола без помощи, но и без сопротивления с моей стороны. Потом пошла вверх вся рука от плеча.

— Что за чудеса, — сказал я.

Ларри засмеялся. Небольшое усилие воли — и рука моя снова опустилась на стол.

— Это пустяки, — сказал он. — Не имеет никакого значения.

— Вас обучил этому тот йог, про которого вы нам рассказывали, когда только вернулись из Индии?

— О нет, он такие вещи презирал. Не знаю, ощущал ли он в себе способности, на которые претендуют некоторые йоги, но применять их он считал бы ребячеством.

Яичницу с ветчиной принесли, и мы с аппетитом поели. И пива выпили. Все в полном молчании. Не знаю, о чем думал Ларри, а я думал о нем. Потом я закурил папиросу, а он — свою трубку.

— Как вы вообще попали в Индию? — спросил я без предисловий.

— По чистой случайности. То есть тогда мне так казалось. Теперь-то я склоняюсь к мысли, что это был неизбежный результат тех лет, что я провел в Европе. Почти всех людей, которые оказали на меня влияние, я встретил как будто случайно, а когда оглядываюсь назад, кажется, что я не мог их не встретить. Словно они только и ждали, чтобы я обратился к ним, когда они мне понадобятся. В Индию я поехал отдохнуть. Перед тем я очень напряженно работал, и мне хотелось разобраться в своих мыслях. Я нанялся матросом на туристский пароход, из тех, что совершают кругосветные рейсы. Он шел на Восток, а потом через Панамский канал в Нью-Йорк. В Америке я не был пять лет и соскучился. И на душе было скверно. Вы ведь знаете, каким невеждой я был, когда мы с вами познакомились в Чикаго, сто лет назад. В Европе я много чего прочел и много чего увидел, но к тому, что искал, не приблизился ни на шаг.

Мне хотелось спросить, чего же он искал, но я подозревал, что он только рассмеется, пожмет плечами и скажет, что это не имеет значения.

— Но почему вы плыли матросом? — спросил я. — У вас же были деньги.

— Ради нового переживания. Когда мне случалось поглотить все, что я в данное время был способен вместить, и меня, так сказать, начинало засасывать в болото, эта мера всякий раз оказывалась полезна. После того как мы с Изабеллой расторгли нашу помолвку, я полгода проработал в угольной шахте под Лансом.

Тут-то он рассказал мне эпизод из своей жизни, о котором я поведал в одной из предыдущих глав.

— Вы были очень убиты, когда Изабелла дала вам отставку?

Прежде чем ответить, он некоторое время смотрел на меня своими до странности черными глазами, глядевшими, казалось, не на вас, а внутрь.

— Да. Я был очень молод. Я был уверен, что мы поженимся. Строил планы, как мы будем жить вместе. Эта жизнь представлялась мне чудесной. — Он засмеялся тихо и грустно. — Но в одиночку брак не построишь. Мне и в голову не приходило, что жизнь, которую я предлагал Изабелле, ей кажется ужасной. Будь я поумней, я не заикнулся бы об этом. Она была слишком юная и пылкая. Винить я ее не мог. И уступить не мог.

Хоть я и не очень на это надеюсь, но, возможно, читатель вспомнит, что, когда Ларри сбежал с фермы после нелепой истории с вдовой снохой хозяина, он направился в Бонн. Мне не терпелось, чтобы он продолжил свой рассказ с этого места, но, зная его, я воздержался от прямых вопросов.

— Я никогда не был в Бонне, — сказал я. — В юности учился в Гейдельберге, но недолго. Это было, кажется, самое счастливое время в моей жизни.

— Мне Бонн понравился. Я провел там год. Поселился у вдовы одного из профессоров тамошнего университета, она сдавала несколько комнат. Она и две ее дочери, обе уже немолодые, сами готовили и делали всю работу по дому. Другую комнату, как выяснилось, снимал француз, и сначала это меня огорчило, потому что я хотел разговаривать только по-немецки, но он был эльзасец и по-немецки говорил если не свободнее, то, во всяком случае, с лучшим произношением, чем по-французски. Одевался он как немецкий пастор, а через несколько дней я, к своему удивлению, узнал, что он — монах-бенедиктинец. Его на

время отпустили из монастыря, чтобы он мог заняться научной работой в университетской библиотеке. Он был ученый человек, но, по моим понятиям, так же мало походил на ученого, как и на монаха, — рослый, дородный блондин с голубыми глазами навывкате и круглой красной физиономией. Он был стеснителен и сдержан, меня словно бы сторонился, но вообще отличался несколько тяжеловесной учтивостью и за столом вежливо участвовал в разговоре. Я только за столом его и видел: сразу после обеда он снова шел работать в библиотеку, а после ужина, когда я сидел в гостиной и практиковался в немецком языке с той из дочерей, которая не мыла посуду, удалялся к себе в комнату.

Я был очень удивлен, когда однажды, с месяцем после моего приезда, он предложил мне пойти на прогулку — он-де может показать мне такие места, которые я сам едва ли открою. Я неплохой ходок, но ему и в подметки не годился. Во время той первой прогулки мы отмахали не меньше пятнадцати миль. Он спросил, что я делаю в Бонне, я сказал, что хочу овладеть немецким и получить представление о немецкой литературе. Говорил он очень разумно, сказал, что будет рад мне помочь. После этого мы стали ходить на прогулки по два-три раза в неделю. Оказалось, что он несколько лет преподавал философию. В Париже я кое-что прочел по этой части — Спинозу, Платона, Декарта, но из крупных немецких философов никого не знал и с интересом слушал, как он о них рассказывал. Однажды, когда мы совершили экскурсию на другой берег Рейна и сидели в саду перед трактиром за кружкой пива, он спросил, протестант ли я. Я ответил: «Наверно, так».

Он бросил на меня быстрый взгляд, в котором я уловил улыбку, и заговорил об Эсхиле. Он, понимаете, изучил древнегреческий и великих трагиков знал так, как я и надеяться не мог их узнать. От его слов у меня голова работала лучше. Я недоумевал, чем был вызван тот его вопрос. Мой опекун, дядя Боб Нелсон, был агностик, но в церковь ходил регулярно, потому что этого ждали от него пациенты, и по той же причине заставлял меня посещать воскресную школу. Марта, наша служанка, была ревностной баптисткой и отравляла мое детство рассказами об адском пламени, в котором грешники будут гореть до скончания века. Она с истинным наслаждением расписывала муки, уготованные разным нашим соседям, так или иначе заслужившим ее нерасположение.

К началу зимы я уже много чего знал про отца Энсхайма. По-моему, он был замечательный человек. Я не помню, чтобы он хоть раз на кого-нибудь рассердился. Он был добрый и милосердный, с широкими взглядами, на редкость терпимый. Эрудиция его меня потрясала, а он, конечно, понимал, как мало я знаю, но говорил со мной как с равным. Был со мной очень терпелив. Словно только того и желал, что быть мне полезным. Однажды со мной ни с того ни с сего случился прострел, и фрау Грабау, наша хозяйка, чуть не силком уложила меня в постель с грелкой. Узнав, что я нездоров, отец Энсхайм после ужина зашел меня проведать. Чувствовал я себя хорошо, если не считать сильной боли. Вы знаете породу книжных людей — их всякая книга интересует. Так вот, когда я при его появлении отложил книгу, он взял ее и посмотрел заглавие. Это было сочинение мейстера Экхарта, оно мне попало у букиниста. Он спросил, почему я это читаю, и я ответил, что вообще читаю такого рода литературу, и рассказал ему про Кости и как тот пробудил во мне интерес к этой теме. Он глядел на меня своими выпуклыми голубыми глазами, в них была насмешливая ласка, иначе это выражение определить не могу. У меня было такое ощущение, что он находит меня смешным, но преисполнен ко мне такого доброжелательства, что я от этого не кажусь ему хуже. А меня никогда не обижает, если людям кажется, что я с придурью.

«Чего вы ищете в этих книгах?» — спросил он.

«Если б я это знал, — ответил я, — это был бы хоть первый шаг к моей цели».

«Помните, я вас как-то спросил, протестант ли вы, а вы ответили — наверно, так. Что вы хотели этим сказать?»

«Меня растили в протестантской вере».

«А в Бога вы верите?»

Я не люблю слишком личных вопросов, и первым моим побуждением было заявить, что это его не касается. Но от него веяло такой добротой, что обидеть его было просто невозможно. Я не знал, что сказать, не хотелось ответить ни да, ни нет. Возможно, на меня подействовала боль, а возможно, что-то в нем самом, но я рассказал ему о себе.

Ларри помолчал, а когда заговорил снова, мне было ясно, что он обращается не ко мне, а к тому монаху-бenedиктинцу.

Обо мне он забыл. Не знаю, что тут сыграло роль, время или место, но теперь он без моей подсказки говорил о

том, что так долго таил про себя из врожденной скрытности.

— Дядя Боб Нелсон был очень демократичен, он отдал меня в среднюю школу в Марвине, и только потому в четырнадцать лет отпустил в Сент-Пол, что Луиза Брэдли совсем его заклевала. Я особенно не блистал ни в ученье, ни в спорте, но в школе прижился. Думаю, что я был совершенно нормальным мальчиком. Я бредил авиацией. Она тогда только начиналась, и дядя Боб увлекался ею не меньше меня, у него были знакомые авиаторы, и, когда я сказал, что хочу учиться летать, он обещал мне это устроить. Я был высокий для своего возраста, в шестнадцать лет вполне мог сойти за восемнадцатилетнего. Дядя Боб взял с меня слово никому об этом не говорить, он знал, что за такое дело все на него обрушатся, но ведь это он сам помог мне тогда перебраться в Канаду и снабдил письмом к какому-то своему знакомому, и в результате я в семнадцать лет уже летал во Франции.

Опасные это были игрушки, тогдашние аэропланы; поднимаясь в воздух, ты всякий раз рисковал жизнью. Высота по теперешним меркам была ничтожная, но мы другого не знали и считали себя героями. Не могу описать, какое чувство это во мне рождало, но в воздухе я бывал горд и счастлив. Я ощущал себя частью чего-то необъятного и прекрасного. Точнее я не мог бы это выразить, я только знал, что там, на высоте двух тысяч футов, я уже не один, хоть со мной никого и нет. Наверно, это звучит глупо, но что поделаешь. Когда я летел над облаками, а они ходили подо мной, как огромное стадо овец, я чувствовал себя на короткой ноге с бесконечностью.

Ларри умолк. Он уставился на меня своими непроницаемыми глазами, но, по-моему, не видел меня.

— Я и раньше знал, что людей убивают сотнями тысяч, но никогда не видел, как их убивают. И меня это близко не задевало. А потом я своими глазами увидел мертвеца. И мне стало невыносимо стыдно.

— Стыдно? — воскликнул я невольно.

— Стыдно, потому что этот мальчик, всего на три-четыре года старше меня, такой подвижный и храбрый, за минуту до того полный жизни и всегда такой славный, превратился в грудку искромсанного мяса, так что и не верилось, что только что это был живой человек.

Я промолчал. Я видел немало мертвецов в свою бытность студентом-медиком и еще много больше — во время войны. Меня-то всегда угнетало, какой у них жалкий, ничтожный вид. В них не было ни на грош благородства. Марионетки, которых кукольник выбросил на помойку.

— В ту ночь я не мог уснуть. Я плакал. За себя я не боялся, я был глубоко возмущен. Бессмысленная жестокость смерти, вот с чем я не мог примириться. Война кончилась, я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам, и я хотел, если ничего не выйдет с авиацией, пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормозили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь. Мне-то просто повезло, что я выжил, и хотелось на что-то употребить свою жизнь, а на что — я не знал. О Боге я раньше никогда не задумывался, а теперь стал о нем думать. Я не мог понять, почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было не к кому, и я стал читать что попало.

Когда я рассказал все это отцу Энсхайму, он спросил: «Значит, вы четыре года читали. И к чему вы пришли?» «Ни к чему не пришел».

Он поглядел на меня так любовно, что я смешался. Чем я мог вызвать в нем такую приязнь? Он стал тихонько барабанить пальцами по столу, словно что-то обдумывая, и наконец заговорил:

«Наша мудрая старая церковь пришла к выводу, что, если человек поступает как верующий, вера будет ему дана; если он молится сомневаясь, но молится искренне, сомнения его рассеются; если он покорится красоте богослужения, власть коей над человеческим духом доказана многовековым опытом, мир снизойдет в его душу. В скором времени я возвращаюсь к себе в монастырь. Не хотите ли вы поехать со мной и пожить у нас несколько недель? Вы могли бы работать в поле с нашими младшими монахами, могли бы читать в нашей библиотеке. Как переживание это будет не менее интересно, чем работа в угольной шахте или на немецкой ферме».

«А почему вы мне это предлагаете?» — спросил я.

«Я вас наблюдаю три месяца. Возможно, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Стена, отделяющая вас от веры, не толще листка папиросной бумаги».

На это я ничего не сказал. У меня было странное чувство, точно кто-то ухватил меня за самое сердце и тянет. Я сказал, что подумаю. Он заговорил о другом. Потом до его отъезда из Бонна мы больше не говорили ни о чем, связанном с религией, но, уезжая, он дал мне адрес своего монастыря и сказал, что, если я надумаю приехать, надо только черкнуть ему, и он все устроит. Я и не думал, что буду так о нем скучать. Время шло, лето уже было в разгаре. В Бонне все шло хорошо. Я читал Гете, Шиллера, Гейне, читал Гельдерлина и Рильке. Но по-прежнему топтался на месте. Я часто вспоминал отца Энсхайма и наконец решил воспользоваться его приглашением.

Он встретил меня на станции. Монастырь был в Эльзасе, в живописной местности. Отец Энсхайм представил меня настоятелю, потом провел в келью, где мне разрешено было жить. Там стояла узкая железная кровать, на стене висело распятие, а мебель была только самая необходимая. Зазвонил колокол к обеду, и я пошел в трапезную. Это была огромная палата со сводчатым потолком. В дверях стоял настоятель с двумя монахами, один держал таз, другой полотенце, и настоятель в виде омовения брызгал водой на руки гостей и вытирал их полотенцем, которое подавал ему монах. Гости, кроме меня, было еще трое: два священника, ехавшие куда-то по своим делам и задержавшиеся здесь пообедать, и ворчливый пожилой француз, на время удалившийся от мира.

Настоятель и два приора, старший и младший, сидели в верхнем конце трапезной, каждый за своим столом, ученые монахи — вдоль двух длинных стен, а монахи-работники, послушники и гости — за столами посреди комнаты. Была прочитана молитва, и мы поели. Один из послушников, стоя в дверях, монотонно читал из какого-то назидательного сочинения. После обеда опять прозвучала молитва. Потом настоятель, отец Энсхайм, гости и тот монах, в чьем ведении они находились, перешли в небольшую комнату, где попили кофе и побеседовали о том о сем. А потом я вернулся в свою келью.

Я провел там три месяца. Мне было очень хорошо. Такая жизнь как нельзя более мне подходила. Библиотека оказалась богатейшая, я много читал. Никто из монахов не пытался на меня влиять, но разговаривали они со мной охотно. Их ученость, благочестие и отрешенность от мира произвели на меня большое впечатление. И не думайте, что они

вели бездельную жизнь. Они сами обрабатывали все свои земли, так что и моя помощь пригодилась. Я наслаждался великолепием церковных служб, больше всего мне нравилась утренняя. Ее служили в четыре часа утра. Удивительно это волнует — сидишь в церкви, а вокруг тебя еще ночь, и монахи, таинственные в своих клобуках и рясах, выводят песнопения сильными, звучными голосами. В самом однообразии ежедневного распорядка было что-то умиротворяющее, и, несмотря на деятельную жизнь, которая тебя окружала, и на неустанную работу мысли, тебя не оставляло чувство тишины и покоя.

Ларри улыбнулся чуть печально.

— Я как Ролла у Мюссе: «Я в слишком старый мир явился слишком поздно». Мне бы надо было родиться в средние века, когда вера была чем-то непреложным: тогда мой путь был бы мне ясен, и я сам просился бы в монашеский орден. Но у меня веры не было. Я хотел верить, но не мог поверить в Бога, который ничем не лучше любого порядочного человека. Монахи говорили мне, что Бог сотворил мир для вящей славы своей. Мне это не казалось такой уж достойной целью. Разве Бетховен создал свои симфонии, чтобы прославить себя? Нет, конечно. Я думаю, он их создал, потому что музыка, которая его переполняла, рвалась наружу, а он уж только старался потом придать ей самую совершенную форму.

Я часто слушал, как монахи читали «Отче наш», и думал, как они могут изо дня в день взывать к отцу небесному, чтобы он дал им хлеб насущный? Разве дети на земле просят своих отцов, чтобы те их кормили? Это разумеется само собой, дети не чувствуют и не должны чувствовать за это благодарности, и мы осуждаем человека, только когда он производит на свет детей, которых не хочет или не может прокормить. Мне казалось, что, если всемогущий творец не в силах обеспечить свои творения самым необходимым для физической и духовной жизни, лучше бы ему было их не творить.

— Милый мой Ларри, — сказал я, — надо радоваться, что вы не родились в средние века. Вы несомненно окончили бы жизнь на костре.

Он улыбнулся.

— Вы вот знаете, что такое успех. Вам приятно, когда вас хвалят в лицо?

— Меня это только конфузит.

— Я так и думал. И не мог поверить, что Богу это нужно. В полку мы не очень-то уважали тех, кто подлизывался к командиру, чтобы получить тепленькое местечко. Вот и мне не верилось, что Бог может уважать человека, который с помощью грубой лести домогается у него спасения души. Мне казалось, что самый угодный ему способ поклонения должен бы состоять в том, чтобы поступать по своему разумению как можно лучше.

Но больше всего меня смущало другое: я не мог принять предпосылку, что все люди грешники, а монахи, сколько я мог понять, исходили именно из нее. В авиации я знал многих ребят. Конечно, они напивались, когда представлялся случай, и от женщин не отказывались, когда повезет, и сквернословили; попадались и злостные мошенники: одного парня арестовали за то, что подсовывал негодные чеки, и дали ему шесть месяцев тюрьмы; но он был не так уж виноват: раньше у него никогда денег не водилось, а тут стал получать много, сколько и не мечтал, и ему это ударило в голову. В Париже я знал порочных людей, и в Чикаго, когда вернулся, тоже, но в большинстве случаев в их пороках была повинна наследственность, против которой они были бессильны, и среда, которую они не сами себе выбирали; я готов допустить, что в их преступлениях виноваты не столько они, сколько общество. Будь я Богом, я бы ни одного из них, даже самого худшего, не осудил на вечное проклятие. Отец Энсхайм смотрел на вещи широко, он толковал ад как запрет лицезреть Бога, но если это такое страшное наказание, что его можно назвать адом, как представить себе, что оно может исходить от милосердного Бога? Ведь он как-никак создал людей. Раз он создал их способными на грех, значит, такова была его воля. Если я обучил собаку набрасываться на каждого, кто зайдет ко мне во двор, негоже ее бить, когда она это делает.

Если мир создал всеблагий и всемогущий Бог, зачем он создал зло? По утверждению монахов — для того, чтобы человек, побеждая свою греховность, противясь соблазнам, приемля боль, несчастья и невзгоды как испытания, посланные ему Богом для его очищения, мог в конце концов сподобиться его благодати. Мне это казалось очень похожим на то, как если бы я послал человека с поручением и только для того, чтобы затруднить ему задачу, сам же построил

на его пути лабиринт, через который он должен пробраться, потом вырыл ров, который он должен переплыть, и, наконец, возвел стену, через которую он должен перелезть. Я отказывался поверить во всемогущего Бога, лишнего здравого смысла. Мне казалось, что с тем же успехом можно верить в Бога, который не сам создал мир, а нашел его готовеньким и достаточно скверным и пытается навести в нем порядок, в существо, неизмеримо превосходящее человека умом, добротой и величием, которое борется со злом, не им сотворенным, и, надо надеяться, его одолевает. Но, с другой стороны, верить в него необязательно.

Добрые монахи не знали ответов на мои недоуменные вопросы, таких ответов, которые что-то говорили бы моему уму или сердцу. Мне среди них было не место. Когда я пришел проститься к отцу Энсхайму, он не спросил, принесло ли мне новое переживание ту пользу, какой он от него ждал. Он только поглядел на меня с несказанной лаской во взгляде.

«Боюсь, я разочаровал вас, отец мой», — сказал я.

«Нет, — ответил он. — Вы глубоко религиозный человек, не верящий в Бога. Бог вас разыщет. Вы вернетесь. Сюда или куда-нибудь еще — это никому, кроме Бога, неизвестно».

IV

— Дожил я ту зиму в Париже. Я ничего не смыслил в естествознании и решил, что пора хоть слегка к нему приобщиться. Прочел много книг. И только убедился в том, что невежество мое беспредельно. Это я, впрочем, знал и раньше. Весной я уехал в деревню и пожил в маленькой гостинице на реке, близ одного из трех прекрасных старинных французских городов, где жизнь за двести лет как будто не сдвинулась с места.

Я догадался, что это было то самое время, которое он прожил с Сюзанной Рувье, но не стал его перебивать.

— А потом я поехал в Испанию. Мне хотелось посмотреть Веласкеса и Эль Греко. Думалось, может быть, искусство укажет мне тот путь, которого не указала религия. Я поездил по стране, попал в Севилью, она мне понравилась, и я решил провести там зиму.

Когда мне было двадцать три года, я тоже побывал в Севилье, и мне она тоже понравилась. Мне нравились ее

белые извилистые улицы, ее собор и широко раскинувшаяся долина Гвадалквивира; но нравились и андалузские девушки, такие грациозные и веселые, с темными лучистыми глазами и гвоздикой в прическе, подчеркивающей черноту волос и еще ярче сверкающей на черном фоне; нравился теплый цвет их кожи и зовущая чувственность губ. Да, быть молодым тогда было поистине раем. Когда Ларри туда попал, он был лишь немногим старше, чем я в свое время, и я невольно спросил себя, неужели он остался равнодушен к чарам этих восхитительных созданий. Он сам ответил на мой невысказанный вопрос.

— Я там встретил одного французского художника, некоего Огюста Котте, я его знал по Парижу, он одно время содержал Сюзанну Рувье. В Севилью он приехал работать и жил с молодой женщиной, которую там подцепил. Как-то вечером они позвали меня послушать пение фламенко и захватили с собой ее подругу. Та была настоящая красotka. Ей было всего восемнадцать лет. Она сошлась с одним парнем и вынуждена была уехать из родной деревни, потому что ждала ребенка. А парень отбывал военную службу. Когда ребенок родился, она отдала его на воспитание, а сама пошла работать на табачную фабрику. Я привел ее к себе. Она была очень веселая, очень славная, и через несколько дней я предложил ей совсем перебраться ко мне. Она согласилась, мы сняли две комнаты в *casa de huéspedes*¹, спальню и гостиную. Я сказал ей, что она может уйти с работы, но она не захотела, и меня это устраивало, днем я, таким образом, был совершенно свободен. Нам разрешали пользоваться кухней, и до ухода на фабрику она успевала приготовить мне завтрак, в перерыв приходила и готовила второй завтрак, а обедали мы в ресторане и потом шли в кино или на танцы. Она считала меня помешанным, потому что у меня была резиновая ванна и я каждое утро обтирался холодной водой. Ребенок ее находился в деревне, и по воскресеньям мы ездили его навещать. Она не скрывала, что живет со мной, потому что хочет накопить денег — обставить дешевую квартирку, которую они снимут, когда ее дружок отслужит в армии. Она была прелесть, и я уверен, что своему Пако она стала хорошей женой. Она никогда не теряла бодрости, была покладистая, ласковая.

¹ Пансион, меблированные комнаты (*исп.*).

На то, что в книгах именуется половыми сношениями, она смотрела как на одну из естественных функций человеческого тела. Ей это было приятно, так отчего не сделать приятное другому. Конечно, это был всего лишь зверек, но милый, привлекательный, прирученный зверек.

А потом как-то вечером она сказала, что получила письмо от Пако из Испанского Марокко, где он проходил военную службу, — он отслужил свой срок и через несколько дней прибудет в Кадис. Наутро она сложила свои пожитки, засунула деньги в чулок, и я проводил ее на поезд. На прощанье она меня расцеловала, но была так поглощена предвкушением встречи со своим милым, что обо мне, в сущности, уже не думала, и я уверен, что поезд еще не отошел от вокзала, а она уже забыла о моем существовании.

Я еще пожил в Севилье, а осенью пустился в странствие, которое привело меня в Индию.

V

Время было позднее. Народ расходился, только там и сям еще оставались занятые столики. Те, кто приходил сюда посидеть от нечего делать, ушли домой. Ушли и те, кто забегал выпить на скорую руку после театра или кино. Изредка появлялись новые лица. Пришел долговязый мужчина, по виду англичанин, в обществе молодого хлыща. У него было длинное утомленное лицо и поредевшие волнистые волосы английского интеллигента, и он, надо думать, пребывал в заблуждении, весьма, кстати сказать, распространенном, что за границей даже знакомые соотечественники нипочем вас не узнают. Молодой хлыщ с жадностью уплет целое блюдо бутербродов, а его спутник наблюдал за ним насмешливо и снисходительно. Ну и аппетит! Пришел пожилой человек, которого я знал с виду, потому что мы в Ницце ходили к одному и тому же парикмахеру. Мне запомнилась его толстая фигура, седые волосы, обрюзгшее красное лицо и тяжелые мешки под глазами. Он был банкир с американского Среднего Запада и после биржевого краха уехал из родного города, чтобы избежать судебного расследования. Не знаю, совершил ли он какое-нибудь преступление: если и так, то, вероятно, он был мелкая сошка и власти не сочли нужным требовать его выдачи. Держался он с апломбом и с притворной сердечностью мелкого политика, но глаза у него были испуганные и несчастные.

Он никогда не был ни совсем пьян, ни совсем трезв. При нем всегда находилась какая-нибудь особа, явно торопящаяся высосать из него все, что можно, а сейчас его сопровождали целых две накрашенных немолодых женщины — они откровенно над ним издевались, а он, не понимая и половины того, что они говорят, бессмысленно хихикал. Веселая жизнь! Я подумал, уж лучше бы он сидел дома и получил по заслугам. А то скоро эти женщины выжмут его досуха, и тогда ему останется только река или тройная доза веронала.

После двух часов ночи посетителей опять стало побольше — видимо, закрылись ночные клубы. Ввалилась орава молодых американцев, очень пьяных и шумных, но почти тут же исчезла. Неподалеку от нас две полные мрачные женщины в тесных мужского покроя костюмах сидели рядом и в угрюмом молчании тянули виски с содовой. Появилась компания в вечерних туалетах, так называемые люди из общества, — они, видимо, совершили поездку по значным местам и решили напоследок поужинать. Поужинали и уехали. Мое любопытство возбудил шуплый, скромно одетый человечек, который уже не меньше часа сидел с газетой за кружкой пива. Он был в пенсне, с аккуратной черной бородкой. Наконец в ресторан вошла женщина и приблизилась к нему. Он кивнул ей без намека на дружелюбие — наверно, был обижен, что она заставила его ждать. Она была молода, одета кое-как, но сильно накрашена и казалась очень усталой. Вот она достала что-то из сумки и подала ему. Деньги. Он глянул на них, и лицо его потемнело. Он заговорил, слов я не мог разобрать, но по мимике понял, что он ее бранит, а она оправдывается. Вдруг он подался вперед и залепил ей звонкую пощечину. Она вскрикнула и зарыдала. Старший официант, привлеченный шумом, подошел узнать, что случилось. Видимо, он велел им уйти, если они не могут вести себя прилично. Женщина повернулась к нему и громко, так что слышно было каждое слово, в непристойных выражениях предложила ему не соваться не в свое дело.

— Раз дал мне по морде, значит, заслужила! — выкрикнула она.

Ох, женщины! Мне всегда казалось, что жить на позорные заработки женщины может только какой-нибудь видный, самоуверенный малый, покоритель женских сердец, готовый в любую минуту пустить в ход нож или пистолет.

Поразительно было, как этот хлюпик — не иначе мелкий служащий из адвокатской конторы — сумел затесаться в ряды столь труднодоступной профессии.

VI

У официанта, который нас обслуживал, кончилась смена, и, чтобы не упустить чаевых, он подал нам счет. Мы расплатились и заказали кофе.

— Ну, дальше? — сказал я.

Я уже сказал, что Ларри в настроении говорить, а сам я, конечно же, был в настроении слушать.

— Я вам не надоел?

— Нисколько.

— Ну так вот, приплыли мы в Бомбей. Пароход стоял там три дня, пока туристы осматривали город и окрестности. На третий день я с полудня был свободен и сошел на берег. Походил, поглядел на толпу, кого там только не было! Китайцы, мусульмане, индусы; черные, как сажа, тамилы; и эти их горбатые волы с длинными рогами, запряженные в повозки. Потом я поехал в Элефанту смотреть пещерные храмы. От Александрии на нашем пароходе плыл один индус, туристы относились к нему немного свысока. Он был маленький, толстенький, в плотном костюме в черно-зеленую клетку и пасторском воротничке. Я как-то ночью поднялся на палубу подышать, он подошел и заговорил со мной. Мне в ту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, хотелось побыть одному. А он задавал мне вопрос за вопросом, и я, вероятно, отвечал не слишком вежливо. В общем, я ему сказал, что я студент, а матросом зарабатываю обратный путь в Америку.

«Вам бы надо пожить в Индии, — сказал он. — Запад и не представляет себе, сколькому он может научиться у Востока».

«Уж будто!» — сказал я.

«Во всяком случае, — сказал он, — непременно побывайте в пещерах Элефанты. Не пожалеете».

Ларри перебил свой рассказ вопросом:

— Вы-то бывали в Индии?

— Никогда.

— Ну так вот, когда я стоял перед исполинским изваянием о трех головах, которое считается главной достопримечательностью Элефанты, и раздумывал, что бы это могло

значить, кто-то за моей спиной сказал: «Вы, я вижу, последовали моему совету». Я оглянулся и не сразу понял, кто со мной говорит. Это был тот человечек в плотом клетчатом костюме и пасторском воротничке, только теперь на нем было длинное шафрановое одеяние — такие балахоны, как я позже узнал, носят адепты Рамакришны, — и от смешного суетливого человечка ничего не осталось, вид у него был внушительный, даже величественный. Мы стояли рядом, глядя на гигантский бюст.

«Брама — творец, — сказал он. — Вишну — охранитель и Шива — разрушитель. Три проявления Конечной Реальности».

«Что-то мне не совсем понятно», — сказал я.

«Неудивительно, — отозвался он и с легкой улыбкой подмигнул, точно подтрунивая надо мной. — Бог, которого можно понять, это не бог. Кто может объяснить словами Бесконечность?»

Он сложил перед собой ладони и с едва заметным поклоном пошел куда-то дальше, а я еще долго смотрел на эти загадочные головы. Наверно, я был настроен особенно восприимчиво, меня охватило непонятное волнение. Вы знаете, как иногда бывает — стараешься вспомнить какое-то имя, на языке вертится, а вспомнить не можешь. Вот и со мной тогда так было. Я вышел из пещер и еще долго сидел на ступенях и глядел на море. О брахманизме я не знал ничего, кроме стихов Эмерсона, и я попробовал их вспомнить, но не смог. Я даже рассердился и, когда вернулся в Бомбей, зашел в книжную лавку, думал, не найдется ли там книга, в которую эти стихи вошли. Они включены в «Оксфордскую антологию английской поэзии». Помните?

Ошибаются те, кто обо мне забывает;
Когда они бегут меня, я — крылья;
Я — сомневающийся и сомнение.
И я — тот гимн, что поет брамин.

Я поужинал в туземной харчевне, на пароход мне нужно было только к десяти, и я опять пошел бродить по набережной и смотреть на море. Никогда еще, кажется, я не видел на небе столько звезд. Прохлада после дневного зноя была упоительна. Я забрел в какой-то сквер и сел на скамейку. Там было очень темно, беззвучно мелькали какие-то белые фигуры.

Этот удивительный день словно околдовал меня: слепящее солнце, шумные пестрые толпы, запах Востока, едкий и пряный; и как яркий мазок на картине объединяет всю композицию, так эти три огромные головы — Брами, Вишну и Шива — придавали всему этому некую таинственную значительность. Сердце у меня бешено заколотилось, потому что я вдруг ощутил непоколебимую уверенность, что Индия может дать мне что-то, очень мне нужное. Точно мне предлагалась некая возможность, за которую следовало ухватиться немедленно, а не то она больше никогда не представится. Я не раздумывал долго. Я решил не возвращаться на пароход. У меня остался там только чемоданчик с бельем. Я не спеша вернулся в туземный квартал и стал искать гостиницу. Нашел, снял номер. Кроме той одежды, что была на мне, у меня было только немножко денег, паспорт и аккредитив. Чувство свободы было так сладостно, что я громко смеялся.

Пароход мой отходил на следующее утро в одиннадцать часов, и до тех пор я из предосторожности сидел у себя в номере. Потом спустился на набережную, посмотрел, как он отваливает. А потом отправился в миссию Рамакришны и разыскал того человека, который говорил со мной в Элефанте. Имени его я не знал, но объяснил, что мне нужен уважаемый человек, который только что приехал из Александрии. Я сказал ему, что решил остаться в Индии, и спросил, что здесь следует посмотреть. Мы долго беседовали, и кончилось тем, что он сказал, что вечером уезжает в Бенарес, и предложил мне ехать с ним вместе. Я с восторгом согласился. Мы ехали третьим классом. Вагон был набит битком, люди ели, пили, разговаривали, жариха была страшная. Я всю ночь не сомкнул глаз, и к утру меня сильно разморило, а он был свеженький, как огурчик. Я спросил его, как это так, а он отвечал: «Я размышлял о том, что не имеет образа, и черпал покой в Абсолюте». Я не знал, что и думать, но своими глазами видел, что он оживлен и бодр, точно всласть выспался в удобной постели.

Наконец мы дотащились до Бенареса, там его встретил молодой человек примерно моего возраста, и мой спутник попросил его найти мне комнату. Звали его Махендра, он преподавал в университете. Очень был приятный человек, неглупый и воспитанный, мы сразу прониклись друг к другу симпатией. Вечером он повел меня покататься на лодке

по Гангу. Это было восхитительно — до того красив этот город, сползающий к самой воде, даже сердце замирает; но на утро у него было припасено зрелище и того лучше; он зашел за мной еще до рассвета, и мы опять сели в лодку. И тут я увидел такое, чего и вообразить не мог. Я видел, как тысячи и тысячи людей шли к реке совершать очистительные омовения и молиться. Я видел, как высокий, страшно худой мужчина, патлатый, со спутанной бородой и в одной набедренной повязке, стоял, воздев длинные руки и закинув голову, и громко молился восходящему солнцу. Не могу вам передать, как это меня потрясло. Я пробыл в Бенаресе полгода и еще много раз ходил на заре к Гангу, чтобы увидеть эту поразительную картину. Я не мог на нее надивиться. Эти люди верили не с прохладцей, не с оговорками и сомнениями, а всем своим существом.

Ко мне все были очень добры. Когда они убедились, что я приехал не для того, чтобы охотиться на тигров, и не для того, чтобы что-то продать или купить, а только чтобы учиться, они стали всячески мне помогать. Им понравилось, что я хочу научиться хинди, и они нашли мне учителей. Давали мне книги. Не уставали отвечать на мои вопросы... Вам что-нибудь известно об индуизме?

— Очень мало.

— А я думал, вас это должно интересовать. Можно ли вообразить что-нибудь более грандиозное, чем концепция, что вселенная не имеет ни начала, ни конца, но снова и снова переходит от роста к равновесию, от равновесия к упадку, от упадка к распаду, от распада к росту, и так далее до бесконечности?

— А какова, по мнению индусов, цель этого бесконечного чередования?

— Вероятно, они бы ответили, что такова природа Абсолюта. Понимаете, они считают, что назначение всего сущего в том, чтобы служить стадией для наказания или награды за деяния прошлых существований души.

— И это предполагает веру в переселение душ?

— В него верят две трети человечества.

— То, что в какую-нибудь теорию верит много людей, еще не есть гарантия ее истинности.

— Да, но это хотя бы значит, что к ней стоит присмотреться. Христианство вобрало в себя многое от неоплато-

низма, оно могло бы вобрать и эту идею, одна раннехристианская секта даже верила в нее, но она была объявлена еретической. Если бы не это, христиане верили бы в нее так же свято, как верят в воскресение Христа.

— Если я вас правильно понял, это значит, что душа переходит из тела в тело в ходе бесконечного опыта, обусловленного праведностью или греховностью предшествующих поступков?

— По-моему, так.

— Но подумайте, ведь «я» — это не только мой дух, но и мое тело, кто может сказать, в какой мере мое я, моя сущность обусловлена случайностями моего тела? Был бы Байрон Байроном без своей хромоты или Достоевский Достоевским без своей эпилепсии?

— Индусы не стали бы говорить о случайности. Они ответили бы, что это ваши поступки в предыдущих жизнях предопределили вашей душе обитать в несовершенном теле. — Ларри побарабанил пальцами по столу, глубоко задумавшись и уставясь глазами в пространство. Потом со слабой улыбкой на губах заговорил снова: — Вам не приходило в голову, что перевоплощение одновременно и объясняет, и оправдывает земное зло? Если зло, от которого мы страдаем, следствие грехов, совершенных в предыдущих жизнях, мы можем сносить его с покорностью и надеяться, что, если в этой жизни мы будем стремиться к праведности, наши будущие жизни будут не так несчастны. Но собственные невзгоды сносить легко, для этого требуется лишь немножко мужества; по-настоящему нестерпимо то зло, часто кажущееся столь незаслуженным, от которого страдают другие. Если ты способен убедить себя, что это зло — неизбежное следствие прошлого, тогда ты можешь жалеть людей, можешь и должен по мере сил облегчать их страдания, но причин возмущаться у тебя не будет.

— Но почему Бог не создал мир, свободный от страданий и горя, с самого начала, когда в человеке еще не было ни праведности, ни греховности, которые определяли бы его поступки?

— Индусы сказали бы, что начала не было. Каждая душа, сосуществуя с вселенной, существует от века, и природа ее обусловлена каким-нибудь предыдущим существованием.

— И что же, оказывает эта вера в переселение душ ошутимое воздействие на жизнь тех, кто ее исповедует? Ведь вот где, в сущности, главный критерий.

— Думаю, что оказывает. Могу рассказать вам про одного человека, которого я лично знал, на его жизнь она несомненно оказала очень даже ошутимое воздействие. Первые два-три года в Индии я жил главным образом в туземных гостиницах, но изредка меня приглашали к себе друзья, а раза два я пожил в великой роскоши как гость магараджи. Через одного из моих знакомых я получил приглашение погостить в одном из мелких северных княжеств. Столица там была прелестная — «багряный город, вечности ровесник». Меня представили министру финансов. Он получил европейское образование, учился в Оксфорде. Производил впечатление человека передового и просвещенного и к тому же слыл чрезвычайно дельным министром и ловким, прозорливым политиком. Он носил европейское платье, следил за своей внешностью, одни аккуратно подстриженные усики чего стоили; и собой был недурен, хоть и полноват, как многие индусы не первой молодости. Он часто приглашал меня в гости. У него был большой сад, и мы сидели в тени развесистых деревьев и беседовали. У него была жена и двое взрослых детей. В общем, казалось бы, типичный англоизированный индус. Я ушам своим не поверил, когда узнал, что через год, когда ему стукнет пятьдесят, он намерен отказаться от своего прибыльного поста, передать свою собственность жене и детям и идти бродить по свету как нищенствующий монах. Причем самое удивительное было то, что ни его знакомые, ни магараджа не усматривали в этом ничего из ряда вон выходящего.

Однажды я ему сказал: «Вы человек без предрассудков, вы знаете жизнь, вы начитаны в естественных науках, философии, литературе, скажите положе руку на сердце, верите вы в перевоплощение?»

«Дорогой мой друг, — ответил он, — если бы я в него не верил, жизнь не имела бы для меня никакого смысла».

— А вы в него верите, Ларри? — спросил я.

— Это очень трудный вопрос. Мне кажется, мы, люди Запада, не в состоянии верить в него так же безоговорочно, как верят на Востоке. У них эта вера вошла в плоть и кровь. У нас вместо нее может быть только личное мнение. Я, например, и верю в него, и не верю.

Он помолчал, подперев рукой опущенную голову. Потом выпрямился.

— Хочу вам рассказать, какое у меня однажды было странное переживание. Как-то ночью в моей маленькой комнате в ашраме я упражнялся в размышлении, как меня учили тамошние друзья. Я зажег свечу и постарался сосредоточить на ней внимание и через некоторое время совершенно отчетливо увидел сквозь пламя длинную череду фигур. Первой была пожилая дама в кружевном чепце, с седыми локончиками, свисавшими на уши. На ней был узкий черный корсаж и черная шелковая юбка, вся в оборках, так, кажется, женщины одевались в семидесятых годах, и стояла она ко мне лицом, в грациозной, застенчивой позе, опустив по бокам руки ладонями вперед. На ее увядшем лице было прелестное выражение доброты и мягкости. Чуть позади нее, но в профиль ко мне, стоял высокий тощий еврей, горбоносый и толстогубый, в желтом кафтане, с желтой ермолкой на густых черных волосах. У него был вид ученого, на лице печать фанатического аскетизма. Позади него, опять лицом ко мне, и видный яснее всех — протяни руку и тронешь — находился молодой мужчина с веселым румяным лицом, без всякого сомнения англичанин шестнадцатого столетия. Он стоял крепко, слегка расставив ноги, — этакий дерзкий, бесшабашный гуляка. За ним маячила еще бесконечная вереница фигур, как очередь перед кинематографом, но они были как в тумане, разглядеть их я не мог. Я видел только смутные очертания, да какое-то движение проходило по ним волнами — так пшеница колышется под летним ветром. Не знаю, сколько это длилось — минуту, или пять, или десять, — а потом они постепенно растаяли в ночном мраке, и ничего не осталось, только ровное пламя свечи.

Ларри усмехнулся.

— Можно, конечно, предположить, что я задремал и видел сон. Или, сосредоточив все мысли на этом маленьком огоньке, я впал в какое-то гипнотическое состояние, и эти три фигуры, которые я видел так же ясно, как вижу вас, были забытыми картинами, сохранившимися у меня в подсознании. А может быть, это был я сам в прошлых воплощениях. Может быть, не так давно я был пожилой дамой в Новой Англии, а до этого — левантинцем-евреем, а еще раньше, вскоре после того как Себастьян Кабот отплыл из Бристоля, — шеголем при дворе Генриха принца Уэльского.

— А что случилось с вашим приятелем из багряного города?

— Два года спустя я оказался на юге, в городке под названием Мадуре. Вечером в храме кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и увидел бородатого человека с длинными черными волосами, в одних трусах, с посохом и миской для подаяний, как ходят там святые люди. Я только тогда узнал его, когда он заговорил. Это был мой приятель. От удивления я онемел. Он спросил меня, что я делаю, с тех пор как мы не виделись, и я ответил, спросил, куда я направляюсь, я ответил, что в Траванкур, тогда он сказал, чтобы я отыскал там Шри Ганешу. «Он вам даст то, чего вы ищете». Я просил рассказать мне о нем, но он улыбнулся и ответил, что когда я его увижу, то сам узнаю о нем все, что мне положено знать. Я успел оправиться от удивления и, в свою очередь, спросил, что он делает в Мадуре. Он сказал, что совершает паломничество — обходит пешком святы места Индии. Я спросил, как он питается и где ночует. Он сказал, что, когда ему предлагают приют, спит на галерее, а то под деревом или в ограде храма; а что до еды — если предлагают поесть — не отказывается, а нет — обходится без обеда. Я посмотрел на него повнимательнее и сказал: «А вы похудели». Он, смеясь, заявил, что это полезно для здоровья. Потом он простился со мной — забавно было услышать из уст этого нищего в набедренной повязке: «Пока, старина» — и прошел в ту часть храма, куда мне не полагалось входить.

Из Мадур я уехал не сразу. Тамошний храм, кажется, единственный в Индии, по которому белый человек может свободно расхаживать, лишь бы он не входил в святилище. К ночи там собиралось множество народу: мужчин, женщин, детей. Мужчины — голые по пояс, в одних дхоти, лоб, а часто и грудь и руки густо намазаны белой золой от сожженного коровьего навоза. Они склонялись ниц то у одного священного места, то у другого, а иные лежали ничком на земле в ритуальной позе самоуничтожения. Они молились, читали священные стихи, перекликались, здоровались, ссорились, затевали ожесточенные споры. Гам стоял несусветный, а между тем каким-то непонятным образом там ощущалось присутствие живого Бога.

Гроходишь длинными залами между изукрашенных скульптурой колонн, и у подножия каждой колонны сидит нищенствующий праведник, перед каждым миска для подаяния или маленькая циновка, на которую верующие из-

редка бросают медяк. Одни одеты, другие почти голые. Одни провожают тебя пустым взглядом; другие читают про себя или вслух, точно мимо них и не снуют эти толпы. Я искал среди них моего приятеля, но больше ни разу его не встретил. Наверное, он уже продолжил путь к своей цели.

— Какая же это была цель?

— Освободиться от уз нового рождения. По учению веданты, сущность человека, которую они называют «Атман», а мы называем душой, отлична от тела и его чувств, отлична от рассудка и разума; она не есть часть Абсолюта, поскольку Абсолют, будучи бесконечным, не имеет частей; она и есть Абсолют. Она не сотворена, она существовала всегда, и когда она наконец сбросит семь покрывал невежества, то возвратится в бесконечность, из которой пришла. Она — как капля воды, что поднялась из моря и дождем упала в лужицу, а потом стекла в ручеек, пробралась в узкую речку, потом в мощный поток, бегущий по горным ущельям и широким равнинам, отклоняясь то вправо, то влево, встречая на пути и каменные завалы, и упавшие деревья, и, наконец, вливающийся в бескрайнее море, из которого поднялась.

— Но к тому времени, когда эта бедная капля опять сольется с морем, она наверняка потеряет свою индивидуальность.

Ларри усмехнулся.

— Вам ведь хочется пососать кусок сахара, а не превратиться в сахар. Что такое индивидуальность, как не проявление нашего эгоизма? Пока душа не избавится от него, она не может слиться с Абсолютом.

— Вы очень бойко толкуете об Абсолюте, Ларри, и слово это звучит внушительно. Но что оно, по-вашему, означает?

— Реальность. Что она такое — этого нельзя сказать. Можно только сказать, чем она не является. Она необъяснима. Индусы называют ее «Брахман». Она нигде и везде. Она все подразумевает, и все от нее зависит. Это не человек, не вещь, не первопричина. У нее нет никаких свойств. Она за пределами неизменности и перемены, целое и часть, конечное и бесконечное. Она вечна, потому что ее законченность и совершенство не имеют отношения к времени. Она — истина и свобода.

«Ну и ну!» — сказал я про себя, а вслух спросил:

— Но как может страждущее человечество находить прибежище в чисто умозрительной концепции? Людям всегда требовался личный Бог, к которому в тяжелую минуту можно обратиться за утешением и поддержкой.

— Возможно, когда-нибудь в далеком будущем люди станут умнее и поймут, что искать утешения и поддержки нужно в собственной душе. Мне лично представляется, что потребность молиться — это всего лишь пережиток древней памяти о жестоких богах, которых нужно было уми-лостивить. Я думаю, что Бог либо внутри меня, либо нигде. А если так, кому или чему мне молиться? Самому себе? Люди пребывают на разных уровнях духовного развития, и в Индии, например, воображение создало проявления Абсолюта, известные как Брами, Вишну, Шива и еще под множеством имен. Абсолют — в Ишваре, создателе и правителе мира, и в смиренном фетише, которому крестьянин на своем выжженном солнцем клочке земли приносит в жертву цветок. Бесчисленные индийские боги — это всего лишь образы, облегчающие понимание той истины, что «я» человека и высшее «я» — одно.

Я задумчиво поглядел на Ларри.

— Хотел бы я знать, почему вас потянуло к этой суровой вере?

— Думаю, что могу вам объяснить. Мне всегда казалось немного смешным, что основатели той или иной религии ставили человеку условие: веруй в меня, иначе не спасешься. словно без веры со стороны они сами не могли в себя уверовать. Прямо как те древние языческие боги, которые худели и бледнели, если люди не поддерживали их силы жертвоприношениями. Веданта не предлагает вам что-либо принимать на веру; она только требует от вас страстного желания познать Реальность; она утверждает, что вы можете познать Бога так же, как можете познать радость или боль. И сейчас в Индии есть люди, может быть, сотни людей, которые убеждены, что они этого достигли. Меня особенно пленяет мысль, что постигнуть Реальность можно с помощью знания. В более поздние эпохи индийские мудрецы, снисходя к человеческой слабости, допускали, что спасения можно достигнуть также через любовь и добрые дела, но они никогда не отрицали, что самый достойный, хоть и самый трудный путь — это путь познания, потому что орудие его — самое драгоценное, чем обладает человек, — его разум.

VII

Здесь я должен прервать свой рассказ и пояснить, что я не пытаюсь сколько-нибудь последовательно описать фи-

лософскую систему, известную под названием «веданта». Для этого мне недостает знаний, да если б я ими и располагал, такое описание было бы здесь не у места. Разговор наш продолжался долго, и Ларри наговорил гораздо больше, чем я счел возможным воспроизвести, — ведь и я как-никак пишу не научный трактат, а роман. Для меня главное — Ларри. Я и вообще-то коснулся этого сложного предмета только потому, что, если б я не упомянул хотя бы вкратце о раздумьях Ларри и о его необычайных переживаниях, вызванных, возможно, этими раздумьями, очень уж неправдоподобной показалась бы та линия поведения, которую он избрал и о которой читателю скоро станет известно. Мне до крайности обидно, что я не в силах дать хотя бы отдаленное представление о его чудесном голосе, придававшем убедительность даже самым пустячным его замечаниям, или о смене выражений на его лице, исполненном то важности, то легкой веселости, то задумчивом, то лукавом — сопровождавшей его рассказ, как журчание рояля, когда скрипка выпевает тему за темой. Он говорил о серьезных вещах, но говорил просто, непринужденно, немного, пожалуй, застенчиво, но не более книжно, чем если бы речь шла о погоде и видах на урожай. Если у читателя создалось впечатление, что в его манере было нечто наставительное, то в этом повинен я. Скромность его была столь же очевидна, как его искренность.

В кафе остались считанные посетители. Кутилы давно удалились. Печальные создания, промышляющие любовью, расползлись по своим убогим жилищам. Заглянул усталый мужчина и выпил стакан пива с бутербродом; еще один, шатаясь, как в полусне, заказал чашку кофе. Мелкие служащие. Первый отработал ночную смену и идет домой спать. Второму, поднятому звонком будильника, еще предстоит томительно длинный рабочий день. Мне в жизни довелось побывать в разного рода диковинных ситуациях. Не раз я был на волосок от смерти. Не раз соприкасался с романтикой и понимал это. Я проехал верхом через Среднюю Азию по тому пути, которым Марко Поло пробирался в сказочную страну Китай; я пил из стакана русский чай в чопорной петроградской гостиной, и низенький господин в черной визитке и полосатых брюках занимал меня разговором о том, как он убил некоего великого князя; я сидел в зале богатого дома в Вестминстере и слушал безмятежно певучее

трио Гайдна, а за окном рвались немецкие бомбы. Но в такой диковинной ситуации мне еще, кажется, не доводилось оказаться; час за часом я сидел на красном плюшевом диванчике в парижском ночном ресторане, а Ларри говорил о Боге и вечности, об Абсолюте и медлительном колесе бесконечного становления.

VIII

Ларри уже несколько минут как умолк, торопить его не хотелось, и я ждал. Но вот он подарил меня короткой дружеской улыбкой, словно вдруг вспомнил о моем присутствии.

— Приехав в Траванкур, я обнаружил, что мог и не навредить заранее справок о Шри Ганеше. Там все его знали. Много лет он прожил в пещере в горах, а потом его уговорили спуститься в долину, где какой-то добрый человек подарил ему участок земли и построил для него глинобитный домик. От Тривандрума, столицы княжества, путь туда неблизкий, я ехал целый день, сперва поездом, потом на волах, пока добрался до его ашрамы. У входа стоял какой-то молодой человек, я спросил его, можно ли мне увидеть йога. У меня была с собой корзина фруктов — традиционное приношение. Через несколько минут молодой человек вернулся и провел меня в длинное помещение с окнами во всех стенах. В одном углу, на возвышении, застланном тигровой шкурой, сидел в позе размышления Шри Ганеша. «Я тебя давно жду», — сказал он. Я удивился, но решил, что ему говорил про меня мой приятель. Однако, когда я назвал его, Шри Ганеша покачал головой. Я преподнес ему фрукты, и он велел молодому человеку их унести. Мы остались одни, он молча смотрел на меня. Не знаю, сколько длилось это молчание. Наверно, с полчаса. Я вам уже описывал его внешность; но я не сказал, какая от него исходила необычайная безмятежность, доброта, покой, отрешенность. Я после своего путешествия весь взмок и устал, но тут постепенно ощутил удивительное отдохновение. Он еще молчал, а я уже был уверен, что именно этот человек был мне нужен.

— Он говорил по-английски? — спросил я.

— Нет, но мне, вы знаете, языки даются легко, и на юге я уже успел нахвататься тамильского, так что много понимал и сам мог объясниться. Наконец он заговорил:

«Зачем ты сюда пришел?»

Я стал рассказывать, как попал в Индию и чем занимался три года, как ходил от одного святого человека к другому, будучи наслышан о их мудрости и праведности, и ни один не дал мне того, что я искал. Он перебил меня:

«Это я все знаю. Говорить об этом лишнее. Зачем ты пришел ко мне?»

«Чтобы ты стал моим гуру», — ответил я.

«Единственный гуру — это Брахман», — сказал он.

Он все смотрел на меня до странности пристально, а потом тело его внезапно застыло, глаза словно обратились внутрь, и я увидел, что он впал в транс, который индусы называют «самадхи», то есть сосредоточением, и во время которого, по их верованиям, антитеза субъекта и объекта уничтожается и человек становится Абсолютным Знанием. Я сидел перед ним на полу, скрестив ноги, и сердце у меня отчаянно билось. Сколько времени прошло, не знаю, потом он глубоко вздохнул, и я понял, что он опять в нормальном сознании. Он окинул меня взглядом, исполненным бесконечной доброты.

— Оставайся, — сказал он. — Тебе покажут, где можно спать.

Меня поселили в хижине, где Шри Ганеша жил, когда только спустился в долину. Здание, где он теперь проводил и дни, и ночи, построили позже, когда вокруг него собрались ученики и все больше народу стало приходить к нему на поклон. Чтобы не выделяться, я перешел на удобную индийскую одежду и так загорел, что, если не знать, кто я, меня вполне можно было принять за местного жителя. Я много читал. Размышлял. Слушал Шри Ганешу, когда он был в настроении говорить; говорил он немного, но всегда был готов отвечать на вопросы, и слова его будили много мыслей и чувств. Как музыка. Сам он в молодости упражнялся в очень суровом аскетизме, но своих учеников к этому не понуждал. Он стремился отлучить их от рабства эгоизма и плотских страстей, толковал им, что путь к освобождению лежит через спокойствие, воздержание, самоотречение, покорность, через твердость духа и жажду свободы. Люди приходили к нему из ближайшего города за три-четыре мили — там был знаменитый храм, куда раз в год стекались на праздник несметные толпы; приходили из Тривандрума и других отдаленных мест, чтобы поведать ему свои горести, спросить его совета, послушать его настав-

ления; и все уходили утешенные, с новыми силами и в мире с самими собой. Суть его учения была очень проста. Он учил, что все мы лучше и умнее, чем нам кажется, и что мудрость ведет к свободе. Он учил, что самое важное для спасения души — не удалиться от мира, а всего лишь отказаться от себя. Он учил, что работа, проделанная бескорыстно, очищает душу и что обязанности — это предоставленная человеку возможно подавить свое «я» и слиться воедино с вселенским «я». Удивительно было не столько его учение, сколько он сам — его милосердие, величие его души, его святость. Самая близость его была благом. Около него я был очень счастлив. Я чувствовал, что наконец-то нашел то, что искал. Недели, месяцы летели с невероятной быстротой. Я решил, что побуду там либо до его смерти — а он говорил, что не намерен много дольше обитать в своем бренном теле, — либо до тех пор, пока мне не будет дано озарение — то состояние, когда ты наконец разорвал путы невежества и познал с неоспоримой уверенностью, что ты и Абсолют — одно.

— А тогда что?

— Тогда, очевидно, нет больше ничего. Земной путь души окончен, и она больше не вернется.

— И Шри Ганеша умер? — спросил я.

— Да нет, не слышал.

Не успел он это сказать, как понял смысл моего вопроса и смущенно усмехнулся. Чуть помедлив, он продолжал, но так, что я сначала подумал, что он хочет уйти от второго вопроса, явно вертевшегося у меня на языке и вполне естественного, — было ли ему дано озарение.

— Я не все время проводил в ашраме. Мне посчастливилось познакомиться с одним местным лесничим, который жил на окраине деревни в предгорьях. Он был ревностным почитателем Шри Ганеши и, когда выдавалось свободное время, проводил у нас по два, по три дня. Приятный был человек, мы с ним много беседовали. Он был рад случаю попрактиковаться в английском. Через некоторое время он сказал мне, что у лесничества есть домик в горах и, если мне когда-нибудь захочется там побывать и пожить в одиночестве, он даст мне ключ. И я стал туда удаляться время от времени. Путь туда занимал два дня — сначала автобусом, до той деревни, где постоянно жил лесничий, потом пешком, но проделать его стоило — такое

там было великолепие и тишина. Я забирал с собой рюкзак с вещами, нанимал носильщика, чтобы ташил припасы, и жил там, пока они не иссякнут. Домик был просто бревенчатая хижина с пристройкой, где стряпать, а внутри была походная койка, на которую каждый мог постелить свою спальную циновку, стол и два стула. Там, на высоте, никогда не было жарко, а по ночам бывало даже приятно развести костер. У меня сердце замирало от счастья при мысли, что ближе чем за двадцать миль от меня нет ни одной живой души. Ночью я нередко слышал рев тигра или страшный шум и треск, когда через джунгли продирались слоны. Я надолго уходил гулять. Там было одно место, где я особенно любил посидеть, потому что оттуда открывался широкий вид на горы, а внизу было озеро, к которому в сумерках сходились на водопой олени, кабаны, бизоны, слоны и леопарды.

Когда я прожил в ашраме уже два года, я отправился в мое горное убежище по причине, которая покажется вам смешной. Мне захотелось провести там мой день рождения. Пришел я накануне. А наутро проснулся еще затемно и подумал, что хорошо бы с моего любимого места посмотреть восход солнца. Дорогу туда я мог бы найти хоть с закрытыми глазами. Я пришел, сел под деревом и стал ждать. Еще не рассвело, но звезды побледнели, день был близок. У меня возникло странное чувство, что вот-вот что-то должно случиться. Постепенно, почти незаметно для глаза, свет стал просачиваться сквозь темноту — медленно, как таинственное существо, скользящее меж деревьев. Сердце у меня забилося, словно в предчувствии опасности. Взошло солнце.

Ларри помолчал, виновато улыбаясь.

— Не умею я описывать, у меня нет слов, чтобы создать картину; я не в силах вам рассказать так, чтобы вы сами увидели, какое зрелище мне открылось, когда день воссиял во всем своем величии. Горы, поросшие лесом, за верхушки деревьев еще цепляются клочья тумана, а далеко внизу — бездонное озеро. Через расщелину в горах на озеро упал солнечный луч, и оно заблестело, как вороненая сталь. Красота мира захватила меня. Никогда я еще не испытывал такого подъема, такой нездешней радости. У меня появилось странное ощущение, точно дрожь, начавшись в ногах, пробежала к голове, такое чувство, будто я вдруг освобо-

дился от своего тела, а душа причастилась такой красоте, о какой я не мог и помыслить. Будто я обрел какое-то сверхчеловеческое знание, и все, что казалось запутанным, стало просто, все непонятное объяснилось. Это было такое счастье, что оно причиняло боль, и я хотел избавиться от этой боли, потому что чувствовал — если она продлится еще хоть минуту, я умру; и вместе с тем такое блаженство, что я был готов умереть, лишь бы оно длилось. Как бы мне вам объяснить? Этого не опишешь словами. Когда я пришел в себя, я был в полном изнеможении и весь дрожал. Я уснул.

Проснулся я в полдень. Я пошел в свою хижину, и на сердце у меня было так легко, что казалось, я не иду, а парю над землей. Я приготовил себе поесть, голоден был как волк, и закурил трубку.

Ларри и сейчас набил трубку и закурил.

— Мне страшно было подумать, что это было прозрение и что я, Ларри Даррел из Марвина, штат Иллинойс, удостоился его, когда другие, которые ради него годами занимались умерщвлением плоти и лишали себя всех земных радостей, все еще ждут.

— А может быть, это было всего лишь гипнотическое состояние, вызванное вашим настроением, одиночеством, таинственностью рассветного часа и вороненой сталью вашего озера? Чем вы можете доказать, что это было именно прозрение?

— Только тем, что сам я в этом ни минуты не сомневаюсь. Ведь переживание это было того же порядка, как то, что знавали мистики во всех концах света, во все века. Брахманы в Индии, суфии в Персии, католики в Испании, протестанты в Новой Англии. И в той мере, в какой можно описать то, что не поддается описанию, они и описывали его примерно в тех же словах. Отрицать тот факт, что такое переживание бывает, невозможно; трудность в том, чтобы его объяснить. Слил я на мгновение в одно с Абсолютом, или то прорвалось наружу подсознание, или сказалось сродство с духом вселенной, которое во всех нас скрыто, право, не знаю.

Ларри передохнул и поглядел на меня не без лукавства.

— Между прочим, — сказал он, — вы можете коснуться мизинцем большого пальца?

— Конечно, — сказал я и тут же это проделал.

— А вам известно, что на это способен только человек и приматы? Рука — поразительное орудие именно потому, что большой палец противостоит другим пальцам. Так нельзя ли предположить, что этот противостоящий большой палец, конечно, в каком-то рудиментарном виде, сначала развился только у отдельных особей далекого предка человека и гориллы, а общим для него признаком стал лишь через несчетное число поколений?

И точно так же что, если единение с высшей Реальностью, которое пережило столько разных людей, указывает на появление у человека некоего шестого чувства, то это чувство в очень-очень далеком будущем станет свойственно всем людям и они смогут воспринимать Абсолют так же непосредственно, как мы сейчас воспринимаем чувственный мир?

— А как это должно на нас отразиться? — спросил я.

— Этого я не могу предугадать, так же как первое живое существо, обнаружившее, что может коснуться мизинцем большого пальца, не могло предвидеть, какие бесконечные возможности открывает это простенькое движение. О себе могу только сказать, что неизъяснимое чувство покоя и радостной уверенности, которое охватило меня в ту минуту, живет во мне до сих пор и красота мира сияет мне так же свежо и ярко, как когда это видение впервые меня ослепило.

— Но как же, Ларри, ведь из вашей идеи Абсолюта должно бы следовать, что мир с его красотой всего лишь иллюзия, майя?

— Неправильно полагать, что индусы считают мир иллюзией; они только утверждают, что он реален не в том же смысле, как Абсолют. Майя — это всего лишь гипотеза, с помощью которой эти неутомимые мыслители объясняют, как Бесконечное могло породить Конечное. Шанкара, самый мудрый из них, решил, что это неразрешимая загадка. Понимаете, труднее всего объяснить, почему и зачем Брахман, то есть Бытие, Блаженство и Сознание, сам по себе неизменный, вечно пребывающий в покое, имеющий все и ни в чем не нуждающийся, а значит, не знающий ни перемен, ни борьбы, словом, совершенный, зачем он создал видимый мир. Когда этот вопрос задаешь индусу, обычно слышишь в ответ, что Абсолют создал мир для забавы, без какой-либо цели. Но когда вспомнишь потопа

и голод, землетрясения и ураганы и все болезни, которым подвержено тело, моральное чувство в тебе восстает против представления, что все эти ужасы могли быть созданы забавы ради. Шри Ганеша был слишком добр, чтобы в это верить; он полагал, что мир — это проявление Абсолюта, излишки его совершенства. Он учил, что Бог не может не творить и что мир есть проявление его, Бога, природы. Когда я спросил, как же так, если мир — проявление природы совершенного существа, почему этот мир так отвратителен, что единственная разумная цель, которую может поставить себе человек, состоит в том, чтобы освободиться от его пут? Шри Ганеша отвечал, что мирские радости преходящи и только Бесконечность дает прочное счастье. Но от долговечности хорошее не становится лучше, белое — белее. Пусть к полудню роза теряет красоту, которая была у нее на рассвете, но тогдашняя ее красота реальна. В мире все имеет конец, неразумно просить, чтобы что-то хорошее продлилось, но еще неразумнее не наслаждаться им, пока оно есть. Если перемена — самая суть существования, логично, казалось бы, строить на ней и нашу философию. Никто из нас не может дважды вступить в одну и ту же реку, но река течет, и та, другая река, в которую мы вступаем, тоже прохладна и освежает тело.

Арии, когда пришли в Индию, понимали, что известный нам мир — только видимость мира нам неизвестного, но они приняли его как нечто милостивое и прекрасное. Лишь много веков спустя, когда их утомили завоевания, когда изнуряющий климат подорвал их жизнеспособность, так что они сами испытали на себе вторжение вражеских орд, они стали видеть в жизни только зло и возжаждали освободиться от ее повторений. Но почему мы на Западе, особенно мы, американцы, должны страшиться распада и смерти, голода и жажды, болезней, старости, горя и разочарований? Дух жизни в нас силен. В тот день, когда я сидел с трубкой в своей бревенчатой хижине, я чувствовал себя более живым, чем когда-либо раньше. Я чувствовал в себе энергию, которая требовала применения. Покинуть мир, удалиться в монастырь — это было не для меня, я хотел жить в этом мире и любить всех в нем живущих, пусть не ради них самих, а ради Абсолюта, который в них пребывает. Если в те минуты экстаза я действительно был одно с Абсолютом, тогда, если они не лгут, ничто мне не страш-

но и, когда я исполню карму моей теперешней жизни, я больше не вернусь. Эта мысль страшно меня встревожила. Я хотел жить снова и снова. Я готов был принять любую жизнь, какое бы горе и боль она ни сулила. Я чувствовал, что только еще, и еще, и еще новые жизни могут насытить мою жадность, мои силы, мое любопытство.

На следующее утро я спустился с гор, а еще через день прибыл в ашраму. Шри Ганеша удивился, увидев меня в европейском платье. А я надел его в доме у лесничего, перед тем как подняться к хижине, потому что там было холодно, да так и забыл переодеться.

«Я пришел проститься с тобой, учитель, — сказал я. — Я возвращаюсь к моему народу».

Он ответил не сразу. Он сидел, как всегда, скрестив ноги, на своем возвышении, застланном тигровой шкурой. Перед ним в жаровне курилась палочка благовоний, распространяя слабый аромат. Он был один, как в первый день нашего знакомства. Он вглядывался в меня так пристально, точно проникал взглядом в самые глубины моего существа. Без сомнения, он знал, что со мной произошло.

«Это хорошо, — сказал он. — Ты скитался довольно долго».

Я опустил на колени, и он благословил меня. Когда я поднялся, глаза у меня были полны слез. Он был человек высокой души, святой. Я всегда буду гордиться тем, что мне довелось его узнать. Я простился с его учениками. Некоторые из них прожили там по многу лет, другие пришли позже меня. Свои скудные пожитки и книги я там оставил на случай, что кому-нибудь пригодятся, и закинув за спину пустой рюкзак, в тех же спортивных брюках и коричневом пиджаке, в которых туда явился, и в потрепанном пробковом шлеме зашагал обратно в город. Через неделю я сел в Бомбее на пароход и высадился в Марселе.

Между нами легло молчание, каждый задумался о своем. Но, как я ни устал, был еще один вопрос, который мне очень хотелось ему задать, и я заговорил первый.

— Друг мой Ларри, — сказал я, — ваши долгие поиски начались с проблемы зла. Проблема зла — вот что вас подгоняло. А вы за все время ни разу не дали понять, что хотя бы приблизились к ее разрешению.

— Может быть, разрешить ее вообще невозможно, а может, у меня на это не хватает ума. Рамакришна утверждал,

что мир — забава Бога. «Это все равно что игра, — говорил он, — в этой игре есть радость и горе, добродетель и порок, знание и невежество. Если совсем исключить из мира грех и страдания, игра не может продолжаться». С этим я никак не могу согласиться. По-моему, скорее уж так: когда Абсолют проявил себя, сотворив видимый мир, зло оказалось неразрывно связано с добром. Не могло бы быть потрясающей красоты Гималаев без невообразимо ужасного сдвига земной коры. Китайский мастер, который изготавливает вазу из тончайшего фарфора, может придать ей изящную форму, нанести на нее прекрасный узор, раскрасить ее в очаровательные тона и покрыть безупречной глазурью, но в силу самой ее природы не может сделать ее не хрупкой. Урони ее на пол, и она разлетится вдребезги. Возможно, вот таким же образом все, что есть для нас ценного в мире, может существовать только в сочетании со злом.

— Это остроумная теория, Ларри, только не очень-то она утешительна.

— Разумеется, — улыбнулся он. — В пользу ее можно сказать одно: если пришел к выводу, что что-то неизбежно, значит, нужно с этим мириться.

— Какие же у вас теперь планы?

— Мне нужно закончить здесь одну работу, а потом поеду домой, в Америку.

— И что там будете делать?

— Жить.

— Как?

Он ответил невозмутимо, но в глазах у него мелькнула шаловливая искорка, — он знал, каким неожиданным для меня будет его ответ.

— Упражняясь в спокойствии, терпимости, сочувствии, бескорыстии и воздержании.

— Программа, что и говорить, обширная, — сказал я. — А почему воздержание? Вы же молоды. Разумно ли пытаться подавить в себе то, что, наряду с голодом, есть самый мощный инстинкт всякого животного?

— Мне в этом отношении повезло: для меня половая жизнь всегда была не столько потребностью, сколько удовольствием. Я по собственному опыту знаю, как правы индийские мудрецы, когда утверждают, что целомудрие способствует укреплению силы духа.

— Мне-то казалось, что мудрость состоит в том, чтобы уравновесить требования тела и требования духа.

— А индусы считают, что именно этого мы на Западе и не умеем. По их мнению, мы с нашей техникой, с нашими фабриками и машинами и всем, что они производят, ищем счастья в материальных ценностях, тогда как истинное счастье не в них, а в ценностях духовных. И еще они считают, что избранный нами путь ведет к гибели.

— И неужели Америка представляется вам подходящей ареной для применения добродетелей, которые вы перечислили?

— А почему бы и нет? Вы, европейцы, ничего не знаете об Америке. Оттого, что мы наживаем большие состояния, вы воображаете, что мы только деньги и ценим. Вовсе мы их не ценим; чуть они у нас появляются, мы их тратим, — хорошо ли, плохо ли, но тратим. Деньги для нас ничто, просто символ успеха. Мы — величайшие в мире идеалисты; я лично считаю, что идеалы у нас не те, что нужно. Мне лично представляется, что самый высокий идеал человека — самоусовершенствование.

— Да, это благородная цель.

— Так не стоит ли хотя бы попробовать ее достигнуть?

— Но неужели вы воображаете, что вы один можете оказать какое-то воздействие на такую беспокойную, беззаконную, подвижную и насквозь индивидуалистическую толпу, какую являют собой американцы? Да это все равно что пытаться голыми руками сдержать течение Миссисипи.

— Попробовать можно. Колесо изобрел один человек. И закон тяготения открыл один человек. Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень — и вы уже немного изменили вселенную. Напрасно думают, что жизнь индийских праведников ничемная. Они — звезды во мраке. В них воплощен идеал, поднимающий дух их ближних; рядовым людям, возможно, никогда его не достигнуть, но они его уважают, и он оказывает на их жизнь благое влияние. Когда человек становится чист и совершенен, влияние его распространяется вширь, и те, кто ищет правды, тянутся к нему. Возможно, что, если я буду вести такую жизнь, какую для себя наметил, она окажет воздействие на других; воздействие это может оказаться не больше, чем круг на воде от брошенного камня, но за первым кругом возникает второй, а там и третий; как знать, быть может, хоть

несколько человек поймут, что мой образ жизни ведет к душевному покою и счастью, и тогда они, в свою очередь, станут учить других тому, что переняли от меня.

— Сдается мне, Ларри, что вы недооцениваете те силы, с которыми решили тягаться. Филистеры, знаете ли, уже давно отвергли костер и дыбу как средства подавления опасных для них взглядов, они изобрели более смертоносное оружие — издевку.

— Меня сломить нелегко, — улыбнулся Ларри.

— Ну что ж, могу сказать одно: счастье ваше, что у вас есть постоянный доход.

— Да, он сослужил мне хорошую службу. Без него я не мог бы сделать все то, что сделал. Но теперь мое ученичество окончено. Теперь деньги были бы для меня только обузой. Я решил с ними разделаться.

— Весьма неразумное решение. Единственное, что может позволить вам вести избранный вами образ жизни, это материальная независимость.

— Напротив, материальная независимость лишила бы мой образ жизни всякого смысла.

Я не сдержал раздраженного жеста.

— Все это прекрасно для нищенствующего святого в Индии: он может спать под деревьями, и благочестивые люди, чтобы набраться праведности, готовы наполнять его миску едой. Но американский климат не годится для ночевок под открытым небом, и хотя я, возможно, не так уж много знаю об Америке, одно я знаю: если в чем-нибудь все ваши соотечественники согласны между собой, так это в том, что, если хочешь есть, изволь работать. Бедный мой Ларри, да вы там еще и оглядеться не успеете, как вас упекут в тюрьму за бродяжничество.

Он засмеялся.

— Я знаю. Надо приспособливаться к обстановке. Конечно, я буду работать. Приеду и попробую получить работу в гараже. Я неплохой механик, думаю, что это мне удастся.

— А не будет ли это пустой тратой энергии, которую с большей пользой можно употребить на другое?

— Я физическую работу люблю. Я всегда спасался ею от умственного переутомления, очень помогает. Помню, я читал одну биографию Спинозы и еще тогда подумал, как глупо: Спинозе для заработка пришлось шлифовать линзы, и автор книги сокрушался об этом как о величайшем

несчастье. А я уверен, что Спинозе это послужило подспорьем в его умственной работе, хотя бы уже потому, что на время отвлекло его внимание от утомительных теоретических выкладок. Когда я мою машину или копаюсь в карбюраторе, голова у меня отдыхает, а когда кончишь такую работу, приятно сознавать, что не зря провел время. Конечно, я не мечтаю работать в гараже всю жизнь. Я столько лет не был в Америке, надо заново ее узнавать. Постараюсь устроиться шофером грузовика. Это даст мне возможность изездить всю страну из конца в конец.

— Вы забываете о самой полезной функции денег — они сберегают время. Жизнь так коротка, столько хочется сделать, надо дорожить каждой минутой, а вы подумайте, сколько теряется времени, если идти пешком, когда можно ехать автобусом, или ехать автобусом, когда можно взять такси.

Ларри улыбнулся.

— Правильно, я и сам об этом думал. Но с этой трудностью я справлюсь — заведу собственное такси.

— Это каким же образом?

— В конце концов, я осяду в Нью-Йорке, отчасти потому, что там самые лучшие библиотеки. На жизнь мне нужно очень немного, мне решительно все равно, где жить, есть я могу один раз в день, мне этого хватает; к тому времени, как я вдосталь насмотрюсь Америки, я сумею скопить достаточно денег, чтобы купить такси и работать шофером.

— Вас нельзя оставлять на свободе, Ларри. Вы совсем спятили.

— Ничего подобного. Я очень разумный человек и очень практичный. Как шофер-владелец, я смогу работать столько времени, сколько мне потребуется, чтобы заработать на кров и пищу и еще на ремонт машины. Остальное время я смогу посвящать другим делам, а если захочу поскорее куда-нибудь попасть, опять же буду ездить на своей машине.

— Но подумайте, Ларри, — поддразнил я его, — такси — это такая же собственность, как государственная облигация. Как шофер-владелец, вы окажетесь в рядах капиталистов.

Он рассмеялся.

— Нет. Мое такси будет для меня всего-навсего орудием труда. Как посох и миска для нищенствующего паломника.

На этой шутливой ноте наш разговор, собственно, и закончился. Я уже заметил, что в ресторане стало прибавляться посетителей. Мужчина во фраке сел за столик недалеко от нас и заказал сытный завтрак. По его усталой, но довольной физиономии можно было сказать, что он с удовольствием вспоминает ночь, проведенную в любовных утехах. Несколько старичков, встав спозаранку — старость обходится немногими часами сна, — не спеша пили кофе с молоком и сквозь толстые стекла очков читали утренние газеты. Мужчины помоложе, одни аккуратные, вылощенные, другие в поношенных пиджаках, забегали проглотить чашку кофе с булочкой по пути в магазин или в контору. Появился древний старик с кипой газет и стал обходить столики, предлагая свой товар и почти не находя покупателей. Я глянул на большие зеркальные окна — на улице было совсем светло. Минут через пять в огромном ресторане погасили электричество, осталось гореть только несколько ламп в самой его глубине. Я посмотрел на часы. Четверть восьмого.

— Может, позавтракаем? — предложил я.

Мы поели рогаликов, хрустящих и теплых, только что из печи, выпили кофе с молоком. Я устал и раскис, вид у меня, наверно, был жуткий, а Ларри точно и не провел бессонной ночи. Глаза его сияли, на гладком лице не пролегло ни одной складки, и выглядел он лет на двадцать пять, не больше. Кофе немного взбодрило меня.

— Можно мне дать вам совет, Ларри? Я их даю нечасто.

— А я их нечасто слушаюсь, — отвечал он с широкой улыбкой.

— Обдумайте все очень тщательно, прежде чем расстаться с вашим и так весьма скромным состоянием. Раз потеряв, вы его не вернете. А может наступить день, когда деньги вам окажутся очень нужны либо для вас самого, либо для кого другого, тогда вы ох как пожалеете, что свалили такого дурака.

Он прищурил глаза насмешливо, но беззлобно.

— Вы придаете деньгам больше значения, чем я.

— Еще бы, — отпарировал я резко. — У вас они всегда были, а у меня нет. Они дали мне то, что я ценю превыше всего, — независимость. Вы и представить себе не можете, каким удовольствием наполнило меня сознание, что я, если захочу, кого угодно могу послать к черту.

— Но я никого не хочу посылать к черту, а если б захотел, то сделал бы это и не имея счета в банке. Поймите, для вас деньги означают свободу, а для меня рабство.

— Вы упрямый осел, Ларри.

— Знаю. Тут уж ничего не поделаешь. Но если на то пошло, время передумать у меня есть. Я уеду в Америку только весной. Мой приятель Огюст Котте, художник, сдал мне свой домик в Санари. Я там проведу зиму.

Санари — это тихий приморский курорт на Ривьере, между Бандолем и Тулоном, там селятся художники и писатели, которых не прельщает мишурное веселье Сен-Тропеза.

— Местечко вам понравится, только скука там смертная.

— Мне нужно поработать. Я собрал большой материал и решил написать книгу.

— О чем?

— Узнаете, когда она выйдет в свет, — улыбнулся он.

— Если хотите, пришлите ее мне, когда кончите. Я почти наверняка смогу найти вам издателя.

— Спасибо, не трудитесь. У одних моих знакомых американцев есть в Париже небольшая типография, я с ними уже договорился, они мне ее напечатают.

— Но такое издание едва ли обеспечит книге сбыт, и рецензий не будет.

— А я за рецензиями не гонюсь и на сбыт не рассчитываю. Мне нужно совсем мало экземпляров, только послать друзьям в Индию да для тех немногих знакомых во Франции, которых она может заинтересовать. Особого значения она не имеет. Я напишу ее для того, чтобы вытряхнуть из головы весь этот материал, а опубликовать хочу потому, что по-настоящему судить о произведении можно, мне кажется, только когда увидишь его напечатанным.

— Готов согласиться с обоими вашими доводами.

Мы уже кончили завтракать. Я попросил счет. Официант подал его мне, а я передал Ларри.

— Раз уж вы решили бросить ваши деньги на свалку, можете, черт возьми, заплатить за мой завтрак.

Он рассмеялся и заплатил. От долгого сидения ноги у меня затекли и еле двигались, спина разболелась. Хорошо было выйти на улицу и вдохнуть свежий, чистый воздух осеннего утра. Небо голубело. Авеню Клиши, ночью неуютная и убогая, словно приосанилась, как изможденная

накрашенная женщина, когда подражает легкой девичьей походке, и выглядела вполне приятно. Я остановил проезжавшее такси.

— Вас подвезти? — спросил я Ларри.

— Нет. Я спущусь к реке, выкупаюсь там в каком-нибудь бассейне, а потом мне нужно в библиотеку, порыться в справочниках.

Мы простились. Я посмотрел, как он пересекает улицу большими, упругими шагами. Сам же, будучи не столь вынослив, сел в такси и вернулся к себе в гостиницу. Часы у меня в номере показывали начало девятого.

— Нечего сказать, в хорошенькое время пожилой джентльмен является домой, — укоризненно заметил я, обращаясь к обнаженной даме (под стеклянным колпаком), с 1813 года возлежавшей на ампирных часах в причудливой и, на мой взгляд, чрезвычайно неудобной позе.

Она продолжала разглядывать свое позолоченное бронзовое лицо в позолоченном бронзовом зеркале, а часы знай себе твердили «тик-так». Я пустил в ванной горячую воду. Полежал в ванне, пока вода не остыла, а потом растерся, проглотил таблетку снотворного и, взяв с тумбочки первый попавшийся томик, читал «Морское кладбище» Валери, пока не уснул.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Полгода спустя, апрельским утром, когда я работал в кабинете на крыше моего дома в Кап-Ферра, ко мне поднялась горничная и сказала, что меня хочет видеть полиция из Сен-Жана (ближайшего городка). Я ненавижу, когда меня прерывают. И зачем я им понадобился? Совесть моя была чиста: на нужды благотворительности я уже подписался. Мне тогда выдали квитанцию, которую я хранил в автомобиле, так что, если меня останавливали за превышение скорости или за остановку в неположенном месте, я, доставая права, как бы нечаянно вытаскивал и ее и таким образом отделывался вежливым предупреждением со стороны блюстителей закона. Скорее всего, подумал я, на мою горничную или кухарку поступил анонимный донос, что у нее не в порядке документы, — такие милые шутки во Франции не редкость; будучи в хороших отношениях с местными

полицейскими, которым я на прощание всегда подносил стакан вина, я и тут не предвидел особых затруднений. Оказалось, однако, что эта пара (они всегда работали парами) явилась ко мне по совсем другому делу.

Мы, как водится, поздоровались за руку и справились о здоровье друг друга, а затем старший из них — назывался он бригадир и обладал внушительного вида усами — достал из кармана блокнот. Полистав его грязным большим пальцем, он спросил:

— Говорит вам что-нибудь такое имя: Софи Макдональд?

— Одну женщину с такой фамилией я знаю, — ответил я осторожно.

— Мы только что имели телефонный разговор с полицейским управлением в Тулоне. Главный инспектор срочно вызывает вас туда.

— Зачем? — спросил я. — С миссис Макдональд я знаком еле-еле.

Я уже решил, что она попала в какую-нибудь историю, по всей вероятности связанную с опиумом, но не понимал, какое отношение это может иметь ко мне.

— Это меня не касается. Ваша связь с ней установлена неопровержимо. Она пять дней не появлялась у себя на квартире, а теперь в гавани вытащили из воды тело, и полиция имеет основания полагать, что это она. Вам предлагается опознать ее.

Я передернулся как от озноба. Впрочем, особенно удивлен я не был. При такой жизни, какую она вела, легко было допустить, что в минуту упадка она покончит с собой.

— Но ее же ничего не стоит опознать по одежде и по документам?

— Она была найдена раздетой догола, с перерезанным горлом.

— Боже милостивый! — произнес я в ужасе. И тут же стал соображать. Кто их знает, наверно, они могут потащить меня туда силой, так уж лучше подчиниться добровольно. — Хорошо. Приеду первым же поездом.

Я посмотрел расписание и увидел, что поспеваю на поезд, прибывающий в Тулон в шестом часу. Бригадир сказал, что известит об этом главного инспектора по телефону, и просил меня по приезде тотчас явиться в полицию. Больше я в тот день не работал. Я сложил в саквояж все, что мне могло понадобится, и после второго завтрака поехал на вокзал.

Когда я явился в штаб-квартиру тулонской полиции, меня сразу провели в кабинет главного инспектора. Он сидел за столом, грузный, смуглолицый и мрачный — видимо, корсиканец. Окинув меня, вероятно по привычке, подозрительным взглядом, он заметил ленточку ордена Почетного легиона, которую я предусмотрительно приколот к петлице; с елеинной улыбкой он предложил мне сесть и стал многословно извиняться за то, что потревожил столь заслуженного человека. Я в том же тоне заверил его, что почти за счастье быть ему полезным. Затем мы перешли к делу. Теперь, когда он заговорил, глядя на разложенные перед ним бумаги, голос его опять звучал резко и нагло.

— История не из приятных. У этой Макдональд была прескверная репутация. Пьяница, наркоманка, нимфоманка. Спала не только с матросами, а и с местными подонками тоже. Как это возможно, что человек вашего возраста и с вашим положением был с нею знаком?

Мне очень хотелось ответить, что это не его дело, но я проштудировал сотни детективных романов и знал, что дерзить полиции не рекомендуется.

— Я знал ее очень мало. Познакомился с ней в Чикаго, когда она была еще девочкой. Позднее она там же вышла замуж за вполне порядочного человека. Потом года два назад я встретил ее в Париже — у нас оказались общие знакомые.

Я все думал, как он вообще мог связать меня с Софи, но тут он пододвинул ко мне какую-то книгу.

— Найдена в ее комнате. Если вы потрудитесь взглянуть на посвящение, то согласитесь, что оно едва ли подтверждает ваши слова о том, что вы с ней едва знакомы.

Это был мой роман во французском переводе, тот самый, который она увидела в витрине и просила меня надписать. Под моей фамилией стояло: «*Mignonne, allons voir si la rose*» — первое, что тогда пришло мне в голову. Выглядело это, и правда, несколько интимно.

— Если вы думаете, что я был ее любовником, то ошибаетесь.

— Это меня не интересует, — сказал он и, вдруг подмигнув, добавил: — К тому же, не в обиду вам будь сказано, судя по тому, что я слышал о ее склонностях, вы, пожалуй, были не в ее вкусе. Но всякому ясно, что постороннюю женщину вы бы не назвали *Mignonne*.

— Эта строчка, господин комиссар, начало знаменитого стихотворения Ронсара, чьи стихи, конечно же, известны такому образованному и культурному человеку, как вы. А написал я ее, потому что был уверен, что ей это стихотворение известно и она вспомнит дальнейшие строки и, возможно, поймет, что жизнь, которую она ведет, мягко выражаясь, недостойна.

— Ронсара я, разумеется, читал в школе, но теперь я по горло завален работой и признаюсь, тех строк, о которых вы говорите, что-то не припоминаю.

Я прочел ему первую строфу и, отлично понимая, что он даже имя Ронсара слышит первый раз в жизни, не опасаясь, что он может вспомнить и последнюю строфу, которую едва ли можно истолковать как призыв к праведной жизни¹.

— Она, видимо, была не без образования. Мы нашли в ее комнате с десяток детективных романов и несколько книжек со стихами. Там был Бодлер, и Рембо, и еще на английском языке какой-то Элиот. Он что, известный поэт?

— Очень.

— У меня времени нет читать стихи. Да я по-английски и не читаю. Если он хороший поэт, жаль, что он не писал по-французски, чтобы его могли читать образованные люди.

¹ Пойдем, возлюбленная, взглянем
На эту розу, утром ранним
Расцветшую в саду моем.
Она, в пурпурный шелк одета,
Как ты, сияла в час рассвета
И вот уже увяла днем.
В лохмотьях пышного наряда —
О, как ей мало места надо!
Она мертва, твоя сестра.
Пошадь нет, мольба напрасна,
Когда и то, что так прекрасно,
Не доживает до утра.
Отдай же молодость веселью!
Пока зима не гонит в келью,
Пока ты вся еще в цвету,
Лови летящее мгновенье —
Холодной вьюги дуновенье,
Как розу, губит красоту.

(Перевод В.Левика)

Я представил себе, как мой главный инспектор читает «Бесплодную землю», и мысленно порадовался. Вдруг он перебросил мне через стол любительский снимок.

— Это кто, вы не знаете?

Я сразу узнал Ларри. Он был в купальных трусах, и я догадался, что снимок сделан в то лето, когда он приезжал к Изабелле и Грэю в Динар. Первым моим побуждением было сказать: «Не знаю», — меньше всего, мне хотелось, чтобы Ларри оказался замешан в эту гадостную историю; но я подумал, что, если полиция дознается, кто это, мои слова могут быть истолкованы как желание что-то скрыть.

— Это Лоренс Даррел, американский гражданин.

— Единственная фотография, найденная среди вещей этой женщины. В каких они были отношениях?

— Они росли в одном и том же городке под Чикаго. Друзья детства.

— Но это снимок недавний, сделан, как я подозреваю, на одном из курортов на севере или на западе Франции. Где именно — это мы узнаем без труда. Кто он такой, этот человек?

— Писатель, — ответил я храбро. Инспектор чуть вздернул мохнатые брови, из чего я заключил, что люди моей профессии в его глазах отнюдь не безупречны по части нравственности. — Человек со средствами, — добавил я, чтобы прибавить ему респектабельности.

— А где он сейчас?

Опять я хотел сказать, что не знаю, и опять решил, что это может хуже запутать дело. У французской полиции, может быть, немало грехов, но найти нужного им человека они умеют быстро.

— Он живет в Санари.

Инспектор поднял голову, явно заинтересованный.

— Где?

Я помнил, что в конце нашего последнего парижского разговора Ларри сказал, что Огюст Котте сдал ему свой домик, и, вернувшись к Рождеству на Ривьеру, написал ему, приглашая к себе погостить, но Ларри, как и следовало ожидать, отказался. Я дал инспектору его адрес.

— Позвоню в Санари и прикажу, чтобы его доставили сюда. Пожалуй, есть смысл допросить его.

Было ясно, как день, что инспектор готов заподозрить Ларри в убийстве, но меня это только посмешило. Я был

уверен, что ему ничего не стоит доказать свою полную непричастность к этому делу. Я попросил инспектора рассказать мне все, что известно о страшной гибели Софи, но он мог только добавить кое-какие подробности к тому, что я уже знал. Тело вытащили на берег два рыбака. «Раздетой догола» было романтической гиперболой моего сен-жанского полицейского. Убийца оставил ей поясик и лифчик. Если она была одета так же, как в день нашей последней встречи, значит, он стянул с нее только свитер и брючки. Оpoznать ее оказалось невозможно, и полиция дала объявление в местной газете. В ответ на него в полицию явилась женщина, державшая в одном из глухих переулков меблированные комнаты, куда мужчинам разрешалось приводить женщин и мальчиков. Она служила в полиции и поставляла сведения о том, кто у нее бывает и зачем. Несчастную Софи тем временем выставили из гостиницы на набережной, где она жила, когда мы с ней виделись, — даже ко всему притерпевшийся владделец не выдержал столь скандального поведения. Она попросила ту женщину сдать ей спальню с крошечной гостиной. Это помещение выгоднее было сдавать на короткое время, по два-три раза в ночь, но Софи предложила хорошую плату, и хозяйка согласилась брать с нее помесечно. И вот она явилась в полицию и рассказала, что ее жиличка уже несколько дней как отсутствует. Она не тревожилась, решила, что та отлучилась в Марсель или в Вильфранш, куда прибыли корабли британского торгового флота, — в таких случаях туда слетаются женщины, молодые и старые, со всего побережья; но потом она прочла объявление в газете и подумала, не о ее ли жиличке идет речь. Ей показали тело, и она после минутного колебания признала в нем Софи Макдональд.

— Но раз тело уже опознано, зачем вы обратились ко мне?

— Мадам Белле — честнейшая женщина и с безупречной репутацией, — сказал инспектор, — но у нее могли быть свои, неизвестные нам причины, опознать покойную; да и вообще я считаю, что тут требуются показания кого-то из ее личных знакомых, так будет вернее.

— Как вы думаете, есть у вас шансы изловить убийцу?

Инспектор пожал грузными плечами.

— Мы, конечно, ведем расследование. Мы уже опросили целый ряд лиц в тех притонах, где она бывала. Ее мог убить из ревности какой-нибудь матрос, уже отбывший от-

сюда со своим кораблем, или какой-нибудь бандит, позарившийся на ее деньги. Как выяснилось, она всегда имела при себе некую сумму, которая такого человека могла прельстить. Возможно, кое-кто и знает, на кого может пасть подозрение, но из тех людей, среди которых она вращалась, едва ли кто назовет подозреваемого, разве что выскажется в его защиту. При том, с какой швалью она зналась, такого конца вполне можно было ожидать.

Сказать на это мне было нечего. Инспектор просил меня прийти завтра к девяти часам утра, он к тому времени успеет порасспросить «того господина с фотографии», а затем полицейский проводит нас в морг.

— А как насчет похорон?

— Если после опознания тела вы, как друзья покойной, пожелаете сами похоронить ее и взять на себя сопряженные с этим расходы, вам будет выдано соответствующее разрешение.

— Говорю с уверенностью и за себя, и за мистера Даррела, мы хотели бы получить его как можно скорее.

— Вполне вас понимаю. Это печальная история, и желательно, чтобы несчастная женщина была предана земле без проволочек. Кстати говоря, у меня имеется карточка отличного гробовщика, он вам все устроит быстро и за умеренную плату. Я напишу на ней несколько слов, чтобы он отнесся к вам с должным вниманием.

Я не сомневался, что из суммы, которую я заплачу, ему достанутся комиссионные, однако тепло поблагодарил его и, когда он почтительно проводил меня до двери, сразу направился по указанному в карточке адресу. Похоронных дел мастер был понятлив и деловит. Я выбрал гроб, не самый дешевый, но и не самый дорогой, принял предложение достать для меня пару венков у знакомого владельца цветочного магазина — «чтобы избавить мосье от тягостной обязанности и из уважения к покойнице», как он выразился — и договорился, что катафалк подадут к мертвецкой на следующий день в два часа. Я невольно отдал дань его деловой хватке, когда он сообщил мне, что насчет могилы я могу не беспокоиться, он сделает все, что нужно, и более того, «мадам, надо полагать, была протестанткой», так он позаботится о том, чтобы на кладбище нас встретил пастор и прочел заупокойную службу. Но поскольку я иностранец и он видит меня впервые, я, разу-

меется, не буду в претензии, если он попросит меня о любезности — внести задаток. Цену он заломил неожиданно высокую — видимо, с тем расчетом, что я буду торговаться, и, когда я без дальних слов достал чековую книжку и выписал чек, был явно удивлен и, кажется, даже слегка разочарован.

Я снял номер в гостинице и на следующее утро опять пришел в полицию. Меня попросили обождать, а через некоторое время предложили пройти в кабинет главного инспектора. Там, на том же стуле, на котором я сидел накануне, сидел Ларри, очень серьезный и убитый. Инспектор приветствовал меня сердечно, как родного брата после долгой разлуки.

— Ну вот, *mon cher monsieur*, ваш друг как нельзя более откровенно ответил на все вопросы, которые я задал ему по долгу службы. У меня нет оснований не верить его заявлению, что он не видел эту несчастную женщину уже восемнадцать месяцев. Он вполне удовлетворительно отчитался в том, где провел последнюю неделю, а также объяснил, каким образом его снимок был найден в ее комнате. Снимок этот был сделан в Динаре и оказался у него в кармане, когда он как-то с ней завтракал. Из Санари о нем поступили самые благоприятные сведения, да я и сам, скажу без ложной скромности, неплохо разбираюсь в людях; я убежден, что он неспособен на преступление такого рода. Я решился высказать вашему другу сожаление, что женщина, которую он знал с детства, пользовавшаяся всеми преимуществами, которые дает нормальная семейная жизнь, так плохо кончила. Но такова жизнь. А теперь, господа, один из моих людей проводит вас в морг, и, после того как вы опознаете тело, вы вольны проводить время как вам угодно. Советую вам сытно позавтракать. У меня тут имеется карточка лучшего тулонского ресторана, я напишу на ней пару слов, и это обеспечит вам самое внимательное обслуживание. После такого тягостного переживания хорошая бутылка вина обоим вам будет полезна.

Теперь доброжелательство исходило от него, как сияние. Полицейский привел нас в морг. В этом учреждении дела шли не слишком бойко. Всего один стол был занят. Мы подошли к нему, и служитель откинул край простыни, прикрывавший голову. Зрелище было не из приятных. Морская вода уничтожила завивку, и крашенные серебристые волосы волглými прядками облепили череп. Лицо

отвратительно раздулось, на него было жутко смотреть, но это, без всякого сомнения, было лицо Софи. Служитель стянул простыню пониже и показал нам то, чего мы предпочли бы не видеть: страшную рану на шее, от уха до уха.

Мы вернулись в полицию. Инспектор был занят, но мы сказали то, что от нас требовалось, его помощнику; тот вышел и скоро вернулся с нужными бумагами. Мы отнесли их гробовщику.

— Теперь пойдем выпьем, — сказал я.

Ларри не проронил ни слова с тех пор, как мы ушли от инспектора, только когда мы вернулись в полицию, подтвердил, что опознал в покойнице Софи Макдональд. Я повел его на набережную, в тот кабачок, где мы с ней сидели около года назад. Дул сильный мистраль, и вода в гавани, обычно спокойная, была вся в клочьях белой пены. Рыбачьи лодки покачивались у причалов. Солнце ярко светило, и, как всегда во время мистраля, все вокруг приобрело необычайную отчетливость, словно увиденное в хорошо отрегулированный бинокль. Пульсирующая сила, разлитая в этой картине, была по нервам. Я выпил бренди с содовой, Ларри же не притронулся к своему стакану. Он сидел в хмуром молчании, и я не тревожил его.

Через некоторое время я посмотрел на часы.

— Пошли, поедим чего-нибудь, — сказал я. — Нам к двум часам надо быть в мертвецкой.

— Да, я голоден. Я утром не поел.

Судя по тому, как выглядел инспектор, он знал толк в еде, и я повел Ларри в рекомендованный им ресторан. Я помнил, что Ларри почти не ест мяса, и заказал омлет и жареного омара, потом попросил карту вин и, опять-таки следуя совету инспектора, выбрал одну из лучших марок. Вино принесли, я налил Ларри полный стакан.

— Пейте, и никаких гвоздей, — сказал я. — Может, оно вам подскажет тему для разговора.

Он послушно осушил стакан.

— Шри Ганеша говорил, что молчание — тоже беседа, — заметил он негромко.

— Это приводит на ум веселое сборище высокообразованных преподавателей Кембриджского университета.

— Боюсь, вам придется одному расплачиваться за эти похороны, — сказал он. — У меня нет денег.

— Не возражаю, — ответил я и вдруг понял, что кроется за его словами. — Неужели вы в самом деле совершили эту глупость?

Он чуть помедлил с ответом. В глазах его мелькнул знакомый мне насмешливый огонек.

— Неужели растались со своими деньгами?

— Оставил себе только на что дожить, пока не прибыл мой пароход.

— Какой еще пароход?

— В Санари в соседнем доме со мной живет агент линии грузовых судов, которые курсируют между Ближним Востоком и Нью-Йорком. Ему сообщили по телеграфу из Александрии, что с одного судна, скоро прибывающего в Марсель, пришлось списать двух заболевших матросов, и предложили подыскать двух человек на их место. Мы с ним приятели, и он обещал меня взять. На прощание я подарю ему мой старый «ситроен». Когда я взойду на судно, у меня не будет ничего, кроме той одежды, что на мне, и чемодана с кое-какими вещами.

— Что ж, деньги ваши и дело ваше. Вы свободны в своих поступках.

— Свободен, вот это верно. Никогда еще мне не было так хорошо и спокойно. В Нью-Йорке получу жалованье, будет на что жить, пока найду работу.

— А как ваша книга?

— Книга? Закончена и напечатана. Я составил список тех, кому просил ее послать, на днях получите.

— Спасибо.

Говорить было как будто не о чем, и мы доели завтрак в дружелюбном молчании. Я заказал кофе. Ларри закурил трубку, я — сигару. Я задумчиво смотрел на него. Почувствовав мой взгляд, он глянул на меня и лукаво подмигнул.

— Если вам очень хочется сказать мне, что я круглый идиот, не стесняйтесь, я не обижусь.

— Нет, такого желания у меня нет. Я только подумал, что, может быть, ваша жизнь сложилась бы более гармонично, если бы вы женились и обзавелись семьей, как все люди.

Он улыбнулся. Я, наверно, уже раз двадцать упоминал, какая чудесная у него была улыбка — милая, доверчивая, уютная, отражавшая всю его подкупающую прямоту и прав-

дивость; и все же я должен упомянуть о ней еще раз, потому что сейчас в ней было вдобавок что-то ласковое и грустное.

— Теперь уж поздно. Из всех женщин, которых я встречал, я мог бы жениться на бедной Софи.

Я изумился.

— И вы это говорите после всего, что случилось?

— У нее была удивительная душа — пылкая, добрая, устремленная ввысь. У нее были высокие идеалы. Даже в том, как она под конец рвалась навстречу гибели, было какое-то трагическое величие.

Я помолчал, не зная, как отнестись к этим странным суждениям.

— Почему же вы еще тогда на ней не женились?

— Она была ребенком. Сказать по правде, когда я ходил в дом к ее деду и мы с ней читали стихи под старым вязом, я и сам не понимал, сколько в этой угловатой девочке заложено душевной красоты.

Я с удивлением отметил про себя, что он даже не упомянул об Изабелле. Не мог же он забыть, что был с ней помолвлен. А раз так, значит, он, очевидно, не придавал этому эпизоду никакого значения, считал, что оба они были слишком молоды, сами не знали, чего хотят. Я был готов поверить, что ему ни разу даже в голову не пришло, что она с тех самых пор по нему страдает.

Нам пора было двигаться. Мы дошли до площади, где Ларри оставил свой автомобиль, теперь уже порядком обветшавший, и поехали в морг. Похоронных дел мастер оказался на высоте. Под безоблачным небом, на резком ветру, гнувшем кладбищенские кипарисы, вся процедура совершилась без сучка без задоринки и от этого показалась еще ужаснее. Когда все кончилось, он сердечно пожал нам руки.

— Ну вот, господа, надеюсь, вы довольны. Все сошло отлично.

— Отлично, — подтвердил я.

— Прошу мосье не забыть, что я всегда к его услугам, если потребуется. Обслуживаем и загородных клиентов.

Я поблагодарил его. У ворот кладбища Ларри спросил, нужен ли он мне еще зачем-нибудь.

— Да нет.

— Я бы хотел как можно скорее вернуться в Санари.

— Забросьте меня сначала в мою гостиницу, ладно?

По дороге мы не сказали ни слова. Он подвез меня к подъезду, мы простились, и он укатил. Я заплатил по счету,

собрал саквояж и взял такси на вокзал. Мне тоже хотелось поскорее уехать.

III

Через несколько дней я выехал в Англию. По пути я не собирался нигде останавливаться, но, после того что случилось, мне захотелось повидать Изабеллу, и я решил на сутки задержаться в Париже. Я послал ей телеграмму, справляясь, могу ли в такой-то день прийти часа в четыре и остаться у них пообедать, и, прибыв в свою гостиницу, нашел там ответную записку: обедают они с Грэем в гостях, но она будет рада, если я зайду, только не раньше половины шестого, а то у нее примерка.

Было холодно, то и дело принимался идти дождь, и я подумал, что Грэй вряд ли поехал в Мортфонтен играть в гольф и сидит дома. Это не входило в мои планы, я хотел застать Изабеллу одну, но первые же ее слова меня успокоили: Грэй в клубе путешественников, играет в бридж.

— Я ему велела не засиживаться там, если хочет вас повидать, но обедать мы приглашены к девяти, значит, можно ехать к половине десятого, так что время поболтать у нас будет. Мне много чего надо вам рассказать.

Они уже договорились о сдаче квартиры, распродажа коллекций Эллиота состоится через две недели. Им хочется на ней присутствовать, так что пока они перебираются в «Риц». А потом — домой, в Америку. Изабелла решила продать все, кроме современных картин, которые висели у Эллиота в Антибе. Сама она ими не дорожила, но рассудила, и вполне правильно, что они ей пригодятся в их новом жилище — для престижа.

— Жаль, что дядя Эллиот не держался более передовых взглядов — ну, знаете, Пикассо, Матисс, Руо. То, что он собрал, конечно, по-своему неплохо, но боюсь, как бы оно не показалось старомодным.

— На этот счет вы можете не беспокоиться. Через несколько лет появятся новые художники, и Пикассо с Матиссом уже будут казаться не более современными, чем ваши импрессионисты.

У Грэя деловые переговоры близятся к концу, сообщила она, ее капитал позволит ему вступить в одну процветающую компанию на правах вице-президента. Компания связана с нефтью, и жить они будут в Далласе.

— Первым делом нужно будет подыскать подходящий дом. Обязательно с садом, чтобы Грэю было где копаться после работы, и с очень большой гостиной, чтобы я могла устраивать там приемы.

— А мебель Эллиота вы не хотите с собой взять?

— Мне кажется, это не совсем то, что нужно. У меня все будет очень современное, возможно — с легким налетом мексиканского, для самобытности. В Нью-Йорке сразу надо будет выяснить, кто сейчас считается лучшим специалистом по внутренней отделке.

Лакей Антуан поставил на стол поднос с целой батареей бутылок, и Изабелла, помня, что девять мужчин из десяти считают, что умеют приготовить коктейль лучше, чем любая женщина (так оно, кстати, и есть), со свойственным ей тактом попросила меня смешать нам по коктейлю. Я налил сколько нужно джина и ликера, а затем добавил капельку абсента, превращающую скучный сухой мартини в напиток, на который олимпийские боги несомненно променяли бы свой прославленный домашнего приготовления нектар — мне он всегда представлялся чем-то вроде кока-колы. Подавая бокал Изабелле, я заметил на столе какую-то книгу.

— Ага, — сказал я. — Вот и сочинение Ларри.

— Да, принесли сегодня утром, но я была так занята — надо было сделать тысячу дел, а завтракала я не дома, а потом поехала к Молинэ. Просто не знаю, когда у меня до нее дойдут руки.

Я с грустью подумал, как часто бывает, что писатель работает над книгой много месяцев, вкладывает в нее всю душу, а потом она лежит неразрезанная и ждет, пока у читателя выдастся день, когда ему совсем уж нечего будет делать. Томик был страниц на триста, хорошо отпечатан и со вкусом переплетен.

— Вы, наверно, знаете, что Ларри провел всю зиму в Санари?

— Да, мы с ним только на днях виделись в Тулоне.

— Правда? А что вы там делали?

— Хоронили Софи.

— Разве Софи умерла? — вскрикнула Изабелла.

— Иначе зачем бы нам было ее хоронить?

— Неуместные шутки. — Она помолчала. — Не стану притворяться, будто мне ее жаль. Надо полагать, сгубила себя пьянством и наркотиками?

— Нет, ей перерезали горло, раздели догола и бросили в море.

Сам не знаю, почему я, как бригадир из Сен-Жана, допустил тут некоторое преувеличение.

— Какой ужас! Несчастливая. Конечно, при такой жизни она неизбежно должна была плохо кончить.

— То же самое сказал и полицейский комиссар в Тулоне.

— А они знают, кто это сделал?

— Нет. А я знаю. По-моему, ее убили вы.

Она изумленно воззрилась на меня.

— Какие глупости. — И добавила с едва заметным смешком: — Не угадали. У меня железное алиби.

— Прошлым летом я встретил ее в Тулоне. Мы с ней долго разговаривали.

— Она была трезвая?

— В достаточной мере. Она мне объяснила, почему так получилось, что она исчезла за несколько дней до того, как должна была выйти замуж за Ларри.

В лице Изабеллы что-то дрогнуло и застыло. Я в точности пересказал ей то, что узнал от Софи. Она слушала настороженно.

— Я с тех пор много об этом думал, и чем больше думал, тем больше убеждался, что дело тут нечисто. Я завтракал у вас десятки раз, и ни разу у вас к завтраку не подавали водки. В тот день вы завтракали одна. Так почему на подносе вместе с чашкой кофе стояла бутылка зубровки?

— Дядя Эллиот только что мне ее прислал. Я хотела проверить, правда ли она такая вкусная, как мне показалось в «Рице».

— Да, я помню, как вы тогда ее расхваливали. Меня это удивило, ведь вы не употребляли крепких напитков — бережете здоровье. Я еще подумал, что вы нарочно подзадориваете Софи. Издеваетесь над ней.

— Благодарю вас.

— Как правило, вы не опаздываете и не подводите людей, с которыми договорились встретиться. Так почему вы ушли, когда знали, что Софи заедет за вами и вам предстоит такое важное для нее и интересное для вас дело, как примерка ее подвенечного платья?

— Она же вам сама сказала. У Джоун стали портиться зубы. Наш дантист завален работой, и мне приходилось соглашаться на те часы, которые он предлагал.

— С дантистом обычно договариваются о следующем визите, перед тем как уйти.

— Я знаю. Но утром он позвонил мне, сказал, что принять не может, и предложил перенести визит на три часа дня. Ну, я, конечно, согласилась.

— А почему было не отправить к нему Джоун с гувернанткой?

— Она, бедняжка, боялась. Я знала, что со мной ей будет не так страшно.

— А когда вы вернулись и увидели, что зубровки почти не осталось, а Софи ушла, это вас не удивило?

— Я решила, что ей надоело ждать и она отправилась к Молинэ одна. А когда приехала туда и узнала, что она не появлялась, просто не знала, что и думать.

— А зубровка?

— Ну да, я заметила, что ее сильно поубавилось. Я решила, что ее выпил Антуан, совсем уже собралась с ним поговорить, но ведь он был на жалованье у дяди Эллиота, дружил с Жозефом, ну, я и решила, что не стоит поднимать историю. Работает он очень хорошо, а если изредка пропустит рюмочку, мне ли его осуждать?

— Какая же вы лгунья, Изабелла.

— Вы мне не верите?

— Ни вот настолько.

Она встала и перешла к камину. В нем потрескивали дрова, в такой ненастный день это было особенно приятно. Изабелла стояла, облокотившись одной рукой о каминную полку в грациозной позе, — она умела принимать такие позы как бы непреднамеренно, что меня всегда в ней пленяло. Как большинство элегантных француженок, она днем ходила в черном, что очень шло к ярким краскам ее лица; и сейчас на ней было черное платье изысканно простого фасона, эффектно облегавшее ее стройную фигуру. С минутой она молча попыхивала сигаретой.

— В сущности, я могу быть с вами совершенно откровенной. Все сложилось очень неудачно — и то, что мне пришлось уйти, и то, что Антуан оставил на столе бутылку и чашку. Он должен был их унести сразу после моего ухода. Когда я вернулась и увидела, что бутылка почти пуста, я, конечно, поняла, что случилось, а когда Софи исчезла, я не сомневалась, что она запила. А не сказала я этого потому, что не хотелось огорчать Ларри, ему и без того было тошно.

— И вы твердо помните, что не давали Антуану специальных указаний оставить бутылку на столе?

— Конечно.

— Не верю я вам.

— Ну и не надо. — Она со злобой швырнула сигарету в камин. Глаза ее потемнели от ярости. — Ладно, хотите знать правду, так получайте, и ну вас к дьяволу. Да, я это сделала и не жалею, что сделала. Я же вам говорила, что ни перед чем не остановлюсь, лишь бы не дать ей выйти за Ларри. Вы палец о палец не захотели ударить, ни вы, ни Грэй. Вы только пожимали плечами и сетовали, что это ужасная ошибка. Вам было все равно. А мне нет.

— Если б вы ее оставили в покое, она бы сейчас была жива.

— И была бы женой Ларри, и он был бы самым несчастным человеком. Он воображал, что сделает из нее другую женщину. Какие же вы, мужчины, идиоты! Я знала, что рано или поздно она сорвется. Это простым глазом было видно. Когда мы все вместе завтракали в «Ритце», вы сами заметили, в каком состоянии у нее были нервы. Я видела, вы смотрели на нее, когда она пила кофе: рука у нее так дрожала, что она боялась взять чашку одной рукой, ухватила двумя руками, чтобы не расплескать. И как она смотрела на вино, когда официант наливал нам бокалы, — следила за бутылкой этими гадостными своими линялыми глазами, точно змея за цыпленком, ясно было, что она бы душу продала за глоток вина.

Теперь Изабелла смотрела мне прямо в лицо, глаза ее метали молнии. Голос стал хриплым, слова так и насккивали одно на другое.

— Я это задумала, когда дядя Эллиот стал разглазговствовать про эту проклятую польскую водку. Мне ее даром не надо, но я притворилась, будто в жизни не пила такой прелести. Я была уверена — дай ей только случай, и она нипочем не устоит. Потому я и повезла ее на выставку мод. Потому и предложила подарить ей подвенечное платье. В тот день, когда нужно было ехать на последнюю примерку, я сказала Антуану, чтобы подал зубровку к завтраку, а потом сказала, что ко мне должна прийти одна дама, и пусть попросит подождать и предложит ей кофе, а зубровку пусть не убирает — может, ей захочется выпить рюмочку. Джоун я и правда повела к дантисту, но никакого уговора у меня

с ним, конечно, не было, и он нас не принял, так я сводила ее в кино, посмотреть журнал. Про себя я решила — если окажется, что Софи не притронулась к водке — ну тогда кончено, я смирюсь и постараюсь с ней подружиться. Я не вру, честное слово даю. Но когда я вернулась и увидела бутылку, то поняла, что поступила правильно. Она сбежала, и уж кто-то, а я-то знала, что она не вернется.

Изабелла умолкла и тяжело перевела дух.

— Что-то в этом роде я себе и представлял — сказал я. — Вот видите — я был прав. Вы ее зарезали, все равно что сами взяли нож и полоснули ее по горлу.

— Она была скверная, скверная, скверная. Я рада, что она умерла. — Она бросилась в кресло. — Дайте мне выпить, черт бы вас побрал.

Я смешал ей еще коктейль.

— Дьявол вы, а не человек, — сказала она, протягивая за ним руку. Потом разрешила себе улыбнуться. Улыбка была как у ребенка, когда он знает, что набедокурил, но пробует умилить вас своей наивной прелестью, чтобы вы не рассердились. — Только не говорите Ларри, ладно?

— Ни за что не скажу.

— Честное слово? На мужчин так трудно положиться.

— Обещаю, что не скажу. Да если б и захотел, едва ли мне представится такая возможность: я, скорее всего, никогда больше его не увижу.

Она резко выпрямилась.

— Это почему?

— В настоящую минуту он плывет в Нью-Йорк на грузовом пароходе либо матросом, либо кочегаром.

— Нет, правда? Поразительное существо. Он был здесь с месяц назад, что-то ему нужно было проверить в Публичной библиотеке для своей книги, но он ни слова не сказал о том, что едет в Америку. Я рада, значит, мы будем встречаться.

— Сомневаюсь. Его Америка будет так же далеко от вашей, как пустыня Гоби.

И я рассказал ей, что Ларри сделал и что намерен делать. Она слушала меня раскрыв рот. Удивление и ужас были написаны на ее лице. Время от времени она перебивала меня восклицанием: «Он с ума сошел. С ума сошел». Когда я замолчал, она опустила голову, и две крупные слезы скатились у нее по щекам.

— Вот теперь я действительно его потеряла.

Она отвернулась от меня и заплакала, откинувшись лицом в спинку кресла и уже не скрывая своего горя. Я был бессилён ей помочь. Я не знал, какие несуразные пустые надежды она ещё лелеяла, пока я не сокрушил их своим рассказом. Я смутно догадывался, как нужно ей было хоть изредка его видеть или хотя бы знать, что он — часть её мира. — Это казалось ей связующей нитью, пусть самой тоненькой, которую его последний поступок оборвал, так что она почувствовала себя навеки покинутой. Какие же напрасные сожаления её терзают? Я подумал — пусть плачет, ей станет легче. Я взял со стола книгу Ларри и посмотрел оглавление. Мой экземпляр ещё не прибыл, когда я уезжал с Ривьеры, теперь я мог получить его только через несколько дней. Книга оказалась для меня полной неожиданностью. Это был сборник очерков, примерно такого же объёма, как эссе Литтона Стрэчи о «Выдающихся викторианцах», и тоже о всяких известных личностях. Выбор их озадачил меня. Был там очерк о Сулле, римском диктаторе, который достиг неограниченной власти, а потом отказался от неё и вернулся к частной жизни; был очерк про Акбара, Великого Могола, завоевателя целой империи; и про Рубенса, и про Гете, и про лорда Честерфилда, автора знаменитых писем. Чтобы написать эти очерки, нужно было прочесть тысячи страниц, и меня уже не удивляло, что работа над книгой заняла столько времени, но я не мог взять в толк, почему Ларри не пожалел этого времени и почему выбрал именно этих героев. А потом мне пришло в голову, что каждый из них по-своему достиг в жизни наивысшего успеха, и я догадался, что это-то и привлекло внимание Ларри. Ему захотелось дознаться, что же такое в конечном счёте успех.

Я раскрыл книгу наугад и стал читать — мне было интересно, как он пишет. Язык ученого, но ясный и естественный. Ни следа претенциозности или педантизма, слишком часто отличающих писания дилетантов. Чувствовалось, что он искал общества лучших писателей мира так же прилежно, как Эллиот Темплтон искал общества знати. Меня прервал шумный вздох Изабеллы. Она выпрямилась в кресле и с гримасой отвращения допила нагретый коктейль.

— Хватит реветь, и так глаза, наверно, ни на что не похожи. — Она достала из сумки зеркальце и с тревогой взглядела в себя. — Ну да, пузырь со льдом на полчаса, вот что

мне нужно. — Она напудрилась, подмазала губы. Потом задумчиво посмотрела на меня. — Вы теперь будете намного хуже обо мне думать?

— А для вас это имеет значение?

— Представьте себе, имеет. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо.

Я усмехнулся.

— Дорогая моя, я личность в высшей степени аморальная. Когда я хорошо отношусь к человеку, я могу скорбеть о его грехах, но на мое отношение к нему это не влияет. Вы по-своему неплохая женщина, и притом в вас бездна прелести и очарования. Ваша красота меня радует, хоть я и знаю, что она в большой мере зиждется на удачном сочетании безупречного вкуса и непоколебимого упорства. Для полного совершенства вам недостает только одного...

Она ждала улыбаясь.

— Нежности.

Улыбка погасла, и она метнула на меня взгляд, начисто лишенный приязни, но прежде чем она собралась ответить, в комнату ввалился Грэй. За три года, проведенных в Париже, Грэй сильно прибавил в весе, его красное лицо стало еще краснее, и волосы заметно поредели, но он пребывал в отменном здоровье и в отличном настроении. Он был искренне рад меня видеть. Разговаривал он одними штампами. Произнося самые заезженные речения, явно был убежден, что только что сам их выдумал. Он не ложился спать, а «отправлялся на боковую» и спал не иначе, как «сном праведника», если шел дождь, то непременно «лило как из ведра», и Париж до конца оставался для него «веселым городком». Но он был такой незлобивый и нетребовательный, такой честный, надежный и скромный, что не чувствовать к нему симпатии было невозможно. Я был от души к нему расположен. Сейчас он был всецело поглощен предстоящим отъездом.

— Ох и здорово будет опять впрячься в работу, — говорил он. — Я просто жду не дождусь.

— Значит, все у вас решено?

— Подписи своей я еще не поставил, но дело верное. Тот парень, с которым я вхожу в долю, был моим соседом по комнате в колледже, он малый первый сорт и свинью мне не подложит, это я знаю. Но как только мы прибудем

в Нью-Йорк, я слетаю в Техас, своими глазами проверю, как там что и, можете быть уверены, уж докопаюсь, нет ли там какого подвоха, прежде чем выложить хоть доллар из тех денег, что мне дала Изабелла.

— Грэй, знаете ли, превосходный бизнесмен, — сказала она.

— Да уж не хуже других, — улыбнулся он.

Он принялся, как всегда слишком многословно, рассказывать мне о фирме, в которую вступает, но я в таких делах смыслю мало и понял, в сущности, одно: что у него есть все шансы нажить уйму денег. Он так увлекся своим рассказом, что даже предложил Изабелле:

— Слушай, на черта нам сдался этот званный обед? Может, посидим тихо-мирно вдвоем в ресторане?

— Ну что ты, милый, как можно. Ведь обед устроили в нашу честь.

— Я-то, во всяком случае, не мог бы составить вам компанию, — вмешался я. — Когда я узнал, что вечер у вас занят, я позвонил Сюзанне Рувье и сговорился с ней по-видаться.

— Кто такая Сюзанна Рувье? — спросила Изабелла.

Мне захотелось ее поддразнить.

— Так, одна из девиц, которые остались мне в наследство от Ларри.

— Я всегда подозревал, что он где-то прячет хорошенькую модисточку, — подхватил Грэй с добродушным смехом.

— Вздор, — отрезала Изабелла. — О половой жизни Ларри мне все известно. Ее просто нет.

— Ну, раз так, выпьем на прощанье, — сказал Грэй.

Мы выпили, и я с ними простился. Они вышли проводить меня в переднюю, и, пока я надевал пальто, Изабелла продела руку под локоть Грэя и, ластясь, заглянула ему в глаза с выражением, отлично имитирующим ту нежность, в недостатке которой я ее обвинил.

— Скажи мне, Грэй, только честно, по-твоему, я бесчувственная?

— Что ты, родная, с чего ты взяла? Тебе это кто-нибудь сказал?

— Нет.

Она повернулась к нему спиной и показала мне язык, что Эллиот несомненно счел бы весьма неаристократичным.

— Это не то же самое, — шепнул я, выходя на площадку, и закрыл за собою дверь.

IV

Когда я опять оказался в Париже, Мэтьюрины уже уехали и в квартире Эллиота жили чужие люди. Я очень чувствовал отсутствие Изабеллы. На нее приятно было смотреть, с ней легко говорилось. Она была сметлива и незлопамятна. Больше я никогда ее не видел. Я не люблю и ленюсь писать письма. Изабелла же просто не умеет их писать. Если нельзя общаться по телефону или по телеграфу, она предпочитает вообще не общаться. К Рождеству я получил от нее открытку с изображением красивого дома с колоннами, окруженного виргинскими дубами, — очевидно, это был тот самый дом, который они не смогли продать, когда так нуждались в деньгах, а теперь, видимо, раздумали продавать. Судя по штемпелю, открытка была опущена в Далласе, из чего я заключил, что дело сладилось и они водворились на новом месте.

В Далласе я не бывал, но думаю, что там, как и в других крупных американских городах, имеется жилой район, откуда на машине рукой подать и до делового центра, и до загородного клуба и где люда со средствами обитают в прекрасных домах с большими садами и из окон гостиной открывается красивый вид на окрестные горы и доли. В таком-то районе и в таком доме, отделанном от подвала до чердака в сверхсовременном духе и самым модным нью-йоркским декоратором, наверняка и живет теперь Изабелла. Надо надеяться, что ее Ренуар и ее Гоген, ее натюрморт Мане и пейзаж Моне не выглядят там анахронизмами. Столовая там, без сомнения, достаточно просторная для дамских завтраков с хорошим вином и первоклассной едой, которые она устраивает довольно часто. Изабелла много чему научилась в Париже. Она не остановила бы свой выбор на этом доме, если бы сразу не оценила, что гостиная отлично подойдет для вечеров с танцами, которые она станет у себя устраивать, пока ее дочери еще не выезжают в свет. А скоро, глядишь, уже пора будет выдавать их замуж. Джоун и Прицилла, конечно же, прекрасно воспитаны, учились в лучших школах, и Изабелла позаботилась о том, чтобы всячески повысить их ценность в глазах приемлемых поклонников. Грэй, надо полагать, стал еще краснее лицом, еще больше

обрызг, облысел и погрузнел. А вот Изабелла, мне кажется, не могла измениться. Она и сейчас красивее своих дочерей. Мэтьюрины, должно быть, стали украшением местного общества и пользуются заслуженной популярностью. Изабелла всегда интересна, изящна, обходительна и тактична, а Грэй — в полном смысле слова Парень Что Надо.

V

Сюзанну Рувье я продолжал изредка встречать до тех пор, пока неожиданная перемена в ее положении не заставила ее покинуть Париж, и тогда она тоже ушла из моей жизни. Как-то днем, года через два после описанных событий, с приятностью проведя часок среди книг в галереях Одеона, я увидел, что у меня осталось свободное время, и решил навестить Сюзанну. Перед этим я не видел ее полгода. Она открыла мне дверь — в заляпанной красками блузе, на большом пальце нацеплена палитра, в зубах кисть.

— Ah, c'est vous, mon cher ami. Entrez, je vous en prie¹.

Немного удивленный непривычной церемонностью ее тона, я вошел в маленькую комнату, служившую и гостиной, и мастерской. На мольберте стоял холст.

— Я так занята, просто вздохнуть некогда, но вы садитесь, а я буду работать дальше. Мне каждая минута дорога. Поверите ли, Мейерхейм устраивает мне персональную выставку, нужно подготовить тридцать картин.

— Мейерхейм? Но это замечательно. Как это вам удалось?

Надо сказать, что Мейерхейм — не какой-нибудь захудалый торговец с улицы Сены, из тех, чьи лавчонки вот-вот прогорят и закроются. Мейерхейм — владелец отличного выставочного зала на имущем берегу Сены и пользуется всемирной известностью. Художник, которого он пригрел, находится на верном пути к успеху.

— Мосье Ашиль привел его посмотреть мои работы, и он нашел, что я очень талантлива.

— A d'autres, ma vieille, — сказал я, что в переводе значит примерно: «Расскажи своей бабушке».

Она поглядела на меня и хихикнула.

— Я выхожу замуж.

— За Мейерхейма?

¹ А, это вы, мой друг. Входите, пожалуйста (фр.).

— Еще чего. — Она отложила палитру и кисти. — С утра работаю, можно и отдохнуть. Выпьем-ка мы с вами стаканчик порто, и я вам все расскажу.

Одна из мелких неприятностей парижской жизни состоит в том, что вам в любое время суток могут предложить стаканчик скверного портвейна. С этим нужно мириться. Сюзанна принесла бутылку и два стакана, налила и со вздохом облегчения опустилась на стул.

— Сколько часов простояла на ногах, а у меня ведь расширение вен, боли ужасные. Ну так вот. Жена мосье Ашиля в начале этого года умерла. Она была хорошая женщина и хорошая католичка, но женился он на ней не по любви, а из деловых соображений, и, хоть он очень ее уважал, сказать, что после ее смерти был безутешен, было бы преувеличением. Сын его женат и преуспевает в семейной фирме, а теперь и дочка сосватана за графа. Правда, бельгийского, но настоящего, без подделки, у него даже есть фамильный замок под Намюром. Мосье Ашиль говорит, что его покойная жена не захотела бы, чтобы из-за нее отложилось счастье двух любящих сердец, и, хоть они еще в трауре, свадьба состоится, как только будет улажена материальная сторона. Мосье Ашилю, конечно, будет скучно одному в их большущем доме в Лилле, ему нужна женщина — не только чтобы о нем заботиться, но и вести весь дом, как того требует его положение. Короче говоря, он попросил меня занять место его покойной жены и выразился так умно: «В первый раз я женился, чтобы покончить с конкуренцией между двумя фирмами, и не жалею об этом; но не вижу, почему бы во второй раз мне не жениться для собственного удовольствия».

— Позвольте вас поздравить, — сказал я.

— Мне, конечно, будет не доставать моей свободы. Я ее очень ценю. Но нужно думать о будущем. Скажу вам по секрету, мне ведь пошел пятый десяток. Мосье Ашиль сейчас в опасном возрасте: вдруг ему взбредет в голову увлечься двадцатилетней девчонкой, что я тогда буду делать? И о дочке подумать надо. Ей шестнадцать лет, она все хорошеет, вылитый отец. Я дала ей неплохое образование. Но что пользы отрицать факты, когда они так очевидны? У нее нет ни таланта, чтобы стать актрисой, ни темперамента, чтобы стать шлюхой, как ее бедная мать. Так я вас спрашиваю, на что она может рассчитывать? Место секретарши,

работа на почте? А мосье Ашиль великодушно согласился, чтобы она жила с нами, и обещал дать за ней хорошее приданое, так что приличное замужество ей обеспечено. Поверьте мне, милый друг, что бы там ни говорили, а для женщины нет лучшей профессии, чем замужество. Раз дело шло о счастье моей дочери, я просто не могла не принять такое предложение, пусть и предстоит поступиться кое-какими радостями (впрочем, с годами они все равно становились бы все менее доступны), потому что, имейте в виду, когда я выйду замуж, я намерена стать жутко добродетельной, — долгий опыт убедил меня в том, что основой счастливого брака может быть только абсолютная верность с обеих сторон.

— В высшей степени нравственная позиция, моя прелесть, — сказал я. — А как мосье Ашиль, будет по-прежнему раз в две недели ездить в Париж по делам?

— О-ля-ля, за кого вы меня принимаете, дружок? Когда мосье Ашиль попросил моей руки, я ему сразу сказала: «Имейте в виду, мой дорогой, когда вы будете ездить в Париж на заседания правления, я буду вас сопровождать. Одного я вас сюда не пушу, так и знайте». А он говорит: «Вы же не воображаете, что я способен на какие-нибудь глупости». «Мосье Ашиль, — сказала я ему, — вы мужчина в расцвете сил, и кому как не мне знать, что у вас очень страстный темперамент. У вас есть все, чем может плениться женщина. Словом, по-моему, вам лучше не подвергаться соблазнам». В конце концов он согласился уступить свое место в правлении сыну, теперь тот будет вместо него приезжать в Париж. Мосье Ашиль притворился, что считает мое требование неразумным, но на самом деле он был страшно польщен. — Сюзанна удовлетворенно вздохнула. — Если бы не безграничное тщеславие мужчин, нам, бедным женщинам, жилось бы еще труднее.

— Все это так, но какое отношение это имеет к вашей персональной выставке у Мейерхейма?

— Мой бедный друг, вы сегодня что-то плохо соображаете. Я же вам годами внушаю, что мосье Ашиль очень умен. Он должен думать о своем положении, а люди в Лилле всегда норовят осудить человека. Мосье Ашиль желает, чтобы я заняла в тамошнем обществе место, подобающее жене столь значительного лица. А вы же знаете этих провинциалов — обожают совать свой длинный нос в чужие

дела, они же первым делом спросят: Сюзанна Рувье? А кто она такая? Так вот, ответ им будет готов. Она — та известная художница, чья выставка, состоявшаяся недавно в галерее Мейерхейма, удостоилась таких громких и заслуженных похвал. «Мадам Сюзанна Рувье, вдова офицера колониальной пехоты, с мужеством, характерным для истой француженки, в течение нескольких лет содержала своим талантом себя и свою прелестную дочь, безвременно лишившуюся отцовской заботы, и мы счастливы сообщить, что в скором времени широкая публика получит возможность оценить ее тонкое искусство и уверенную технику в галерее безошибочного знатока мосье Мейерхейма».

— Это что за галиматья? — спросил я.

— Это, мой дорогой, реклама, которую авансом организует мосье Ашиль. Она появится во всех крупных газетах Франции. Он проявил небывалое великодушие. Мейерхейм запросил безбожную цену, но мосье Ашиль согласился, словно речь шла о сущих пустяках. На предварительном просмотре будет шампанское, а откроет выставку сам министр изящных искусств — он кое-чем обязан мосье Ашилю — и произнесет очень красивую речь, в которой будет превозносить мои женские добродетели и художественный талант, а под конец сообщит, что государство, почитающее своим приятным долгом награждать достойных, приобрело одну из моих картин для Национального собрания. Там будет весь Париж, а критиков Мейерхейм взял на себя. Он гарантирует, что их отзывы будут не только благоприятные, но и достаточно длинные. Они, бедняги, так мало зарабатывают, это чистая благотворительность — дать им немножко подработать на стороне.

— Все это вы заслужили, дорогая. Вы всегда были большой молодец.

— Et ta soeur, — ответила она, что уже совсем непереводаимо. — Но это еще не все. Мосье Ашиль купил на мое имя виллу в Сен-Рафаэле, на берегу моря, так что в лильском обществе я займу место не только как известная художница, но и как женщина с капиталом. Через два-три года он удалится от дел, и мы будем жить на Ривьере, как благородные. Пока я буду поглощена искусством, он сможет кататься на лодке и ловить креветок. А теперь я покажу вам мои картины.

Сюзанна занималась живописью уже несколько лет, по очереди подражала манере целого ряда своих любовников

и выработала-таки свой собственный стиль. Рисовала она по-прежнему плохо, но чувство цвета у нее заметно развилось. Она показала мне пейзажи, которые написала, когда гостила у своей матери в Анжу, уголки Версальского сада и леса Фонтенбло, уличные сценки, привлечшие ее внимание в парижских предместьях. Это была живопись воздушная и невещественная, но в ней была прелесть полевого цветка и даже какая-то небрежная грация. Одна картина понравилась мне больше других и, чтобы сделать приятное Сюзанне, я выразил желание купить ее. Не помню уж, как она называлась, — не то «Поляна в лесу», не то «Белый шарф», я и по сей день этого не выяснил. Я спросил, сколько она стоит, цена оказалась сходная, и я сказал, что возьму ее.

— Вы ангел! — воскликнула Сюзанна. — Вот у меня и почин есть. Конечно, получить ее вы сможете только после выставки, но я прослежу, чтобы в газетах упомянули, что ее купили вы. В конце концов, вам лишняя реклама тоже не повредит. Я рада, что вы выбрали именно эту вещь, я считаю ее одной из своих лучших работ. — Она взяла зеркало и, прищурившись, посмотрела, как картина в нем отражается. — В ней есть шарм, — сказала она, — это уж точно. Взять хотя бы зеленые тона — какие они сочные и вместе с тем нежные! А это белое пятно в центре — подлинная находка. Оно придает композиционное единство всей картине. Да, тут виден талант, что и говорить, настоящий талант.

Я убедился, что она уже перешагнула грань, отделяющую любителей от профессионалов.

— Ну, а теперь, дружок, посплетничали, и хватит. Мне надо работать.

— А мне пора уходить, — сказал я.

— Кстати, где этот бедный Ларри, все там, у краснокожих?

Так непочтительно она имела обыкновение именовать обитателей Страны Господа Бога.

— Насколько я знаю, да.

— Нелегко ему, наверно, там приходится, ведь он такой милый, мягкий. Если верить кино, жизнь там страшная — гангстеры, ковбои, мексиканцы. Правда, как мужчины эти ковбои даже довольно привлекательны. О-ля-ля! Но в Нью-Йорке, говорят, опасно ходить по улицам без револьвера.

Она вышла со мной в переднюю и поцеловала в обе щеки.

— Мы с вами хорошо проводили время. Не поминайте лихом.

VI

Вот и конец моей повести. О Ларри я с тех пор ничего не слышал, да и не ожидал услышать. Поскольку он обычно выполнял свои намерения, вполне возможно, что, вернувшись в Америку, он поступил работать в гараж, а потом водил грузовик, пока не узнал получше родную страну, из которой отлучался на такой долгий срок. А тогда он вполне мог выполнить и свою фантастическую затею — стать шофером такси; правда, то была всего лишь шальная мысль, в шутку брошенная на столик в ночном ресторане, но я не слишком удивился бы, узнав, что он привел ее в исполнение; во всяком случае, сядя в Нью-Йорке в такси, я всякий раз заглядывал в лицо шоферу — а не глянут ли на меня в ответ глубоко посаженные глаза Ларри с затаившейся в них улыбкой? Этого не случилось. Началась война. В авиацию он уже не годился по возрасту, но, возможно, он опять водит грузовик на родине или за морем, а возможно, работает на заводе. Мне хочется думать, что в свободное время он пишет книгу, в которой пытается рассказать обо всем, чему научила его жизнь и чем он хочет поделиться с другими, но если такая книга и начата, конца ей не видно. Время у него, впрочем, есть, ибо прожитые годы не оставили на нем следа и он по-прежнему молод душой и телом.

Он не честолюбив, не гонится за славой; перспектива стать «деятелем» была бы ему глубоко противна; возможно, он и не желает большего, чем жить той жизнью, какую выбрал, и просто оставаться самим собой. Он слишком скромнен, чтобы ставить себя кому-то в пример, но, возможно, надеется, что несколько мятущихся душ, привлеченных к нему, как бабочки к свету свечи, разделят его веру в то, что подлинное удовлетворение может дать только жизнь духа, и еще что, следуя кротко и бескорыстно по пути к совершенству, он будет тем самым служить людям не хуже, чем если бы писал книги или проповедовал перед тысячными толпами.

Однако все это домислы. Сам я «из праха земного»; я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека, но не могу поставить себя на его место и проникнуть в тайники его души, что мне как будто удалось иногда с людьми более заурядными. Ларри, как и

хотел, растворился — его поглотил тот бурный человеческий конгломерат, то скопище людей, раздираемых противоречивыми интересами, заблудившихся в мировом хаосе, тяготеющих к добру, внешне так уверенных в себе, а внутренне таких растерянных, таких добрых и жестоких, доверчивых и опасливых, скупых и великодушных, которое зовется населением Соединенных Штатов. Мне больше нечего о нем сказать. Я понимаю, как это огорчительно, но что поделаешь. Однако, заканчивая эту книгу с неприятным сознанием, что оставил читателей в неведении, и не зная, как поправить дело, я оглянулся на свое длинное повествование в надежде найти хоть какой-то способ закончить его не столь огорчительно и, к величайшему своему изумлению, убедился, что совершенно неумышленно написал не что иное, как историю со счастливой развязкой. Ведь все мои персонажи, оказывается, обрели то, к чему стремились: Эллиот — доступ в высокие сферы; Изабелла — прочное положение в культурном и деятельном общественном кругу, подкрепленное солидным капиталом; Грэй — постоянное прибыльное дело и к тому же контору, где проводит время от девяти до шести часов; Сюзанна Рувье — уверенность в завтрашнем дне; Софи — смерть, а Ларри — счастье. И пусть надменно брюзжат просвещенные критики; мы-то, читающая публика, все в глубине души любим истории с хорошим концом, так что моя развязка, пожалуй, не так уж и огорчительна.

НА КИТАЙСКОЙ ШИРМЕ



I. ЗАНАВЕС ПОДНИМАЕТСЯ

И вот перед вами убогий ряд лачужек, которые тянутся до городских ворот. Глинобитные хижинки, такие обветшалые, что кажется, подуи ветер, и они прахом рассыплются по пыльной земле, из которой были слеплены. Мимо, осторожно ступая, проходит вереница тяжело нагруженных верблюдов. Они брезгливо высокомерны, точно нажившиеся спекулянты, которые проездом оказались в мире, где очень и очень многие не так богаты, как они. У ворот собирается кучка людей, чья синяя одежда давно превратилась в лохмотья, — и бросается враспынную, потому что к воротам на низкорослой монгольской лошади галопом подлетает юноша в остроконечной шапке. Орава ребятишек преследует хромую собаку, они бросают в нее комья сухой глины. Два дородных господина в длинных черных одеяниях из фигурного шелка и шелковых безрукавках беседуют друг с другом. Каждый держит палочку — а на палочке сидит привязанная за ногу птичка. Оба вынесли своих любимиц подышать свежим воздухом и дружески сравнивают их достоинства. Иногда птички вспархивают, летят, пока не натянется шнурочек, и быстро возвращаются на свои палочки. Два почтенных китайца, улыбаясь, ласково смотрят на них. Грубые мальчишки пронзительными голосами выкрикивают по адресу чужеземца что-то презрительное. Городская стена, осыпающаяся, древняя, зубчатая, приводит на память старинный рисунок городской стены какого-нибудь палестинского города времен крестоносцев.

За воротами вы попадаете в узкую улицу, по сторонам которой теснятся лавки — многие, с изящными решетками, алыми с золотом, покрытыми прихотливой резьбой, несут особую печать бывшего великолепия, и кажется, будто в их темных нишах продается все разнообразие невиданных товаров сказочного Востока. Поток прохожих катится по

узкому неровному тротуару и по вдавленной мостовой, и кули, сгибаясь под тяжелой ношей, короткими резкими окриками требуют, чтобы им уступили дорогу. Лоточники гортанно выкликают свои товары.

И тут появляется пекинская повозка, запряженная неторопливо шагающим ухоженным мулом. Ярко-синий навес, огромные колеса усажены шляпками гвоздей. Возница, болтая ногами, сидит на оглобле. Сейчас вечер, и красное солнце закатывается за желтую остроконечную фантастичную крышу храма. Пекинская повозка бесшумно проезжает мимо, передняя занавеска задернута, и хочется узнать, кто сидит за ней, поджав под себя ноги. Может быть, ученый, знающий наизусть все труды классиков, отправился навесить друга и будет обмениваться с ним замысловатыми приветствиями и беседовать о золотом времени Танской и Сунской династий, которые уже никогда не возвратятся. А может быть, это певица в роскошных шелках, в богато вышитой кофте, с нефритовыми булавками в черных волосах приглашена на пирушку, где споет песенку и будет обмениваться изящными шутками с молодыми повесами, достаточно образованными, чтобы оценить тонкое остроумие. Пекинская повозка скрывается в сгущающихся сумерках, словно нагруженная всеми тайнами Востока.

II. ГОСТИНАЯ МИЛЕДИ

— Нет, право, я думаю, что-то из этого сделать все-таки можно, — сказала она.

Она посмотрела вокруг энергичным взглядом, и в ее глазах просиял свет творческого вдохновения.

Это был старинный храм, маленький городской храм — она его купила и теперь превращала в жилой дом. Триста лет назад храм воздвигли для очень святого монаха его поклонники, и здесь он провел закат своих дней в великом благочестии, всячески умерщвляя плоть. И еще долго память о его добродетели привлекала сюда верных, но время шло, пожертвований становилось все меньше, и в конце концов еще поддерживавшие храм два-три монаха вынуждены были его покинуть. Он носил следы непогоды, а зеленая черепица крыши поросла бурьяном. Пересеченный балками потолок с поблекшими золотыми драконами на поблекшем красном фоне все еще был прекрасен, но ей темные потолки не

нравились, а потому она затянула его холстом и заклеила обоями. Ради света и воздуха она прорубила в стенах два больших окна. Как удачно, что у нее нашлись голубые занавески как раз нужного размера. Голубой — ее любимый цвет, он подчеркивает цвет ее глаз. Столбы, величавые крепкие красные столбы действовали на нее угнетающе, но она обклеила их ужасно милыми обоями, в которых не было ничего китайского. Очень удачно получилось и с обоями, которыми она обклеила стены. Куплены они были в туземной лавочке, но практически не отличались от сандерсоновских — в такую веселенькую розовую полосочку, что комната сразу стала уютной. В глубине была ниша, где некогда стоял лакированный стол, а за ним статуя Будды, вечно предающегося медитации. Здесь поколения верующих жгли свои свечи и возносили молитвы — кто о преходящих благах, кто об освобождении от постоянно возвращающегося бремени земных жизней, — ей же эта ниша показалась просто созданной для американской печки. Ковер она была вынуждена купить в Китае, но сумела выбрать такой, что его просто не отличить от аксминстерского. Разумеется, он ручной выделки, а потому не так ровен, как подлинно английский, но все-таки вполне приличная замена. Ей удалось купить маленький гарнитур у атташе, которого перевели в Рим, и она выписала из Шанхая прелестный светлый ситчик на чехлы. К счастью, у нее было много картин — главным образом свадебные подарки, но некоторые она купила сама, потому что натура у нее художественная, и они так мило украсили комнату. Ей понадобилась ширма, и ничего не поделаешь, пришлось купить китайскую, однако, как она остроумно заметила, ведь и в Англии вполне можно поставить у себя китайскую ширму. У нее было множество фотографий в серебряных рамках, в том числе принцессы Шлезвиг-Гольштейнской, и еще — шведской королевы, и обе подписанные: их она поставила на рояль, потому что они придавали комнате домашний вид. И, завершив свои труды, она с удовлетворением обозрела их результаты.

— Разумеется, на лондонскую гостиную это не очень похоже, — сказала она. — Но такая гостиная вполне может быть в каком-нибудь милом английском городке. Челтнеме, например, или в Танбридж-Уэлсе.

III. МОНГОЛЬСКИЙ ВОЖДЬ

Одному небу известно, из какой дали он прибыл. Он спу-
скался верхом по петляющей тропе с высокого монгольско-
го плато, где повсюду по сторонам непроходимой стеной
вставали бесплодные каменные неприступные горы; он
спускался мимо храма, стерегущего перевал, и наконец
достиг древнего речного ложа — ворот Китая. Их окаймляли
предгорья, сверкавшие под утренним солнцем, иссеченные
черными тенями: за многие века бесчисленные путники,
конники и караваны превратили это каменистое дно в по-
добие дороги. Воздух был холодным и чистым, небо голубым.
Здесь круглый год двигался нескончаемый поток: верблюды,
везущие плиточный чай в Ургу, до которой семьсот миль,
а оттуда — в Сибирь; вереницы фургонов, влекаемые мирны-
ми волами; запряженные крепкими лошадами небольшие
повозки, группами по две-три. А навстречу в Китай тоже
верблюды, везущие шкуры на пекинские базары, и длинные
процессии фургонов. Иногда по дороге гнали табун, иногда
козье стадо. Но его глаза ни на чем не задерживались, он,
казалось, не замечал, что на перевале он не один. Его со-
провождали челядинцы, шестеро или семеро, надо при-
знаться, довольно оборванные, на жалких клячах, но очень
воинственные с виду. Они трусили по дороге беспорядочной
кучкой. На нем была черная шелковая куртка и черные шел-
ковые штаны, заправленные в высокие сапоги с задран-
ными носками, а голову венчала высокая соболья шапка,
обычная в его родном крае. Сидел он в седле очень прямо,
гордо опережая свою свиту на несколько шагов. И, глядя,
как он едет, высоко держа голову с неподвижными глаза-
ми, ты спрашивал себя, о чем он думает — не о том ли,
как в былые дни его предки скакали через этот перевал,
скакали вниз на плодородные равнины Китая, где богатые
города сулили им сказочную добычу.

IV. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Я узнал его поразительную историю до того, как позна-
комился с ним, и ожидал кого-то, ничем не похожего на
других. Мне казалось, что необычность пережитого не мог-
ла не наложить отпечатка необычности на весь его облик.
Но увидел я человека, в чьей внешности не было ничего

примечательного. Ниже среднего роста, тщедушный, загорелый, с уже седеющими волосами, хотя ему еще не было тридцати, и с карими глазами. Он ничем не выделялся среди десятков ему подобных, и запомнить его с первой встречи было бы трудно. Если бы вы увидели его за прилавком большого магазина или на табурете в маклерской конторе, то решили бы, что он как раз на своем месте, — да только вы его попросту не заметили бы, как не замечаете прилавков и табуретов. В нем ничто не привлекало внимания — до такой степени, что это само по себе становилось интригующим: лицо, лишенное малейшей значительности, напоминало вам глухую стену дворца времен Маньчжурской династии где-нибудь в убогом переулке, за которой, как вам известно, прячутся расписные дворики, резные драконы и бог знает какие сложные и тайные интриги.

Ибо замечательным был весь его путь. Сын ветеринара, он начал самостоятельную жизнь в Лондоне судебным репортером, потом устроился стюардом на торговое судно, шедшее в Буэнос-Айрес. Там он сбежал и, берясь то за ту, то за другую работу, пересек Южную Америку. Из какого-то чилийского порта он добрался до Маркизских островов, где полгода существовал на щедроты туземцев, всегда готовых оказать гостеприимство белому, а затем, умолив владельца шхуны взять его до Таити, отплыл в Амои вторым помощником на старой лохани, доставившей китайских чернорабочих на острова Товарищества.

Это было за девять лет до моего знакомства с ним, и с тех пор он жил в Китае. Сначала он устроился в Англо-Американскую табачную компанию, но года через два заскучал и, подучившись за это время языку, перешел в фирму, торговавшую патентованными лекарствами по всей стране. Три года он блуждал из провинции в провинцию, продавая пилюли, и к концу этого срока скопил восемьсот долларов. Вновь он бросил работу.

И тут начались самые замечательные его приключения. Переодевшись бедняком китайцем, он отправился из Пекина путешествовать по стране со спальней циновкой, обкуренной китайской трубкой и зубной щеткой. Он останавливался в придорожных харчевнях, спал на канах бок о бок с другими путниками и ел китайскую пищу. Это само по себе было уже немалым подвигом. Поездами он почти не пользовался, а больше шел пешком, ехал на повозке,

плыл в джонке. Он оставил позади Шеньси и Шаньси, он прошел пешком плоскогорья Монголии и рисковал жизнью в диком Туркестане. Он прожил долгие недели с кочевниками пустыни и путешествовал с караванами, которые везли плиточный чай через безводные просторы Гоби. В конце концов, истратив свой последний доллар, он вернулся в Пекин.

И занялся поисками работы. Легче всего, как будто, было бы писать, и редактор одной из газет, выходивших на английском языке, предложил напечатать серию статей о его странствованиях. Казалось бы, единственной трудностью было решить, на чем из обилия накопленных богатств остановить выбор. Он был осведомлен в том, чего, возможно, кроме него, не знал ни один англичанин. Он видел и испытал столько необычного, потрясающего, страшного, смешного, неожиданного. И он написал двадцать четыре статьи. Я не хочу сказать, что они были неудобочитаемыми, — нет, в них нашла выражение точная и благожелательная наблюдательность, но подано все было в полнейшем беспорядке. Это был сырой материал, а не искусство. Статьи напоминали каталоги фирм, торгующих по почте: для человека с воображением они были залежами золота, то есть сырьем для литературы, а не самой литературой. Он был натуралистом, который терпеливо собирает огромное множество фактов, но не обладает даром обобщения — и они остаются просто разрозненными фактами, ждущими, чтобы их синтезировали более могучие умы. Собирал он не растения, не животных, а людей. Коллекция его не имела себе равных, но ориентировался он в ней плохо.

Когда я познакомился с ним, то попытался понять, как на него повлияло то, что ему довелось пережить, но хотя он помнил массу интересных происшествий, был добродушен, мил и охотно со множеством подробностей рассказывал о своих приключениях, ни одно из них, насколько я мог заметить, не затронуло его глубоко. Инстинктивная потребность поступать своеобразно, как он поступал, показывала, что есть в нем жилка своеобразия. Цивилизованный мир его раздражал, и у него была страсть ходить нехоженными путями. Диковинки, припасенные жизнью, его развлекали. Его снедало неутолимое любопытство. Но, по-моему, это все был плотский опыт, не преобразовавшийся в опыт духа. Вот почему, возможно, вы чувствовали, что, в сущности,

он незначителен. Заурядность его внешности была верным отражением заурядности его души. За глухой стеной была пустота.

V. МИНИСТР

Он принял меня в длинной комнате, выходившей в сад с песчаной почвой. Розы на искривленных кустах засохли, а старые величавые деревья стояли поникшие. Он усадил меня на квадратный табурет у квадратного стола и сел напротив меня. Бой подал чашки с цветочным чаем и американские сигареты. Он был худым, среднего роста, с худыми изящными руками и смотрел на меня сквозь очки в золотой оправе большими, темными, печальными глазами. Он походил на философа или мечтателя. Улыбка у него была очень ласковая. Одет он был в длинное одеяние из коричневого шелка и короткую кофту из черного шелка, а на голове у него была круглая шляпа.

— Не странно ли, — сказал он со своей обаятельной улыбкой, — что мы, китайцы, носим такую одежду, потому что триста лет назад маньчжуры были конниками?

— Но куда более странно, — возразил я, — что ваше превосходительство носит котелок, потому что англичане победили при Ватерлоо.

— Вы полагаете, я ношу его поэтому?

— Могу без труда доказать.

Опасаясь, что его изысканная учтивость не позволит ему спросить, как именно, я поспешил объяснить в нескольких красноречивых словах.

Он снял свою шляпу и поглядел на нее с легчайшим вздохом. Я осмотрел комнату. Ковер был брюссельский, зеленый с большими цветами, а по стенам стояли резные стулья из черного дерева. С реек свисали свитки с письмами великих мастеров прошлого и — для разнообразия — картины маслом в ярких золоченых рамах, которые в девяностых годах прошлого века вполне можно было увидеть на выставках Королевской академии художеств. Работал министр за американским бюро с выпуклой крышкой.

Он печально беседовал со мной о положении Китая. Древнейшая цивилизация, какие только знал мир, теперь безжалостно сметается прочь. Студенты, возвращающиеся из Европы и Америки, сокрушают то, что с любовью

воздвигали бесчисленные поколения их предков, и ничего не создают взамен. Им неведомы ни любовь к отчизне, ни религия, ни почтение перед прошлым. Храмы, покинутые верующими и священнослужителями, ветшают, и скоро их красота превратится в воспоминание.

Но затем красноречивым жестом худой аристократической руки он отодвинул эту тему и спросил, не хочу ли я посмотреть принадлежащие ему предметы искусства. Мы обходили комнату, и он показывал мне бесценный фарфор, бронзу, статуэтки эпохи Танской династии. Лошадь из гробницы в Хонане дышала изысканной грацией греческих скульптур. На большом столе возле бюро покоились свитки. Он выбрал один и, держа за верх, позволил мне развернуть его. Это была картина эпохи какой-то ранней династии — горы, проглядывающие сквозь кружево облаков, и он улыбающимися глазами смотрел, с каким восторгом я гляжу на нее. Потом картина была свернута, а он показал мне другую. И еще одну, и еще. Вскоре я выразил сожаление, что отнимаю столько времени у столь занятого человека, но он не желал меня отпускать. И развешивал картину за картиной. Он был истинным знатоком и с наслаждением называл школы и эпохи, к которым они принадлежали, и рассказывал интересные истории об их творцах.

— Боюсь, я не уверен, что вам дано оценить драгоценнейшие мои сокровища, — сказал он, указывая на свитки, украшавшие его стены. — Это образчики несравненной каллиграфии Китая.

— Они вам нравятся больше картин? — спросил я.

— Несравнимо больше. Их красота более целомудренна. В них нет ни малейшей фальши. Но я могу понять, почему европейцу нелегко воспринимать столь строгое и столь тонкое искусство. Мне кажется, в китайских шедеврах вам более по вкусу гротесковость.

Он достал альбом, и я пролистал его. Чудесные вещи! С театральным инстинктом коллекционера самый дорогой ему альбом он приберег напоследок. В нем были серии птиц и цветов, нарисованных эскизно, тремя-четырьмя штрихами, но с такой выразительностью, с таким чувством природы и с такой улыбочатой нежностью, что дух захватывало. Веточки цветущей сливы, воплотившие в своей изящной свежести всю магию весны, пичужки, чьи нахохленные

перышки хранили биение и трепет жизни. Это была работа великого художника.

— Сотворят ли американские студенты хоть когда-нибудь нечто сравнимое? — спросил он с грустной улыбкой.

Однако самое упоительное для меня заключалось в том, что я каждую минуту помнил, что он — отпетый негодяй. Продажный, бездарный, бессовестный, он ничему не позволял встать у себя на пути. Он был великим мастером шантажа и умел выжимать последнее. Он нажил огромное богатство самыми гнусными способами. Он был бесчестным, жестоким, мстительным и алчным. И бесспорно, вложил свою лепту в доведение Китая до состояния, которое столь искренне оплакивал. Но когда он держал в руке миниатюрную вазу цвета ляпис-лазури, его пальцы словно обволакивали ее с чарующей нежностью, взгляд его печальных глаз ласкал ее, а губы были открыты почти влюбленно.

VI. ЗВАННЫЕ ОБЕДЫ

1. В СТЕНАХ ПОСОЛЬСТВА

Доложили о швейцарском директоре Сино-Аргентинского банка. Он вошел с крупной красавицей супругой, которая демонстрировала свои пышные прелести так щедро, что становилось страшновато. Ходили слухи, что она была кокеткой, и английская девица в годах (розовато-оранжевый атлас и бусы), которая приехала рано, приветствовала ее ледяной узкогубой улыбкой. Гватемальский посланник и черногорский атташе вошли вместе. Атташе пребывал в чрезвычайном волнении: он не понял, что это официальный прием, он думал, что его пригласили на обед *en petit comité*¹, и он не надел ордена. И вот — посланник Гватемалы в блеске всех своих звезд! Что ему делать? Смятение чувств, вызванное угрозой дипломатического инцидента, несколько рассеялось с появлением двух китайских слуг в длинных одеяниях и плоских квадратных шапочках; они держали подносы с коктейлями и закусками. Затем всплыла русская княгиня. У нее были белоснежные волосы, а черное шелковое платье закрывало даже шею. Она походила на героиню Викторьена Сарду, которая пережила мелодраматичные

¹ В дружеском кругу (*фр.*).

страсти своей юности и теперь вяжет крючком. Она невыносимо скучала, если вы заговаривали с ней о Толстом или Чехове, но оживлялась, чуть только начинала говорить о Джеке Лондоне. Она задала вопрос английской девице, на который девица, хотя и в годах, ответить никак не могла.

— Почему вы, англичане, — спросила она, — пишете такие глупые книги о России?

Но тут вошел первый секретарь английского посольства, придав своему появлению весомость исторического события. Он был очень высок, лысоват, но элегантен и одет с безупречной корректностью; его взгляд недоуменно обратился на ослепительные звезды гватемальского посланника. Черногогорский атташе, льстивший себя мыслью, что лучше него никто в дипломатическом корпусе не одевался, но не уверенный, что первый секретарь английского посольства разделяет его убеждение, порхнул к нему узнать его откровенное мнение о своей плоеной манишке. Англичанин вставил в глаз монокль в золотой оправе и несколько секунд рассматривал манишку с весьма серьезным видом, а затем сделал своему собеседнику сокрушающий комплимент.

К этому времени собрались все гости, кроме супруги французского военного атташе. Говорили, что она всегда опаздывает.

— Elle est insupportable¹, — сказала красивая супруга швейцарского банкира.

Наконец, великолепно игнорируя то обстоятельство, что ее тут ждут уже полчаса, она вступила в комнату. Очень высокая на своих немислимых каблуках, чрезвычайно худая, в платье, создававшем впечатление, что на ней вообще ничего нет. Волосы у нее были коротко подстриженные и золотые, и она была откровенно накрашена. Она выглядела Терпеливой Гризельдой в представлении постимпрессиониста. При каждом ее движении по воздуху разливались волны пряных ароматов. Она протянула гватемальскому посланнику для поцелуя унизанную кольцами исхудалую руку, двумя-тремя словами и улыбкой заставила жену банкира почувствовать себя провинциальной толстухой, чье время давно миновало; одарила рискованной шуткой английскую девицу, чье смущение, правда, смягчала мысль о том, что

¹ Она невыносима (фр.).

супруга французского военного атташе *très bien née*¹, и выпила один за другим три коктейля.

Подали обед. Разговор переходил с раскатистого звучного французского на неуверенный английский. Они говорили о посланнике, от которого только что пришло письмо из Бухареста — или Лимы. И о жене советника, которая находит жизнь в Христиании невыносимо скучной или в Вашингтоне — такой дорогой. В целом же для них не составляло большой разницы, в какой столице оказаться, поскольку существование они вели совершенно одинаковое и в Константинополе, и в Берне, и в Стокгольме, и в Пекине. Окопавшись за своими дипломатическими привилегиями, укрепляемые убеждением своей значимости, они обитали в мире, не знавшем Коперника, ибо для них солнце и звезды услужливо обращались вокруг нашей Земли, а они были ее центром. Никто не знал, каким образом тут очутилась английская девица, и супруга швейцарского банкира в доверительной беседе говорила, что она, конечно же, немецкая шпионка. Зато она была непререкаемым авторитетом во всем, что касалось Китая. Она сообщала вам, что у китайцев такие безупречные манеры, и, право же, очень жаль, что вы не знали вдовствующей императрицы — она была такая душечка! Вы прекрасно понимали, что в Константинополе она заверила бы вас, что турки — истинные джентльмены, а султанша Фатима — такая душечка и так изумительно говорит по-французски! Бездомная, она была дома везде, где имелось дипломатическое представительство ее страны.

Первый секретарь английского посольства находил общество довольно смешанным. Он говорил по-французски куда лучше всех когда-либо живших французов. Он был человеком со вкусом и обладал природным талантом всегда оказываться правым. Знаком он был только с людьми, достойными того, и читал только книги, достойные того; он восхищался только музыкой, достойной восхищения, и картины ему нравились, только достойные нравиться; одевался он у единственно возможного портного и рубашки покупал в единственно возможном магазине. Слушали вы его, все больше цепenea. И вскоре уже всем сердцем желали, чтобы он признался в слабости к чему-то хоть чуточку вульгарному, —

¹ Здесь: аристократического происхождения (*фр.*).

вам стало бы легче, если бы с дерзкой пристрастностью он заявил, что «Пробуждение души» — произведение искусства, а «Четки» — шедевр. Но вкус у него безупречный. Он само совершенство, и начинаешь побаиваться, а не известно ли это и ему — в покое его лицо становится таким, словно он влачит невыносимое бремя. Тут вы узнавали, что он пишет *vers libre*¹, и вздыхали свободнее.

2. В ОТКРЫТОМ ПОРТУ

Обед воскрешал роскошь, уже давно исчезнувшую из банкетных залов Англии. Стол красного дерева стонал под тяжестью серебра. В центре белоснежной дамасской скатерти лежала салфетка желтого шелка, какие вы волей-неволей покупали на благотворительных базарах чинных дней вашей юности, а на ней высилось массивное украшение литого серебра. Высокие хризантемы в высоких серебряных вазах заслоняли сидящих напротив вас, а высокие серебряные подсвечники попарно поднимали гордые головы по всей длине стола. К каждому блюду подавалось соответствующее вино: херес к супу, легкое белое к рыбе; и было два главных кушанья, белое и коричневое — без них заботливые хозяйки дома девяностых годов не мыслили званого обеда.

Беседа, пожалуй, была не столь разнообразной, так как хозяева и гости виделись друг с другом почти ежедневно на протяжении нестерпимо долгой череды лет и все судорожно хватались за любую тему для того лишь, чтобы она тут же иссякла и сменилась тяжелым молчанием. Они говорили о скачках, о гольфе, об охоте на птиц. Заговорить о чем-либо абстрактном было бы дурным тоном, политика же их захохотать не достигала. Китай им всем смертельно надоел, и говорить о нем они не хотели, да и знали ровно столько, сколько им требовалось для ведения своих дел, а на того, кто учил китайский язык, смотрели с подозрением. Зачем ему это, если он не миссионер и не секретарь по китайским делам в посольстве? За двадцать пять долларов в месяц можно нанять переводчика, а всем известно, что те, кого Китай интересуется сам по себе, мало-помалу свихиваются. Все они тут были людьми влиятельными. Первый номер «Джардайна» с супругой, и управляющий Гонконго-Шанхайского банка с супругой, и глава АПК с супругой,

¹ Свободный стих (*фр.*).

и глава БАТ с супругой, и глава Б. и С. с супругой. Вечерние костюмы они носили с какой-то неловкостью, словно надевали их из чувства долга перед родиной, а не потому, что так им было удобнее. Они пришли на этот обед потому, что им нечем было занять вечер, но, едва настанет минута, когда приличия позволяют откланяться, они тут же уйдут со вздохом облегчения. Все они надоели друг другу до смерти.

VII. АЛТАРЬ НЕБЕСАМ

Он воздвигнут под открытым небом — три круглые террасы из белого мрамора, поставленные друг на друга, куда поднимаются по четырем мраморным лестницам, смотрящим на восток, запад, юг и север. Он символизирует небесную сферу и четыре стороны света. Его окружает большой парк, а парк окружает высокая стена. И сюда год из года в ночь перед зимним солнцестоянием являлся Сын Неба, чтобы торжественно поклониться своему родоначальнику. В сопровождении князей, знатнейших вельмож и стражи император, очищенный постом, подходил к алтарю. А там его ждали князья, и министры, и мандарины, и те, кто танцует священные танцы. В скудном свете огромных факелов церемониальные одежды поражали темным великолепием. И перед табличкой с начертанными на ней словами: «Императорские Небеса — Верховный Император», — он возлагал курения и шелк, мясной бульон и рисовую водку. Он преклонял колени и девять раз бил лбом по мраморной плите.

И здесь, на том самом месте, где склонял колени вице-правитель Небес и Земли, Уиллард В. Антермейер четко и размашисто написал свою фамилию, а также штат и город, откуда приехал: Гастингс, Небраска. Вот так он попытался присоединить свою преходящую личность к воспоминаниям о величии, смутные слухи о котором, вероятно, достигли и его. Он решил, что теперь люди запомнят его именно таким, когда его не станет. Пошленьким способом он замахнулся на бессмертие. Но тщетны надежды людские. Ибо не успел он небрежной походкой спуститься по лестнице, как китайский служитель, который стоял у парапета, лениво глядя в синее небо, подошел, метко плюнул на место, где расписался Уиллард В. Антермейер, и подошвой растер плевков по фамилии. Через десять секунд не осталось никаких

воспоминаний о том, что здесь побывал Уиллард В. Антермейер.

VIII. СЛУЖИТЕЛИ БОЖЬИ

Они сидели бок о бок, два миссионера, и разговаривали о пустяках, как разговаривают люди, когда хотят быть вежливыми, но между ними нет ничего общего; и они удивились бы, если бы им сказали, что одно чудесное общее между ними есть — подлинная добродетельность, ибо у обоих было и еще одно общее — смирение, хотя, пожалуй, у англичанина оно было сознательным, а потому и более заметным, и менее естественным, чем у француза. В остальном же контраст между ними доходил до смешного. Французу было без малого восемьдесят, но годы не сгорбили его высокую фигуру, а крупные кости свидетельствовали, что в молодости он отличался незаурядной силой. Но теперь ее след остался только в его глазах, таких больших, что не заметить их особого выражения было невозможно, и пылающих огнем. Это определение часто прилагается к глазам, но, по-моему, только у него мне довелось увидеть такое полное соответствие слов и реальности. В них действительно горело пламя, и они, казалось, излучали свет. В них была необузданность, плохо сочетающаяся со святостью. Это были глаза библейского пророка. Нос у него был крупный и воинственный, подбородок крепкий и квадратный. Пренебрежения он к себе не вызывал никогда, но в расцвете сил, несомненно, внушал трепет. Быть может, пламя в его глазах говорило о давних битвах, бушевавших в глубинах его сердца. В них кричала его душа, побежденная, кровоточащая и все же торжествовавшая победу, и он радовался этой незаживающей ране, своей добровольной жертве Богу Всемогущему. Его старые кости мерзли, и он, точно солдат в плащ, кутался в меха, а на голове у него была шапка из китайского соболя. Он был великолепен. В Китае он прожил полвека и трижды бежал из своей миссии, спасая жизнь, когда на нее нападали китайцы.

— Надеюсь, больше они не нападут, — сказал он, улыбаясь. — Я ведь стал слишком стар для столь внезапных перемещений. — Он пожал плечами. — *Je serai martyr*¹.

¹ Стану мучеником (*фр.*).

Он раскурил большую черную сигару и начал ею попы- хивать с явным удовольствием.

Его собеседник был много моложе — лет пятидесяти, не больше, и в Китае пробыл не дольше двадцати лет. Он был членом миссии англиканской церкви и носил серый твидовый костюм с галстуком в горошек. Он старался как можно меньше походить на священника. Хотя он был несколько выше среднего роста, но настолько толст, что выглядел приземистым. У него было круглое добродушное лицо с румяными щеками и седыми усами, подстриженными «под зубную щетку». Он сильно облысел, но с простительным и трогательным тщеславием отрастил оставшиеся волосы с одной стороны так, чтобы их можно было зачесывать поперек плечи, внушая иллюзию — во всяком случае ему, — что его шевелюра не так уж и поредела. Он был общителен, и когда друзья его поддразнивали или он поддразнивал их, то от души разражался громовым, искренним и добрым хохотом. Юмор его был юмором школьника, и легко было вообразить, как сотрясалась бы вся его дородная фигура, поскользвшись кто-нибудь на апельсиновой корке. Но смех тут же оборвался бы и он покраснел бы, вдруг сообразив, что поскользнувшийся мог сильно ушибиться, и он уже был сама доброта и сочувствие. Невозможно было провести в его обществе десять минут и не убедиться в редкой мягкости его сердца. Вы чувствовали, что нет такого одолжения, которое он с радостью не оказал бы, и если на первых порах его благодушие, возможно, мешало вам обратиться к нему за духовной поддержкой, то во всех житейских делах вы могли твердо рассчитывать на его внимание, сочувствие и здравый смысл. Он принадлежал к людям, чей кошелек всегда открыт для неимущих и чье время всегда к услугам тех, кто может в нем нуждаться. И пожалуй, было бы несправедливо утверждать, будто в области духа его помощь оказалась бы неэффективной. Хотя он не мог, как старик француз, говорить с вами от имени Церкви, никогда не допускавшей сомнений, или с пламенной убедительностью аскета, он разделит бы ваше горе с искренней симпатией, утешил бы вас своей нерешительной мягкостью — не столько служитель Бога, сколько такой же, как вы, робкий и неуверенный в себе человек, ищущий поделиться с вами надеждой и утешением, укрепляющими его собственную душу, — так что и в нем вы могли обрести опору, пусть иную, но по-своему ничуть не хуже.

История его была несколько необычной. Начал он жизнь военным и любил поговорить о прежних днях, когда скакал за лисицей и танцевал без отдыха весь лондонский сезон. Болезненное раскаяние в былых грехах его не мучило.

— В молодости я был лихой танцор, — говорил он, — но нынче куда уж бы мне со всеми этими новомодными танцами.

Эта жизнь была прекрасна, пока продолжалась, но, хотя он о ней нисколько не сожалел, он ничуть себя за нее не осуждал. Глас ему был, когда он находился в Индии. Он точно не мог объяснить, как и почему это произошло, — просто вдруг возникло чувство, что с этих пор он должен посвятить себя обращению язычников в веру Христову. Побороть это чувство он не сумел, оно не давало ему ни минуты покоя. Теперь он был счастлив и получал радость от своего служения.

— Дело движется медленно, — говорил он, — но я замечаю обнадеживающие признаки, и я люблю китайцев. Свою жизнь здесь я не променяю ни на какую другую.

Миссионеры попросились.

— Когда вы возвращаетесь домой? — спросил англичанин.

— Моі¹ Дня через два.

— Ну, так мы теперь не скоро увидимся. Я еду домой в марте.

Но один говорил про китайский городок с узкими улочками, где он прожил пятьдесят лет: покинув в молодости Францию, он покинул ее навсегда, а второй говорил об елизаветинском господском доме в Чешире с его подстриженными газонами и старыми дубами, в котором его предки обитали триста лет.

IX. ГОСТИНИЦА

Кажется, темнота спустилась рано — вот уже час перед вашим креслом-носилками идет кули с фонарем. Фонарь отбрасывает бледный круг света, и на мгновение вы различаете неясное, как образ красоты, вдруг смутно возникающий из потока будней, то бамбуковую рощу, то мерцание воды рисового поля, то сгусток мрака — многоствольную

¹ Я? (фр.).

смоковницу. Порой навстречу проскальзывает припоздавший крестьянин с двумя тяжелыми корзинами на коромысле. Носильщики теперь идут медленнее, но за долгий день они не утратили бодрости и все еще весело болтают, смеются, а один вдруг затягивает протяжную песню и тут же ее обрывает. Но насыпная дорога становится заметно выше, фонарь внезапно освещает беленую стену — вы добрались до первых лачужек, которые тянутся вдоль дороги до городской стены, и через две-три минуты впереди возникают крутые ступеньки. Носильщики берут их с разбега. Вы минуете городские ворота. Узкие улочки запружены множеством прохожих, и лавки еще торгуют. Носильщики раздражаются хриплыми криками. Толпа расступается, и вы оказываетесь внутри двойной изгороди из прижатых друг к другу странных людей. Их лица непроницаемы, темные глаза полны таинственности. Носильщики, чьим дневным трудам близится конец, шагают широко и упруго. Внезапно они останавливаются, сворачивают вправо во двор: вы добрались до гостиницы. Кресло опущено на землю.

Гостиница — она состоит из длинного частично крытого двора, в который с обеих сторон открываются двери, — освещена тремя-четырьмя керосиновыми фонарями. Они тускло озаряют то, что возле них, но от этого окружающий мрак становится еще более густым. Передняя часть двора заставлена столиками, за ними теснятся люди, которые едят рис или пьют чай. Некоторые играют в неизвестные вам игры. У огромной печи, где в большом котле постоянно греется вода и варится рис в гигантской кастрюле, стоят слуги. Они проворно раздают внушительные миски с рисом и наполняют заварочные чайники, которые им непрерывно подносят. В стороне парочка голых кули, крепких, плотно сложенных и ловких, обливаются горячей водой. Вы проходите в конец двора, где, обращенная к входу, но укрытая от бесцеремонных глаз ширмой, расположена лучшая комната для постояльцев.

Это обширное помещение без окон, с земляным полом и высокое, поскольку потолком служит опирающаяся на стены крыша. Стены выбелены, но все бревна видны четко, и вам вспоминаются жилища сассекских фермеров. Мебель включает квадратный стол, пару деревянных кресел с прямой спинкой и три-четыре деревянных помоста, накрытые циновками, — на наименее грязном из них вы вскоре

расстелите свою постель. Плавающий в чашке с жиром фитилек питает крохотное пламя. Вам приносят ваш фонарь, и остается ждать, когда вам приготовят обед. Носильщики, освободившиеся от своей ноши, совсем развеселились. Они моют ноги, надевают чистые сандалии и закуривают длинные трубки.

Как драгоценна в такие минуты редкостная толщина вашей книги (вы путешествуете налегке и ограничили себя всего тремя) и с какой ревнивой бережливостью вы прочитываете каждое слово каждой страницы, чтобы елико возможно оттянуть грозный миг, когда вы достигнете конца! В эти минуты вы до глубины души благодарны творцам толстых томов, и, перелистывая страницы, прикидывая, насколько вам удастся их растянуть, вы жалеете, что книга не в полтора раза толще. Сейчас вас не манит прозрачная ясность стиля. Запутанная многоступенчатая фраза, которую требуется перечесть раза два, чтобы добраться до смысла, особенно приятна, а изобилие метафор, дающее богатую пищу фантазии, неисчислимые цитаты и намеки, дарящие радость узнавания, тут кажутся свойствами, которым нет цены. Если же вдобавок идеи раскрыты тщательно, но без излишней глубины (вы ведь были в дороге с рассвета и миль двадцать из сорока, а то и больше прошли пешком), эта книга именно то, что вам сейчас требуется.

Но внезапно шум в гостинице десятикратно усиливается, и, выглянув, вы видите, что прибыли еще путешественники — компания китайцев в креслах-носилках. Они занимают комнаты слева и справа от вашей, и до глубокой ночи сквозь тонкие стены до вас доносятся их голоса. Ваше тело блаженствует в постели, извлекая чувственное удовольствие из собственного утомления, а ваш взгляд отдыхает, лениво прослеживая замысловатый переплет окна над дверью. Бумага, которой оно затянуто, кое-где разорвана, и в прорехи проникает свет фонаря во дворе. На светлом фоне сложные переплетения решетки выглядят совсем черными. Наконец наступает тишина, только ваш сосед надрывно кашляет. Это характерные повторяющиеся приступы чахоточного кашля — слушая их всю ночь, вы думаете, что бедняге, наверное, уже недолго осталось. И наслаждаетесь собственным крепким здоровьем и силой. Тут громко кричит петух — словно над самым вашим ухом, а где-то неподалеку трубач извлекает из своей трубы долгий меланхоличный вопль.

Гостиница начинает просыпаться, зажигаются огни, и кули готовят свои ноши для наступающего дня.

Х. СЛАВНЫЙ УГОЛОК

Это как бы комнатуха в углу корабельной лавки, под самым потолком, куда поднимаются по лестнице, крутой, как корабельный трап. От лавки ее отделяет фанерная перегородка высотой около четырех футов, так что, сидя на деревянной скамье у стола, видишь внутренность лавки и все товары там — бухты канатов, клеенчатые плащи, тяжелые морские сапоги, фонари, окорока, консервы, всевозможные спиртные напитки, сувениры в подарок жене и детям, одежду и уж не знаю что. Во всяком случае, все, что может потребоваться иностранному судну в восточном порту. Наблюдаешь за продавцами-китайцами и покупателями — вид и у тех и у других таинственный, словно они заключают какие-то темные сделки. Видишь, кто входит в лавку, а поскольку это всегда добрый знакомый, приглашаешь его присоединиться к тебе в Славном Уголке. За широким входом видишь накаляемые солнцем плиты мостовой и трусящих мимо кули, горбящихся под тяжестью груза. Часов около трех-четырёх начинает собираться обычное общество: два-три лоцмана, капитан Томпсон и капитан Браун, старики, которые тридцать лет бороздили китайские моря, а теперь обрели теплые местечки на берегу, шкипер бродячего судна шанхайской приписки и тайпаны¹ двух-трех чайных фирм. Бой молча ждет распоряжений, приносит рюмки со спиртным и стаканчик с костями. Разговор вначале течет вяло. На днях затонуло судно, шедшее в Фучжоу, а Маклин, ну, этот механик Ань Чана, недавно сорвал хороший куш на каучуке, а супруга консула возвращается из Европы на «Эмпресс»; но к тому времени, когда стаканчик с костями обошел стол вкруговую и проигравший поставил подпись на чеке, рюмки пусты, и стаканчик с костями начинает второй круг. Бой приносит полные рюмки, языки этих медлительных упрямых мужчин чуть-чуть развязываются, и они начинают вспоминать прошлое. Один из лоцманов обосновался в этом порту без малого пятьдесят лет назад. Вот были дни!

¹ Китайское название главы торговой фирмы.

— Видели бы вы Славный Уголок тогда! — говорит он с улыбкой.

Это были дни чайных клиперов, когда в порту, ожидая груза, стояло тридцать или даже сорок судов. Тогда все купались в деньгах, а Славный Уголок был средоточием жизни порта. Когда вам требовалось срочно кого-нибудь отыскать, вы шли в Славный Уголок, и если не заставали его там, так он появлялся через несколько минут. Здесь торговые агенты договаривались со шкиперами, а у доктора не было особых часов приема: в полдень он направлялся в Славный Уголок и, если кому-то немогло, осматривал и лечил его прямо тут. Это были дни, когда люди умели пить. Приходили чуть ли не в полдень и пили до вечера. Бой приносил им перекусить, если им хотелось есть, и они пили всю ночь. В Славном Уголке приобретались и терялись целые состояния, потому что тогда они были настоящими игроками, и человек ставил на карту всю прибыль от плавания. Добрые были дни! Но теперь торговля замерла, чайные клиперы уже не выстраиваются в гавани, порт умер, а молососы из АПК или от Джардайна воротят носы от Славного Уголка. И пока старик лоцман говорил, в убогую комнатушку с ветхим столом словно на мгновение возвращались эти закаленные, бесшабашные, азартные шкиперы, принадлежащие времени, которое кончилось навсегда.

XI. СТРАХ

Путешествуя, я остановился у него на ночь. Миссия стояла на пологом холме у самых ворот многолюдного города. Первое, что мне бросилось в глаза, был его особый вкус. Как правило, дом миссионера обставлен с просто вызывающей пошлостью. Гостиная с ее нежилой атмосферой оклеена пестрыми обоями, а стены увешаны текстами из Святого Писания и гравюрами сентиментальных картин — «Пробуждение души» и «Доктор» Люка Филда. А еще, если миссионер живет в стране уже долго, то и поздравительные свитки на плотной красной бумаге. Брюссельский ковер на полу, качалка, если хозяин американец, и жесткие кресла по сторонам камина, если он англичанин. Диван, поставленный так, что на него нельзя сесть, хотя, судя по его зловещему виду, желающие все равно вряд ли нашлись бы. На окнах кружевные занавески. Кое-где столики, а на них

фотографии и безделушки из современного фарфора. У столовой вид несколько более жилой, но почти вся она занята огромным столом, и, садясь к нему, вы оказываетесь почти в камине. Однако в кабинете мистера Уингрува от пола до потолка громоздились книги, рабочий стол был завален бумагами, занавески были из плотной зеленой материи, а над камином висело тибетское знамя. На каминной доске стояли в ряд тибетские Будды.

— Не знаю почему, но возникает такое чувство, будто дышишь воздухом старинного университетского колледжа, — сказал я.

— Вы думаете? Одно время я преподавал в Ориэле, — ответил он.

На вид ему было под пятьдесят — высокий, упитанный, хотя не толстый, волосы с проседью коротко подстрижены, лицо красноватое. Казалось, перед вами добродушный человек, любитель от души посмеяться, приятный собеседник и добрый малый. Но вас смущали его глаза, не улыбочивые, почти угрюмые — для их выражения я нахожу только одно слово: затравленные. Я решил, что попал к нему в неудачный момент, когда его мысли были заняты каким-то неприятным делом, но почему-то мне казалось, что выражение это не преходящее, а постоянное, и я не мог этого понять. У него был тот тревожный вид, который сопутствует некоторым сердечным заболеваниям. Он поговорил о том о сем, а потом сказал:

— Я слышу, вернулась моя жена. Не пройти ли нам в гостиную?

Он проводил меня туда и представил миниатюрной худенькой женщине в очках с золотой оправой. Держалась она довольно неловко. Сразу бросалось в глаза, что происходит она из другого сословия, чем ее муж. По большей части миссионеры среди множества своих добродетелей не числят те, которые мы за неимением лучшего слова объединяем в понятии воспитанность. Пусть они святые, но джентльменов среди них мало. А тут я вдруг обнаружил, что мистер Уингров — джентльмен, и все потому, что его жена не была леди. Говорила она с вульгарными интонациями. Такой обстановки, как в их гостиной, ни в одном миссионерском доме мне видеть еще не доводилось. На полу лежал китайский ковер. На желтых стенах висели китайские картины, причем старинные. Две-три черепицы

эпохи Минской династии обеспечивали цветовой эффект. Посередине стоял резной стол черного дерева, а на нем — статуэтка из белого фарфора. Я произнес какую-то банальную фразу.

— Сама-то я эту китайщину не люблю, — энергично сказала хозяйка дома, — но мистер Уингров настаивает. Будь моя воля, я бы все тут повыбрасывала.

Я засмеялся — но не потому что мне стало смешно — и вдруг перехватил в глазах мистера Уингрува выражение ледяной ненависти. Я удивился. Но оно тут же исчезло.

— Если они вам не нравятся, моя дорогая, то мы обойдемся без них, — сказал он мягко. — Их можно вынести в кладовую. Да пусть их, если вам они не по вкусу.

Мы заговорили о моем путешествии, и я между прочим спросил мистера Уингрува, давно ли он был в Англии.

— Семнадцать лет назад, — ответил он.

Я удивился.

— Но мне казалось, каждые семь лет вы получаете годовой отпуск?

— Да, но я не поехал.

— Мистер Уингров думает, что взять и уехать на год значит повредить тутошней работе, — объяснила его жена. — Ну а я, куда же я без него поеду?

Я не понимал, каким образом он оказался в Китае. Конкретные подробности того, как человека вдруг призывает глас Божий, меня живо интересуют, и не так уж редко находятся люди, охотно об этом рассказывающие, хотя выводы свои делаешь не столько из самих слов, сколько из подтекста. Однако я не предполагал, что мистера Уингрува можно прямо или обиняком толкнуть на столь личную исповедь. Он, очевидно, относился к своей деятельности очень серьезно.

— А другие иностранцы здесь есть?

— Нет.

— Так вам, наверное, очень одиноко, — сказал я.

— Мне, пожалуй, так больше по душе, — ответил он, глядя на одну из картин. — Это ведь могут быть только дельцы, а вы знаете, — он улыбнулся, — они не слишком жалуют миссионеров. И они не настолько интеллектуальны, чтобы считать отсутствие их общества большой потерей.

— И конечно, нам вовсе не так уж одиноко, — сказала миссис Уингров. — У нас есть двое евангелистов. И еще две барышни, которые учат детей. Ну и сами дети.

Подали чай, и мы беседовали о том о сем. Впечатление было такое, что мистеру Уингруву было трудно говорить. Я все больше ощущал в нем подавленную тревогу. Манеры у него были приятные, и он, бесспорно, старался держаться любезно, но за всем этим пряталось усилие. Я перевел разговор на Оксфорд, упомянул моих друзей там, с которыми он мог быть знаком, однако поддержки у него не встретил.

— Я уехал так давно, — сказал он. — И ни с кем не поддерживал переписки. Подобная миссия требует многих забот и поглощает человека целиком.

Я решил, что он преувеличивает, а потому заметил:

— Ну, судя по количеству книг в вашем кабинете, какое-то время для чтения у вас все-таки остается.

— Я читаю очень редко, — ответил он отрывисто, не совсем своим голосом, как я уже понял.

Я недоумевал. В нем было что-то странное. В конце концов, как, вероятно, и следовало ожидать, он заговорил о Китае. Миссис Уингрув держалась о китайцах такого же мнения, какое мне высказывали уже столько миссионеров: они все лгуны, ненадежны, жестоки и нечистоплотны, однако на Востоке брезжит слабый свет. Хотя усилия миссионеров пока еще сколько-нибудь заметных плодов не приносят, будущее сулит надежду. Они больше не верят в своих прежних богов, и власть ученого сословия разрушена. Это была позиция недоверия и неприязни, подкрашенная оптимизмом. Но мистер Уингрув смягчил инвективы жены. Он подробно остановился на добром характере китайцев, на их почитании родителей и любви к своим детям.

— Мистер Уингрув слова дурного о китайцах слышать не желает, — сказала его жена. — Он их просто обожает.

— Я считаю, что они обладают многими благородными качествами, — ответил он. — Нельзя пройти по их кишащим людьми улицам и не убедиться в этом.

— Видно, мистер Уингрув запашков не замечает! — Его жена засмеялась.

Тут в дверь постучали, и вошла молодая женщина. На ней была длинная юбка, а ноги ее никогда не бинтовались — то есть она была христианкой с рождения. Выглядела она одновременно и заискивающей и угрюмой. Она что-то сказала миссис Уингрув. А я случайно взглянул на мистера Уингрува. При виде ее по его лицу скользнуло выражение глубочайшей физической брезгливости, оно сморщилось,

словно от тошнотворного запаха. Но выражение это тут же исчезло, и его губы сложились в приветливую улыбку. Но усилие оказалось слишком уж большим, и получилась болезненная гримаса. Я смотрел на него с изумлением. Миссис Уингров, извинившись, встала и вышла из комнаты.

— Это одна из наших учительниц, — произнес мистер Уингров тем же нарочитым голосом, на который я уже обратил внимание. — Ей нет цены. Я всецело на нее полагаюсь. У нее прекрасный характер.

И тут, сам не знаю почему, я отгадал правду: я увидел в его душе отвращение ко всему, что его воля требовала любить. Я испытал то жгучее волнение, какое, наверное, охватывало первопроходца, когда после трудного и опасного пути он оказывался в краях, сулящих много нового и неизведанного. Эти измученные глаза сами себя объясняли, и нарочитость голоса, и взвешенная сдержанность, с которой он хвалил, и выражение затравленности в глазах. Вопреки всему, что я от него слышал, он ненавидел китайцев ненавистью, перед которой неприязнь его жены была пустяком. Когда он проходил среди кишаших толп, для него это было смертной мукой, жизнь миссионера была ему омерзительна, его душа походила на стертые до крови плечи кули, на которые давит коромысло. Он отказывался от отпуска, потому что у него не хватало сил вновь увидеть то, что было ему так дорого; он не читал книг, потому что они напоминали ему о жизни, которую он любил так страстно; возможно, он и женился на этой вульгарной женщине, чтобы еще решительней порвать все связи с миром, по которому томился всеми фибрами. Он обрекал свою истерзанную душу на мученичество со страстным отчаянием.

Я попытался представить себе, как он услышал глас. Мне кажется, много лет он был безоблачно счастлив в Оксфорде, где жизнь отвечала его вкусу: любимая работа, приятное общество, книги, каникулярные поездки во Францию и Италию. Он был довольным человеком и желал только прожить таким образом до конца своих дней. Не знаю, какое смутное чувство мало-помалу овладевало им, внушая что его жизнь слишком приятна, слишком полна лени. Думаю, он всегда был религиозен, и, быть может, внушенное ему в детстве, а затем забытое представление о ревнивом Боге, которому ненавистно, что его создания могут быть счастливы на земле, где-то в глубине язвило ему сердце.

Думаю, он начал считать свою жизнь грешной, потому что был ею безоговорочно доволен. Его охватила тягостная тревога. Что бы ни твердил ему рассудок, его нервы трепетали от ужаса перед вечной погибелью. Не знаю, что именно внушило ему мысль о Китае, но, вероятно, сначала он ее отбросил со жгучим отвращением; или, быть может, именно сила его отвращения породила эту мысль. Думаю, он говорил себе: не поеду! Но я думаю, он чувствовал, что вынужден будет поехать. Бог гнался за ним, и, где бы он ни прятался, Бог настигал его. Рассудок в нем сопротивлялся, но сердце поймало его в капкан. Он ничего не мог с собой поделать. И в конце концов сдался.

Я знал, что больше никогда его не увижу, и у меня не было времени на банальные разговоры в ожидании, что более близкое знакомство позволит мне коснуться чего-либо более личного. И я воспользовался тем, что мы были одни.

— Как по-вашему, — сказал я, — обречет ли Бог китайцев на вечную гибель, если они не обратятся в христианство?

Не сомневаюсь, что мой вопрос был груб и нетактичен, — старик неодобрительно поджал губы. И все-таки он ответил.

— Евангельское учение вынуждает прийти к этому выводу. Ни единый из доводов против, измышленных людьми, не обладает силой простых слов Иисуса Христа.

XII. КАРТИНА

Не знаю, был ли он мандарином, державшим путь в столицу провинции, или студентом, направлявшимся к тому или иному источнику учености, как не знаю причины, почему он задержался в самой скверной из всех скверных гостиниц Китая. Быть может, кто-то из его носильщиков спрятался, чтобы выкурить трубочку опиума (опиум в тех местах дешев, а с носильщиками всегда хлопот не оберешься), и его не удалось найти. Или его вынудил задержаться хлынувший ливень.

Потолок в комнате был такой низкий, что ничего не стоило дотянуться до него рукой. Глинобитные стены покрывала грязная побелка, во многих местах облупившаяся, и повсюду на деревянных настилах лежала солома — постель

для кули, обычных здешних постояльцев. Только солнце помогало как-то сносить эту печальную убогость. Сквозь частый переплет окна оно бросало сноп золотых лучей и покрывало утрамбованный ногами земляной пол чудесным прихотливым узором.

И здесь, чтобы скоротать невольный досуг, он достал свою каменную плитку, капнул воды, потерял это место палочкой туши, взял тонкую кисточку, которой рисовал красивые китайские иероглифы (несомненно, он гордился своей изысканной каллиграфией, и друзья, которым он посылал свиток с собственноручно им написанной максимой божественного Конфуция, жемчужиной краткости, бывали очень рады такому подарку), и твердой рукой нарисовал на стене цветущую ветку сливы и сидящую на ней птичку. Нарисованы они были скупыми штрихами, но восхитительно. Не знаю, какая милость судьбы водила рукой художника, но птичка трепетала жизнью, а цветки сливы, казалось, покачивались на своих стебельках. Благоуханный воздух весны веял с наброска в эту грязную каморку, и на краткое мгновение вы соприкасались с Вечностью.

ХIII. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕЕ БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Это был человек среднего роста с ежиком темно-каштановых волос, щеточкой усов и очками, сквозь которые его голубые глаза смотрели на вас воинственно, несколько искаженные толстыми стеклами. В его внешности была вызывающая бойкость воробышка, и, когда он приглашал вас сесть, а сам копался в ворохе бумаг на столе, словно вы оторвали его от срочного и важного дела, у вас возникало ощущение, что он только ждет случая поставить вас на место. Официальность он довел до совершенства. Вы были широкой публикой, досадной, но неизбежной помехой, и оправдать свое существование могли, только незамедлительно и без возражений делая то, что вам говорят. Но даже у официальных лиц есть свои слабости, и почему-то ему никак не удавалось разрешить вопрос, не поведав вам о своих обидах. Оказывается, люди, и особенно миссионеры, считают его высокомерным и самовластным. Он заверял вас, что во многих отношениях признает миссионеров весьма полезными, хотя, безусловно, в большинстве они

невежественны и упрямы до безрассудства, и ему не нравится позиция, которую они занимают; в здешних краях почти все миссионеры — канадцы, а ему лично канадцы не нравятся; но утверждать, будто он держится высокомерно (он поправил пенсне на переносице), — возмутительная неправда. Наоборот, он доставляет себе лишние хлопоты, помогая им, но, вполне естественно, поступает при этом, как считает нужным он, а не они. Сдерживать улыбку, слушая его, было нелегко, потому что каждое сказанное им слово свидетельствовало, как невыносим он с теми, кому выпало несчастье так или иначе от него зависеть. Его манеры нельзя назвать иначе, чем прискорбными. Способность выводить людей из себя он развил до необычайной степени. Короче говоря, это был самодовольный, раздражительный, чванный и нудный человек.

В дни революции, когда в городе то и дело вспыхивали перестрелки между соперничающими сторонами, ему как-то понадобилось побывать у южного генерала по официальному делу, связанному с обеспечением безопасности гражданам его страны, и на обратном пути во дворе резиденции он увидел троих заключенных, которых вели на казнь. Он остановил офицера, которому предстояло командовать расстрелом, и, узнав, что должно произойти, заявил яростный протест. Это же военнопленные, и убивать их — неслыханное варварство. Офицер — очень грубо, по словам консула, — ответил, что обязан выполнить приказ. Консул вспыхнул. Он не собирался допустить, чтобы проклятый китайский офицеришка так с ним разговаривал. Завязалась словесная перепалка. Генерал, которому доложили о случившемся, приказал пригласить консула к себе, но консул наотрез отказался двинуться с места, пока пленные — трое жалких, позеленевших от страха кули — не будут переданы под его охрану. Офицер сделал ему знак отойти и скомандовал взводу: «Целься!» Тогда консул — я мысленно увидел, как он поправляет пенсне, а его волосы яростно дыбятся, — тогда консул встал между взятыми на прицел винтовками и тремя бедняками и велел солдатам стрелять, будь они прокляты. Возникло замешательство. Мятежникам явно не хотелось пристрелить британского консула. Вероятно, они наспех посоветовались. Трое пленных были ему переданы, и низенький человечек вернулся в консульство, торжествуя победу.

— Черт побери, сэр! — сказал он свирепо. — Я уже думал, что у проклятых идиотов хватит наглости выстрелить в меня!

Странные они люди, британцы. Будь их манеры так же хороши, как велико их мужество, они бы заслуживали мнения, которого придерживаются о себе.

XIV. ОПИУМНЫЙ ПРИТОН

Как эффектно выглядит все это на сцене! Тускло освещенная комната, грязная, с низким потолком. В углу перед жутким идиолом таинственно мерцает светильник, и по театральному залу разливается экзотический аромат жертвенных курений. Взад и вперед прохаживается китаец с косой, надменный и сардонический, а на жалких тюфяках лежат одурманенные жертвы наркотика. То один, то другой начинает неистово бредить. Следует очень драматичный эпизод: бедняга, которому нечем заплатить за удовлетворение мучительной тяги, с мольбами и проклятиями выпрашивает у злодея, хозяина притона, одну-единственную трубочку, чтобы утишить свои страдания. Читал я и в романах описания, от которых кровь стыла в жилах. И когда вкрадчивый евразий взялся проводить меня в опиумный притон, винтовая лестница, по которой мы поднимались, несколько подготовила меня к захватывающе жуткому зрелищу, которое мне предстояло вот-вот увидеть. Меня ввели в довольно чистое помещение, ярко освещенное и разделенное на кабинки. Деревянные настилы в них, застеленные чистыми циновками, служили удобным ложем. В одной почтенный старец с седой головой и удивительно красивыми руками безмятежно читал газету, а его длинная трубка лежала рядом. В другой расположились два кули, с одной трубкой на двоих, — они по очереди приготавливали ее и выкуривали. Они были молоды, крепки на вид и дружески мне улыбнулись. А один пригласил меня сделать затяжку-другую. В третьей кабинке четверо мужчин, присев на корточки, наклонялись над шахматной доской; дальше мужчина тетешкал младенца (загадочный обитатель Востока питает неумную любовь к детям), а мать младенца — как я решил, жена хозяина, — миловидная пухленькая женщина, глядела на него, улыбаясь во весь рот. Это было приятное место, удобное, домашнему уютное. Оно чем-то напомнило мне тихие бер-

линские пивнушки, куда усталый рабочий может пойти вечером и мирно скоротать часок-другой. Выдумки куда более странны, чем действительность.

XV. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

С первого взгляда было гнетуще ясно: в Китай она приехала выйти замуж, и трагичность заключалась в том, что в свободном порту не нашлось бы ни одного холостяка, который этого не понимал бы. Она была крупной, с нескладной фигурой, крупные ступни и кисти, крупный нос, да, собственно, все в ней было крупным. Но ее голубые глаза были прекрасны. Пожалуй, она слишком уж это сознавала. Она была блондинка, и ей было тридцать лет. Днем, в практичных туфлях, короткой юбке и шляпе с широкими опущенными полями, она выглядела приемлемо. Но вечером, когда в шелковом платье, голубом, чтобы оттенять цвет ее глаз, сшитом неведомо какой пригородной портнихой по выкройке из иллюстрированного журнала, она старалась быть очаровательной, вы испытывали тягостную неловкость за нее. Она хотела быть всем для всех неженатых мужчин. Она слушала с кокетливым интересом, как один обсуждал охоту на фазанов, и она слушала с беззаботной веселостью, как другой обсуждал фрахты. Она с девичьим восторгом хлопала в ладоши, когда они обсуждали скачки на следующей неделе. Она ужасно любила танцевать — с молодым американцем и вырвала у него обещание взять ее на бейсбольный матч; однако любила она не только танцевать (все-таки хорошенького понемножку), и в обществе пожилого, но одинокого тайпана известной фирмы, она просто обожала гольф. Она жаждала научиться играть на бильярде у молодого человека, потерявшего на войне ногу, и с увлечением слушала управляющего банком, который объяснял ей свою точку зрения на серебряный стандарт. Китаем и китайцами она не интересовалась, поскольку в обществе, где она очутилась, на подобный интерес смотрели косо, но, будучи женщиной, не могла не возмущаться тем, как китайцы обходятся с женщинами.

— Вы знаете, их выдают замуж, не спрашивая их согласия, — объясняла она. — Все устраивают свахи, и мужчина в первый раз видит свою жену только после свадьбы. Ни намек на романтичность. Ну а любовь...

У нее не хватало слов. Она была доброй и покладистой, и любой из этих мужчин, и молодых и старых, нашел бы в ней прекрасную жену. И она это знала.

XVI. МОНАХИНЯ

Белый прохладный монастырь укрывался в тени деревьев на вершине холма, и, ожидая у калитки, когда меня впустят, я смотрел вниз, на коричневатую-желтую реку, блестящую в солнечных лучах, на зубчатые горы за ней. Приняла меня мать настоятельница, женщина с ласковым, спокойным лицом и мягким голосом, интонации которого сказали мне, что приехала она сюда с юга Франции. Она показала мне вверенных ее попечению сироток, которые, застенчиво улыбаясь, плели кружева, чему их обучили монахини; и она показала мне больницу, где лежали солдаты, жертвы дизентерии, тифа и малярии. Они были неухожены и грязны. Мать настоятельница сказала, что ее родители были баски. Горы, на которые она смотрит из окна, напоминают ей Пиренеи. В Китае она прожила двадцать лет. Она сказала, как порой бывает тяжело вовсе не видеть моря. Здесь они живут на берегу великой реки, а до моря тысяча миль; и потому что я знал ее родной край, она заговорила со мной о прекрасных тамошних дорогах через горы — ах, в Китае ничего подобного нет! — и о виноградниках и милых деревушках, лепящихся в предгорьях над стремительными ручьями. Но китайцы — хорошие люди. У сироток очень ловкие пальцы, они очень прилежны. Китайцы охотно женятся на них, потому что в монастыре их обучили многим полезным вещам, и даже в замужестве они могут зарабатывать иголкой кое-какие деньги. И солдаты тоже — они вовсе не так плохи, как утверждают люди. В конце-то концов, — *les pauvres petits!*¹ — они же не хотели быть солдатами и предпочли бы жить дома и трудиться на полях. Те, кого сестры выходили, бывают даже благодарны: порой, когда они на носилках нагоняют монахинь, которые вдвоем ходили в город за покупками и возвращаются с тяжелыми корзинами, они предлагают им поставить корзины на носилки. *Au fond*² они не так уж жестокосердны.

¹ Бедняжки! (фр.).

² В сущности (фр.).

— Но сойти на землю и уступить место монахиням им в голову не приходит? — спросил я.

— Монахиня в их глазах всего лишь женщина! — Она снисходительно улыбнулась. — Не следует ждать от людей больше, чем они способны дать. Как это верно и как трудно об этом помнить!

XVII. ХЕНДЕРСОН

Было очень трудно взглянуть на него и не засмеяться, потому что его внешность сразу все о нем рассказывала. Когда он в клубе читал «Лондон меркюри» или посиживал в баре над бокалом джина с настойкой из трав (коктейлей он не признавал), ваше внимание привлекало его пренебрежение к условностям, но вы немедленно узнавали, кто он, ибо в нем его класс нашел идеальное свое воплощение. Пренебрежение условностями у него было изысканнейшим их соблюдением. Все в нем соответствовало стандарту, от добротных тупоносых сапог до довольно длинных растрепанных волос. Он носил свободный отложной воротник, открывавший толстую шею, и свободные, довольно поношенные, но дивно скроенные костюмы. Он всегда курил короткую пенковую трубку. К сигаретам он относился весьма юмористически. Он был мужчиной атлетического сложения, с красивыми глазами и приятным голосом. Говорил он очень округло. Часто употреблял непристойные выражения, но не потому, что у него был нечистый ум, а из-за демократического склада характера. Как вы догадывались по его виду, он пил пиво (не в реальности, но в духе своем) с мистером Честертоном и гулял по сассекским холмам с мистером Хилари Беллоком. Он играл в регби в Оксфорде, но вместе с мистером Уэлсом презирал этот старинный университет. Мистера Бернарда Шоу он считал несколько устаревшим, но все еще возлагал большие надежды на мистера Грэнвилла Баркера. Он много раз беседовал с мистером Сиднеем Уэббом и миссис Беатрисой Уэбб на серьезные темы и был членом Фабианского общества. Единственной точкой соприкосновения с беззаботными прожигателями жизни было его одобрительное отношение к русскому балету. Он писал неприлизанные стихи о проститутках, собаках, фонарных столбах, колледже Магдалины, пивных и домиках сельских священников. Он презирал

англичан, французов и американцев, но, с другой стороны, мизантропом он не был, не желал слушать ничего дурного о тамилах, бенгальцах, кафрах, немцах или греках. В клубе он слыл чуть ли не нарушителем спокойствия. «Социалист, знаете ли», — говорили о нем.

Но он был младшим партнером в известной уважаемой фирме, а у Китая есть та особенность, что ваше социальное положение извиняет ваши пристрастия. Пусть всем известно, что вы бьете жену, но если вы — управляющий солидным банком, свет окружит вас любезностями и засыплет приглашениями на званые обеды. А потому, когда Хендерсон провозглашал свои социалистические убеждения, над ним только посмеивались. Приехав в Шанхай, он отказывался пользоваться услугами рикши: его достоинство оскорбляла мысль, что человек, ничем от него не отличающийся, будет, точно лошадь, возить его, куда потребуется. И поэтому ходил пешком. Он клялся, что это отличная разминка и помогает сохранить форму, а к тому же пробуждает в нем жажду, которую он за двадцать долларов не продал бы! И со смаком выпивал свое пиво. Но климат в Шанхае очень жаркий, а потому изредка он вынужден был пользоваться постыдным экипажем. Он испытывал душевную неловкость, но это, бесспорно, было немалым удобством. Вскоре он начал пользоваться им часто, но рикшу в оглоблях всегда считал человеком и братом.

Когда я с ним познакомился, он жил в Шанхае четвертый год. Утро мы провели в китайских кварталах, посещая одну лавку за другой, и наши рикши обливались горячим потом. Каждую минуту они утирали лоб рваной тряпицей. Теперь мы направились в клуб и уже почти добрались туда, как Хендерсон вдруг вспомнил, что хотел купить новую книгу мистера Бертрана Рассела, которая только-только достигла Шанхая. Он остановил рикш и приказал им везти нас назад.

— Но, может быть, отложим это на потом? — сказал я. — Эти ребята взмылены, как лошади.

— Им это полезно, — ответил он. — Не обращайтесь на китайцев внимания. Видите ли, мы здесь только потому, что они нас боятся. Мы — господствующая раса.

Я промолчал. И даже не улыбнулся.

— У китайцев всегда были господа и всегда будут.

На мгновение нас разлучил автомобиль, и, когда Хендерсон вновь поравнялся со мной, он оставил эту тему.

— Вы, живущие в Англии, даже представления не имеете, что для нас означают книжные новинки, когда мы наконец их получаем, — сказал он. — Я читаю все, что публикует Бертран Рассел. Вы его последнюю книгу читали?

— «Дороги к свободе»? Да. Прочел как раз перед отъездом из Англии.

— Я видел несколько рецензий. Кажется, он развивает там несколько интереснейших идей.

По-моему, Хендерсон собирался поговорить об этих идеях поподробнее, но тут рикша не свернул за угол, как было надо.

— За угол, за угол, идиот проклятый! — завопил Хендерсон и для пущей наглядности ловко брыкнул рикшу в зад.

XVIII. РАССВЕТ

Еще ночь, и двор гостиницы исчерчен сгустками глубокого мрака. Фонари бросают неверный свет на кули, которые готовят свой груз в путь. Они кричат, хохочут, сердито спорят и затевают шумные ссоры. Я выхожу на улицу и иду следом за боем с фонарем. То тут, то там позади закрытых дверей поют петухи. Однако многие лавки уже распахнули ставни, и неугомимые люди приступают к своим долгим дневным трудам. Тут подмастерье подметает пол, там мужчина моет лицо и руки. Фитилек, горящий в чашке с растопленным жиром, — вот и все его освещение. Я прохожу мимо харчевни, где полдесятка человек уже сидят за ранним завтраком. Внутренние ворота заперты, но сторож выпускает меня через калитку, и я иду вдоль стены по берегу медленного ручья, в котором отражаются яркие звезды. Затем я подхожу к главным городским воротам и вижу, что одна створка уже открыта. Я выхожу наружу, и меня со всех сторон встречает призрачный рассвет. Впереди меня ждут день, и длинный путь, и широкие просторы.

Погас фонарь. Позади меня тьма растворяется в лиловый туман, и я знаю, что вскоре она вся порозовеет. Я различаю насыпную дорогу, а вода рисовых полей отражает бледный сумрачный свет. Уже не ночь, но еще и не день. Это

мгновение неизреченной красоты, когда и холмы, и долины, и деревья, и вода укрывают неземные тайны. Ведь когда поднимется солнце, на какой-то срок мир вокруг безрадостен, свет холоден и сер, точно свет в студии художника, и тени еще не пеленают землю в пестрые пеленки. Огибая вершину лесистого холма, я гляжу вниз, на рисовые поля. Впрочем, «поля» тут слишком величественное слово. По большей части это лоскутки, полумесяцами врезанные в склон один над другим, чтобы их можно было затоплять. В лощинах растут ели и бамбук, точно посаженные там искусным садовником, который упорядочивает красоту, чтобы церемонно воспроизвести приволье природы. А в эти колдовские мгновения вы видите не плоды смиренного труда, но любимые сады императора. Сюда, сбросив бремя государственных забот, приходит он в желтых шелках, расшитых драконами, с драгоценными браслетами на запястьях, чтобы позабавиться с наложницей, до того красивой, что в последующие века люди находят только естественным, что из-за нее погибла династия.

И вот уже, встречая разгорающийся день, с рисовых полей поднимаются туманы и до половины закрывают пологие холмы. То, что вы видите, могло представать перед вами в сотнях картин, так как старые китайские мастера до чрезвычайности любили изображать подобное. Небольшие холмы, — до вершин поросшие лесом с четким силуэтом зубчатых елей по гребню на фоне неба, — небольшие холмы громоздятся один над другим, и туманы на розовой высоте слагаются в узор, придают композиции завершенность, которая, однако, оставляет простор для воображения. Бамбук растет почти от самой дороги, его узкие листья трепещут в легчайшем ветерке; он полон такого аристократического изящества, что рощица кажется придворными дамами великой Минской династии, которые томными группами отдыхают возле дороги. Они посетили какой-то храм, их платья богато расшиты цветами, а в прически вплетены бесценные нефритовые украшения. Они отдыхают, стоя на маленьких ножках, на своих золоченых лилиях, обмениваясь остроумными замечаниями: им ли не знать, что высшее достижение культуры — это умение болтать вздор с неподражаемым достоинством. Еще минута, они рассядутся по своим паланкинам и исчезнут. Но дорога поворачивает, и — Бог мой! — бамбук, китайский бамбук

волшебством тумана преобразается в кентские хмельники. Помните душистые хмельники, сочные зеленые луга, железнодорожное полотно, которое тянется вдоль моря, вдоль сверкающего пляжа и унылой серости Ла-Манша? Над зимним холодом летит чайка, и тоска в ее крике почти невыносима.

ХІХ. ВОПРОС ЧЕСТИ

Дружеским отношениям между разными странами ничто так не вредит, как фантастические представления о национальном характере друг друга, которые каждая ревниво лелеет, и, пожалуй, ни один народ не страдал от выдумок своих соседей более французов. Их объявляли нацией порхающих шалопаев, не способных на серьезные мысли, пустоголовых, безнравственных и ненадежных. Даже добродетели, которые им отводили, — как-то: блистательное остроумие и веселость — признавались за ними (во всяком случае англичанами) со снисходительным пожатием плеч, ибо англо-саксы ставят такие добродетели не особенно высоко. Почему-то никто не хотел замечать, что в основе французского характера лежит глубокая серьезность и что главную заботу среднего француза составляет поддержание своего достоинства. Не случайно Ларошфуко, тонкий знаток человеческой натуры вообще и своих соотечественников в частности, положил *l'honneur*¹ в основу своей системы. Шепетильность, с какой наши соседи соблюдают эту честь, частенько забавляла британца, склонного поглядывать на себя с юмором. Однако для француза это, как говорится, живая сила, и у вас нет ни малейшего шанса понять его, если вы не будете постоянно помнить о щекотливости его представлений о чести.

Эти мысли приходят мне в голову всякий раз, когда я вижу, как виконт де Стеенворде проезжает мимо в своем роскошном автомобиле или сидит во главе своего стола. В Китае он представляет некоторые весомые французские интересы, и, по слухам, в министерстве иностранных дел Франции у него больше власти, чем у самого министра. Между ним и этим последним никогда не существовало ни малейшей симпатии, поскольку тому, вполне естественно,

¹ Честь (*фр.*).

не нравилось, что какой-то его согражданин ведет дипломатические дела с китайцами у него за спиной. Однако уважение, каким мосье де Стеенворде пользовался на родине, неопровержимо доказывалось красным кружочком, который украшал лацкан его сюртука.

У виконта была прекрасная голова, несколько лысоватая, но вполне пристойно (*une légère calvitie*¹, как выражаются французские романисты, тем самым наполовину смягчая жестокий факт), нос как у великого герцога Веллингтона, блестящие черные глаза под тяжелыми веками и маленький рот, укрытый на редкость красивыми усами, кончики которых он то и дело подкручивал белыми пальцами в драгоценных перстнях. Породистость его облика подкреплялась тремя массивными подбородками. У него был крупный торс и величественная дородность, так что за столом он всегда сидел чуть отодвинувшись, как будто ел против воли и вообще намеревался только слегка перекусить. Однако Природа сыграла с ним скверную, хотя и довольно обычную шутку — его ноги были слишком коротки для его туловища. Сидя, он казался высоким, но стоило ему встать, и вы ошеломленно обнаруживали, что рост его даже ниже среднего. По этой причине наиболее эффектно он выглядел за столом, а также когда ехал в автомобиле по улице. Тогда он поражал внушительностью. Если он приветственно махал вам рукой или широким жестом снимал шляпу, вы чувствовали, что вот так снизойти до простых смертных — это безмерная любезность. Он обладал всей почтенной солидностью министров Луи-Филиппа, которые взирают на нас с полотен Энгра с торжественной важностью: все в благопристойно-черных костюмах, длинноволосые и бритые.

Часто слышишь, что такой-то или такой-то говорит, как книга. Мосье де Стеенворде говорил, как журнал, — разумеется, не развлекательный журнал, позволяющий приятно скоротать часок-другой, но полный учености и влияющий на общественное мнение. Мосье де Стеенворде говорил, как «*Revue des Deux Mondes*»². Слушать его было большим удовольствием, хотя и утомительным. Он обладал

¹ Здесь: начинающаяся лысина (*фр.*).

² Французский литературно-политически-научный журнал, основанный в 1829 г.

красноречием тех, кто без конца повторяет одно и то же. Он никогда не запинался в поисках слова. Все излагалось стройно и ясно на восхитительно изысканном языке и с таким авторитетным видом, что в его устах заведомая банальность обретала блеск эпиграммы. Он отнюдь не был лишен остроумия. И умел рассказывать забавные сплетни о ближних. А когда, отпустив особенно ядовитую шпильку на чей-то счет, он оборачивался к вам со словами: «*Les absents ont toujours tort*»¹, — то умудрялся вернуть этому избитому афоризму его первоначальную свежесть. Он был ревностным католиком, однако льстил себя мыслью — не реакционером, но человеком с положением, состоянием и принципами.

Будучи бедным, но честолюбивым (слава — последняя слабость благородного духа), он женился на дочери сахарного маклера ради ее огромного приданого. Теперь она была накрашенной миниатюрной дамой с волосами, рыжими от хны и всегда элегантно одетой. Вероятно, для него явилось тяжким испытанием, что, даровав ей свое осененное честью имя, он не смог кроме того даровать ей высокую гордость, которая играла столь могучую роль во всех его собственных поступках. Ибо, подобно многим великим людям, мосье де Стеенворде был женат на женщине, которая постоянно ему изменяла. Но это несчастье он переносил с характерным для него мужеством и достоинством. Он держался с такой безупречностью, что этот тяжкий крест буквально возвышал его в глазах друзей. Он был для всех предметом сочувствия. И, будучи рогоносцем, оставался истинным аристократом. Едва мадам де Стеенворде заводила нового любовника, как он требовал с ее родителей сумму, достаточную для возмещения ущерба, причиненного его родовому имени и чести. По слухам, речь шла о четверти миллиона франков, однако я не сомневаюсь, что при нынешних ценах на серебро деловой человек настоял бы на уплате долларами. Мосье де Стеенворде уже весьма состоятельный человек, но к тому времени, когда его супруга достигнет канонического возраста, он, вне всяких сомнений, будет богачом.

XX. ВЫЮЧНЫЙ СКОТ

В первый момент кули на дороге, горбящийся под своей ношей, кажется живописным. В лохмотьях всех оттенков

¹ Отсутствующие всегда виноваты (*фр.*).

синевы и голубизны от индиго до бирюзы и молочности туманного неба, он удивительно гармонирует с ландшафтом. Труся по узкой насыпной дороге между рисовыми полями, взбираясь по зеленому склону холма, он именно то, чего требует пейзаж. Одежда его состоит из короткой куртки и штанов. Возможно, костюм этот некогда был одноцветен, но, когда его требуется подлатать, хозяин не затрудняет себя поисками лоскутков того же оттенка. Он берет то, что попадает под руку. Голову от солнца и дождя он укрывает соломенной шляпой в форме гасителя для свечей с невероятно широкими плоскими полями.

Вот кули проходят вереницей: у каждого на плечах коромысло, по концам которого свисают два огромных узла, и они приятно оживляют пейзаж. Забавно наблюдать за их отражением в воде рисовых полей. Вы разглядываете их лица, пока они проходят мимо. Вы бы сказали, что это добродушные, открытые лица, если бы вам заранее не вдолбили, что восточный человек непостижим. Когда они, расположившись на отдых под смоковницей у придорожного святилища, курят и весело болтают, попытайтесь поднять один из узлов, с которыми они проходят за день тридцать миль и больше. Как тогда не восхититься их выносливостью и мужеством! Но если вы упомянете о своем восхищении китайским старожилом, вас сочтут смешным. Снисходительно пожав плечами, вам объяснят, что кули — животные и таскают вьюки вот уже две тысячи лет из поколения в поколение, а потому неудивительно, если они сохраняют веселую бодрость. Да и нетрудно самому убедиться, что начинают они рано — вам, конечно, уже встречались детишки с коромыслами на плечах, которые бредут, сгибаясь под тяжестью корзинок с овощами.

Приближается полдень, и становится все жарче. Кули снимают куртки и идут дальше голые по пояс. Порой один останавливается, чтобы передохнуть, и опускает ношу на землю, но коромысла с плеч не снимает, так что отдыхает он скорчившись, и вы видите, как колотится о ребра бедное истомленное сердце, — видите так же четко, как у некоторых сердечных больных в приемном покое больницы. Смотришь, и твое собственное сердце почему-то сжимается. Видишь ты и спины кули. Коромысло, долгие годы день за днем врезаюсь в плечи, оставило на них багровые рубцы, а иногда видны и незаживающие язвы — большие язвы, не

перебинтованные, ничем не смазанные, трущиеся и трущиеся о дерево коромысла. Но особенно странно, что порой Природа словно старалась приспособить человека для жестокого труда, к которому его принуждают, и вы замечаете необычное уродство — что-то вроде верблюжьего горба, на который опирается коромысло. Но колотящееся сердце, воспаленные язвы, хлещущий дождь или палящее солнце для них не помеха, и они вечно идут вперед от рассвета до сумерек, год за годом, с раннего детства до глубокой дряхлости. Вы видите стариков без капли жира в теле — только кости да дряблая кожа, высохших, с морщинистыми обезьяньими личиками, с жидкими седыми волосами: пошатываясь под тяжестью ноши, они бредут к могиле, в которой наконец обретут отдых. А кули все идут, идут — и не шагом, хотя и не бегом, а скользящей походкой, не отрывая глаз от земли, следя, куда ставить ноги, и на лицах их застыло тревожное напряжение. И вереница их уже не кажется вам живописной. Вас угнетают усилия, которые они обречены делать. Вас переполняет бесполезное сострадание. В Китае выючное животное — это человек. «Не знать покоя от забот и невзгод жизни и идти по ней быстро, не имея возможности замедлить шаг, это ли не достойно жалости? Трудиться без отдыха, а затем, так и не вкусив плодов этого труда, выжатому досуха, внезапно уйти неведомо куда — это ли не справедливая причина для горя?» Так писал один китайский мистик.

XXI. ДОКТОР МАК-АЛИСТЕР

Это был видный мужчина. Когда мы познакомились, я дал бы ему без малого шестьдесят, но он сохранял и здоровье и силы. Он был корпулентен, но большой рост делал его дородность благообразной. У него было сильное, почти красивое лицо с орлиным носом, кустистыми седыми бровями и волевым подбородком. Одевался он в черное, носил низкие воротнички и белый галстук-бабочку. Он походил на англиканского священнослужителя прошлого поколения. Голос у него был звучный и благодушный, а смех громкий.

Его жизненный путь отличался некоторым своеобразием. В Китай он приехал тридцать лет назад как врач-миссионер, но теперь, хотя и сохранял добрые отношения с миссией,

уже не состоял в ней. Как выяснилось, во время оно возникло намерение построить школу на весьма удобном участке, который присмотрел доктор, — в перенаселенных китайских городах найти участок под строительство очень не просто. Когда же миссия после долгих переговоров о цене все-таки купила его, оказалось, что владелец вовсе не китаец, с которым эти переговоры велись, а сам доктор. Зная, что школу решено построить, и убедившись, что других подходящих участков нет, он занял деньги у китайского банкира и купил участок сам. Ничего противозаконного в этой операции не было, но, возможно, она не отвечала строгим требованиям порядочности, и другие члены миссии в отличие от доктора Мак-Алистера не сочли ее превосходной шуткой. Наоборот, некоторые отнеслись к ней очень кисло, и в результате доктор Мак-Алистер хотя и не порвал с людьми, цели и интересы которых всемерно уважал, но сложил с себя свои обязанности. Он пользовался репутацией хорошего врача и вскоре обзавелся большой практикой, как среди иностранцев, так и среди китайцев. Он открыл приют, в котором путешественник за плату, причем высокую, мог получить стол и кров. Его постояльцы жаловались, что им воспрещено употреблять там спиртные напитки, однако китайские гостиницы были куда менее комфортабельными, и приходилось кое в чем уступать принципам доктора. Он был предприимчив. Купил обширный земельный участок на холме за рекой и построил там несколько бунгало, которые одно за другим продал миссионерам для летнего отдыха; кроме того, ему принадлежал большой магазин, где продавалось все, что только могло понадобиться иностранцу, начиная от открыток и местных сувениров и кончая вустерским соусом и свитерами ручной вязки. Магазин приносил большой доход — у доктора, бесспорно, была коммерческая жилка.

Обед, на который он меня пригласил, больше смахивал на банкет. Жил доктор в большой квартире над своим магазином с видом на реку. Общество состояло из самого доктора Мак-Алистера, его третьей жены — сорокапятилетней дамы в черном атласе и очках в золотой оправе, миссионера, остановившегося у доктора на неделю-другую по пути во внутренние области страны, и двух молчаливых барышень, новых членов миссии, которые усердно учили китайский язык. Стены столовой были увешаны поздра-

вительными свитками, преподнесенными доктору в день его пятидесятилетия китайскими друзьями и новообращенными. Как всегда в Китае, еда была обильной, и наш хозяин усердно воздавал ей должное. Начался и завершился обед длинной благодарственной молитвой, которую доктор прочел звучным голосом с впечатляющим благочестием.

Когда мы перешли в гостиную, доктор Мак-Алистер, стоя перед уютно пылающим камином (в Китае бывает очень холодно), взял с каминной полки небольшую фотографию и протянул ее мне.

— Узнаете? — спросил он.

На фотографии был запечатлен очень худой молодой миссионер в низком воротничке и белом галстуке. Глаза у него были большие и печальные, лицо выражало глубокую серьезность.

— Симпатичный юноша, э? — басил доктор.

— Очень, — ответил я.

Пожалуй, слишком уж чопорный. Но чопорность в молодости простительна, тем более, что тут она полностью уравновешивалась грустным выражением. Тонкое, чуткое, даже красивое лицо, странно трогательные в своей безутешности глаза... Пусть в этом лице чувствовался фанатизм, но он сочетался с мужеством, которое не дрогнет перед мученичеством, с чарующим идеализмом, а его юность и бесхитрость брали за душу.

— Удивительно привлекательное лицо, — сказал я, возвращая фотографию.

Доктор Мак-Алистер испустил веселый смешок.

— Вот каким я был, когда только-только приехал в Китай, — сказал он.

Это была его собственная фотография.

— Никто его на ней не узнает, — с улыбкой сказала миссис Мак-Алистер.

— А снимок на редкость похожий, — сказал он.

Он расправил черные фалды черного сюртука и встал перед огнем поудобнее.

— Я частенько посмеиваюсь, когда вспоминаю мои первые впечатления от Китая, — сказал он. — Приехал я в чужбине всяческих лишений и трудностей. Первым ударом был пароход с удобнейшими каютами и обедами из десяти блюд. Назвать это лишениями было затруднительно, но я сказал себе: погоди, вот доберешься до Китая! Ну-с, в Шанхае

меня встретили добрые знакомые, я поселился в прекрасном доме, за мной ходили прекрасные слуги, я ел прекрасную пищу. Шанхай, сказал я, чумная яма Востока. Во внутренних областях все будет по-иному! Наконец я добрался сюда. Мне предстояло гостить у главы миссии, пока не будет готово мое собственное жилище. Он жил в большом компаунде, дом у него был прекрасный, обставленный американской мебелью, а на такой чудесной кровати мне еще спать не доводилось. Он любил огородничество и выращивал всяческие овощи. Мы ели салаты точно такие же, которые ели в Америке, и фрукты — всевозможные фрукты. Он держал корову, так что молоко и масло у нас были свежайшие. По-моему, никогда в жизни я не ел так вкусно и так плотно. И ничего для себя делать самому не приходилось. Вам хотелось выпить воды, вы звали боя, и он приносил вам стакан. Приехал я в начале лета, и все укладывались, чтобы ехать в горы. Бунгало там тогда еще не было, и лето они проводили в храме. Я пришел к выводу, что особых лишений ждать нечего. А я-то предвкушал мученический венец. Знаете, что я сделал?

Посмеиваясь, доктор Мак-Алистер вспоминал это давнее-давнее время.

— Когда в первую ночь я остался один у себя в спальне, то кинулся ничком на кровать и плакал, как малое дитя.

Доктор Мак-Алистер продолжал говорить, но я его больше не слушал. Я думал, по каким ступеням он прошел, чтобы из того человека, каким был тогда, стать человеком, какого я видел перед собой. Вот рассказ, который мне хотелось бы написать.

XXII. ДОРОГА

Собственно, это и не дорога вовсе, а своего рода дамба, выложенная сверху каменными плитами в фут шириной и четыре фута длиной, так что места еле-еле хватает на то, чтобы двое кресел-носилков могли осторожно разойтись. По большей части она в приличном состоянии, но кое-где плиты разбиты или их смыло во время затопления рисовых полей, и в таких местах идти трудно. Она вьется, следуя изгибам тропы, которая соединяла город с городом с тех пор, как тысячу лет назад или более того в этих краях возникли города. Она вьется между рисовыми полями,

подчиняясь капризам рельефа с обдуманной беззаботностью: и видно, что прокладывали ее поверх тропки, протоптанной в незапамятные времена крестьянами, которые искали не самый короткий путь, но самый легкий. Как она рождалась, вы можете увидеть, когда, свернув с тракта, отправляетесь напрямик к какому-нибудь городку, расположенному в стороне от главных путей. Там дамба настолько узка, что нагруженный кули не может с вами разминуться, и, если вы встретились посреди рисового поля, он вынужден спуститься на засаженную фасолью маленькую насыпь, разделяющую смежные поля. Вскоре каменные плиты исчезают, и вы оказываетесь на утоптанной земляной тропе, настолько узкой, что ваши носильщики ступают по ней с большой осторожностью.

Путешествие, вопреки всем историям про бандитов, которыми вас пугали, и эскорту из оборванных солдат, никакими приключениями не разнообразится, зато мелких происшествий хоть отбавляй. Во-первых, вечное разнообразие рассветов. Поэты писали о них с восхищением, но поэты все лежебоки и в поисках вдохновения полагались на фантазию, а не на свои сонные глаза. Словно любовнице, являющейся среди грез в лунные ночи, чьи чары недоступны красавицам бодрствующего дня, они приписывали заре чудеса, существовавшие лишь в их воображении. Ведь самая волшебная заря уступает в великолепии заурадному закату. Но поскольку видим мы ее очень редко, ей словно бы свойственно большое разнообразие. Каждый рассвет чуть-чуть отличается от всех прочих, и можно вообразить, что каждое утро мир сотворяется заново не совсем таким, каким был накануне.

Затем обычные зрелища справа и слева от дороги. Крестьянин по бедра в воде пашет свое поле тем же первобытным плугом, каким пользовались его праотцы на протяжении сорока смертных веков. Буйвол бредет, разбрызгивая жидкую грязь, и его скептические глаза словно спрашивают, какой цели служит этот нескончаемый труд. Проходит старуха в синем халате и коротких синих штанах, ковыляя на перебинтованных ногах и для надежности опираясь на длинный посох. Навстречу плывут в креслах два толстых китайца, глядя на вас любопытными и в то же время безразличными глазами. Каждая такая встреча — уже событие, хотя и пустяковое, но дающее пищу воображению на мину-

ту-другую. И теперь ваши глаза с удовольствием задерживаются на желтоватой, как слоновая кость, атласной коже юной матери, идущей по дороге с ребенком, привязанным за спиной, на сморщенном непроницаемом лице старика или на изящных, угадывающихся под плотью, лицевых костях дюжего кули. А кроме всего этого — непреходящий восторг, когда, не без труда одолев крутой подъем, вдруг видишь расстилающуюся перед тобой панораму. Изю дня в день, изю дня в день одно и то же, но каждый раз испытываешь радостный трепет открытия. Те же невысокие округлые холмы замыкают вас в своем кольце, точно овцы, и следуют один за другим, насколько достигает взгляд. И на вершине многих, словно нарочно там посаженное живописности ради, ажурным узором вырисовывается в небе одинокое дерево. Те же бамбуковые рощи чуть клонятся, почти окружая те же крестьянские домики, которые под многоярусными кровлями уютно прячутся в тех же самых укромных лощинах. Стволы бамбука склоняются над шоссе с обворожительной грацией. В них чувствуется снисходительность высокородных дам, которая льстит, а не оскорбляет. В них ощущается самозабвенность цветов, аристократичная сладострастность, настолько уверенная в своей избранности, что не может опуститься до грубого разврата. Но мемориальная арка добродетельной вдовы или преуспевшего ученого предупреждает вас, что вы приближаетесь к деревне или городу, и вот, доставляя мимолетное развлечение местным жителям, вы движетесь между рядами убогих лачуг или по запруженной прохожими улице. От солнца улица защищена большими циновками, натянутыми от карниза к карнизу, и смутный свет накладывает на снующие толпы оттенок чего-то неестественного. Вам чудится, что именно так выглядели люди в зачарованных городах, которые посетил арабский мореход, — в городах, где ночью вас подстерегало жуткое превращение, и, пока вам не удавалось узнать волшебное слово, вы волей-неволей коротали дни в обличии кривого осла или желто-зеленого попугая. Торговцы в своих лавочках предлагают неведомые заклятые товары, а в харчевнях варят похлебки из того, что человеку есть заказано. В единообразии — все китайские городки, во всяком случае на взгляд иностранца, очень похожи друг на друга — вы с удовольствием подмечаете пусть небольшие, но отличия и таким образом узнаете, какие ремесла

преобладают именно тут. В каждом городке производится все, что может потребоваться его обитателям, но у каждого есть и своя специальность: в одном вы найдете тонкие ткани из хлопка, в другом — шнуры, в третьем — шелка. Мало-помалу апельсиновые деревья, все в золотистых плодах, почти исчезают, сменяясь сахарным тростником. Черные шелковые шапочки уступают место тюрбанам, а красный зонтик из промасленной бумаги — зонтику из ярко-голубой хлопчатобумажной ткани.

Все это — обычные происшествия, вносящие разнообразие в каждый день. Они подобны заранее ожидаемым событиям, которые не дают жизни стать монотонной: чередование рабочих будней с праздниками, встречи с друзьями, наступление весны, несущей прилив новых сил, и наступление зимы, несущей долгие вечера, легкость общения и сумрак. Подобно тому как вторжение любви превращает все остальное лишь в фон для ее сияния и возносит будничные мелочи на ту высоту, где ничтожные пустяки обретают мистическое значение, обыденность порой вдруг отступает и перед вами предстает красота, берущая приступом вашу застигнутую врасплох душу. Ибо в туманной дымке перед вами поднимаются сказочные крыши храма, величественно стоящего на огромном каменном бастионе, основание которого, точно естественный ров, омывает тихая зеленая речка, и, когда его озаряет солнце, вы словно видите воплощенные в явь грезы о китайском дворце — китайском дворце таком роскошном и великолепном, какие властвовали над воображением арабских сказочников; или, оказавшись у переправы на рассвете, вы видите чуть выше себя, силуэтами на фоне занимающейся зари, большой сампан, в котором паромщик перевозит толпу пассажиров на другой берег, — и внезапно вы узнаете в нем Харона и понимаете, что перевозит он тоскующие тени мертвецов.

XXIII. БОЖЬЯ ПРАВДА

Берч был агентом БАТ и вел дела в городишке, где после дождя на улицах грязь была по колено, и приходилось забираться в самую глубину повозки, иначе жидкая глина облепляла вас с головы до ног. Разбитая за долгие годы мостовая была вся в таких рывтинах и ухабах, что вы от тряски и толчков дух не могли перевести, даже если ехали

шагом. Две-три улицы были застроены лавками, но он наизусть знал все товары в них. Между этими улицами вились бесчисленные улочки, по обеим сторонам которых тянулись стены без окон, и только тяжелые запертые двери нарушали единообразие. Это были жилые дома китайцев, столь же недоступные для людей одного с ним цвета кожи, как и жизнь, его окружавшая. Он мучился от ностальгии. Уже три месяца он не разговаривал с белым человеком.

С делами на день он покончил. Заняться ему было нечем, и он пошел погулять по дороге — других мест для прогулок тут не было. За городскими воротами он зашагал между глубокими колеями и рытвинами дороги через долину, которую со всех сторон замыкали дикие безлесые горы, так что он чувствовал себя запертым в клетке в неизмеримой дали от цивилизованного мира. Он знал, что не должен поддаваться волнам неизбывного одиночества, которые накатывались на него, но держать себя в руках было труднее обычного. У него уже почти не оставалось сил. Внезапно он увидел, что к нему приближается европеец на низкорослой лошадке. За ним ползла китайская повозка, видимо, с его багажом. Берч сразу догадался, что это из миссии дальше в горах миссионер направляется в свободный порт, и сердце в нем взыграло от радости. Он ускорил шаги. Вялую апатию как рукой сняло. Он ощущал себя бодрым и энергичным. И уже почти бежал к всаднику.

— Приветствую вас, — сказал он. — Откуда вы?

Всадник остановился и назвал дальний городок.

— Я еду на железнодорожную станцию, — добавил он.

— Лучше переночуйте у меня: я уже три месяца не видел ни одного белого. Места сколько угодно. БАТ, понимаете?

— БАТ... — повторил всадник. Его лицо изменилось, глаза, секунду назад дружески улыбающиеся, посуровели. — Я не желаю иметь с вами ничего общего.

Он ударил лошадку каблуком и поехал бы дальше, но Берч схватил поводья. Он не поверил своим ушам.

— Что вы такое говорите?

— Я не могу вступать в общение с человеком, который торгует табаком. Отпустите поводья.

— Но я же три месяца не видел ни единого белого лица!

— Меня это не касается. Отпустите поводья!

Он снова ударил лошадку каблуками. Губы его были упрямо сжаты. Он смотрел на Берча жестким взглядом. И тут

Берч сорвался. Он повис на поводьях, осыпая миссионера проклятиями. Он обрушивал на него самую грязную ругань, какую знал. Он бесновался, он сыпал непристойностями. Миссионер молчал и только подгонял лошадь. Берч ухватил ногу миссионера и выдернул ее из седла. Миссионер чуть было не вылетел из седла, но успел кое-как ухватиться за гриву, а потом полускатился, полусоскользнул на землю. Повозка тем временем подъехала к ним и остановилась. Сидевшие в ней два китайца посматривали на белых с ленивым любопытством. Миссионер побелел от ярости.

— Вы напали на меня! Я добьюсь, чтобы вас за это выгнали!

— Идите к черту, — сказал Берч. — Я три месяца не видел белого лица, а вы даже поговорить со мной не захотели. И еще зовете себя христианином?

— Как ваша фамилия?

— Берч моя фамилия, и провались ты ко всем чертям!

— Я сообщу о вас вашему начальству. А теперь посторонитесь, не загораживайте дорогу.

Берч стиснул кулаки.

— Вали отсюда, не то я тебе все кости переломлю.

Миссионер взобрался в седло, резко стегнул лошадку хлыстом и зарысил прочь. Китайская повозка медленно поползла за ним. Но едва Берч остался один, его бешенство угасло и из груди против воли вырвалось рыдание. Безлесые горы были не такими безжалостными, как сердце человека.

XXIV. РОМАНТИКА

Весь день я плыл вниз по реке. Той самой реке, по которой Чан Чэнь в поисках ее истоков поднимался много-много дней, пока не добрался до города, где увидел девушку, которая ткала, и юношу, который вел на водопой вола. Он спросил, что это за место, а девушка вместо ответа дала ему челнок со своего станка и велела, вернувшись, показать челнок астрологу Хэн Чунпину, который по этому знаку поймет, где он побывал. Тот так и сделал. Астролог сразу увидел, что челнок принадлежит Ткачихе, и объявил далее, что, по его наблюдениям, в тот самый день и час, когда Чан Чэнь получил челнок, между Ткачихой и Пастухом вторглась блуждающая звезда. Вот так Чан Чэнь узнал,

что он плавал по Серебряной Реке, которая зовется еще Млечным Путем¹.

Я, однако, так далеко не бывал. Весь день, как и предыдущие семь дней, мои пять гребцов гребли стоя, и в моих ушах все еще отдавался монотонный стук весел о деревянную чеку, служившую уключиной. Порой вода становилась очень мелкой, и лодка, задев камень на дне, останавливалась с резким толчком. Тогда двое-трое гребцов засучивали синие штанины по бедра и спускались за борт. Под дружные крики они стаскивали плоскодонку с места. Иногда впереди показывались быстрины — совсем пустячные, если сравнить их с бурными быстринами Янцзы, но тем не менее джонки, идущие по течению, преодолевали их только с помощью бечевы, а мы проносились через них под множество воплей, взлетали на пенящиеся буруны и вдруг оказывались на плесе, спокойном и зеркальном, точно озеро.

А теперь была ночь, и гребцы спали вповалку на носу под навесом, какой им удалось соорудить, когда мы в сумерках причалили к берегу. Я сидел на моей постели. Бамбуковые циновки на трех деревянных арках образовывали подобие каюты, которая в течение недели служила мне гостиной и спальней. С четвертой стороны ее замыкала дощатая стена, сбита так грубо, что между досками оставались широкие щели. Сквозь них прорывался пронзительный ветер. По ту ее сторону лодочники — крепкие сильные ребята — днем гребли, а ночью спали, — и тогда к ним присоединялся кормчий, который в рваном синем одеянии, стеганой куртке выгоревшего серого цвета и черном тюрбане от зари до сумерек стоял у своего кормила — длинного тяжелого весла. Обстановку моей каюты составляли постель, блюдо, напоминавшее огромную глубокую тарелку, в котором тлел древесный уголь, потому что было холодно, корзина с моей одеждой, служившая мне столом, и фонарь, который был подвешен к одной из арок и чуть покачивался от течения вместе с лодкой. Каюта была такой низкой, что мне, человеку

¹ В китайском мифе Ткачиха (звезда в созвездии Лиры), дочь Небесного правителя, ткала небесную парчу из облаков. Отец выдал ее за Волопаса (звезда Пастух в созвездии Орла), и она бросила ткать. В наказание Небесный правитель поселил ее мужа на другом берегу Млечного Пути, разрешив им встречаться лишь раз в году — в седьмой день седьмой луны. День этот считается в Китае днем влюбленных.

отнюдь не высокого роста (я утешаюсь наблюдением Бэкона, который указал, что высокие люди сходны с высокими домами в том, что верхний этаж у них обставлен наиболее скудно), почти приходилось наклонять голову. Кто-то из спящих захрапел громче и, возможно, разбудил двух других, потому что я услышал обмен фразами. Но вскоре голоса смолкли, храп не возобновился, и вновь вокруг сомкнулась тишина.

Внезапно у меня возникло ощущение, что здесь, прямо передо мной, почти касаясь меня, пребывает романтика, которую я всегда искал. Чувство, не похожее ни на одно другое, столь же конкретное, как упоение произведением искусства, хотя я абсолютно не знал, что именно подарило мне вдруг эту редчайшую эмоцию.

На протяжении моей жизни я часто оказывался в ситуациях, которые показались бы мне вполне романтическими, если бы я где-нибудь прочел о них. На деле же только потом, сравнив их с моими понятиями о романтике, я замечал в них что-то выходящее за рамки обыденности. Лишь усилием воображения, поставив себя, так сказать, на место зрителя, наблюдающего, как я же играю какую-то роль, мне удавалось уловить отзвуки необычайного в обстоятельствах, которые, касаясь они других, сразу оделись бы для меня в радужные цвета. Я танцевал с актрисой, чье обаяние и талант сделали ее кумиром моей страны, или бродил по залам знаменитого дворца, где собрался весь цвет аристократии, как крови, так и духа, какой только мог похвастать Лондон, — но лишь потом я распознавал, что, пусть и несколько в манере Уйды, это, пожалуй, все-таки была романтика. Во время сражения, когда, сам особой опасности не подвергаясь, я наблюдал за происходящим с живым интересом, у меня не хватило флегматичности взять на себя роль зрителя. Ночью в полнолуние я плыл к коралловому острову в Тихом океане, и чудо красоты вдруг наполнило меня счастьем, — но лишь потом пришло пьянящее чувство, что я соприкоснулся с романтикой кончиками пальцев. Трепет ее крыльев я услышал, когда однажды сидел в номере нью-йоркского отеля за столом с еще шестерыми и мы строили планы возрождения древнего царства, беды которого уже век как вдохновляли поэтов и патриотов, — но главным моим чувством было ироническое удивление, что волей войны я оказался участником дела, совершенно

чуждого моей натуре. Подлинный романтический восторг овладевал мной при обстоятельствах, которые другим показались бы далеко не такими романтическими, и, помню, впервые я испытал его как-то вечером, когда играл в карты в хижине на побережье Бретани. В соседней комнате умирал старый рыбак, и женщины говорили, что он скончается с отливом. Снаружи бушевала буря, и казалось на редкость уместным, что дряхлый боец с морской стихией уйдет из жизни под дикие вопли ветра, бьющего в ставни на окнах. Волны с громом обрушивались на измученные скалы. И я испытывал ликующее торжество, потому что знал — здесь властвует романтика.

И вот теперь мной овладело то же ликование, и вновь передо мной была романтика, почти одетая плотью. Но явилась она так неожиданно, что я был заинтригован. Пробралась ли она между тенями, которые фонарь отбрасывал на циновки, или ее принес ветер по реке, которую я видел из каюты? Желая выяснить, из каких элементов сложилось это невыразимое восхищение, я прошел на корму. Рядом были причалены джонки, поднимающиеся вверх по реке, — мачты на них были поставлены прямо. Их тоже одевала тишина. Лодочники давно спали. Ночь была облачной, но не темной, так как за облаками плыла полная луна. Тем не менее река в этом туманном свете выглядела призрачной. Неясная дымка сглаживала очертания деревьев на том берегу. Зрелище было колдовское, но в нем не пряталось ничего непривычного, и того, чего я искал, тут не было. Я повернулся и ушел в мое бамбуковое убежище, но одевавшее его очарование исчезло. Увы, я был как человек, который разорвал бы на части бабочку, чтобы узнать, в чем заключается ее красота. И все же, подобно тому как Моисей, спускаясь с Синая, нес на своем челе сияние от общения с Богом Израиля, так и моя каюта, моя жаровня, мой фонарь и даже моя складная кровать все еще таили в себе частичку неземного восторга, который я на мгновение познал. Я уже не мог смотреть на них с прежним равнодушием, ибо был миг, когда они предстали мне, одетые волшебством.

XXV. ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

Он был очень стар. Миновало пятьдесят семь лет с тех пор, как он попал в Китай судовым врачом и в одном из

южных портов сменил местного медика, которого здоровье вынудило вернуться на родину. Тогда ему никак не могло быть меньше двадцати пяти лет, из чего следовало, что теперь ему уже давно перевалило за восемьдесят. Он был высоким, очень худым, и кожа висела на костях, будто слишком широкий костюм. Под подбородком она болталась широкой складкой, словно серьга старого индюка, но голубые глаза, большие и блестящие, сохранили свой цвет, а голос оставался звучным и басистым. За эти пятьдесят семь лет он купил и продал три-четыре практики на побережье, а теперь жил в нескольких милях от порта, в котором обосновался, когда только приехал в Китай. Это была якорная стоянка в устье реки, где разгружались и грузились суда, если низкая осадка не позволяла им подняться по ней до города. Селение состояло из семи домов, где жили белые, крохотной больнички и кучки китайских лачужек, так что врач там, в сущности, сидел без дела. Но он был еще и вице-консулом, а тихая жизнь в его возрасте идеально ему подходила. Праздным он себя не чувствовал, но занятий у него набралось ровно столько, чтобы не утомляться. Дух его все еще был здоров и силен.

— Я подумываю уйти на покой, — говаривал он, — пора освободить дорогу молодым.

Он развлекался, строя планы на будущее. Всю жизнь ему хотелось побывать в Вест-Индии, и, черт побери, сейчас он это и осуществит. Черт побери, сэр, откладывать на потом он уже не может. Англия? Ну, судя по доходящим оттуда вестям, Англия теперь не место для настоящих джентльменов. В последний раз он побывал там тридцать лет назад. А к тому же он ведь и не англичанин вовсе. Родился в Ирландии. Да, сэр! Диплом получил в Тринити-колледже в Дублине. Да только теперь между католическими попами с одной стороны и шинфейнерами с другой от той Ирландии, которую он знал в юности, мало что осталось. А какая там была охота! При этих словах в его широко открытых голубых глазах появился веселый блеск.

Манеры у него были лучше тех, которые приняты у медиков, наделенных, Господь их благослови, многими добродетелями, но презирующих хорошие манеры. Не знаю, чему врач обязан злосчастливым ощущением превосходства над другими. Играет ли тут роль общение с больными, или пример тех его учителей, кто поддерживает скверную традицию

грубости, которую культивировали кое-какие светила практической медицины в качестве профессиональной привилегии, или годы учения, проведенные в палатах для немощных больных (их он обычно считает много ниже себя), но факт остается фактом: в целом нет другой корпорации, столь чуждой простой вежливости.

Он был совершенно не похож на людей моего поколения. Но заключалось ли различие в его голосе и жестах, его непринужденности или в изысканности его старинной учтивости, решить было трудно. Мне кажется, он гораздо больше соответствовал понятию «джентльмен», чем многие и многие в наши дни, когда мужчину именуют джентльменом в уничижительном смысле. Слово это обрело дурной привкус, а качества, которые оно подразумевает, подвергаются осмеянию. За последние тридцать лет в мире много шума наделали люди, которых никакая сила воображения не способна подогнать под это понятие, и они пускали в ход весь свой сарказм, чтобы сделать одиозным определение, под которое — как, возможно, они сами прекрасно сознавали — они не подходили ни с какой стороны. А может быть, отличие его объяснялось разницей в образовании. В юности ему преподавали множество бесполезностей, как, например, классиков Греции и Рима, и эти абстракции заложили основу его характера, в нынешние времена очень редкую. Он был молод в эпоху, когда не существовало еженедельников, а ежемесячные журналы были очень солидны. Чтение тогда не было развлекательным. Быть может, мужчины пили больше, чем шло им на пользу, но они читали Горация ради удовольствия и знали наизусть романы сэра Вальтера Скотта. Он помнил, как читал «Ньюкомов»¹ еще в выпусках. Мне кажется, люди в ту эпоху если и не дерзали больше, чем в нашу, зато дерзали величаво: теперь человек рискует жизнью с шуточкой из сборника анекдотов на губах, а тогда это была латинская цитата.

Как могу я проанализировать тончайшие отличия этого старика? Прочтите страничку Свифта: слова те же, какими мы пользуемся сегодня, и почти не отыщется предложения, в котором они не были бы расположены в самом простом порядке, и все-таки они обладают достоинством, емкостью, ароматом, каких все наши современные потуги обрести не

¹ «История Ньюкомов» (1855) — роман У. М. Теккерея.

могут, — короче говоря, в них есть стиль. Вот так и с ним: в нем был стиль, и больше сказать нечего.

XXVI. ДОЖДЬ

Да, но солнце сияет не каждый день. Иногда вас хлещет холодный дождь, а северо-восточный ветер пронизывает до костей. Обувь и верхняя одежда не просохли со вчерашнего дня, а до завтрака вам идти еще четыре часа. Вы бредете в безрадостном свете злого рассвета, а впереди вас ждут только грязь и неудобства китайской гостиницы. Там вы найдете голые стены, сырость земляного пола и попытаетесь немного обсушиться над жаровней с тлеющим древесным углем.

И вы начинаете вспоминать свой уютный кабинет в Лондоне. Дождь барабанит в окна, но делает комнату только еще теплее. Вы сидите у огня с трубкой в зубах и читаете «Таймс», ничего не пропуская. Конечно, не редакционную статью, но колонки личных объявлений и заманчивые описания продающихся загородных резиденций, купить которые никогда не сможете. (В Чилтернских холмах с собственным парком, площадью в сто пятьдесят акров, с большим плодовым садом, огородами и т. д., и т. д. Дом XVIII века в превосходном состоянии, полностью сохранившиеся дубовые панели и камин, шесть гостиных, четырнадцать спален и обычные подсобные помещения, современные удобства, конюшня с квартирой над ней, превосходный гараж. В трех милях от первоклассного поля для гольфа.) Тут я понимаю, что господа Найт, Фрэнк и Ратли — мои любимейшие авторы. Материалы, с которыми они имеют дело, подобно великим банальностям, лежащим в основе всей подлинной поэзии, никогда не приедаются, а творческая манера, как у всех великих мастеров, характерна, но разнообразна. Их стиль — как стиль Конфуция, если верить синологам, — отличается блистательная сжатость: суховатый, но емкий, он сочетает достойную восхищения точность с образностью, дающей волю воображению. Легкость, с какой они оперируют мерами длины и площади, значение которых я, наверное, когда-то знал, хотя уже много лет оно остается для меня тайной, просто поразительна, и пользуются они ими с большим вкусом и непринужденностью. Они умеют играть техническими терминами с находчивостью мистера

Редьярда Киплинга и способны одеть их кельтской магией мистера У. Б. Йейтса. Они с такой полнотой слили свои индивидуальности, что никакой самый пронизательный критик не сумеет найти ни малейших признаков раздельного авторства. Истории литературы известны случаи сотрудничества двух творцов, и возбужденная фантазия тотчас обращается к таким именам, как Бомонт и Флетчер, Эркман — Шатриан, Безант и Райс; но теперь, когда высшая критика уничтожила прививавшуюся мне в детстве веру в тройное авторство Библии, я полагаю, Найт, Фрэнк и Ратли остались единственными триедиными авторами.

Тут Элизабет, весьма элегантная в белой белке, которую я привез ей из Китая, входит попрощаться со мной — ей, бедной девочке, положено гулять во всякую погоду, — и мы с ней играем в поезда, пока готовится ее коляска. После чего мне, конечно, следовало бы поработать, но погода такая скверная, что меня одолевает лень и я беру книгу профессора Джилса о Чжуан-цзу. Ортодоксальные конфуцианцы его не одобряют, потому что он — индивидуалист, а прискорбное захирение Китая они объясняют как раз индивидуализмом эпохи, но это очень приятное чтение. А в дождь у этой книги есть то преимущество, что ее можно читать, не слишком сосредотачиваясь, и не так уж редко вы наталкиваетесь на мысль, дающую пищу для ваших собственных раздумий. Но вскоре всякие идеи, прокрадываясь в ваше сознание, точно набегающие волны прилива, поглощают вас целиком, изгоняют навеянные стариком Чжуан-цзу и, вопреки вашему желанию побездельничать, усаживают вас к столу.

Только дилетанты обзаваются бюро. Ваше перо свободно скользит по бумаге, пишется вам легко и просто. Так хорошо ощущать себя живым! Ко второму завтраку приходят два приятных собеседника, а когда они уходят, вы заглядываете к Кристи. Там выставлены несколько статуэток времен династии Мин, но они хуже тех, которые вы привезли из Китая, а потом вы наблюдаете продажу картин, которые сами ни за что не стали бы покупать. Вы смотрите на часы: в Гаррик-клубе уже, конечно, сели за бридж, а отвратительная погода достаточное оправдание, чтобы потратить впустую оставшиеся дневные часы. Но долго вы там оставаться не можете: у вас билеты на премьеру, так что надо вернуться домой и переодеться к раннему обеду. Вы успеете

как раз вовремя, чтобы рассказать Элизабет сказку на сон грядущий. Как она мила в своей пижамке и с волосами, заплетенными в две косички! В премьерах есть что-то такое, к чему способна остаться равнодушной только пресыщенность критика. Приятно увидеть знакомые лица, и так забавно слушать рукоплескания партера, когда любимица публики, даже лучше, чем на подмостках, сыграв наивное смущение оттого, что ее вдруг узнали, садится на свое место в ложе. Возможно, увидите вы скверную пьесу, но у нее есть то преимущество, что ее еще никто никогда не видел, и можно надеяться, что где-то она вас растрогает или вызовет улыбку.

Навстречу вам в огромных соломенных шляпах — точно шляпы влюбленных Пьеро, но только с большими полями — шагает вереница кули, чуть горбящихся под тяжестью огромных тюков хлопка. Насквозь мокрая синяя одежда, такая тонкая и обтрепанная, облепляет их тела. Разбитые плиты дороги стали очень скользкими, и вы опасливо шлепаете по жидкой грязи.

XXVII. САЛЛИВАН

Он был ирландским матросом, сбежал со своего судна в Гонконге и вбил себе в голову пройти пешком весь Китай. Три года он бродил по стране и вскоре научился неплохо объясняться по-китайски. Как часто бывает с людьми этого класса, язык давался ему легче, чем людям более образованным. Кормился он своей находчивостью. Старательно избегал английских консулов, но в каждом городке посещал судью и сообщал, что его в дороге ограбили, отобрали все его деньги. В истории этой ничего неправдоподобного не было, а излагалась она с таким богатством всяческих подробностей, что заслужила бы одобрение даже такого великого знатока, как капитан Костиган. Судья, по китайскому обыкновению, не чаял, как от него избавиться, и был рад расщедриться на десять — пятнадцать долларов, лишь бы он поскорее убрался. А если ему не предлагали денег, то уж ночлег и хороший ужин — почти наверное. Он обладал грубоватым юмором, который нравится китайцам, и продолжал успешно вести такое существование, пока судьба не сыграла с ним злой шутки, приведя к судье совсем иного склада. Судья этот, выслушав его историю, сказал ему:

— Ты просто нищий и бродяга. Тебя надо побить.

Он отдал распоряжение, ирландца тут же вывели во двор, бросили на землю и отделали палками. Он был не только сильно избит, но и совершенно ошеломлен, ощутил себя неимоверно униженным. И потерял уверенность в себе. Он тут же отказался от своей бродячей жизни и, добравшись до ближайшего открытого порта, попросил начальника таможи взять его простым таможенником. Найти на подобное место белого было непросто, и тем, кто на него соглашался, лишних вопросов не задавали. Его взяли, и вы можете увидеть его там и сейчас — загорелый дочерна бритый мужчина лет сорока пяти, довольно толстый, в аккуратной синей форменной одежде, влезает на борт пароходов и джонков в речном городке, где заместитель начальника округа, почтмейстер, миссионер и он сам — единственные европейцы. Его познания в китайском языке и обычаях делают его бесценным служащим. У него есть миниатюрная желтая жена и четверо детей. Он не стыдится своего прошлого и за рюмочкой крепкого виски расскажет вам всю эпопею своих скитаний. Но побои — вот через что он не может переступить. Они все еще его удивляют, и он не в состоянии, ну, просто не в состоянии понять, что, собственно, произошло. Дурных чувств он к судье не питает: наоборот, это щекочет его чувство юмора.

— Лихой старикан, ну, лихой, — говорит он. — Хватило же наглости!

XXVIII. СТОЛОВАЯ

Это была необъятная комната в необъятном доме. Когда он строился, строительство обходилось дешево, и князья торговли тех дней строили с размахом. Деньги тогда наживались легко, и жизнь окружалась роскошью. Стать богатым не составляло особого труда, и человек мог возвратиться в Англию еще относительно молодым и доживать свои дни среди такой же роскоши в прекрасном доме где-нибудь в Суррее. Правда, население было враждебно, в любую минуту могли вспыхнуть беспорядки, и пришлось бы бежать, спасаясь от смерти, но это лишь добавляло малую толику остроты к безмятежному существованию, а когда оно оказывалось под серьезной угрозой, почти наверное появлялась канонерка, обеспечивая защиту или убежище. Иностранная община, сплоченная многочисленными брачными союзами,

отличалась хлебосольством, и члены ее устраивали друг другу пышные приемы. Они давали чопорные обеды, танцевальные и карточные вечера. Дела оставляли достаточно свободного времени, чтобы посвящать несколько дней охоте на уток в глубине провинции. Летом, бесспорно, стояла страшная жара, и человек приучался не слишком надрываться в эти месяцы, зато весь остальной год погода была просто теплой, небо — синим, воздух — душистым, и жизнь текла очень приятно. Допускалась определенная свобода поведения, и никому это не ставилось в упрек, при условии, что живущая с ним ясноглазая китаяночка не будет навязываться вниманию дам. Когда он вступал в брак, китаяночка отсылалась к родным с подарком, а дети, если они были, росли в шанхайском евразийском пансионе, ни в чем не нуждаясь.

Но эта полная довольства жизнь канула в прошлое. Порт жил торговлей чаем и разорился, когда в моду вместо китайских вошли цейлонские сорта. Тридцать лет порт умирал. Прежде у консула там были два вице-консула, облегчавшие ему труды, но теперь он легко справлялся со всей работой сам. Обычно ему удавалось выкроить время для гольфа во второй половине дня, и он редко отказывался от партии в бридж, ссылаясь на занятость. От прежнего пышного расцвета сохранились только огромные склады, но почти все они стояли пустые. Торговцы чаем — те, которые еще остались, — брались за что угодно еще, лишь бы сводить концы с концами. Но усилия их были вялыми. Все в порту казалось одряхлевшим. Молодым людям делать там было нечего.

Комната, в которой я сидел, словно рассказывала мне историю прошлого и историю того, кого я ждал. Было воскресное утро, и, когда я после двухдневного плавания сошел на берег с каботажного судна, он еще не вернулся из церкви. Я пытался нарисовать его портрет по обстановке комнаты. В ней чудилось что-то жалкое. Она хранила великолепие былых лет, но великолепие обветшалое, и царивший в ней порядок, не знаю почему, словно подчеркивал стыдливую бедность. Пол был устлан гигантским турецким ковром, в семидесятых, несомненно, стоившим больших денег, но он уже совсем истерся. Необъятный стол красного дерева, за которым съедалось столько изысканных обедов, запивавшихся превосходными винами, был так отполирован, что в него можно было смотреться, как в

зеркало. Он ассоциировался с портвейном — выдержанным, золотисто-багряным, с преуспевающими краснолицыми джентльменами, которые носили бакенбарды и обсуждали проделки этого шарлатана Дизраэли. Стены были того темно-красного цвета, который считался приличным для столовой в дни, когда обед нес важную светскую функцию, и увешаны портретами. Родители хозяина дома: пожилой лысый господин с седыми бакенбардами и суровая смуглая старая дама, причесанная а-ля императрица Евгения. И еще его бабушка в пышном чепце. Буфет красного дерева с зеркалом в глубине обременяли подносы накладного серебра и чайный сервиз и еще всякая всячина, а на середине стола красовалось внушительных размеров декоративное нечто из серебра. На каминной полке из черного мрамора стояли черные мраморные часы, обрамленные черными мраморными вазами, а по четырем углам комнаты расположились витрины, заставленные всевозможными серебряными безделушками. Несколько больших пальм раскидывали над паркетом жесткие листья. Массивные красного дерева стулья, набитые конским волосом и обтянутые красной кожей, два таких же кресла по сторонам камина. Комната, несмотря на свою величину, казалась заставленной, но все выглядело таким старым, что она наводила грусть. Чудилось, что все эти вещи обладают собственной жизнью, но жизнью утасующей, ибо обстоятельства оказались сильнее их. У них не осталось энергии бороться с судьбой, но они льнули друг к другу с робкой настойчивостью, словно смутно ощущали, что только так сумеют сохранить свою значимость. И меня охватило предчувствие, что скоро наступит конец и они будут небрежно, кое-как составлены в унылом холоде аукционного зала, а с задней стороны у них будут наклеены номерки.

XXIX. АРАБЕСКА

Из туманной дымки, необъятная, величественная, безмолвная и грозная, вставала Великая Китайская стена. В гордом одиночестве, с невозмутимым равнодушием самой Природы она взбиралась по горному склону и уходила вниз, в долину. Над ней через положенные промежутки воинственно поднимались сторожевые башни, квадратные и угрюмые. Она беспощадно — ведь постройка ее обошлась в миллион

жизней, и каждый из огромных серых камней был окроплен кровавыми слезами пленника или изгоя — пролагала свой темный путь среди моря горных отрогов. В своем бесконечном путешествии она углубляется бесстрашно в самые недоступные внутренние области Азии, совершенно одна, мистически уподобляясь великой империи, которую охраняла. Из туманной дымки, необъятная, величественная, безмолвная и грозная, вставала Великая Китайская стена.

XXX. КОНСУЛ

Мистер Пит был вне себя от раздражения. За двадцать с лишним лет службы в консульствах ему приходилось иметь дело со всевозможными нестерпимыми людьми: чиновниками, недоступными голосу рассудка, торговцами, считавшими британское правительство агентством по взысканию долгов, миссионерами, восставшими на любую попытку сохранять беспристрастность, но он не мог вспомнить другого случая, который поставил бы его настолько в тупик. Человек мягкий, он без всякой причины вдруг накинулся на своего секретаря и чуть было не уволил евразийского клерка за две орфографические ошибки в поданной ему на подпись бумаге. Он был добросовестным человеком и подумать не мог покинуть свой кабинет, прежде чем часы пробьют четыре, но едва это произошло, как он вскочил на ноги и приказал подать ему шляпу и трость. Бой замешкался, и он свирепо отругал его. Говорят, все консулы обзаводятся странностями, — коммерсанты, способные прожить в Китае тридцать пять лет, не выучив и десятка китайских слов, чтобы спросить дорогу на улице, утверждают, будто причина заключается в необходимости изучать китайский язык. И мистер Пит, бесспорно, отличался кое-какими странностями. Он был холост, а потому его назначали в городки, которые считались малоподходящими для людей женатых из-за своего уединенного местоположения. Продолжительное одиночество способствовало тому, что его эксцентрические наклонности развились в необычной степени, и его привычки приводили в недоумение незнакомых людей. Он был очень рассеян. Он не обращал внимания ни на свой дом, в котором всегда царил страшный беспорядок, ни на то, что ел: слуги кормили его чем хотели и за все заставляли платить втридорога. Он был неутомим в

своих усилиях положить конец контрабанде опиума — и только он один в городке не знал, что его бои прячут опиум прямо в консульстве и торговля наркотиком бойко ведется через задние ворота. Он был заядлым коллекционером, и в резиденциях, которые ему предоставляло правительство, было тесно от предметов, собранных им в те или иные годы. Оловянная посуда, изделия из бронзы и из дерева — а вдобавок он коллекционировал птичьи яйца, ярлыки отелей и почтовые марки. По его утверждению, его коллекция марок была лучшей в Британской империи. В глуши он много читал, и, хотя настоящим синологом не стал, о Китае, его истории, литературе и народе он знал гораздо больше многих и многих своих коллег. Но чтение развило в нем не терпимость, а тщеславие. И вид у него был своеобразный. Тощий, щупленький, он, когда двигался, напоминал сухой лист, танцующий на ветру, и было нечто неописуемо странное в маленькой тирольской шляпе с петушиным пером, очень старой и потрепанной, которую он лихо заламывал на своей крупной голове. Лыс он был абсолютно. Молочно-голубые глаза за стеклами очков выглядели подслеповатыми, а обвисшие клочковатые усы не маскировали брюзгливой складки губ. И теперь, пройдя по улице, на которой располагалось консульство, он направился к городской стене — единственному месту в перенаселенном городе, где можно было прогуливаться с удовольствием.

Свои обязанности он принимал близко к сердцу и изводил себя из-за всяких пустяков, но, как правило, прогулка по стене успокаивала его, приносила ему отдохновение. Город стоял на обширной равнине, и на закате со стены нередко удавалось разглядеть в отдалении снежные вершины гор — гор Тибета. Но на этот раз он шел быстрым шагом, не глядя по сторонам, не глядя на своего толстенького спаниеля, который резвился возле него. Он быстро и монотонно бормотал себе под нос. Причиной его раздражения была дама, которая посетила его в этот день. Она называла себя миссис Ю, а он с консульским педантизмом называл ее мисс Ламберт. Одно это делало их беседу неприятной. Она, англичанка, была замужем за китайцем. Два года назад она приехала сюда с мужем из Англии, где тот учился в Лондонском университете. Он внушил ей, что у себя на родине он — важная персона, и она воображала,

будто здесь ее ждет роскошный дворец и высокое положение в обществе. И разочарование было жестоким, когда он привез ее в ветхий, кишасий людьми китайский дом. В нем не было даже человеческой кровати, даже столового ножа с вилкой, и все ей казалось грязным и вонючим. Она была ошеломлена, узнав, что ей предстоит жить под одной крышей с отцом и матерью ее мужа, — и он тут же предупредил ее, что она должна слушаться его матери беспрекословно. О китайских обычаях она не знала ровно ничего, и прошло три дня, прежде чем ей стало ясно, что она — не единственная жена своего мужа. Его женили почти еще мальчиком, до того как он покинул родной город, чтобы заимствовать у варваров их познания. Когда она горько упрекнула его за обман, он пожал плечами. Любой китаец, если он того хочет, имеет право обзавестись двумя женами, и, добавил он, несколько уклоняясь от истины, китайские женщины ничего дурного в этом не видят. После этого открытия она и посетила консула в первый раз. Он уже слышал о ее приезде — в Китае все знают все обо всех — и принял ее без удивления. И особого сочувствия она у него не нашла. Сам факт, что европейка вышла замуж за китайца, привел его в негодование, а она к тому же решилась на такой шаг, не наведя никаких справок! Это подействовало на него как личное оскорбление. И по ее внешности в ней никак нельзя было угадать способность на такое безумство. Молодая женщина плотного сложения, невысокая, некрасивая, деловитая. Одета она была в дешевый костюм и носила берет с помпоном. Зубы у нее были скверные, как и цвет лица. Кисти большие, красные, неухоженные. Сразу угадывалось, что черная работа ей не внове. По-английски она говорила с простонародной интонацией.

— Как вы познакомились с мистером Ю? — спросил консул ледяным тоном.

— Видите ли, дело было так, — ответила она. — Папаша хорошее место имел, а когда он помер, мамаша сказала: «Грешно, чтобы все эти комнаты стояли пустыми. Надо будет карточку к окну прилепить, что они сдаются».

Консул перебил ее:

— Он снимал у вас квартиру?

— Ну, не то чтобы квартиру, — ответила она.

— В таком случае, скажем, меблированные комнаты? — ответил консул со своей узкогубой, чуть-чуть самодовольной улыбочкой.

Обычное объяснение подобных браков! Затем — поскольку она казалась ему очень глупой и вульгарной женщиной — он без обиняков объяснил ей, что английский закон ее брака с Ю не признает, и лучше всего ей было бы безотлагательно вернуться в Англию. Она расплакалась, и он слегка смягчился. И обещал, что поручит ее заботам миссионерш, так что долгий путь обратно она проделает не в одиночестве, и вообще, если она хочет, он выяснит, нельзя ли ей будет немедленно перебраться в одну из миссий. Но пока он говорил, мисс Ламберт утерла слезы.

— А чего мне в Англию возвращаться-то? — сказала она. — К кому?

— К вашей матери.

— Так она была против, чтоб я вышла за мистера Ю. И если я вернусь, она меня поедом есть будет.

Консул попробовал ее убедить, но чем больше он убеждал, тем упрямее она отказывалась, и наконец он вышел из себя.

— Если вы хотите остаться здесь с мужчиной, который вам не муж, дело ваше, но я умываю руки и снимаю с себя всякую ответственность.

Ее ответ и сейчас еще болезненно его уязвлял.

— Так чего же вам беспокоиться! — сказала она, и всякий раз, когда он вспоминал о ней, перед его глазами всплывало ее лицо в ту минуту.

С тех пор прошло два года, и видел он ее очень редко. Со свекровью и первой женой своего мужа она ладила очень плохо и раза два обращалась к консулу с нелепейшими вопросами о том, какие у нее есть права согласно китайским законам. Он повторял свое предложение помочь ей уехать, но она по-прежнему отказывалась наотрез, и их разговор неизменно кончался тем, что консул приходил в ярость. Он даже испытывал нечто вроде сочувствия к проходе Ю, которому приходилось поддерживать мир между тремя ссорящимися женщинами. По словам его английской жены, он не обходился с ней плохо и пытался поступать справедливо по отношению к обеим своим женам. За это время мисс Ламберт не похорошела. Консул знал, что обычно она ходит в китайской одежде, но к нему она приходила в своем европейском костюме. Она совсем обрюзгла. Китайская еда не шла ей на пользу, и вид у нее был очень больной. Однако он был просто ошеломлен, когда слуга проводил

ее к нему в кабинет в этот день. Она была без шляпы, растрепанная и почти в истерике.

— Они меня ядом травят! — взвизгнула она и поставила перед ним миску с каким-то дурно пахнущим месивом. — Отрава, — сказала она. — Я последние десять дней совсем больна была и спаслась просто чудом.

Она пустилась в длинный обстоятельный и вполне правдоподобный рассказ: что странного, если китайки прибежали к обычному средству, чтобы избавиться от ненавистой чужеземки?

— Они знают, что вы пришли сюда?

— Еще бы! Я им сказала, что выведу их на чистую воду.

Наконец-то настал момент для действенных мер. Консул принял свой самый официальный вид.

— Вам нельзя возвращаться туда. Я отказываюсь смиряться с вашим вздором. Я требую, чтобы вы оставили этого человека, который вам не муж.

Но перед ослиным упрямством этой женщины он оказался бессилён. Он повторил все аргументы, которые так часто пускал в ход, но она не слушала, и, как обычно, он вышел из себя. Вот тогда-то в ответ на его последний возмущенный вопрос она и произнесла слова, которые совершенно выбили его из колеи.

— Но что вас заставляет оставаться с ним? — вскричал он.

Она замаялась, и на лице у нее появилось странное выражение.

— У него волосы надо лбом растут как-то так, что просто за сердце берет, — ответила она.

Ничего столь возмутительного консул еще никогда не слышал. Это явилось последней каплей. И вот теперь, быстро шагая вперед в попытке утишить свой гнев, он, хотя всегда избегал крепких выражений не сумел удержаться и пробормотал свирепо:

— Все бабы стервы!

XXXI. ЮНОША

Он шел по дороге легким уверенным шагом. Семнадцатилетний, высокий, худощавый, с гладкой желтой кожей, не знавшей бритвы. Его глаза, лишь чуть раскосые, были большими, широко открытыми, а на пухлых алых губах

трепетала улыбка. В его осанке сквозила веселая дерзость юности. Круглая шапочка бойко сидела на голове, черное одеяние было перепоясано на чреслах, а штаны, как правило перевязываемые у щиколотки, засучены до колен. Он был бос, если не считать тонких соломенных сандалий, а ступни у него были небольшие и изящные. Он шел с раннего утра по мощеной дороге, которая извивалась змеей то вверх по склонам холмов, то по долинам среди бесчисленных рисовых полей — мимо тесных кладбищ, через хлопотливые деревни, где, быть может его глаза одобрительно задерживались на какой-нибудь хорошенькой девушке в синей кофте и коротких синих штанах, которая сидела на пороге своего дома (хотя, я думаю, его взгляд требовал восхищения, а не дарил его). И вот теперь он приближается к концу своего пути — к городу, где он думает найти свое счастье. Город этот стоит посреди плодородной равнины, окружен зубчатой стеной, и при виде его юноша решительно ускоряет шаг. Он смело откидывает голову. Он гордится своей силой. Все его имущество покоится в синем узелке, который он несет за плечом.

Дик Уиттингтон отправился на поиски славы и богатства в обществе кота, а этот китаец нес круглую клетку с красными прутьями, которую изящно держал большим и указательным пальцами, и сидел в клетке красивый зеленый попугай.

XXXII. ФАННИНГИ

Они жили в прекрасном, опоясанном верандой, квадратном доме на пологом холме над рекой, а чуть ниже находился еще один прекрасный квадратный дом, в котором помещалась таможня, куда — потому что он был помощником комиссара — Фаннинг ходил каждый день. До города было пять миль, а на речном берегу приютилось крохотное селение, возникшее, чтобы снабжать джонки материалами или припасами, которые могли им понадобиться. В городе жили миссионеры, но он их видел редко, и единственными чужеземцами в селении, кроме них, были два таможенника — бывший матрос первой статьи и итальянец. Оба женатые на китаянках. Фаннинги приглашали их на завтрак в день Рождества и в день рождения короля, но в остальном отношения с ними оставались чисто служеб-

ными. Пароходы причаливали не больше чем на полчаса, и ни капитана, ни старшего механика — единственных белых на борту — они не видели, а на протяжении пяти месяцев в году вода в реке стояла низко, и пароходы вообще не ходили. Как ни странно, именно в эти месяцы они чаще всего видели европейцев: время от времени какой-нибудь путешественник, торговец, но чаще всего миссионер, плывший вверх по течению на джонке, причаливал на ночлег, и помощник комиссара, спустившись к реке, приглашал его отобедать у них. Так что жизнь они вели одинокую.

Фаннинг был абсолютно лысым коренастым коротышкой, курносый и с очень черными усами. Он был педантичен, требователен, резок и держался очень агрессивно. К китайцам он обращался только громким отрывистым тоном категорического приказа. По-китайски он говорил свободно, но стоило какому-нибудь «бою» чем-то его прогнеть, он обругивал его по-английски. Впечатление он производил неприятное, пока вы не обнаруживали, что агрессивность была всего лишь броней, под которой пряталась болезненная застенчивость. Это была победа воли над характером. Сварливая резкость рождалась из почти абсурдной попытки доказать тем, с кем ему приходилось иметь дело, что он их не боится. Возникало ощущение, что сам он больше всех удивлен, что его воспринимают серьезно. Он напоминал те забавные резиновые фигурки, которые дети надувают, точно воздушные шарики, и казалось, его сдает страх, как бы не лопнуть: ведь тогда все увидят, что он всего лишь полый пузырь. И его жена использовала каждый случай, чтобы внушить ему, какой он железный человек, и после очередной вспышки говорила ему:

— Когда ты впадаешь в такой гнев, я просто пугаюсь!

Или:

— Пожалуй, мне следует немножко успокоить боя: твои слова привели его просто в ужас.

Тут Фаннинг выпячивал грудь и снисходительно улыбался. А случайным гостям она объявляла:

— Китайцы безумно боятся моего мужа, но, разумеется, уважают его. Знают, что с ним их обычные штучки бесполезны.

— Ну, естественно, я знаю, как надо с ними обходиться, — отвечал он, насунив брови. — Как-никак я живу в этой стране двадцать лет.

Миссис Фаннинг была маленькая некрасивая женщина, сморщенная как печеное яблоко, с крупным носом и плохими зубами. Она всегда выглядела очень неряшливо, а ее седеющие волосы то и дело выбивались из прически. Во время разговора она рассеянно вытаскивала одну-две шпильки, встряхивала головой и, даже не взглянув в зеркало, кое-как закалывала жидкие пряди. Ей нравились яркие краски, и она носила фантастические одеяния, идеи которых вместе со швеей-китайкой черпала из модных журналов. Но, одеваясь, она вечно не могла найти то, с чем следовало носить это, а также это, с чем следовало носить то, и выглядела так, словно ее спасли с тонущего корабля и одели во что попало. Она походила на карикатуру, и, глядя на нее, трудно было удержаться от улыбки. Единственно привлекательным в ней был ее голос, негромкий и чрезвычайно музыкальный, и говорила она с легкой оттяжкой, характерной уж не знаю для какого английского графства. У Фаннингов было двое сыновей — девяти и семи лет — вот, собственно, и все обитатели дома над рекой. Мальчики были симпатичные, ласковые, не стеснительные, и наблюдать эту дружную семью доставляло большое удовольствие. У них были свои семейные шутки, очень их забавлявшие, и они устраивали всякие шалости, словно никому среди них еще не исполнилось одиннадцати лет. Хотя они все время находились в обществе друг друга, создавалось впечатление, что всякое расставание для них невыносимо: каждый день, когда Фаннинг отправлялся на службу, мальчики еле отпускали его, и каждый день, когда он возвращался, они встречали его неумным восторгом. Его ворчливой агрессивности они несколько не боялись.

И вскоре вы обнаруживали, что фокусом безоблачной гармонии была эта маленькая смешная некрасивая женщина. Не случайность сплачивала семью и не особая доброжелательность ее членов, но жившая в этой женщине страстная любовь. С минуты пробуждения и до отхода ко сну все ее мысли были заняты удобствами и благополучием трех мужчин, оказавшихся у нее под крылом. Ее изобретательный ум строил план за планом, как сделать их счастливыми. Мне кажется, мысль о себе даже не мелькала в ее растрепанной голове. Она была чудом самоотверженности. В этом мерещилось что-то нечеловеческое. Никто не слышал от нее сердитого слова. Она была очень радушна, — и это она

посылала мужа к реке приглашать путешественников пообедать у них. Хотя, по-моему, гости нужны ей были не для себя: сама она была вполне счастлива в их уединении, но полагала, что ее мужу приятно скоротать вечер с заезжими людьми.

— Я хочу, чтобы он мог иногда встряхнуться, — говорила она. — Мой бедный муж! Он скучает без бильярда и бриджа. Мужчине очень тяжело, когда ему не с кем поговорить, кроме женщины.

Каждый вечер, после того как дети были уложены, они играли в пикет. Она, бедняжка, ничего в картах не понимала и постоянно допускала ошибки, но, когда муж бранил ее, она говорила:

— Нельзя же требовать, чтобы все были умны, как ты.

И потому, что говорила она с глубокой искренностью, в него не хватало духа рассердиться на нее. Затем, когда помощнику комиссара надоедало выигрывать у нее, они заводили граммофон и, сидя рядышком, молча слушали последние модные песни из лондонских музыкальных комедий. Задирайте нос, если вам угодно. Но они жили в десяти тысячах миль от Англии, и это была их единственная связь с родиной, которую они любили. У них возникало чувство, что они не совсем отторгнуты от цивилизованного мира. А потом они начинали говорить, как устроят детей, когда те подрастут, — ведь скоро их нужно будет отослать домой в школу, и, быть может, сердце маленькой женщины болезненно сжималось.

— Тебе будет тяжело, Берти, когда они уедут, — говорила она. — Но может быть, нас переведут куда-нибудь, где будет клуб, и тогда ты сможешь играть там в бридж по вечерам.

XXXIII. ПЕСНЬ РЕКИ

На реке вы все время ее слышите. Звучно и громко — от гребцов, которые гонят вниз по быстрому течению джонку с высокой кормой и мачтой, привязанной к борту. Надрывным напевом — от впряженных в лямки людей, которые отчаянно пытаются преодолеть силу течения вшестером, если волокут через быстрыны вупан, или сотней-другой, когда впряжены в великолепную джонку с поставленным квадратным парусом. На палубе джонки стоит человек и

непрерывно бьет в барабан, задавая ритм их движениям, и они тянут, напрягая все силы, как одержимые, сгибаясь в три погибели, а порой, на пределе возможного, ползут по земле на четвереньках, как звери полевые. Они напрягаются, напрягаются, напрягаются, борясь с безжалостной мощью потока. Старшой прохаживается взад и вперед вдоль вереницы и, заметив того, кто не отдается своей задаче целиком, бьет по нагой спине расщепленной бамбучиной. Каждый обязан вкладывать максимум усилий, иначе труд всех окажется тщетным. И тем не менее они ни на миг не обрывают свой напев, неистовый, властный, как бурные воды. Я не знаю, какими словами можно передать нескончаемое усилие. В этом напеве воплощены перенапряженное сердце, грозящие лопнуть мышцы и одновременно — неукротимый дух человека, побеждающего безжалостную стихию. Пусть порвется канат и огромную джонку потащит обратно, рано или поздно быстрины останутся позади, а после дня изнуряющего труда их ждет сытная еда, а может быть, и трубочка опиума, дарящая блаженные сны. Но самая страдальческая песнь — это песнь кули, таскающих огромные тюки хлопка с джонки по крутой лестнице к городской стене. Они поднимаются и спускаются без конца, и бесконечные, как их труд, звучат ритмические вопли. Хи, о-а, ох! Они босы, обнажены по пояс. По их лицам струится пот, и песня их — мучительный стон. Это вздох отчаяния, она обжигает сердце состраданием, она почти нечеловеческая. Это вопль агонизирующих душ, на самой грани музыкальности, а в заключительной ноте — последнее рыдание рода людского. Жизнь слишком тяжела, слишком жестока, и это — заключительный безнадежный протест. Вот она — песнь реки.

XXXIV. МИРАЖ

Он высок, с выпуклыми небесно-голубыми глазами и застенчивыми манерами. Когда глядишь на него, начинает казаться, что он великоват для своей кожи и ему было бы легче, если бы она не так туго натягивалась. Волосы, очень гладкие и упругие, так плотно прилегают к голове, что кажутся париком, и вы с трудом подавляете желание подергать за них. Болтать о пустяках он не умеет и, напрягая мозг

в поисках темы для разговора, в отчаянии предлагает вам виски с содовой.

Он возглавляет отделение БАТ, и здание, в котором он живет, одновременно служит конторой, складом и резиденцией управляющего. Гостиная обставлена унылой мягкой мебелью, аккуратно выстроенной по стенам, а середину комнаты занимает круглый стол. Висячая керосиновая лампа обеспечивает тусклый свет, а керосиновая печка — тепло. Где положено, в роскошных рамках висят олеографии из рождественских номеров американских журналов. Но он в этой комнате не сидит. Свободные часы он проводит у себя в спальне. В Америке он жил в мебелирашках, где только в спальне мог побыть наедине с собой, и у него выработалась привычка жить в спальне. Сидеть в гостиной ему кажется противоестественным: снимать там пиджак ему неловко, а по-домашнему он чувствует себя, только сняв пиджак. Свои книги и личные вещи он держит в спальне. Там у него есть и письменный стол, и кресло-качалка.

Он прожил в Китае уже пять лет, но китайского не знает, и не интересуется народом, среди которого ему, возможно, предстоит прожить лучшие годы. В конторе у него есть переводчик, а в доме всем заведует старший бой. Иногда он отправляется в Монголию и проезжает несколько сот миль по диким гористым местам в китайской повозке или верхом на низкорослой лошадке, ночуя в придорожных гостиницах среди торговцев, гуртовщиков, пастухов, солдат, всяких темных личностей и головорезов. Это неспокойный край, и, когда вспыхивают беспорядки, он подвергается немалому риску. Но поездки чисто деловые. Они ему надоели. И он всегда с радостью возвращается в свою обжитую спальню в здании БАТ. Потому что он большой любитель чтения. Читает он исключительно американские журналы, и количество их, которое он получает с каждой почтой, просто поразительно. Он не выбрасывает их, и по всему дому они громоздятся кипами. Город, в котором он живет, — это ворота из Монголии в Китай, через эти ворота течет неиссякаемый поток монголов с верблюдскими караванами; нескончаемые процессии запряженных волами повозок, везущих шкуры через необъятные азиатские просторы, грохочут по городским мостовым. А он скучает. Ему и в голову не приходит, что он ведет жизнь, где его со всех сторон подстерегают приключения. Их он способен

распознать только на печатных страницах. И, чтобы взволновать его кровь, требуется рассказ о стрельбе и погонях в Техасе или Неваде, о невероятных спасениях в последнюю секунду на островах Южного моря.

XXXV. НЕИЗВЕСТНЫЙ

Выбраться в этот палящий зной из города было благом. Миссионер сошел на берег с катера, в котором с удовольствием плыл вниз по реке, и удобно устроился в кресле, ожидавшем его у края воды. Его пронесли через деревню на реке, а там начинался подъем в гору. Ему предстоял еще час пути по широким каменным ступеням под елями, между которыми порой открывался восхитительный вид на могучую реку, сверкающую на солнце в обрамлении ликующей зелени рисовых полей. Носильщики шли ровным плавным шагом. Их потные спины блестели. Это была священная гора с буддийским монастырем на вершине, и у дороги располагались беседки для отдыха, где кули ставили кресло на землю и монах в сером одеянии подавал вам чашку цветочного чая. Воздух был свеж и душист. Приятность этого неторопливого путешествия — покачивание кресла навевало успокоение — искупала день, проведенный в городе. А в конце пути его ждало уютное бунгало, в котором он обитал летом, и впереди был душистый вечер. В этот день пришла почта, и он вез с собой письма и газеты. Четыре номера «Сатердей ивнинг пост» и четыре «Литерари дайджест». Да, его ждало все самое приятное, и обычный тихий мир (мир превыше всякого ума, как он любил повторять за апостолом Павлом), преисполнявший его всякий раз, когда он оказывался среди этих зеленых деревьев вдали от кишашего людьми города, давно уже должен был бы снизить на него.

Но он был раздражен. Неприятная встреча — и, при всей ее пустячности, ему никак не удавалось забыть о ней. Поэтому-то его лицо хранило досадливое выражение. Это было тонкое, почти аскетическое лицо с правильными чертами и умными глазами. Он был долговязым, очень худым, с ногами-спичками, как у кузнечика, и, покачиваясь в кресле в такт шагам носильщиков, несколько гротескно напоминал увядшую лилию. Кроткая душа. Он был не способен обидеть и мухи.

На городской улице он случайно столкнулся с доктором Сондерсом, маленьким, седым, с красным лицом и курносом носом, придававшим ему неожиданно нахальное выражение. У него был широкий чувственный рот, и, смеясь — а смеялся он часто, — он показывал гнилые потемневшие зубы. Когда он смеялся, вокруг его голубых глазок складывались странные морщинки, и он выглядел воплощением злорадства. В нем было что-то от фавна. Быстрые, неожиданные движения. Торопливая, подпрыгивающая походка, словно он все время куда-то спешил. Он был врачом, который жил в самом сердце города среди китайцев. Он не значился в медицинском реестре, но кто-то не поленился раскопать, что в свое время диплом он получил, а вот почему его вычеркнули из реестра, за профессиональный или чисто личный проступок, не знал никто. Оставалось неизвестным, каким образом он попал на Восток и в конце концов обосновался в Китае. Но было очевидно, что врач он прекрасный, и китайцы питали к нему большое доверие. Европейцев он избегал, и о нем ходили не слишком приятные истории. Шапочко с ним были знакомы все, но никто не приглашал его к себе, и никто у него не бывал. Когда они встретились днем, доктор Сондерс воскликнул:

— Что привело вас в город в такое время года?

— У меня есть кое-какие неотложные дела, — ответил миссионер, — а кроме того, я хотел забрать почту.

— На днях вас тут спрашивал какой-то неизвестный, — сказал доктор.

— Меня? — с удивлением переспросил миссионер.

— Ну, не то чтобы лично вас, — объяснил доктор. — Он спросил, как пройти к американской миссии. Я сказал ему, но добавил, что он там никого не найдет. Он, казалось, удивился, и я объяснил, что в мае вы все уехали в горы и вернетесь только в сентябре.

— Иностранец? — спросил миссионер, все еще недоумевая, кто бы это мог быть.

— Да-да, несомненно! — Глаза доктора поблескивали. — Тогда он спросил меня о других миссиях. Я сказал, что у лондонской миссии тут тоже есть отделение, но и туда ходить не стоит — все миссионеры сейчас в горах. В конце-то концов, в городе дьявольски жарко. «В таком случае я хотел бы посмотреть школы при миссиях», — сказал неизвестный. «Они все закрыты», — сказал я. «Ну, так я найду в

больницу». — «Да, там стоит побывать, — говорю я. — Американская больница располагает новейшим оборудованием. И операционная просто чудо». — «А как фамилия главного врача?» — «О, он в горах». — «А как же больные?» — «Больных, — отвечаю, — между маем и сентябрем не бывает. А если заведутся, придется им обойтись туземными врачами».

Доктор Сондерс умолк. Миссионер чуть досадливо поморщился.

— Так что же? — спросил он.

— Незвестный посмотрел на меня нерешительно, а потом сказал: «Я хотел, пока я здесь, побывать в миссиях». — «Загляните к католикам, — сказал я. — Они тут круглый год». — «А когда же они отдыхают?» — спросил он. «А никогда», — ответил я. Тут он ушел. По-моему, он направился к испанским монахиням.

Миссионер попал в расставленную ему ловушку, и его раздражало воспоминание о том, каким простаком он оказался. Ему следовало догадаться!

— Так кто же это был? — осведомился он простодушно.

— Я спросил, как его имя, — сказал доктор. — «А? Я Христос», — ответил он.

Миссионер пожал плечами и резко велел рикше везти его дальше.

Это крайне его расстроило. Так несправедливо! Разумеется, они уезжали с мая по сентябрь. Жара клала конец всякой полезной деятельности, и горький опыт показывал, что миссионеры лучше сохраняют здоровье и силы, если проводят жаркие месяцы в горах. Больной миссионер — только обуза. Все решает практика, и, вне всяких сомнений, труды на ниве Господней оказываются плодотворнее, если некая часть года отводится для отдыха и здоровых развлечений. И этот намек на католиков был уж вообще грубейшей несправедливостью. Они не вступают в брак. Им не надо заботиться о семье. А смертность среди них просто ужасающа. Да ведь в этом самом городе из четырнадцати монахинь, приехавших в Китай десять лет назад, живы еще только три! Им-то легко! Им просто удобнее жить в центре города и оставаться там весь год — удобнее для их работы. У них нет никаких уз. У них нет обязанностей перед близкими и любимыми. Нет, абсолютно нечестно приплетать сюда католиков!

Внезапно его осенила новая мысль. Ему особенно досаждало, что он оставил последнее слово за негодяем доктором (стоило только взглянуть на его сморщившуюся от злорадства физиономию, чтобы понять, какой он мерзавец!). А ведь доктора можно было поставить на место, только он в ту минуту растерялся, и вот теперь он нашел нужный ответ! Его охватило приятное чувство, и ему даже показалось, что он все-таки ответил. Да, сокрушающий ответ — он удовлетворенно потер худые руки с длинными пальцами. «Любезный сэр, — следовало ему сказать, — на всем протяжении своего земного служения Господь наш ни разу не утверждал, что он — Христос!» О, такой поразительный удар отразить было бы нечем! И, смакуя его, миссионер забыл свою досаду.

XXXVI. ДЕМОКРАТИЯ

Вечер был холодный. Я кончил ужин, и мой бой стелил мне постель, а я сидел возле жаровни, в которой тлели древесные угли. Почти все кули уже устроились на ночь в соседней комнате, и сквозь тоненькую перегородку я слышал, как двое переговариваются. Час назад прибыла еще компания путешественников, и маленькая гостиница была переполнена. Внезапно раздался шум, и, подойдя к двери, я увидел, что во двор внесли три кресла. Их поставили прямо напротив меня, и из первого вылез китаец весьма внушительной наружности. На нем было длинное одеяние из черного фигурного шелка, подбитое белкой, а на голове квадратная меховая шапка. Увидев меня в лучшей комнате гостиницы, он как будто несколько растерялся и, повернувшись к хозяину, что-то властно ему сказал. Выяснилось, что он какой-то чиновник и очень недоволен, что лучшая комната в гостинице уже занята. Ему сказали, что свободна только одна комната — маленькая, с постелями из соломы, наваленной у стен, где, как правило, ночуют только кули. Он пришел в неопиcуемый гнев, и разыгралась весьма впечатляющая сцена. Чиновник, два его спутника и носильщики бурно негодовали на наносимое ему оскорбление, а хозяин гостиницы и слуги объясняли, доказывали, умоляли. Чиновник бушевал и грозил. Несколько минут двор, мгновение назад такой тихий, гремел гневными выкриками. Затем, оборвавшись столь же внезапно, как и возникнув,

шум прекратился, и чиновник вошел в предложенную ему комнату. Оборванный слуга принес горячую воду, а за ним вскоре последовал хозяин с огромными мисками дымящегося риса. И вновь воцарилась тишина.

Час спустя я вышел во двор, чтобы размять ноги перед тем как лечь, и с некоторым изумлением увидел, что дородный чиновник, совсем недавно такой надутый и чванный, сидит за столом у входа в гостиницу в компании самого оборванного из моих кули. Они дружелюбно болтали, а чиновник покуривал хукку. Он поднял эту бурю, чтобы не потерять лица, но, достигнув своей цели и нуждаясь в себе-седнике, принял общество кули, не заботясь о сословных различиях. Держался он вполне благодушно, без малейшего следа снисходительности. Кули же разговаривал с ним, как с равным. Мне это показалось истинной демократией. На Востоке люди равны в ином смысле, чем в Европе и Америке. Общественное положение и богатство ставят человека выше других как бы случайно и не препятствуют дружескому общению.

Лежа в постели, я спросил себя, почему на деспотичном Востоке между людьми возможно равенство куда большее, чем на свободном и демократическом Западе, и был вынужден прийти к заключению, что объяснение следует искать в выгребной яме. Ибо на Западе нас от наших ближних отчуждает обоняние. Рабочий — наш господин, склонный править нами железной рукой, но нельзя отрицать, что от него воняет, и не удивительно: на заре, когда спешно собираешься на работу, опережая заводской гудок, о ванне думать некогда, а тяжелый физический труд не овеян благоуханием, да и белье меняешь не так уж часто, если стиркой занимается сварливая жена. Я не виню рабочего за то, что от него воняет, но от него воняет. И для человека с чувствительным носом это затрудняет светское с ним общение. Ежедневная ванна обеспечивает классовую замкнутость куда эффективнее крови, богатства или образования. Недаром романисты, выходцы из трудового сословия, склонны превращать ее в символ классовых предрассудков, а один из наиболее именитых писателей наших дней в своих занимательных романах неизменно изобличает главных злодеев, указывая, что они принимают ванну каждый день. Ну а китайцы всю жизнь живут в тесном соседстве с самыми гнусными запахами. И не замечают их. Ноздри у них не

восприимчивы к ароматам, оскорбляющим европейские носы. А потому они способны быть на равных с земледельцем, кули, ремесленником. Смею думать, что для демократии выгребная яма важнее всех парламентских институтов. Изобретение «санитарных удобств» уничтожило в людях ощущение равенства. Оно повинно в классовой ненависти куда более, чем монополия капитала, сосредоточенного в руках немногих.

Трагично думать, что первый человек, который спустил воду в ватерклозете, своим небрежным жестом похоронил демократию.

XXXVII. АДВЕНТИСТ СЕДЬМОГО ДНЯ

Он был крупным человеком и весьма упитанным. У вас возникало впечатление, что он заметно раздобрел с тех пор, как обзавелся своим костюмом, который казался ему тесен. Но этот синий костюм, видимо купленный в магазине готового платья (лацкан украшал крохотный американский флаг), высокие крахмальные воротнички и белый галстук с узором из незабудок составляли его неизменный наряд. Короткий нос и упрямый подбородок придавали его бритому лицу решительный вид. Глаза за стеклами очков в золотой оправе были большими и голубыми, а поредевшие на висках прямые и тусклые волосы были тщательно прилизаны. Но на затылке торчал мятежный хохолок.

Вверх по Янцзы он плыл впервые, но абсолютно не интересовался окружающим. Не замечал расстилающихся впереди бурных вод могучей реки, не видел красок, грозных и нежных, которыми восходы и закаты расцветивали все вокруг. Вниз по течению величаво плыли большие джонки под квадратными парусами. Поднималась луна, заливая благородную реку серебром и одевая таинственной магией храмы в рошицах по берегам, а он откровенно скучал. В определенные часы он изучал китайский язык и все остальное время читал — но лишь номер «Нью-Йорк таймс» трехмесячной давности и отчет о парламентских дебатах за июль 1915 года, неведомо каким образом очутившийся на борту. Его не интересовали религии, главенствовавшие в стране, куда он явился с благой вестью. Он презрительно отмахивался от них всех, как от дьявольских культов. Не думаю, что он хотя бы заглянул в «Беседы и суждения» Конфуция.

Об истории искусстве и литературе Китая он не знал ничего.

Я не понимал, что привело его в эту страну. Он говорил о своем служении, как о профессии, которую выбрал, как можно выбрать государственную службу, и, хотя она плохо оплачивается (он жаловался, что зарабатывает меньше хорошего ремесленника), он намерен выполнять свои обязанности со всей добросовестностью. Он хотел увеличить число членов своей церкви, он хотел сделать свою школу самоокупаемой. Если он когда-то и видел свое призвание в том, чтобы обращать язычников, никаких следов этого не сохранилось. Теперь он смотрел на свое служение как на чисто деловое предприятие. Секрет успеха заключался в ключевом слове — организация! Он был прямым, честным и добродетельным, но в нем не было ни страсти, ни энтузиазма. Китайцы, видимо, представлялись ему примитивными людьми, и раз они не знали того, что знал он, то казались ему глубоко невежественными. Он не мог скрыть, что считает себя выше их. Законы, которые они утверждали, белых не касались, и его возмущало, что они хотят, чтобы он считался с их обычаями. Но он был неплохим человеком. Даже доброжелательный, и, пока вы не ставили под сомнение его право решать все за всех, он безусловно постарался бы по мере сил услужить вам.

XXXVIII. ФИЛОСОФ

Удивительно было найти столь большой город в столь отдаленной, как мне казалось, безлюдной глуши. С башни его ворот, обращенных к закату, виднелись снежные горы Тибета. Он был так перенаселен, что спокойно прогуливаться вы могли только по стенам, а чтобы обойти их все быстрым шагом, ходуку требовалось три часа. Ближайшая железная дорога находилась в тысяче миль от него, а река, на которой он стоял, была такой мелководной, что плавали по ней только легко нагруженные джонки. В сампане до верхней Янцзы можно было добраться за пять дней. И мину-ту-другую вы смущенно спрашивали себя, а так ли уж необходимы для жизни поезда и пароходы, как мы привыкли верить. Ведь здесь благополучно проживал миллион человек: люди женились, рождали детей, умирали. Миллион их усердно занимался торговлей, искусством, размышлениями.

И здесь жил именитый философ — желание увидеть его входило в число причин, подвигнувших меня на это не такое уж легкое путешествие. В Китае его считали величайшим знатоком конфуцианства. По слухам, немецкий и английский он знал в совершенстве. Много лет он был секретарем одного из знаменитейших правителей, назначавшихся вдовствующей императрицей, но теперь удалился от дел. Однако круглый год в определенные дни недели его двери были отворены для взыскующих знания, и он беседовал с ними об учении Конфуция. У него был круг учеников, но не многочисленных, так как его скромному жилищу и строгим требованиям молодые люди по большей части предпочитали великолепные здания заморских университетов и практические науки варваров — он же упоминал о них только для того, чтобы с презрением отвергнуть. Судя по всему, что я о нем слышал, он был оригиналом.

Когда я объявил о своем желании посетить этот светоч мудрости, мой гостеприимный хозяин тут же обещал все устроить, однако проходили дни, а об этом ничего не говорилось. Я заговорил сам, и мой хозяин пожал плечами.

— Я послал сказать ему, чтобы он приехал. Не понимаю, почему он не появился. Старик с характером.

Мне показалось, что нельзя обращаться к философу столь бесцеремонно — не удивительно, если подобное приглашение он оставил без ответа. По моему настоянию ему отправили письмо, в котором я в самых почтительных, какие только мог придумать, выражениях осведомлялся, не разрешит ли он мне посетить его, и через два часа получил ответ, что он ждет меня на следующее утро в десять часов.

Меня отнесли туда в кресле. Дорога казалась бесконечной. Мы кружили по людным улицам, пока наконец не оказались в тихом пустом переулке, где носильщики опустили кресло вместе со мной перед дверцей в белой длинной стене. Носильщик постучал в нее, и через довольно долгое время в ней открылось окошечко. В него выглянули темные глаза. Последовали короткие переговоры, и меня наконец впустили. Бледный юноша, весь сморщенный и бедно одетый, сделал мне знак следовать за ним. Я не понял, слуга он или ученик. Мы пересекли убогий дворик, и меня ввели в длинную комнату с низким потолком, скудно обставленную — американское бюро с полукруглой крышкой, пара

кресел черного дерева и два китайских столика. Стены были все в полках, на которых теснилось множество книг, по большей части, разумеется, китайских, однако с заметным вкраплением философских и научных трудов на английском, французском и немецком языках, — и еще уйма непереплетенных научных журналов. В промежутках между полками висели свитки, на которых было что-то начертано разными каллиграфическими стилями. Изречения Конфуция, решил я. Ковра на полу не было. Комната выглядела холодной, пустой и неуютной. Угрюмость ее смягчалась только желтой хризантемой, которая одна занимала высокую вазу на бюро.

Некоторое время я ждал, потом юноша, проводивший меня сюда, принес чайничек с чаем, две чашки и жестянку виргинских сигарет. В тот миг, когда он покинул комнату, вошел философ. Я поспешил выразить свою благодарность за честь, которой он меня удостоил, согласившись меня принять. Он жестом пригласил меня сесть и разлил чай.

— Я польщен, что вы пожелали со мной познакомиться, — сказал он в ответ. — Ваши соотечественники имеют дело только с кули и с торговцами. По их убеждению, всякий китаец либо то, либо другое.

Я осмелился возразить. Но я не понял его намека. Он откинулся в кресле и насмешливо посмотрел на меня.

— Они считают, что достаточно поманить пальцем и мы обязаны кидаться к ним со всех ног.

Я понял, что злосчастное приглашение моего друга задело его довольно сильно, и, не зная, что ответить, пробормотал что-то лестное.

Он был высоким стариком с жидкой седой косицей и блестящими черными глазами, под которыми набрякли мешки. Зубы у него были шербатые и темные. Худ он был невероятно, и его руки, маленькие и изяшные, выглядели иссохшими клешнями. Мне говорили, что он курит опиум. Одет он был бедно — черное одеяние, черная шапочка, заметно поношенные, и темно-серые штаны, завязанные у лодыжек. Он внимательно на меня поглядывал. Очевидно, ему было неясно, как со мной держаться, и в нем чувствовалась настороженность. Среди тех, кто посвятил себя духовности, философ, разумеется, занимает место монарха, а, если верить такому авторитету, как Бенджамин Дизраэли, монархов следует потчевать обильной лестью. Я пустил в ход всю свою изобретательность и вскоре заметил, что он

немножко смягчился. Он был словно человек, который позирует фотографу, но, услышав шелчок затвора, расслабляется и становится самим собой. Он показал мне свои книги.

— Степень доктора философии я получил в Берлине, как, может быть, вы знаете, — сказал он. — Потом некоторое время занимался в Оксфорде. Но англичане, если вы позволите мне так выразиться, к философии не слишком склонны.

Хотя сказано это было извиняющимся тоном, но маленькую шпильку он отпустил с явным удовольствием.

— Однако и у нас были философы, оставившие свой след в мире мысли, — заметил я.

— Юм и Беркли? Философы, преподававшие в Оксфорде, когда я был там, избегали задевать своих богословских коллег. Они не доводили свои рассуждения до логического конца, опасаясь повредить своему положению в университете.

— А вы изучали развитие современной философии в Америке? — спросил я.

— Вы имеете в виду прагматизм? Последнее прибежище тех, кто хочет верить в невероятное? Американскую нефть я нахожу полезнее американской философии.

Его суждения были едкими. Мы вновь сели и выпили еще по чашке чаю. Его речь обрела обстоятельность. Говорил он по-английски очень правильно, хотя свободно пользовался идиоматическими оборотами. Иногда для пояснения своей мысли он вставлял немецкие фразы. В той мере, в какой подобный упрямый человек способен поддаться влиянию, он находился под влиянием немцев. Методичность и трудолюбие немцев произвели на него глубокое впечатление, а их тонкое восприятие философии получило в его глазах неопровержимое доказательство, когда некий дотошный профессор опубликовал в весьма ученом журнале статью об одной из собственных его работ.

— Я написал двадцать книг, — сказал он. — И это — единственное упоминание обо мне в европейских публикациях!

Впрочем, изучение европейской философии в конечном счете лишь окончательно убедило его, что истинная мудрость заключена все-таки в конфуцианском каноне. Эту философию он принял безоговорочно. Она отвечала потреб-

ностям его духа с такой полнотой, что вся чужеземная ученость выглядела напрасной тратой времени. Меня это заинтересовало как подтверждение давней моей мысли, что философия опирается более на характер, чем на логику: философ верует в зависимости не от умозрительных доказательств, но согласно своему темпераменту, и разум лишь оправдывает то, в чем его убеждает инстинкт. Если конфуцианство так прочно овладело китайцами, то потому лишь, что оно выражало и объясняло их, как никакая другая система мышления.

Мой хозяин закурил сигарету. Вначале он говорил надтреснутым и утомленным голосом, но, по мере того как собственные слова все больше его заинтересовывали, голос этот обретал звучность. Говорил он с каким-то исступлением. В нем не было и следа безмятежности легендарных мудрецов. Он был полемистом и бойцом. Современный призыв к индивидуализму внушал ему отвращение. Для него общество означало единство, а семья была основой общества. Он восхвалял старый Китай и старую школу, монархию и жесткий канон Конфуция. С ожесточенной горечью он говорил о нынешних студентах, которые возвращаются из чужеземных университетов и святотатственными руками рвут и крушат старейшую цивилизацию мира.

— Но вы, — вскричал он, — знаете ли вы, что делаете? По какому праву вы смотрите на нас сверху вниз? Превзошли ли вы нас в искусстве и литературе? Уступали ли наши мыслители глубиной вашим? Была ли наша цивилизация менее развитой, менее сложной, менее утонченной, чем ваша? Да ведь когда вы еще жили в пещерах и одевались в шкуры, мы уже были культурным народом. Вам известно, что мы поставили эксперимент, уникальный в истории мира? Мы стремились управлять огромной страной с помощью не силы, но мудрости. И много веков преуспевали в этом. Так почему же белые презирают желтых? Сказать вам? Да потому что белые изобрели пулемет. Вот в чем ваше превосходство. Мы — беззащитная орда, и вы можете разнести нас в клочья. Вы сокрушили мечту наших философов о мире, в котором правят закон и порядок. И теперь вы обучаете вашему секрету нашу молодежь. Вы навязали нам ваши чудовищные изобретения. Или вы не знаете, что в области механики мы гении? Или вы не знаете, что в пределах этой страны трудятся четыреста миллионов самых

практичных и прилежных людей в мире? Как по-вашему, много ли нам потребуется времени, чтобы выучиться? И что станет с вашим превосходством, когда желтые научатся делать пушки не хуже, чем белые, и стрелять из них столь же метко? Вы положились на пулемет, и пулеметом будете вы судимы.

Но тут нас прервали. В комнату вошла маленькая девочка и прильнула к старику. Он сказал мне, что это его младшая дочь. Он обнял ее и, что-то ласково шепча, нежно ее поцеловал. На ней была черная кофта и штаны, едва достигавшие ей до лодыжек, а на спину падала длинная коса. Она родилась в тот день, когда революция победоносно завершилась отречением императора.

— Я думал, что девочка явилась провозвестницей Весны новой эры, — сказал он. — Но она была лишь последним цветком Осени великой нации.

Из ящика американского бюро он достал несколько монет, дал их девочке и отослал ее.

— Вы видите, я ношу косу, — сказал он, беря ее в руки. — Это символ. Я последний представитель старого Китая.

Более мягким тоном он поведал мне, как в былые времена философы в сопровождении учеников переходили из княжества в княжество, обучая всех, кто был достоин обучения. Монархи призывали их к себе на совет и назначали правителями городов. Он обладал обширной эрудицией, и его округлые фразы придавали многокрасочную живость эпизодам истории его родины, которые он упоминал. Невольно он представился мне довольно жалким. Он чувствовал в себе способность управлять государством, но не было монарха, который вручил бы ему бразды правления; он был хранителем учености и жаждал передать ее множеству учеников, по которым томила его душа, а внимать ему приходила лишь горстка бедных, заморенных голодом провинциалов.

Раза два я начинал тактично прощаться, но ему не хотелось меня отпускать. Дольше оставаться я уже не мог и встал. Он задержал мою руку в своих.

— Мне хотелось бы подарить вам что-нибудь на память о вашем посещении последнего философа Китая. Но я беден и не нахожу ничего, что было бы достойно вашего внимания.

Я заверил его, что воспоминание о нашей встрече уже бесценный дар. Он улыбнулся.

— В нынешние демократические дни память людей стала короткой, и мне хотелось бы подарить вам что-нибудь более весомое. Я подарил бы вам одну из моих книг, но вы не читаете по-китайски.

Он поглядел на меня с дружеской растерянностью, и тут меня осенило.

— Подарите мне образчик вашей каллиграфии, — сказал я.

— И вы будете довольны? — Он улыбнулся. — В дни моей юности считали, что я владею кисточкой не столь уж дурно.

Он сел за стол, взял большой лист бумаги и положил перед собой. Капнул водой на камень, потер по нему палочкой туши, взял кисточку и начал писать, свободно двигая рукой от плеча. Следя за ним, я, посмеиваясь про себя, вспомнил еще кое-что, мне про него известное. Как говорили, почтенный старец, едва ему удавалось накопить немножко денег, расточительно бросал их на ветер в квартале, населенном дамами, для описания которых обычно употребляются эвфемизмы. Его старшего сына, видное лицо в городе, такое скандальное поведение сердило и ставило в унизительное положение. Только сильное чувство сыновьяго долга удерживало его от сурового нагоняя распутнику. Не спорю, такая безнравственность для сына достаточно тяжела, однако те, кто изучает человеческую натуру, смотрят на нее без возмущения. Философы склонны полировать свои теории в кабинетной тиши, делая выводы о жизни, которую знают лишь из вторых рук; и мне часто казалось, что их труды обрели бы большую весомость, испытай они на себе прихоти судьбы, выпадающие на долю обыкновенных людей. Я был готов взглянуть на забавы почтенного старца в злачных местечках с полной снисходительностью. К тому же он, быть может, лишь тшилсЯ пролить свет на самую неизъяснимую из человеческих иллюзий.

Он кончил. Чуть-чуть присыпал лист пеплом, чтобы тушь скорее высохла, и встал, протягивая его мне.

— Что вы написали? — спросил я.

Мне показалось, что в его глазах вспыхнул злокозненный огонек.

— Я осмелился преподнести вам два маленьких моих стихотворения.

— Я не знал, что вы к тому же и поэт.

— Когда Китай был еще нецивилизованной страной, — сказал он саркастически, — все образованные люди умели слагать стихи — хотя бы изяшно.

Я взял лист и посмотрел на иероглифы. Они сплетались в очень приятный узор.

— Но не напишете ли вы мне и перевод?

— Traduttore — traduttore¹, — ответил он. — Не можете же вы требовать, чтобы я предал себя! Попросите кого-нибудь из своих английских друзей. Те, кто знает о Китае особенно много, не знают ничего, но, конечно, вы найдете такого, кто сумеет перевести вам несколько простых безыскусных строк.

Я попрощался с ним, и с величайшей любезностью он проводил меня до носилок. При первом удобном случае я отдал стихи моему знакомому синологу, и вот они в подстрочном переводе, который он сделал. Признаюсь, что, прочитав их, я был — вероятно, без малейшего на то основания — крайне изумлен.

Ты меня не любила: твой голос был сладок,
Глаза наполнились смехом, руки были нежны.
А потом ты полюбила меня: твой голос был горек,
Глаза наполнились слезами, руки были жестоки.
Как грустно, как грустно, что любовь сделала тебя такой,
Какую нельзя любить.

Я жаждал, чтобы годы проходили быстрее,
Чтобы ты лишалась
Блеска глаз, персиковой нежности кожи
И всего жестокого великолепия своей юности.
Тогда я один буду любить тебя
И наконец-то ты будешь равнодушна ко мне.
Завистливые годы промчались слишком быстро,
И ты лишилась
Блеска глаз, персиковой нежности кожи
И всего чарующего великолепия своей юности.
Увы, я не люблю тебя
И равнодушен к тому, что ты ко мне равнодушна.

¹ Переводить — значит предавать (*im.*).

XXXIX. МИССИОНЕРША

Ей, несомненно, было по меньшей мере пятьдесят, но годы, прожитые в нестигаемом убеждении, не омраченном и тенью сомнений, не покрыли ее лицо морщинами. Ее чело, не изборожденное следами пытливых мыслей, осталось гладким. Черты лица у нее были крупные и правильные, чуть-чуть мужские, а решительный подбородок подтверждал впечатление от ее глаз. Они были голубые, уверенные, безмятежные. И сквозь большие круглые очки сразу определяли вас. Вы чувствовали, что перед вами женщина, привыкшая и умеющая распоряжаться. Ее милосердие отличалось в первую очередь практичностью, и вы сразу проникались убеждением, что несомненную доброту своего сердца она расходует по-деловому. Можно было предположить, что человеческое тщеславие ей не чуждо (и это следовало засчитать ей как искупительную добродетель), поскольку на ней было платье из темно-лилового шелка, пышно вышитое, и шляпка с гигантскими анютиными глазками, которая на менее почтенной голове могла бы показаться пикантной. Однако мой дядя Генри, двадцать семь лет пребывавший священником Уитстеблского прихода и имевший самые твердые взгляды на то, как положено одеваться одеваться супруге духовного лица, никогда не возражал против того, чтобы тетя Софи носила лиловое, и не нашел бы ничего предосудительного в костюме миссионерши. Речь ее текла свободно и ровно, как вода из крана. Беседовала она с восхитительной словоохотливостью политика по окончании предвыборной кампании. Вы чувствовали, что она понимает смысл своих слов (редкое достижение для большинства из нас) и говорит не на ветер.

— Я полагаю, — сказала она мягко, — что, зная обе стороны вопроса, вы будете судить о нем иначе, чем судили бы, зная только одну. Но факт остается фактом: два плюс два равно четырем, и спорьте хоть всю ночь напролет, пяти они равны не будут. Права я или ошибаюсь?

Я поспешил заверить ее, что она абсолютно права, хотя в самой глубине души, учитывая новые теории относительности и странное поведение параллельных линий в бесконечности, я не так уж в этом уверен.

— Никто не может есть пирог и иметь его, — продолжала она, — и за удовольствия надо платить, но, как я всегда объясняю детям, не следует ждать, что все всегда

будет по-вашему. Никто не совершенен, и я считаю, что, ожидая от людей самого лучшего, всегда получаешь самое лучшее.

Признаюсь, я был ошеломлен, но твердо решил вносить свою лепту. Этого требовала простая вежливость.

— Люди в большинстве живут достаточно долго, чтобы узнать на опыте, что худо без добра не бывает, — начал я с глубоким убеждением. — Проявляя настойчивость, вы достигнете практически всего, на что способны, и в конце-то концов лучше желать того, что вы имеете, чем иметь то, чего вы желаете.

Как мне показалось, ее глаза при этом моем категорическом утверждении чуточку остекленели от недоумения, но не исключено, что мне это померещилось, поскольку она энергично кивнула.

— Разумеется, я понимаю, что вы имеете в виду, — сказала она. — Мы не можем сделать больше того, что можем.

Но кровь у меня разбушевалась, и, словно не заметив, что меня прервали, я продолжал:

— Мало кто осознает всю глубину неоспоримой истины, что каждый фунт содержит двадцать шиллингов, а каждый шиллинг содержит двенадцать пенсов. Я убежден, что лучше ясно видеть кончик своего носа, чем смутно проникать взглядом сквозь кирпичную стену. И если мы можем быть в чем-то уверены, так лишь в том, что целое всегда больше части.

С характерной твердостью дружески встряхнув на прощание мою руку, она сказала:

— Что же, мы очень интересно побеседовали. Всегда приятно вдали от цивилизации обмениваться мыслями с теми, кто тебе интеллектуально равен.

— Особенно чужими, — пробурчал я.

— Я считаю, что великими мыслителями прошлого необходимо пользоваться, — возразила она. — Это показывает, что мертвые гении жили не напрасно.

Ее манера разговаривать была сокрушительной.

XL. ПАРТИЯ В БИЛЬЯРД

Я сидел в вестибюле отеля и читал старый номер «Саут-Чайна таймс», когда дверь в бар довольно резко распахнулась и из нее вышел очень высокий худой человек.

— Не хотите ли сыграть на бильярде? — сказал он.

— С удовольствием.

Отель был небольшой, каменный, со следами архитектурных потуг, и принадлежал португальцу с примесью китайской крови, который курил опиум. Постояльцев не набралось бы и десятка: португальский чиновник с супругой, ожидавшие парохода, который должен был отвезти их в дальнюю колонию, ланкаширский инженер, угрюмо пьяный с утра до вечера, таинственная дама уже не первой молодости, но с пышными формами, которая выходила к столу и сразу же возвращалась к себе в номер. Этого человека я видел впервые и решил, что он приехал вечером с китайским пароходом. На вид я дал бы ему больше пятидесяти, он был весь сморщен, точно тропическое солнце иссушило его соки и придало кирпичную красноту его лицу. Определить, кто он, я не сумел. То ли оставшийся без места шкипер, то ли агент какой-нибудь иностранной фирмы в Гонконге. Он оказался очень молчаливым и не отвечал на мои реплики во время игры. Играл он неплохо, хотя и не блестяще, и оказался очень приятным партнером: загнав в лузу мой шар, предоставил мне возможность отыграться. Но после конца партии я сразу бы забыл о нашем знакомстве, если бы он, впервые нарушив молчание, не задал мне крайне странный вопрос.

— Вы верите в судьбу? — спросил он.

— Играя в бильярд? — спросил я в свою очередь с некоторым удивлением.

— Нет. В жизни.

Отвечать серьезно мне не хотелось.

— Право, не знаю, — ответил я.

Он прицелился и разбил шары. Потом, меля кий, сказал:

— А я верю. Я верю, что, если вас что-то ждет, вам от этого не уйти.

И все. Больше он ничего не сказал. Когда мы кончили играть, он ушел к себе в номер, и больше я его не видел. Так я никогда и не узнаю, какое странное чувство толкнуло его задать этот внезапный вопрос совершенно незнакомому человеку.

ХЛІ. ШКИПЕР

Я понимал, что он пьян.

Он был шкипером новой школы — невысоким бритым человеком и вполне мог сойти за командира подводной

лодки. В его каюте висел красивый новый китель с золотым шнуром — форма, которую морякам торгового флота даровали за их заслуги в годы войны, но он стеснялся ее носить. Ведь он был всего лишь капитаном пароходика, ходившего по Янцзы, и на мостике поэтому стоял в аккуратном коричневом костюме и фетровой шляпе на голове, а в его идеально вычищенные ботинки можно было смотреться. Глаза у него были ясными и блестящими, кожа свежей. Хотя он провел на море двадцать лет и, следовательно, меньше сорока ему никак не могло быть, выглядел он на двадцать восемь. Вне всяких сомнений, он вел чистую жизнь, был здоров духом не менее, чем телом, и пороки Востока, о которых столько говорят, его не коснулись. У него был вкус к добротной развлекательной литературе, и его книжный шкаф украшали произведения Э. В. Льюкаса. В каюте у него вам бросались в глаза фотография футбольной команды (он — третий слева) и две фотографии молодой женщины с аккуратно завитыми волосами — вполне возможно, его невесты.

Я понимал, что он пьян, но полагал, что лишь чуть-чуть, пока он внезапно не спросил меня:

— Что такое демократия?

Я ответил уклончиво, пожалуй, даже с иронией, и несколько минут разговор продолжался на другие, не столь несвоевременные темы. Затем после паузы он произнес:

— Надеюсь, вы не сочли меня социалистом, потому что я спросил: что такое демократия?

— Разумеется, нет, — ответил я. — Хотя не вижу, почему бы вам и не быть социалистом.

— Даю вам честное слово, я не социалист, — заверил он меня. — Будь моя воля, я бы поставил их всех к стенке и расстрелял.

— А что такое социализм? — спросил я.

— Вы же понимаете, о чем я: Гендерсон, Рамсей Макдональд и все такое прочее. Я по горло сыт трудящимися.

— Но ведь вы тоже, по-моему, трудящийся?

Он надолго замолчал, и я уже решил, что его мысли перескочили на другие темы. Но я ошибся. Он, несомненно, обдумывал мой вопрос со всех сторон, так как в конце концов сказал:

— Нет, послушайте, никакой я не трудящийся! Черт побери, я же учился в Харроу.

XLII. ГОРОДСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Я не усердный любитель достопримечательностей, и, когда гиды-профессионалы или милые знакомые уговаривают меня непременно осмотреть знаменитый памятник, во мне возникает упрямое желание потребовать, чтобы они оставили меня в покое. Слишком много глаз до меня уже взидало на Монблан, слишком много сердец прежде моего преисполнялись благоговением перед Сикстинской Мадонной. Подобные достопримечательности сходны с женщинами, излишне щедрыми на сострадание: вы все время ощущаете, сколько людей до вас уже обрело утешение в их сочувствии, и смущаетесь, когда они с отработанным тактом прельщают вас доверительно прошептать в их надежнейшие ушки свою горькую повесть. А вдруг вы окажетесь последней соломинкой, сломавшей спину верблюду? Нет, сударыня, своей печалью (если уж я не в силах переносить ее в одиночестве, что куда достойнее) я поделюсь с кем-нибудь, от кого не обязательно ждать наиболее уместных слов утешения. И в новом для меня городе я предпочитаю идти куда глаза глядят, и если упущу красоты готического собора, так, быть может, наткнусь на романскую часовенку или дверь эпохи Возрождения и потешу себя надеждой, что до меня они ничьего внимания не привлекали.

Но это, разумеется, была удивительная достопримечательность, и не ознакомиться с ней значило бы совершить непростительную глупость. Я прогуливался по пыльной дороге за городской стеной и увидел мемориальные арки — маленькие, без украшений, расположенные не перпендикулярно к дороге, а вдоль нее в тесном соседстве, а то и одна перед другой, словно ставили их не из благодарности к почившим и не в знак уважения к добродетели, а воздавали честь автоматически, как именитых граждан провинциальных городов возводят в рыцарское достоинство по поводу дня рождения монарха. За этим рядом арок земля круто уходила вверх, а поскольку в здешних краях китайцы предпочитают погребать своих мертвых именно на склонах, этот склон усеивали могилы. Утоптанная тропа поднималась к башенке, и я направился туда. Низенькая, высотой на глаз футов в десять, она была сложена конусом из грубо отесанных камней, и кровля напоминала шляпу Пьеро. Вещная окруженный могилами пригорок, она на фоне голубого

неба выглядела необычной и даже живописной. У ее подножия в беспорядке валялись корзины. Я начал обходить ее и увидел продолговатую дыру, дюймов восемнадцать на восемь, из которой свисала крепкая веревка. Из дыры тянуло непривычным тошнотворным запахом. Внезапно я понял, что это за сооружение. Башня младенцев! В корзинах сюда приносили новорожденных: две-три выглядели совсем новыми и пролежали тут, очевидно, лишь несколько часов. А веревка? Ну, если принесший малютку — кто-то из родителей, бабушка, повитуха, услужливый сосед или соседка — был мягкосердечен и не решался сбросить девочку прямо на дно (под башней расположена глубокая яма), веревка позволяла опустить ее туда бережно и осторожно. Запах же был запахом разложения. Пока я стоял там, ко мне подошел бойкий мальчуган и знаками объяснил, что утром к башне принесли четырех младенцев.

Есть философы, взирающие на зло с некоторым благодушием, поскольку, утверждают они, без зла не было бы и добра. Без нужды не существовало бы милосердия, без горя — сострадания, без опасности — мужества. И в китайской традиции детоубийства они нашли бы весомое подтверждение своей точки зрения. Без башни младенцев в городе не было бы детского приюта, путешественники лишились бы любопытнейшей достопримечательности, а несколько бедных женщин не нашли бы применения своей трогательной самоотверженной доброте. Сиротский приют был убогим и ютился в нищем перенаселенном районе, так как устроившие его испанские монахини (их было всего пять) считают, что жить им следует там, где они могут оказаться полезнее всего; а к тому же у них просто нет средств построить вместительный дом в более здоровом месте. Приют они содержат на деньги, вырученные за кружева и вышивки своих маленьких учениц, и на подаяния верующих.

Две монахини — мать настоятельница и одна из сестер — показали мне все, что можно было там увидеть. Проходя через выбеленные комнатки (мастерские, детские, дортуары и трапезную) — низенькие, прохладные, ничем не украшенные, — испытываешь странное чувство, точно ты попал в Испанию, и поглядываешь на окна, так и ожидая увидеть за одним из них Хиральду¹. И умиляешься нежности, с какой

¹ Колокольня собора в Севилье.

монахини относятся к своим питомцам. Девочек в приюте было около двухсот, и, естественно, сиротами они считались потому лишь, что родители отказались от них. В одной детской играли сверстницы лет около четырех — все одного роста и до того похожие друг на друга (черные глазенки, черные волосы, желтая кожа), что их можно было принять за сорок детей старушки из детского стишка, которая жила в башмаке, — но только китайской старушки. Они окружили монахинь, втягивая их в свою веселую игру. Такого ласкового голоса, как у матери настоятельницы, мне еще слышать не приходилось, но он стал еще ласковее, когда она шутила с малышами. Все они льнули к ней, среди них она выглядела воплощением Милосердия — ведь некоторые были калеками, а другие — больными, или шуплыми уродцами, или слепыми. Меня пробрала дрожь, и я еще сильнее поразился любви, засветившейся в ее добрых глазах, ее нежной улыбке.

А потом меня отвели в гостиную, угостили сладкими испанскими пирожками со стаканчиком мансанилья и, когда я упомянул, что долго жил в Севилье, тут же позвали третью монахиню, чтобы она могла несколько минут поговорить с человеком, который видел город, где она родилась. С простодушной гордостью они показали мне свою убогую часовенку с аляповатой статуей Пресвятой Девы, бумажными цветами и деревенскими мишурными украшениями, ибо эти милые чистые души были, увы, наделены прескверным вкусом. Но мне было все равно: в этой чудовишной пошлости я ощутил что-то глубоко трогательное. А когда я начал прощаться, мать настоятельница спросила, не хочу ли я взглянуть на младенцев, которых они взяли нынче утром. Чтобы их приносили в приют, они за каждого платят двадцать центов. Двадцать центов!

— Видите ли, — объяснила она, — ведь путь часто оказывается неблизким, и, если им ничего не заплатить, они не станут затрундяться.

Она повела меня в маленькую приемную возле входа. Там на столе под одеяльцем лежали четыре новорожденных. Их только что выкупали и облачили в рубашечки. Одеяльце приподняли: они лежали рядком на спинках, четыре сучащие ножками крохи с очень красными и, пожалуй, сердитыми личиками — их ведь только что купали, и они очень проголодались. Глаза их выглядели неестественно большими.

А сами они были такие маленькие, такие беспомощные... Вы невольно улыбались, глядя на них. И в горле у вас вставал комок.

XLIII. СУМЕРКИ

Под вечер вы, устав идти пешком, киваете носильщикам, садитесь в кресло, и на вершине холма перед вами возникают каменные ворота. Вы не понимаете, для чего ворота в таком пустынном месте, вдалеке от селений, но остатки стены подсказывают, что во времена какой-то забытой династии тут высилась крепость, чтобы отражать нашествия врагов. А за воротами внизу сверкает вода рисовых полей — лоскутков, образующих в обрамлении округлых лесистых холмов подобие шахматной доски, словно из какой-то китайской «Алисы в Зазеркалье». Но в сгущающихся сумерках, спускаясь по каменным ступеням узкой насыпной дороги, соединяющей города, вы минуете рощи, и на вас веет зябкой прохладой, напоенной запахами ночи. И вы больше не слышите размеренных шагов своих носильщиков, ваши уши внезапно глохнут к их резким выкрикам, когда они переключаются с шеста на другое плечо, к их неумолчной болтовне или обрывкам песен, которыми они иногда скрашивают монотонность пути, ибо лесные запахи здесь неотличимы от тех, которыми дышит жирная кентская земля, когда идешь по лесам Блина, и вас охватывает ностальгия. Ваши мысли уносятся вдаль через пространство и время, прочь от Здесь и Сейчас, и вы вспоминаете свою исчезнувшую юность, ее радужные надежды, ее страстную любовь, ее честлюбивые замыслы, и тогда, если вы, как говорят, циник и, следовательно, сентиментальны, на глаза вам навертываются непрошенные слезы. А когда вы берете себя в руки, уже наступает ночь.

XLIV. НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Было время, когда мне пришлось изучать анатомию — скучнейшая необходимость, поскольку вам вменяется в обязанность заучивать огромное число всякой всячины вне логики и упорядоченности. Однако в моей памяти навеки запечатлелись слова, которые я услышал от моего преподавателя, когда он помогал мне анатомизировать бедро. Мне

никак не удавалось отыскать некий нерв, и потребовалась его опытность, чтобы обнаружить указанный нерв в том месте, где мне и в голову не пришло его искать. Я рассердился на учебник, который ввел меня в заблуждение. И мой преподаватель сказал с улыбкой: «Видите ли, нормальность — редчайшая вещь!»

И хотя речь шла об анатомии, с тем же правом он мог бы отнести свои слова к человеку. Это случайно оброненное замечание произвело на меня куда более сильное впечатление, чем многие и многие глубокие истины, и миновавшие с тех пор годы, заметно пополнившие мои представления о человеческой натуре, только укрепили мое убеждение в его верности. Я встречал сотни нормальнейших, на первый взгляд, людей, чтобы незамедлительно обнаружить в них те или иные отклонения, которые делали их почти уникальными. Меня очень развлекало, когда я открывал тайную странность в людях, казавшихся самыми обыкновенными. Меня часто ошеломляло столкновение с отвратительными извращениями в человеке, который со всех сторон представлялся абсолютно заурядным. В конце концов я уже мечтал о том, как обнаружу абсолютно нормального человека, словно редчайший художественный шедевр. Мне чудилось, что знакомство с ним подарит мне ту особую радость, для которой есть только одно слово — «эстетическая».

Я искренне верил, что обрел его в Роберте Уэббе, консуле в одном из небольших портов, к которому у меня было письмо. Уже в Китае я наслышался о нем многого. И только хорошего. Стоило мне упомянуть, что я думаю побывать в порту, где он служил, как непременно кто-нибудь говорил:

— Боб Уэбб вам понравится. Преотличнейший человек.

И популярен он был не только как личность, но и как консул. Он заслужил расположение торговцев, чьи интересы активно защищал, не возбуждая антагонизма китайцев, и они хвалили его твердость, — и расположение миссионеров, которые одобряли его частную жизнь. В дни революции он, благодаря своему такту, решительности и мужеству, оградил от серьезной опасности не только иностранцев в том городе, где он тогда находился, но и многих китайцев. Он выступил в роли миротворца, и его находчивости враждующие стороны были обязаны тем, что сумели прийти к обоюдному удовлетворительному соглашению. Ему несомненно предстояло повышение по службе. И он действительно оказался

обаятельным человеком. Красавцем его никто не называл бы, но внешность у него была очень приятная: высокий рост, заметно выше среднего, крепкая, но не дородная фигура, свежий цвет лица, которое, правда, теперь (он разменял пятый десяток) по утрам часто оплывало. В последнем, впрочем, ничего необычного не было: иностранцы в Китае едят и пьют весьма неумеренно, а Роберт Уэбб умел ценить жизненные блага. Он держал отличный стол и любил общество, так что у него обычно завтракали или обедали двое-трое гостей. Глаза у него были голубые и дружелюбные. Его отличали приятные светские таланты: он очень хорошо играл на рояле, но ему нравилась та же музыка, что и всем, и, когда обществу хотелось потанцевать, он всегда с удовольствием садился сыграть уанстеп или вальс. В Англии у него были жена, дочь и сын, так что он не мог держать скаковых лошадей, однако был завзятым любителем скачек, недурно играл в теннис, а в бридже превосходил многих и многих. В отличие от немалого числа своих коллег он не относился к своему положению с ревнивой важностью и по вечерам в клубе держался дружески и непринужденно. Однако он ни на минуту не забывал, что является консулом Его Британского Величества, и меня восхищало искусство, с каким без намека на чванство он поддерживал достоинство, приличествующее, как он считал, его положению. Короче говоря, манеры у него были безупречные. Он умел поддержать разговор, и его интересы, правда достаточно обычные, были разнообразными. Он обладал мягким юмором. Умел пошутить и рассказать хороший анекдот. В браке он был очень счастлив. Сын его учился в Чартерхаусе, и он показал мне фотографию высокого светловолосого подростка в спортивном костюме с открытым приятным лицом. Показал он мне и фотографию своей дочери. Жизнь в Китае имеет ту трагическую сторону, что человек вынужден надолго расставаться с семьей, а из-за войны Роберт Уэбб не видел свою восемь лет. Его жена увезла детей на родину, когда мальчику было восемь лет, а девочке одиннадцать. Сначала они предполагали дождаться его отпуска, чтобы поехать всем вместе, но местность, где они тогда жили, для детей не подходила, и его жена согласилась, что их следует увезти оттуда немедленно. До его отпуска оставалось три года, а тогда он прожил бы с ними целый год. Но началась война, в консульстве не хватало людей, и

он не мог оставить свой пост. Его жена не хотела разлучаться с детьми, поехать же значило бы подвергнуться всяким трудностям и опасностям, к тому же никто не думал, что война затянется на такой срок, а тем временем год проходил за годом.

— Моя дочь была совсем девочкой, когда я видел ее в последний раз, — сказал он мне, показывая ее фотографию. — И вот она уже замужняя женщина.

— А когда вы уедете в отпуск? — спросил я.

— Ко мне скоро приедет жена.

— Но разве вы не хотите повидать дочь? — спросил я.

Он снова посмотрел на фотографию и отвел глаза. На его лице появилось странное выражение — как мне показалось, обиженное, — и он ответил:

— Я слишком долго не был дома. И больше туда не поеду.

Я откинулся на спинку кресла, попыхивая трубкой. На фотографии я увидел девятнадцатилетнюю девушку с широко открытыми голубыми глазами и коротко подстриженными волосами. Лицо было миловидное, открытое, дружелюбное, но особенно его отличало пленительное выражение. Дочка Боба Уэбба была очаровательной девушкой. Мне понравилась ее подкупающая задорность.

— Когда она прислала мне эту фотографию, я как-то растерялся, — сказал он после паузы. — Я ведь думал о ней как о маленькой девочке. Повстречайся мы на улице, я бы ее не узнал. — Он усмехнулся, не слишком естественно. — Это нечестно... Маленькая, она так любила приласкаться...

Он не отрывал глаз от фотографии, и мне почудилось в них совершенно неожиданное чувство.

— Мне приходится убеждать себя, что это моя дочь. Я ждал, что она вернется сюда с матерью, и вдруг она написала, что выходит замуж.

Он отвел глаза, и уголки его рта опустились, как мне показалось, от мучительного смущения.

— Наверное, здесь становишься эгоистом, я был очень зол, но в день ее свадьбы устроил тут банкет, и мы все нализались.

Он виновато засмеялся.

— Не мог иначе, — сказал он неловко. — Такая на меня злость нашла.

— А что такое ее муж? — спросил я.

— Она в него страшно влюблена. И когда пишет мне, то только о нем да о нем! — В его голосе слышалась непонятная дрожь. — Как-то тяжело это: родишь девочку, растишь ее, любишь, ну и так далее — и все для какого-то молодчика, которого в глаза не видел. У меня где-то лежит его фотография. Не помню, куда ее засунул. По-моему, он бы мне не очень понравился.

Боб Уэбб налил себе еще виски. Он устал. И выглядел старым, оплывшим. Долгое время он молчал, а потом словно бы взял себя в руки.

— Ну, слава Богу, скоро приедет ее мать.

По-моему, он все-таки не был нормальным человеком.

XLV. СТАРОЖИЛ

Ему исполнилось семьдесят шесть лет. Приехал он в Китай еще совсем мальчишкой, вторым помощником на парусном судне, да так и остался там. С того дня он перепробовал много всякого. Долгие годы командовал китайским пароходиком, ходившим из Шанхая в Ичан, и знал наизусть каждый дюйм грозной Янцзы. Был шкипером буксира в Гонконге и сражался в рядах Победоносной армии. Во время Боксерского восстания он наградил неплохую добычу, а в дни революции находился в Ханькоу, когда мятежники обстреливали город из орудий. Он был трижды женат: сначала на японке, потом на китаянке и, наконец, на англичанке — ему тогда было уже под пятьдесят. Все три давно умерли, и вспоминал он только японку. Он рассказывал, как она украшала цветами их шанхайский дом: одна-единственная хризантема в вазе или ветка цветущей вишни, и он не мог забыть, как она держала чашку чая в обеих руках — с таким изяществом. Сыновей у него было много, но он ими не интересовался. Они устроились в разных китайских портах — кто в банке, кто в пароходстве, и он редко с ними виделся. Он очень гордился дочерью от своей английской жены, но эта единственная его дочь сделала на редкость удачную партию и уехала в Англию. Он знал, что больше они никогда не увидятся. Единственный человек, к которому он теперь еще питал привязанность, был бой, прослуживший у него сорок пять лет, — маленький сморщенный китаец, медлительный и угрюмый. Ему было далеко за шестьдесят. Они непрерывно ссорились. Старожил объявлял

бою, что из него песок сыплется и надо бы его выгнать, а бой отвечал, что ему надоело служить сумасшедшему чужеземному дьяволу. Но оба знали, что говорилось и то и другое не всерьез. Они были старыми друзьями, эти два старика, и разлучить их могла только смерть.

Когда он женился на своей английской жене, то оставил воду и вложил свои сбережения в отель. Но неудачно. Это был летний курорт на некотором расстоянии от Шанхая, а в то время автомобили еще не проникли в Китай. Он был общителен и слишком много времени проводил в баре. Он был щедр и угощал бесплатно примерно на ту же сумму, которую выручал за вечер. Кроме того, у него была странная привычка плевать в раковину, и брезгливым клиентам это не нравилось. Когда его последняя жена умерла, он обнаружил, что все держалось на ней одной, и вскоре перестал справляться с трудностями своего положения. Все его сбережения ушли на покупку отеля, который к этому времени был уже заложен, перезаложен и приносил одни убытки. Он был вынужден продать его японцу и, расплатившись с долгами, в возрасте шестидесяти восьми лет остался без гроша. Но, черт побери, сэр! Он же моряк! Одна из пароходных компаний на Янцзы взяла его старшим помощником — капитанского диплома у него не было, — и он вернулся на реку, которую знал так хорошо. Как-никак восемь лет он плавал по ней взад и вперед, взад и вперед. И теперь он стоял на мостике своего чистенького пароходика, меньше даже речного трамвая на Темзе, — подтянутый, стройный, худощавый, как в дни юности: капитанская фуражка лихо сидит на седых волосах, острая бородка щегольски подстрижена. Семьдесят шесть лет. Почтенный возраст. Откинув голову, держа бинокль в руке, он озирает огромную ширь петляющей реки, а возле него стоял лоцман-китаец. Быстрое течение несло навстречу флотилию джонок с обычной высокой кормой. Квадратные паруса были поставлены, гребцы налегали на поскрипывающие весла и тянули монотонный напев. В лучах заходящего солнца зеркальная гладь желтой воды ласкала глаз переливами мягких оттенков, а на фоне бледнеющего неба по плоским берегам рисовались деревья и хижинки жалкой деревушки, точно резко очерченные силуэты в театре теней. Услышав клики диких гусей, он еще больше откинул голову и увидел в вышине их косяк, летящий в дальние, неведомые ему

земли. В отдалении сквозь марево заката вставал одинокий холм, увенчанный храмами. Оттого, что зрелище это старик со всеми подробностями видел столько раз, оно подействовало совершенно неожиданно. Умирание дня почему-то привело ему на ум все его прошлое и возраст, которого он достиг. И он ни о чем не пожалел.

— Черт побери, — пробормотал он, — прекрасную жизнь я прожил.

XLVI. РАВНИНА

Происшествие, конечно, было пустячным и легко поддавалось объяснению, однако меня поразило, что духовные глаза способны навести такую слепоту на глаза физические. Я растерялся, обнаружив, до какой степени человек подвластен законам ассоциации. День за днем я путешествовал среди нагорий и знал, что нынче доберусь до огромной равнины, на которой стоит древний город, ради которого я отправился в этот путь. Но в первые часы утра никаких признаков приближения к равнине заметно не было. Склоны выглядели все такими же крутыми, и, когда я взбирался на очередной холм, ожидая увидеть с его вершины широкий простор, передо мной вздымался следующий — еще выше и круче. А за ним змеилась все вверх и вверх белая насыпная дорога, которая столько дней вела меня сюда и, поблескивая на солнце, огибала вершину львино-желтой скалы. Небо было синим, и на западе висели белые облачка, точно рыбачьи лодки в вечернем безветрии у мыса Данджнесс. Я шел и шел, все время поднимаясь, и ждал простора, который должен был распахнуться впереди, если не за этим поворотом, так за следующим, и вот, когда я задумался о чем-то другом, он внезапно открылся передо мной. Однако увидел я не китайский ландшафт с рисовыми полями, мемориальными арками, сказочными храмиками, крестьянскими домами в бамбуковых рощах и придорожными гостиницами, где в тени смоковницы бедные кули отдыхают от тяжелого груза. Нет, это была долина Рейна, широкая равнина, вызолоченная закатом, прошитая серебряной лентой реки, с башнями Вормса вдаль — та великая равнина, которая открылась моим юным глазам, когда я, гейдельбергский студент, после долгих блужданий по еловым лесам на холмах над старинным городом, внезапно вышел на

просеку. И из-за того, что там я впервые ощутил красоту, из-за того, что там я познал первые восторги обретения знаний (каждая прочитанная книга была замечательным приключением!), из-за того, что там я впервые испытал опьянение разговорами (ах, эти дивные клише, которые каждый мальчишка открывает для себя сам, словно никто прежде о них и понятия не имел), из-за утренних променадов по солнечному бульвару, из-за плюшек и кофе, подкрепляющих мою аскетическую юность после утомительных прогулок, из-за ленивых вечеров на террасе замка над окутанными голубой дымкой многоярусными крышами старинного городка, из-за Гете, и Гейне, и Бетховена, и Вагнера, и (а почему бы и нет?) Штрауса с его вальсами, из-за биргартена, где играл оркестр и чинно прохаживались девушки с золотыми косами, — из-за всех этих воспоминаний, обладающих силой завораживать каждое из пяти моих чувств, для меня слово «равнина» не только везде и повсюду означает одну лишь долину Рейна, но еще и знаменует единственный символ счастья, какой мне известен: широкий простор, залитый золотом заходящего солнца, струящаяся по нему серебряная река, точно тропа жизни, точно идеал, ведущий тебя по ней, и встающие вдаль серые башни древнего города.

XLVII. НЕУДАЧНИК

Толстячок в фантастичной шляпе австралийского разбойника с необъятными полями, в морской куртке, точно такой, в какие Лич одевал моряков на своих иллюстрациях, и в очень широких клетчатых брюках покроя, модного, только Богу известно, сколько лет тому назад. Когда он снимает шляпу, вы видите пышные длинные кудри, почти не тронутые сединой, хотя ему уже под шестьдесят. Черты лица у него правильные. Он носит воротнички заметно шире своего размера, а потому вся его массивная лепная шея открыта взгляду. Он смахивает на римского императора в трагедии шестидесятых годов прошлого века, и это сходство с актером старой школы усугубляется его зычным басом. Правда, из-за этого животик и короткий торс выглядят несколько нелепо. Словно видишь, как он с необыкновенной выразительностью декламирует белые стихи Шерида-на Ноулса, приводя партер в исступление, и, когда он

здоровается с вами, преувеличенно жестикулируя, вы понимаете, какие слезы исторг бы у вас (в 1860 году) могучий инструмент его голосовых связок стенаниями о смерти любимого дитяти. И до чего же чудесно услышать несколько минут спустя, как он с ирландским акцентом требует сапоги у слуги-китайца: «Сапог, сапог! Полцарства, бой, за мой сапог!» Он признается, что всегда хотел стать актером.

— Быть или не быть, вот в чем вопрос был, но мои близкие, мой милый, не перенесли бы подобного позора, и я был отдан в жертву пращам и стрелам яростной судьбы.

Короче говоря, он приехал в Китай как дегустатор чая. Но приехал, когда цейлонские сорта уже вытесняли китайские, и времена, когда торговец мог разбогатеть за несколько лет, кануло в прошлое. Однако пышный образ жизни оставался прежним и тогда, когда средства оплачивать его исчерпались. Борьба, чтобы сводить концы с концами, становилась все более тяжелой, а потом разразилась Китайско-японская война, принесла утрату Формозы и разорение. Дегустатору чая пришлось подыскивать другое занятие. Он перебивал виноторговцем, гробовщиком, агентом по продаже недвижимости, маклером, аукционщиком. Он перепробовал все способы наживать деньги, какие подсказывало ему пылкое воображение, но порт беднел, и его потуги были бесплодны. Жизнь взяла над ним верх. И теперь в его облике наконец появилась жалкая обескураженность. В ней было даже что-то трогательное, как в безмолвной мольбе женщины, не способной поверить в увядание своей красоты и напрашивающейся на комплимент, который успокаивает ее, но больше уже не убеждает. И тем не менее у него было утешение, — он по-прежнему сохранял великолепный апломб. Да, он был неудачником и знал, что он неудачник, но по-настоящему это его не угнетало, ибо он видел себя жертвой Рока: ни разу даже тень сомнения в своих недюжинных талантах не омрачила его души.

XLVIII. ЗНАТОК ДРАМАТУРГИИ

Мне подали его элегантную визитную карточку, надлежащей формы и размеров, с широкой черной каймой, внутри которой под его фамилией значилось: «Профессор сравнительной современной литературы». Оказался он молодым человеком, очень невысоким, с миниатюрными

изящными руками, с носом, довольно крупным для китайца, и очками в золотой оправе. Хотя стояла жара, одет он был по-европейски — в костюм из толстого твида. Он оказался несколько застенчивым и говорил высоким фальцетом, словно голос у него еще не ломался, и пронзительные ноты почему-то придавали разговору с ним ощущение нереальности. Он учился в Женеве и в Париже, в Берлине и в Вене и бегло изъяснялся по-английски, по-французски и по-немецки.

Выяснилось, что он читает лекции по драматургии и недавно написал по-французски исследование, посвященное китайскому театру. Его занятия за границей привили ему непонятное преклонение перед Скрибом, и именно такую модель он предлагал для возрождения китайской драмы. Было странно слышать его утверждения, что пьеса должна увлекать: он требовал *pièce bien fait, scène à faire*¹, занавеса, неожиданности, драматичности. Китайский театр с его сложной символикой был именно тем, чего всегда требовали мы, — театром идей, и, видимо, он чахнул, утопая в скуке. Бесспорно, идеи под ногами не валяются и для придания им аппетитности требуют новизны, а когда залеживаются, то воняют, как лежалая рыба.

Затем, вспомнив надпись на визитной карточке, я спросил у своего нового знакомого, какие книги, английские или французские, он рекомендует читать своим студентам, чтобы они шире ознакомились с текущей литературой. Он чуть-чуть замялся.

— Право, не могу сказать, — ответил он наконец. — Видите ли, это не моя область: я ведь занимаюсь только драматургией. Но если вас это интересует, я попрошу моего коллегу, который ведет курс европейской беллетристики, посетить вас.

— Прошу меня извинить, — сказал я. — Вы читали «*Les Avariés*»?² — спросил он. — По-моему, это лучшая пьеса, написанная в Европе со времен Скриба.

— Вы так полагаете? — вежливо осведомился я.

— Да, и наши студенты очень интересуются социологическими вопросами.

¹ Здесь: хорошо построенная пьеса, выигрышная сцена (*фр.*).

² «Потерпевшие крушение» — пьеса французского драматурга Эжена Бриё (1858 — 1932). Написана в 1905 г. Ее название вошло во французский язык как презрительное прозвище больных сифилисом.

На мое несчастье, я ими не интересуюсь, а потому постарался, как мог искуснее, перевести разговор на китайскую философию, с которой знакомился довольно беспорядочно. Я упомянул Чжуан-цзы. У профессора отвалилась челюсть.

— Он ведь жил так давно! — с недоумением сказал он.

— Как и Аристотель, — любезно прожурчал я.

— Философов я не изучал, — заметил он. — Но, естественно, в нашем университете есть профессор философии, и, если она вас интересует, я попрошу его посетить вас.

С педагогом спорить бессмысленно, как (на мой взгляд, несколько зловеще) Дух Океана заметил Духу Реки, и я смирился с тем, что разговор пойдет о драматургии. Моего профессора интересовала техника построения пьес, и он как раз готовил курс лекций, посвященный этому предмету — по его мнению, видимо, и сложному, и темному. Он польстил мне, осведомившись у меня о тайнах ремесла драматурга.

— Мне известны только две, — ответил я. — Первая: запасись здравым смыслом — и вторая: не отвлекайся от темы.

— Неужели этого достаточно, чтобы написать пьесу? — спросил он, и в его голосе прозвучала легкая растерянность.

— Ну, еще нужна определенная сноровка, — уступил я. — Но не больше, чем для бильярда.

— Во всех крупнейших университетах Америки читаются курсы по технике драматургии, — сказал он.

— Американцы народ на редкость практичный, — ответил я. — По-моему, в Гарварде учреждается кафедра по обучению лягушек плаванию.

— Мне кажется, я вас не совсем понял.

— Если вы не способны написать пьесу, никто вас этому научить не сумеет. А если способны, то это проще, чем свалиться в яму.

Тут его лицо выразило полнейшее недоумение, но, мне кажется, потому лишь, что он не мог сообразить, в чью компетенцию входит падение в яму — профессора теоретической физики или же профессора прикладной механики.

— Но если пьесы писать так просто, почему же драматурги пишут их столь медленно?

— Отнюдь. Лопе де Вега, Шекспир и еще сотни и сотни писали очень плодovито и с большой легкостью. Некоторые современные драматурги были абсолютно малограмотны и умудрялись связать два слова лишь ценой длительного труда. Знаменитый английский мастер драмы однажды показал мне свою рукопись, и я увидел, что вопрос «Вы пьете чай с сахаром?» он написал пять раз, прежде чем сумел облечь его в эту форму. Романист умрет с голоду, если он не сумеет просто сказать то, что хочет сказать, а будет без конца ходить кругом да около.

— Но Ибсена вы малограмотным назвать не можете, однако известно, что ему требовалось два года, чтобы написать одну пьесу.

— Совершенно очевидно, что Ибсену плохо давались сюжеты. Он месяц за месяцем бешено напрягал мозг, а затем, отчаявшись, брался за тот, который уже не раз использовал.

— О чем вы говорите? — вскричал профессор, и его голос сорвался на визг. — Я совершенно вас не понимаю.

— Разве вы не замечали, что Ибсен все время берет один и тот же сюжет? Несколько человек живут в тесной душной комнате, затем является некто (с гор или из-за моря) и распахивает окно, все простуживаются, и занавес опускается.

Я не исключал возможности, что на мгновение серьезное лицо профессора осветит тень улыбки, но он сдвинул брови и минуты на две уставился в пространство. Затем он встал.

— Я снова перечту произведения Генрика Ибсена под таким углом, — сказал он.

На прощание я не преминул задать ему вопрос, который один почтенный исследователь драмы непременно задает другому, если волей судеб они встретятся. Спросил же я его, что он думает о будущем театра. Мне было почудилось, что он выругался по-английски, но по зрелому размышлению я решил, что он просто воззвал к небесам по-французски: *ô ciel!* Он вздохнул, он покачал головой, он воздел свои изящные руки — ну, просто воплощение уныния. Было весьма утешительно обнаружить, что в Китае все вдумчивые люди считают положение драматургии не менее безнадежным, чем все вдумчивые люди в Англии.

XLIX. ТАЙПАН

Никто лучше его не знал, какая он важная персона. Он был первым номером отнюдь не наименее важного филиала самой крупной английской фирмы в Китае. Своего положения он достиг благодаря способностям и трудолюбию и с лёгкой улыбкой оглядывался на желторотого клерка, который приехал в Китай тридцать лет назад. Когда он вспоминал скромный родительский кров, кирпичный домишко в ряду кирпичных домишек в Барнсе, пригороде, который изо всех сил тщится стать фешенебельным, а обретает лишь скорбную убогость, и сравнивал его с великолепным каменным особняком, служившим ему и домом и конторой, с широкими верандами и обширными комнатами, у него вырывался довольный смешок. Да, с той поры он проделал большой путь! Ему вспоминался вечерний чай, к которому он возвращался из школы (учился он в школе Св. Павла): за столом отец, мать и две его сестры, по ломтю холодного мяса, хлеба с маслом сколько хочешь, и молока в чай тоже, и все сами за собой ухаживают. И тут же он начинал думать о том, как торжественно вкушает теперь традиционно поздний обед. Он обязательно к нему переодевался, и даже если гостей не было, все равно за столом прислуживали три боя. Его старший бой точно знал, что и как он любит, и ему не приходилось тратить время на хозяйственные мелочи. Однако обед всегда подавался по давно заведенному порядку: суп, рыба, что-нибудь из птицы или, например, омары, жаркое, десерт, так что всегда можно было пригласить кого-нибудь в самую последнюю минуту. Он любил поесть и не видел, почему, обедая в одиночестве, он должен обходиться менее изысканной едой, чем в гостях.

Да, он действительно прошел большой путь. Потому-то ему и не хотелось возвращаться на родину. В Англии он не бывал уже десять лет, проводя отпуск в Японии или в Ванкувере, где мог твердо рассчитывать на общество кого-нибудь из старых друзей с китайского побережья. На родине у него не было никого. Его сестры нашли мужей в своем кругу: их мужья были клерками, и сыновья их были клерками. Между ним и ими не было ничего общего. С ними он изнывал от скуки. Родственные чувства он удовлетворял, посылая им на Рождество отрез прекрасного шелка, какие-нибудь красивые вышивки или ящик чая. Он не был скуп

и, пока жила его мать, выплачивал ей содержание. И когда подойдет время уйти на покой, он в Англию не вернется: слишком многие возвращались, и, как он знал, чаще это кончалось плохо. Нет, он поселится в Шанхае где-нибудь поближе к ипподрому и с помощью бриджа, скаковых лошадей и гольфа скоротает остаток жизни очень приятно. А впрочем, он еще много лет может не думать об уходе на покой. Еще пять-шесть лет — и Хиггинс вернется на родину, а он возьмет управление главной конторой в Шанхае. А пока ему и тут очень хорошо — можно откладывать деньги, что в Шанхае не вышло бы, и вдобавок прекрасно проводить время. И еще одно преимущество перед Шанхаем: здесь он самый видный член общества и его слово закон. Даже консул очень с ним считается. Был случай, когда они с консулом столкнулись на узкой дорожке, и посторониться пришлось не ему. Вспомнив об этом, тайпан воинственно выпятил подбородок.

Но он улыбнулся, так как настроение у него было превосходное. Он шел пешком к себе в контору после отличнейшего завтрака в Гонконгско-Шанхайском банке. Там умеют принять. Чудесная еда и обилие напитков. Начал он с двух коктейлей, затем выпил редкостного сотерна и кончил двумя рюмками портвейна и капелькой несравненного старого коньяка. Он чувствовал себя великолепно. И против обыкновения решил вернуться в контору пешком. Носильщики с его креслом следовали за ним в нескольких шагах на случай, если он все-таки пожелает сесть в него. Однако ему хотелось поразмять ноги. Последнее время он разминался мало. Теперь, когда он слишком отяжелел, чтобы ездить верхом, возможностей для этого у него осталось мало. Но если сам он и не ездит, держать скаковых лошадей ему не возбраняется, и, вдыхая душистый воздух, он начал думать о весенних скачках. У него была пара неопробованных лошадей, на которых он возлагал порядочные надежды, а из одного клерка у него в конторе вышел отличный жокей (надо присмотреть, чтобы его не сманили: старик Хиггинс в Шанхае не пожалеет кругленькой суммы, чтобы заполучить его себе), и пару-другую скачек он выиграет. Он льстил себя мыслью, что у него лучшая в городе конюшня, и теперь выпятил грудь. Чудесный день, и как хорошо быть живым!

Он остановился, поравнявшись с кладбищем, таким аккуратным, ухоженным — верным доказательством преуспевания европейской общины. Оказываясь рядом с кладбищем, он всегда ощущал приятный прилив гордости. Ему нравилось быть англичанином. Ибо кладбище было расположено на земельном участке, который, когда его выбрали, не стоил ничего, но с ростом богатства города приобрел большую ценность. Предлагали даже перенести могилы куда-нибудь еще, а землю продать под застройку, но общественное мнение было против. Мысль, что их усопшие покоятся в самой ценной земле на острове, дарила тайпану большое удовлетворение. Ведь, следовательно, деньги для них еще не самое главное. Да и что такое — деньги! Когда дело шло о «действительно важном» (любимое выражение тайпана), как было не вспомнить, что деньги еще далеко не все.

Пожалуй, недурно будет пройти по кладбищу. Он глядел на могилы: они все выглядели безупречно, а дорожки между ними нигде не заросли бурьяном. Все здесь дышало богатством. И, неторопливо проходя по аллее, он читал имена на памятниках. Вот бок о бок — капитан, первый помощник и второй помощник барка «Мэри Бакстер», — все трое погибли в тайфуне в 1908 году. Этот тайфун он помнил прекрасно. А вот двое миссионеров, их жены и дети, убитые в дни боксерских беспорядков. Какой это был возмутительный ужас! Не то чтобы он ставил миссионеров так уж высоко, но, черт побери, нельзя же допустить, чтобы проклятые китайцы их крошили! Затем он увидел крест со знакомым именем. Приятный малый Эдвард Малок, но пить не умел и допился до смерти в двадцать пять. Да разве он один! Тайпан навидался таких на своем веку. Вот еще несколько аккуратных крестов с мужским именем и возрастом — двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь... Все та же старая история: приезжали в Китай, столько денег никогда прежде не видели, а будучи приятными малыми, пить хотели наравне с другими, ну и не выдерживали. Вот и лежат здесь на кладбище. Чтобы пить, не отставая от других, на китайском побережье, нужна крепкая голова и здоровый организм. О конечно, это очень печально, но тайпан не удержался от улыбки при мысли о том, сколько этих молодчиков пили с ним, пока не оказывались под землей. И одна такая смерть оказалась полезной — его сослуживец,

старше его по положению и умница вдобавок. Проживи тот подольше, возможно, он сейчас не был бы тайпаном. Поистине пути Господни неисповедимы. А! Вот и малютка миссис Тернер, Вайолет Тернер, очаровательная штучка, у него с ней был прямо-таки настоящий роман — он был чертовски огорчен, когда она умерла. Он поискал взглядом на памятнике год ее рождения. Нет, будь она жива, так и вторую молодость давно бы позади оставила. И пока он вспоминал всех этих покойников, им все больше овладевало блаженное удовлетворение. Он взял верх над ними всеми! Они мертвы, а он жив! И, черт возьми, он им показал! Его взгляд разом подобрал все эти могилы, он презрительно улыбнулся, чуть было не потерял руки и пробормотал:

— Ну да, меня никто никогда дураком не считал!

Он испытывал добродушное пренебрежение к бестолковым мертвецам. А потом вдруг увидел перед собой двух кули, которые копали могилу.

— Для кого бы это, черт побери? — произнес он вслух.

Кули даже не взглянули на него, а продолжали копать, стоя в уже довольно глубокой могиле и выбрасывая за края тяжелые комья земли. Хотя он прожил в Китае столько лет, китайского так и не выучил (в его время проклятый туземный язык никому не требовался!) и потому спросил кули по-английски, для кого они роют могилу. Они не поняли и ответили ему по-китайски, а он выругал их, невежественных тупиц. Конечно, ребенок миссис Брум болеет и, конечно, мог умереть, однако он бы, безусловно, об этом узнал, да и могила копалась не для ребенка, а для взрослого. Для крупного мужчины. Непонятно. Он пожалел, что зашел на кладбище, и, торопливо его покинув, сел в свое кресло. От хорошего настроения не осталось и следа. Его лицо тревожно хмурилось. Едва войдя в контору, он спросил у своего заместителя:

— Послушайте, Петерс, не знаете, кто умер?

Но Петерс ничего не знал. Тайпан пришел в полное недоумение. Он позвал одного из туземных клерков и послал его на кладбище спросить у кули, а сам начал подписывать письма. Вернулся клерк и сказал, что кули ушли и спросить было не у кого. Тайпаном начало овладевать смутное раздражение: он не любил, когда что-то случалось без его ведома. Ну, да его бой знает, его бой всегда знает все! И он послал за ним. Но бой не слышал, чтобы кто-нибудь умер.

— Так я и думал, — сердито сказал тайпан. — Но зачем тогда рыли могилу?

Он послал боя к кладбищенскому смотрителю узнать, какого дьявола выкопали могилу, если никто не умер.

— Только прежде подай мне виски с содовой, — сказал он, когда бой повернулся к двери.

Он не понимал, почему вид могилы внушил ему такое беспокойство. Но попытался выкинуть ее из головы. Когда он выпил виски, ему стало легче, и он кончил подписывать письма. Потом поднялся к себе наверх и полистал «Панч». Скоро он отправится в клуб и сыграет робберок-другой в бридж. Однако для полного спокойствия следует послушать, что ему скажет бой, и он решил его дожидаться. Через несколько минут бой явился — но вместе со смотрителем.

— Зачем вырыли могилу? — спросил он смотрителя напрямую. — Ведь никто же не умер.

— Я могилы не лыл, — ответил китаец.

— То есть как? Сегодня два кули рыли могилу!

Китайцы переглянулись. Потом бой сказал, что они вместе обошли кладбище. Ни одной новой могилы там нет.

Тайпан сумел промолчать. У него с языка чуть было не сорвалось: «Но, черт возьми, я сам ее видел!»

Однако он не сказал этих слов. И, проглотив их, побагровел. Оба китайца смотрели на него немигающими глазами. Он вдруг задохнулся и прохрипел:

— Ну хорошо, идите!

Но едва они вышли, как он тут же кликнул боя, а когда тот вошел, как всегда невозмутимый, черт бы его побрал, приказал подать виски и утер вспотевшее лицо. Когда он подносил рюмку к губам, руки у него дрожали. Пусть говорят что хотят, но могилу он видел своими глазами! Он и сейчас прямо-таки слышит глухие шлепки земли, которую кули выкидывали за края ямы. Что это значит? Сердце у него колотилось, и он ощущал невнятную тревогу. Но сумел взять себя в руки. Чепуха! Если могилы там нет, значит, у него была галлюцинация. Так надо ехать в клуб, и, если доктор там, можно будет договориться, когда он его посмотрит.

В клубе все выглядели совершенно как обычно. Он сам не знал, почему ожидал, что они будут выглядеть как-то по-другому. Во всяком случае, приятно. Эти люди, много лет жившие бок о бок раз и навсегда упорядоченным

образом, приобрели множество маленьких личных привычек: один за бриджем непрерывно напевал себе под нос, другой пил пиво только через соломинку — и все эти их штучки, так часто раздражавшие тайпана, теперь стали для него опорой. А в опоре он нуждался, потому что не мог забыть представшее ему странное зрелище. Играл он на редкость скверно, его партнер указывал ему на ошибки, и тайпан вышел из себя. Ему показалось, что все глядят на него как-то странно. И начал думать, что такого необычного они в нем увидели.

Внезапно он почувствовал, что больше не в силах оставаться в клубе. Выходя, он увидел в читальне доктора с «Таймс», но почувствовал, что говорить с ним не может. Он хотел сам убедиться, рыли на кладбище могилу или нет, и садясь в кресло, приказал носильщикам идти туда. Ведь галлюцинации не повторяются, так? И он возьмет с собой зрителя: если могилы там нет, он ее не увидит, а если она есть, то задаст зрителю задачу, которую тот на всю жизнь запомнит. Но зрителя не нашли. Он куда-то ушел и унес ключи. Узнав, что попасть на кладбище нельзя, тайпан внезапно обессилел. Он снова сел в кресло и приказал нести себя домой. Надо будет прилечь на полчаса перед обедом. Он переутомился. В том-то и причина. Он слышал, что от переутомления возникают галлюцинации. Когда вошел бой помочь ему переодеться к обеду, он с трудом заставил себя встать. Ему очень не хотелось переодеваться, но он не поддался соблазну: у него такое правило, вот уже двадцать лет он каждый вечер переодевается к обеду, и правила этого он не нарушит. Однако он распорядился подать к обеду шампанское и почувствовал себя увереннее. После обеда он приказал бою подать ему лучший коньяк и после двух рюмок вновь стал самим собой. К дьяволу галлюцинации! Он прошел в бильярдную и попрактиковался в двух-трех трудных ударах. При таком глазомере у него, конечно, все должно быть нормально. Когда он лег спать, то сразу же погрузился в здоровый сон.

И вдруг проснулся. Ему приснилась могила, неторопливо копающие кули... Да видел же он их, видел! Какие еще галлюцинации, если он собственными глазами их видел! Тут он услышал дробный стук — ночной сторож совершал свой обход. Стук этот с такой резкостью ворвался в ночную тишь, что тайпана передернуло. И тут его объял ужас. Как

страшны эти кривые бесчисленные улочки китайского города, как жутки и чудовищны изогнутые крыши храмов, гримасничающие, корчащиеся демоны! Как отвратительны запахи, бьющие ему в ноздри! А люди... Мириады кули в синей одежде, нищие в вонючих лохмотьях, торговцы и чиновники в длинных черных одеяниях, маслянистые, улыбающиеся, непроницаемые. Они все словно бы угрожающе надвигались на него. Как он ненавидит эту страну! Китай... И зачем он только сюда приехал? Им овладела паника. Надо бежать отсюда. Он ни единого года тут не останется, ни единого месяца. Шанхай? А зачем ему Шанхай?

— Господи! — вскрикнул он. — Только бы благополучно добраться до Англии!

Он хочет вернуться на родину. Если уж умирать, так в Англии. Он не вынесет, если его похоронят среди этих желтокожих с их раскосыми глазами и ухмыляющимися мордами. Он хочет, чтобы его похоронили на родине, а не в могиле, которую он видел днем. В ней ему покоя не обрести. Никогда. А что подумают люди, ни малейшей важности не имеет. Пусть думают что хотят. Важно одно: выбраться отсюда, пока можно.

Он встал с кровати и написал письмо главе фирмы. Написал, что опасно заболел. Пусть подыщут ему замену. Задержится он лишь на самый необходимый срок. Он должен безотлагательно уехать домой.

Утром письмо это нашли зажатым в пальцах тайпана. Он соскользнул на пол между креслом и бюро. Он был мертв.

L. МЕТАМПСИХОЗА

Одет он был вполне благопристойно, хотя отнюдь не богато. Круглая шапочка из черного шелка на голове, туфли из черного шелка на ногах. Одевание из бледно-зеленого фигурного шелка, а поверх него — короткая черная кофта. Был он стариком с белоснежной бородой, длинной и по китайским меркам пышной. Лицо все в морщинах — особенно между бровями — сияло благодушием, а большие в роговой оправе очки не прятали благодушия в его взоре. Он выглядел прямо-таки мудрецом, который на старинной картине созерцает Вечный Путь, сидя в сени бамбуков у подножия крутой скалистой горы. Однако в эту минуту его лицо

выражало досадливое раздражение, а добрые глаза хмурились, ибо, как ни странно (для человека с такой внешностью), он пытался вести по насыпной дороге между затопленными рисовыми полями черную свинку. А черная свинка то внезапно устремлялась рывком вперед, то неожиданно сворачивала в сторону и выписывала зигзаги по всем направлениям, кроме того, куда нужно было почтенному старцу. Он яростно тянул веревку, но свинка визжала и упиралась. Он уговаривал ее и осыпал бранью, но свинка присаживалась на задние ноги и смотрела на него злокозненным взглядом. Тут я понял, что в дни Танской династии старец этот был философом и передергивал факты, как заведено у философов, и подгонял их под причудливые измышления, которые именовал своими теориями. И вот теперь, после неведомо скольких перевоплощений, он искупал все прежние грехи, в свою очередь страдая от упрямой тирании фактов, которые в свое время оскорбил.

II. ОБЛОМОК

Путешествуя по Китаю, особенно поражаешься страсти китайцев все изукрашивать. Неудивительно, конечно, что изукрашены мемориальные арки или внутренность храмов: там причина очевидна; естественно это и для мебели, и вы не изумляетесь, хотя и восхищаетесь, обнаруживая то же самое, когда речь идет о самой простой утвари. Оловянный горшок облагорожен изящным узором, миска, из которой кули ест свой рис, тоже чем-то украшена, пусть и грубовато. Так и кажется, что китайский мастер не считает свое изделие законченным, пока линией или краской не нарушит простоты его поверхности. Он даже начертит арабеску на оберточной бумаге. Но когда дело касается фасада лавки, подобная изысканность уже не так понятна — великолепная резьба, позолоченная или, наоборот, на золотом фоне, и вывеска словно сложная скульптура. Возможно, пышность эта служит своего рода рекламой — но потому лишь, что прохожий (потенциальный клиент) ценит изящество; и невольно веришь, что владелец лавки ценит его не меньше. Когда он сидит перед дверью, покуривая хукку и читая газету сквозь большие роговые очки, его взгляд уж конечно порой ласково скользит по сказочным украшениям. На прилавке в узкогорлом кувшинчике стоит одинокая гвоздика.

То же восторженное пристрастие к изукрашенности вы обнаруживаете и в самой бедной деревушке, где суровая

невзрачность двери смягчается тончайшей резьбой, а решетка в окошках образует прихотливый и прелестный узор. В безлюднейшей местности редко встречается мост, к которому не прикоснулась бы рука художника. Камни его уложены так, что образуют своеобразную мозаику, и кажется, будто строители тщательно взвешивали, какой формы мост лучше впишется в окружающий пейзаж — прямой или горбатый. Перила снабжены львами или драконами. Мне вспоминается мост, для которого словно бы выбрали место там, где смотреть на него — чистейшее наслаждение, пусть практическая польза вызывает сомнение: хотя ширина его позволяла проехать экипажу, запряженному парой, воедино он соединял лишь узкий проселок между двумя нищими деревушками. До ближайшего городка было тридцать миль. Широкая река, сужавшаяся в этом месте, струилась между двух зеленых холмов, и берега ее поросли ореховыми деревьями. Перила отсутствовали. Сложен мост был из гигантских гранитных плит и опирался на пять быков, средний из которых имел форму огромного сказочного дракона с длиннейшим чешуйчатым хвостом. Края внешних плит по всей длине украшал узорный барельеф — чудо легкости, тонкости и изысканности.

Тем не менее, хотя китайцы всячески стараются не утомлять ваш взгляд и с безошибочным вкусом смягчают пышность украшений, оставляя для контраста участки поверхности, не тронутые кистью или резцом, в конце концов вы устаете. Эта щедрость вызывает недоумение. Нельзя не отдать дань восторга изобретательности, с какой они столь по-разному воплощают занимающие их идеи, создавая впечатление безграничной фантазии, но факт остается фактом — идей на самом деле очень мало. Китайский художник напоминает скрипача, который с несравненным искусством разыгрывал бы бесконечные вариации одного и того же мотива.

Так вот: мне довелось познакомиться с врачом-французом, который много лет практиковал в городе, в котором я тогда оказался. Он коллекционировал фарфор, бронзу, вышивки и показал мне свои сокровища — они были прекрасны, но чуточку однообразны. Я восхищался без особого энтузиазма. И тут вдруг очередь дошла до обломка мраморного торса.

— Но он же греческий! — сказал я с удивлением.

— Вы так думаете? Я рад.

Ни головы, ни рук. К тому же статуя — а это несомненно когда-то была статуя — лишилась всей нижней своей части. Однако сохранился нагрудник, а на нем выпуклый Персей поражал выпуклого дракона. Обломок, по сути, никакого художественного интереса не представлял, но он был греческим и — возможно потому, что я пресытился китайскими красотами — подействовал на меня неожиданным образом. Он говорил на языке, мне хорошо знакомом. Он дал отдохновение моему сердцу. Я погладил его изъеденную временем поверхность с восторгом, которому сам удивился. Я уподобился матросу, который, наплававшись по тропическим морям, познав ленивую прелесть коралловых островов и чудеса многолюдных городов Востока, вдруг вновь оказался среди замызганных проулков какого-нибудь порта на Ла-Манше. И холод, и пасмурность, и грязь, но это — Англия.

Доктор, лысый коротышка с блестящими глазками, пребывавший в постоянном возбуждении, потер руки.

— А вы знаете, что он был найден всего в тридцати милях отсюда по эту сторону тибетской границы?

— Найден! — воскликнул я. — Где найден?

— Mon Dieu¹, в земле, разумеется. Пролежал в ней две тысячи лет. И найден был не только этот обломок, но еще несколько, и, кажется, не то одна, не то две целые статуи. Только их тут же разбили, и сохранился только вот этот.

Греческие статуи в такой неизмеримой дали от Греции? Невероятно!

— Как вы это объясняете? — спросил я.

— По-моему, это статуи Александра Македонского, — сказал он.

— Черт побери!

Мысль, от которой брала дрожь! Неужто кто-то из полководцев Македонца не вернулся с ним из похода на Индию, а добрался до этого загадочного уголка Китая под сенью тибетских гор? Доктор хотел показать мне маньчжурские одеяния, но я не мог на них сосредоточиться. Каким же смелым искателем приключений был тот, кто проник так далеко на Восток, чтобы создать царство для себя? И он воздвиг там храм Афродиты и храм Диониса; в театре актеры разыгрывали «Антигону», по вечерам в его покоях певцы декламировали «Одиссею». А он и его воины, слушая, быть может, приравнивали себя к древнему мореходу и его

¹ Бог мой (фр.).

спутникам. О каком великолепии повествует этот потемневший обломок мрамора, о каких невероятных приключениях! Долго ли просуществовало это царство и какой трагедией был отмечен его конец? Да, в ту минуту я был не способен разглядывать тибетские знамена и чашечки из зеленого фарфора — у меня перед глазами стоял Парфенон, строгий и прекрасный, а за ним расстилалась безмятежная гладь Эгейского моря.

III. ЧУДО-ЧЕЛОВЕК

Фамилию его я не запомнил, но когда бы о нем в порту ни говорили, его обязательно называли «чудо-человеком». Ему было лет пятьдесят — худощавый и довольно высокий, подтянутый, элегантно одетый, с небольшой, приятной формы головой и резкими чертами лица. Его голубые глаза за пенсне светились добродушием и жизнерадостностью. По натуре он был бодряком и обладал легким остроумием. Он умел отпустить шутку, которая вызывает веселый хохот мужчин, собравшихся у буфетной стойки в клубе, и позволял себе мило прохаживаться — но без малейшей злобы — на счет тех членов их небольшой общины, которые при этом не присутствовали. Юмор его был того же пошиба, что у комиков в музыкальных комедиях. Когда о нем говорили, то нередко замечали:

— Знаете, я просто удивляюсь, почему он не пошел на сцену! Имел бы огромный успех. Чудо-человек.

Он всегда был готов выпить с вами, и едва ваша рюмка пустела, как он уже прибегал к китайскому присловью:

— Готовы ко второй половине?

Но сам никогда не пил больше, чем ему было полезно.

— О, у него есть голова на плечах! — говорили о нем. — Чудо-человек!

Когда по кругу пускали шляпу для какой-нибудь милосердной цели, можно было твердо рассчитывать, что он даст не меньше, чем все другие, и он никогда не отказывался принять участие в состязаниях по гольфу или в бильярдном турнире. Он был холост.

— Брак человеку, который живет в Китае, ни к чему, — говорил он. — Жену каждое лето нужно отправлять в горы, а когда дети только-только начинают быть интересными, подходит время отослать их в Англию. Обходится черт знает в какие деньги, а вы за них не получаете ничего.

Но он всегда охотно оказывал ту или иную услугу местным дамам. Он был первым номером у «Джардайна», и возможность быть полезным представлялась часто. Он прожил в Китае тридцать лет и гордился тем, что не может сказать по-китайски ни слова. Он никогда не бывал в китайской части города. Его агент был китаец, как и почти половина клерков, и, разумеется, его слуги, а также носильщики. Это были единственные китайцы, с которыми он соприкасался, но и их ему хватало с избытком.

— Ненавижу эту страну, ненавижу этот народ, — говорил он. — Как только поднакоплю денег, немедленно выберусь отсюда! — Он засмеялся. — Знаете, когда я последний раз был на родине, там все помешались на китайском хламе — картины, фарфор и все прочее. Со мной ни о чем китайском не говорите, сказал я им. Я до конца своих дней ничего китайского видеть больше не желаю. — Он повернулся ко мне. — Знаете что? По-моему, у меня в доме нет ни единой китайской вещи.

Но если вы хотели поговорить с ним о Лондоне, он готов был вести этот разговор хоть час, хоть два. Он знал все музыкальные комедии, поставленные за последние двадцать лет, и на расстоянии в девять тысяч миль оставался в курсе всех выходов мисс Лили Элси и мисс Элси Джейнис. Он играл на рояле, у него был приятный голос, и не требовалось особых уговоров, чтобы он сел за инструмент и спел модные песенки, которые слышал, когда в последний раз ездил на родину. Меня поражала неисчерпаемая фризовольность этого седого человека, в ней даже было что-то жуткое. Но когда он кончал, ему громко аплодировали.

— Он бесподобен, верно? — говорили о нем. — Чудочеловек.

ЛИИ. МОРСКОЙ ВОЛК

Судовые капитаны народ по большей части очень скучный. Разговаривают они о фрахтах и грузах. В порту назначения они видят только контору своего агента, бар, где собираются им подобные, и дома терпимости. Ореолом романтики, которым их одевает связь с морем, они обязаны исключительно воображению обитателей суши. Для них море — источник заработка, и они знают его, как машинист знает свой паровоз, лишь с сугубо практической точки зрения. Это труженики с узким умственным горизонтом, чаще убого образованные и некультурные. Личности они

цельные и лишены душевной тонкости и воображения. Прямолинейные, мужественные, честные, надежные, эти люди обеими ногами стоят на неизменности очевидного и во всем ясны: в своем окружении они напоминают предметы, снятые стереоскопически, так что возникает иллюзия, будто вы видите их со всех сторон. Они предлагают вам себя во всеоружии типичного.

Однако трудно было найти менее типичного капитана, чем капитан Бутс. Он был шкипером китайского пароходика в верхнем течении Янцзы, а так как я оказался единственным пассажиром, то мы много времени проводили в обществе друг друга. Но хотя он был разговорчив, даже болтлив, вижу я его лишь смутно, и в моей памяти он сохраняется очень расплывчато. Вероятно, мое воображение он занимает именно из-за своей неясности. В его внешности, бесспорно, ничего неясного не было. Крупный мужчина, ростом шесть футов два дюйма, могучего телосложения, с красным дружелюбным лицом и рублеными чертами. Когда он смеялся, открывались два ряда прекрасных золотых зубов. Он был абсолютно лысым, а усы и бороду брил, зато таких пышных, кустистых и грозных бровей я ни у кого больше не видел, а из-под них смотрели кроткие голубые глаза. По рождению он был голландцем и, хотя Голландию покинул в восьмилетнем возрасте, акцент сохранял до сих пор. Его отец, рыбак, плававший по Зюдерзее на собственной шхуне, прослышав, что возле Ньюфаундленда рыба ловится отлично, отправился с женой и двумя малолетними сыновьями через Атлантический океан. Проведя в водах Ньюфаундленда и в Гудзоновом заливе несколько лет — все это происходило почти полвека назад, — они поплыли вокруг мыса Горн в Берингов пролив. И били тюленей, пока закон не вступился за зверей, которых они истребляли подчистую, и Бутс, Бог свидетель, уже взрослый и храбрый парень, начал плавать на парусных судах третьим, а затем и вторым помощником. Почти всю жизнь он ходил под парусами и теперь никак не мог толком освоиться на пароходе.

— Комфорт бывает только на парусниках, — говорил он. — Где пар, там прощай комфорт.

Он плыл вдоль всего побережья Южной Америки в поисках азотных удобрений, потом отправлялся к западным берегам Африки, потом возвращался в Америку ловить треску у берегов Мэна, а потом с грузом соленой рыбы шел в Испанию и Португалию. В Маниле трактирный приятель

порекомендовал ему попробовать китайскую таможенную. Он отправился в Гонконг, где его взяли в таможенники, а вскоре он получил под свою команду паровой катер. Три года он гонялся за опиумными контрабандистами, а потом, поднакопив денег, построил себе шхуну в сорок пять тонн водоизмещением и решил на ней вновь попытать счастья, добывая туленей у Берингова пролива.

— Только моя команда перетрусила, — сказал он. — В Шанхае они все сбежали, а набрать другую я не сумел, ну и продал шхуну, а сам поступил на судно, которое шло в Ванкувер.

Там он впервые расстался с морем. Познакомился с человеком, продававшим патентованные вилы, и согласился поехать с ними по Соединенным Штатам. Странноватое занятие для моряка, и ничего хорошего из этого не вышло: фирма, нанявшая его, обанкротилась, и он оказался в Солт-Лейк-Сити без гроша в кармане. Каким-то образом он сумел вернуться в Ванкувер, но идея жизни на берегу овладела им прочно, и он устроился в агентство по продаже недвижимости. Его обязанностью было отвозить покупателей на их участки и, если участки им не нравились, убеждать их, что сделку они заключили очень выгодную.

— Одному малому мы продали ферму на склоне горы, — сказал он, и при этом воспоминании глаза его весело заблестели, — а склон до того крутой, что у цыплят одна нога отрастала длиннее другой.

Через пять лет ему захотелось вернуться в Китай. Устроиться помощником на судно, идущее на запад, оказалось очень легко, и вскоре он зажил прежней жизнью. С тех пор он чаще всего ходил из Китая и в Китай — из Владивостока в Шанхай, из Амоя в Манилу, а также по всем большим китайским рекам — теперь уже на пароходах, став из второго помощника первым, а в конце концов и шкипером у судовладельцев-китайцев. Он охотно рассказывал о своих планах на будущее. Китая с него, пожалуй, хватит — вот ферма в Канаде на реке Фрейзер самое милое дело. Построит себе суденышко и будет еще и рыбу ловить — лосося и палтуса.

— Пора мне осесть прочно, — сказал он. — Я в море уже пятьдесят три года. Может, я и сам кораблестроением займусь. Одно что-то делать не по мне.

Тут он был совершенно прав, но тяга к переменам переродилась в странную нерешительность. Было в нем что-то зыбкое, и казалось непонятным, как за него ухватиться.

Он напоминал пейзаж с туманом и дождем на японской картине, где рисунок проступает настолько слабо, что его не сразу различаешь. Он обладал своеобразной мягкостью, совершенно неожиданной в бывалом грубом моряке.

— Я никого обижать не хочу, — говорил он. — Стараюсь по-хорошему с ними обходиться. Если люди не делают того, чего вы от них хотите, так потолкуйте с ними по душам, убедите их. Для чего грозить? Попробуйте лаской.

Весьма необычный принцип в обращении с китайцами, и, насколько я мог судить, не такой уж удачный, поскольку после очередного недоразумения он входил в каюту, махал рукой и говорил:

— Ничего с ними поделаться не могу. Никаких доводов не слушают.

Тут его терпимость обретала большое сходство со слабостью. Но глуп он не был. И обладал чувством юмора. В одном месте осадка у нас превышала семь футов, а так как уровень воды в реке на перекатах держался немногим выше и фарватер был опасен, портовые власти отказывались выдать нам необходимое разрешение, пока часть груза не будет снята. Это был последний рейс пароходика, а он вез жалование войскам, расквартированным в нескольких днях пути ниже по течению, и военный губернатор отказывался выпустить пароходик, если он выгрузит серебро.

— Ну что же, придется мне сделать по-вашему, — сказал капитан Бутс начальнику порта.

— Разрешение вы получите, только когда я увижу над водой пятифутовую марку.

— Я распоряжусь, чтобы агент забрал часть серебра.

Пока проводилась эта операция, он увел начальника порта в таможенный клуб и принялся поить его. Пил он с ним четыре часа, а когда вышел из клуба, держался на ногах столь же крепко, как и четыре часа назад, но начальник порта был пьян.

— А, как вижу, два фута они убрали, — сказал капитан Бутс. — Значит, можно отплыть.

Начальник порта смерил взглядом колонку цифр на борту пароходика: и действительно, у поверхности воды виднелась пятифутовая марка.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Можете отправляться.

— Сейчас и отчалию, — сказал капитан.

Ни унции груза снято не было: китаец, понимавший все с полуслова, аккуратно переписал цифры.

А позднее, когда в одном из речных портов взбунтовавшиеся воинские части положили глаз на серебро, которое мы везли, и попытались задержать нас, он показал похвальную твердость. Его благодушие подверглось тяжкому испытанию, и он сказал:

— Никто не заставит меня остаться, если я этого не желаю. Я капитан этого судна, и приказы здесь отдаю я. Мы отчаливаем.

Перепуганный агент уверял, что солдаты тогда будут стрелять. Офицер что-то скомандовал, и солдаты, упав на одно колено, взяли винтовки на изготовку. Поглядев на них, капитан Бутс распорядился:

— Поставьте бронешиты. Говорю вам, я отчаливаю, а китайская армия пусть летит в тартарары.

Он приказал поднять якорь, и тут же офицер отдал приказ стрелять. Капитан Бутс стоял на своем мостике, и вид у него был довольно гротескный: старая синяя куртка, красная физиономия и дюжая фигура придавали ему полное сходство с дряхлыми рыбаками, которых можно наблюдать в доках Гримсби. Он ударил в колокол, и мы медленно отошли от пристани под треск винтовочных выстрелов.

LIV. ВОПРОС

Меня повели осмотреть храм. Он стоял на склоне холма, и фоном ему служило полукольцо львино-рыжих гор, одевавших его церемонным величием. Мне указали, с какой изумительной гармонией серия зданий уходит вверх, ведя к последнему — истинной жемчужине из белого мрамора, окруженной деревьями. Ведь китайский зодчий тшилсь украсить природу своим творением и использовал особенности ландшафта для декоративных целей. Мне объяснили, с каким тонким расчетом были посажены деревья, здесь контрастируя с мрамором ворот, тут даруя приятную тень, а там обеспечивая фон; мое внимание обратили на восхитительные пропорции огромных крыш, поднимающихся одна над другой с изяществом цветов; и меня предупредили, что желтые черепицы бывают разных оттенков, так что взыскательный вкус не оскорбляло однообразие широких цветковых пятен, но развлекали и ублажали нежные переливы тонов. Мне показали, как сложная резьба на воротах перемежается с ничем не украшенными плоскостями, так что глаз не пресыщался и не утомлялся. Со всем этим меня знакомили, пока мы прогуливались по гармоничным дво-

рикам, переходили мостики — чудо изящества, заглядывали в храмы с неведомыми богами, темными, жестикулирующими, но когда я спросил, какая духовная потребность заставила воздвигнуть все эти бесчисленные постройки, ответить они не смогли.

LV. СИНОЛОГ

Он высок, излишне дороден и дрябловат от сидячей жизни. Бритое широкое красное лицо под седыми волосами. Говорит он быстро, нервно, и голос его тонковат для такого крупного тела. Живет он в храме сразу за городскими воротами в покоях для гостей, а оберегают храм и молятся в нем три буддийских духовных лица и маленький служака. В комнатах мало китайской мебели и очень много книг, но никакого уюта. Помещения очень холодные, и кабинет, где мы сидим, едва обогревает керосиновая печка.

Он знает китайский лучше любого человека в Китае. Десять лет он работает над словарем, который заставит забыть о словаре именитого ученого, к кому вот уже четверть века он питает личную неприязнь. Таким образом он обогащает китаеведение и удовлетворяет собственную мстительность. У него есть все атрибуты университетского профессора, и вы не сомневаетесь, что кончит он главой кафедры китайского языка в Оксфорде, заняв именно то место, для которого предназначен. Он обладает заметно более широкой культурой, чем большинство синологов, которые, возможно, и знают китайский — это приходится брать на веру, — но с прискорбной очевидностью ничего другого не знают; а потому его рассуждения о китайской философии и литературе отличаются глубиной и эрудированностью, с какими не так уж часто сталкиваешься у специалистов по языку. Он совершенно поглощен своими занятиями, ни скачками, ни охотой не интересуется, и европейцы считают его чуть тронутым чудаком. Они относятся к нему с той подозрительностью и боязливым почтением, какие люди всегда испытывают к тем, кто не разделяет их вкусов. Они намекают, что он не в своем уме, а некоторые обвиняют его в пристрастии к опиуму. Это обвинение всегда выдвигается против белых, которые стараются как можно лучше узнать цивилизацию страны, где им предстоит провести значительную часть жизни. Лишь нескольких минут в этой комнате, лишенной даже подобия

комфорта, достаточно, чтобы понять, что перед вами человек, который ведет чисто духовную жизнь.

Но жизнь эта узко направлена. Искусство и красота словно бы вовсе его не трогают, и, слушая, как он с сочувственным пониманием говорит о китайских поэтах, я невольно спрашиваю себя, не ускользнуло ли у него сквозь пальцы самое лучшее. Вот человек, который соприкасается с реальностью исключительно посредством печатных страниц. Трагическое великолепие лотоса трогает его, только когда оно превращено в святыню стихами Ли По, а смех робких китайских девушек волнует его кровь лишь в совершенных строках изысканного четверостишия.

LVI. ВИЦЕ-КОНСУЛ

Носильщики поставили кресло во дворе суда и отстегнули кожух, защищавший его от дождя. Он высунул голову, точно птица из гнезда, затем извлек наружу длинное худое туловище, а затем и худые длинные ноги. Несколько секунд он стоял, точно не зная, что с собой делать. Был он очень молод, и его неуклюжая долговязость только подчеркивала его сходство с неоперившимся птенцом. Круглое свежее лицо (при таком длинном росте голова у него казалась маленькой) выглядело совсем мальчишеским, а карие глаза смотрели с бесхитростной откровенностью. Ощущение важности его официального положения (совсем недавно он был всего лишь студентом-переводчиком) боролось в нем с природной застенчивостью. Он вручил свою карточку секретарю судьи, и тот проводил его во внутренний дворик и пригласил сесть. Там было холодно, сильно дуло, и вице-консул радовался, что на нем плотный дождевик. Оборванный служитель принес чай и сигареты. Секретарь, испитой молодой человек в очень потрепанном черном одеянии, учился в Гарварде и обрадовался случаю похвастать своим умением говорить по-английски.

Затем вошел судья, и вице-консул встал. Судья был почтенный толстяк в стеганой одежде, с очками в золотой оправе на большом улыбающемся лице. Они сели, начали прихлебывать чай, закурили американские сигареты. И вели дружескую беседу. Английского судья не знал, но китайский вице-консула был еще совсем свежим, прямо с университетской скамьи, и он мысленно решил, что не ударил в грязь лицом. Вскоре появился еще один служитель и что-

то сказал судье, после чего судья любезно осведомился, не хочет ли он приступить к делу, которое привело его сюда. Дверь во внешний двор была распахнута, судья прошел в нее и сел на широкую скамью за столом, поставленным на крыльце. Он больше не улыбался, а инстинктивно облекся в величавое достоинство, приличествующее его должности, и даже походка его, как ни был он толст, обрела внушительную важность. Повинуясь вежливому жесту, вице-консул сел рядом с ним. Секретарь встал у конца стола. Тут распахнулась калитка в уличной стене (вице-консулу почудилось, что нет ничего драматичнее внезапно распахивающейся двери), и во двор торопливо, как-то странно подпрыгивая, вошел преступник. На середине двора он замер, глядя на судью. По бокам его шли двое солдат в хаки. Преступник был молод — вице-консул подумал, что они с ним, видимо, ровесники. Одет он был только в бумажные брюки и бумажную безрукавку, совсем выцветшие, но чистые. Босой, с непокрытой головой, он ничем не отличался от тысяч кули в неизменно синей одежде, каких полным-полно на запруженных людьми городских улицах. Судья и преступник молча смотрели друг на друга. Вице-консул взглянул на лицо преступника и тут же опустил глаза: ему не хотелось видеть то, что было видно так ясно. Его вдруг охватило смущение. И, глядя вниз, он заметил, что ступни у этого человека небольшие, красивой формы. А руки связаны за спиной. Он был худощав, среднего роста, гибок и чем-то напоминал лесного зверя. И стоял он на своих изящных ступнях с какой-то особой грациозностью. Против воли вице-консул снова посмотрел на его лицо — овальное, без единой морщины, без единого волоска. И такой странный цвет! Консул много раз читал, как лица зеленеют от ужаса, и считал, что это вычурная метафора, но теперь он увидел такое лицо. И был потрясен. И охвачен стыдом. В глазах тоже — в глазах, вовсе не раскосых, которые ложно приписываются всем китайцам, но смотрящих прямо, в глазах неестественно больших и блестящих, устремленных на судью глазами, в них тоже был ужас, приводивший в содрогание. Но когда судья задал ему вопрос — суд и приговор были уже позади, а привели его сюда в это утро просто для формального опознания, — он ответил громким четким голосом, почти дерзко. Пусть тело предало его, но он еще оставался господином своей воли. Судья отдал краткое распоряжение, и два солдата вывели преступника на улицу. Судья и вице-консул встали и направились к калитке, где

их ждали кресла-носилки. Там между своих стражей стоял преступник. Хотя руки у него были по-прежнему связаны, он курил сигарету. Под выступом крыши жался взвод шуплых солдатиков, и при появлении судьи офицер скомандовал им построиться. Судья и вице-консул сели в свои кресла. Офицер снова скомандовал, и взвод замаршировал по улице. Шагах в трех за ним шел преступник, далее следовал судья, а замыкал шествие вице-консул.

Они быстро двигались по многолюдным улицам, и лавочники смотрели на них без всякого любопытства. Дул холодный ветер, дождь не прекращался. Преступник в своей бумажной безрукавке, конечно, вымок до костей. Шел он твердым шагом и голову держал высоко, даже с какой-то лихостью. От суда до городской стены путь был неблизкий, и им, чтобы добраться туда, потребовалось полчаса. Наконец они добрались до городских ворот и вышли за них. С наружной стороны стены возле убогого гроба, кое-как отесанного и некрашеного, стояли четверо мужчин в синих рубищах — они выглядели как крестьяне. Проходя мимо, преступник взглянул на гроб. Судья и вице-консул сошли с носилок, а офицер скомандовал взводу остановиться. Сразу же за городской стеной начинались рисовые поля. Преступника вывели на тропку, разделявшую два поля, и велели встать на колени. Но офицер счел это место неподходящим и приказал ему встать. Он прошел еще три-четыре шага и опустился на колени. От взвода отделился солдат и занял позицию за спиной приговоренного, примерно в шаге от него. И поднял винтовку. Офицер отдал команду, он выстрелил. Преступник упал ничком и конвульсивно задержался. Офицер подошел к нему, увидел, что жизнь еще не угасла, и выстрелил в тело из обоих стволов своего револьвера. Затем снова построил своих солдат. Судья улыбнулся консулу, но это была не столько улыбка, сколько гримаса, болезненно искажившая толстое добродушное лицо.

Они сели в свои кресла, но у городских ворот их пути расходились, и судья учтивым поклоном попрощался с вице-консулом. Вице-консула понесли к консульству по извилистым, полным прохожих улицам, жившим обычной жизнью. Быстро продвигаясь по ним — его носильщики были крепкие ребята, чьи громогласные требования дать дорогу слегка его отвлекали, — вице-консул думал о том, что сознательно обрывать чью-то жизнь очень страшно: брать на себя уничтожение того, что было плодом неисчислимых поколений. Род человеческий существует очень давно, и

каждый из нас, живущих, являет собой результат бесконечной цепи чудесных совпадений. Но одновременно вице-консул с недоумением почувствовал, как ничтожна жизнь. Одним больше, одним меньше — какое это имеет значение? Но когда они приблизились к консульству, он взглянул на свои часы, удивился, как уже поздно, и приказал носильщикам повернуть к клубу. Подошло время коктейлей, и, черт побери, ему не мешает выпить. В баре он увидел у стойки человек десять. Все они знали, какое поручение он выполнял утром.

— Так что же, — сказали они, — видели вы, как мерзавца пристрелили?

— Ну а как же! — произнес он громким небрежным голосом.

— И все прошло гладко?

— Подергался немножко. — Он повернулся к стойке — Как обычно, Джон.

LVII. ГОРОД, ПОСТРОЕННЫЙ НА СКАЛЕ

Про него говорят, что собаки лают, если в него ненароком заглянет солнце. Это серый угрюмый город, окутанный туманами, потому что стоит он на скале у слияния двух рек, так что со всех сторон, кроме одной, его омывают мутные стремительные воды. Скала напоминает нос старинной галеры и словно таит в себе странную противоестественную жизнь и вся напрягается, чтобы вот-вот устремиться в бурлящий поток. И еще город теснят крутые горные обрывы.

За его стенами ютятся лачужки, построенные на сваях, и там, когда вода стоит низко, разный сброд спешит поживиться, пользуясь «слабостями» речников: у подножия скалы впритык стоят сотни джонок, и человеческая жизнь там бурна и мутна, как эта река. Крутая извилистая лестница ведет к огромным воротам, охраняемым храмом, и по этой лестнице весь день напролет поднимаются и опускаются водоносы с капающими ведрами. Поэтому и ступеньки и улица за воротами всегда мокры, точно после сильного ливня. Редко где удастся сделать несколько шагов по горизонтали, и вырубленных в скале лестничек здесь не меньше, чем в горных городках над итальянской Ривьерой. Из-за того, что свободного пространства в стенах города очень мало, темные узенькие улочки теснят друг друга и все время куда-то сворачивают, а потому отыскать там дорогу не легче,

чем в лабиринте. Толпы прохожих густы, как на центральных улицах Лондона, когда театры начинают извергать зрителей. И приходится пролагать себе путь в этой живой массе, каждую минуту сторонясь, чтобы пропустить кули с носилками или с каким-нибудь другим грузом, а лоточники, которые торгуют всем чем угодно, толкают тебя, когда ты пробираешься мимо. Лавки помещаются в открытых на улицу навесах без окон и дверей, и они тоже полны народа. Они напоминают выставки предметов искусства и всяческих ремесел, и вдруг вы осознате, как выглядели городские улицы в средневековой Англии, когда каждый городок производил все, что требовалось его жителям. Причем соседи подбираются по схожести занятий: в результате вы вдруг оказываетесь на улице мясников, где справа и слева висят огромные окровавленные туши и внутренности, вокруг них жужжат мухи, под ними рыскают облезлые собаки. Или вы проходите по улице, где в каждом доме есть ручной ткацкий станок, на котором без отдыха ткут шелк или сукно. Из бесчисленных харчевен доносятся густые запахи — в любое время дня и ночи там сидят люди и едят. Затем (обычно на углу) вы видите чайные домики, и там тоже весь день напролет за столиками не найдется свободного места, и самые разные люди пьют чай и курят бок о бок друг с другом. Цирюльники занимаются своим ремеслом на глазах у всех, и вы видите, как их клиенты терпеливо сидят, подсунув под себя руки, пока им бреют голову; другим прочищают уши, а некоторым — отвратительное зрелище! — выскребают внутреннюю сторону век.

Это город тысячи шумов. Лоточники заявляют о себе, колотя в деревянные гонги, слышатся трещотки слепых и массажистов, кто-то пронзительным фальцетом распевает в харчевне, и гремит металлический гонг в доме, где справляется свадьба. Хрипло кричат кули и носильщики кресел, угрожающе клянчат милостыню нищие — жалкие карикатуры на человека, скелеты, еле прикрытые грязными лохмотьями, пораженные отвратительными кожными болезнями; надтреснуто и тоскливо звучит труба, на которой без конца и без толку упражняется трубач; и басово аккомпанирует всему этому варварская мелодия — неумолчные человеческие голоса: смех, ссоры, крики, споры, шутки, дружеская болтовня. Неутихающий гомон. Сначала он поражает, потом оглушает, терзает и, наконец, ввергает в бешенство. Вы жаждете мгновения полной тишины. Вам чудится, что она будет полна неизъяснимой прелести.

Вдобавок к раздражающим толпам, к шуму, терзающему ваши уши, еще и вонь, в которой время и опыт помогают вам различать сотни слагаемых. Ваши ноздри обретают особую чуткость. Смердные запахи быют по вашим истомленным нервам, точно визг и лязг скверных инструментов, разыгрывающих жуткую симфонию.

Невозможно догадаться, где живут тысячи и тысячи людей, снующих мимо. Своих соотечественников вы понимаете и способны испытывать к ним симпатию и сочувствие; вы способны, хотя бы в воображении, войти в их жизнь, в каком-то смысле действительно ощутить их своими. Усилим фантазии вы можете приобщить себя к каждому из них. Но все эти люди чужды вам, как вы чужды им. У вас нет ключа к их тайне. Ибо хотя довольно во многом они с вами схожи, это вам не помогает, а, наоборот, подчеркивает различия, разделяющие вас. Некто привлекает ваше внимание: бледный юноша в больших роговых очках с книгой под мышкой, чья сосредоточенность производит приятное впечатление; или старик в капюшоне с седой реденькой бородкой и усталыми глазами — он похож на одного из тех мудрецов, которых китайские художники писали на фоне скалистых пейзажей, а в дни императора Канси делали из фарфора. Но с тем же успехом вы могли бы смотреть на кирпичную стену. Вам не за что ухватиться, вы не знаете о них ровно ничего, и ваше воображение бессильно.

Но потом, добравшись до вершины холма, вы вновь оказываетесь у зубчатой стены, опоясывающей город, минуете угрюмые ворота и попадаете на кладбище. Ряды могил простираются куда-то вдаль на милю, на две мили, на три, на четыре, на пять — бесконечные, уходящие вверх и вниз по склонам зеленые холмики с серыми камнями, к которым раз в году приходят люди совершить возлияния и рассказать мертвым, как обстоят дела у живых, которых они опередили; и они — мертвые — теснятся точно так же, как живые в городе, и кажется, что они давят на живых, словно рады были бы столкнуть их в мутные речные водовороты. В этих бесчисленных рядах есть что-то угрожающее, точно они с угрюмой беспощадностью осадили город и выжидают своего часа; точно под конец, наступая с неумолимостью судьбы, они вытеснят эти кишашие толпы, заполнят собою улицы и дома, пока зеленые бугры не достигнут водяных ворот. И вот тогда тут воцарится тишина; нерушимая тишина.

Они наводят жуть, эти зеленые могилы, они повергают в ужас. Они как будто ждут, ждут.

LVIII. ВОЗЛИЯНИЯ БОГАМ

Это была старуха, чье сморщенное лицо изборождали глубокие морщины. Три серебряных ножа в седых волосах образовывали фантастичный головной убор. Линялая синяя одежда состояла из длинной, изношенной и заплатанной кофты и штанов, которые доставали ей чуть ниже икр. Ноги ее были босы, но одну лодыжку охватывал серебряный браслет. Было видно, что она очень бедна. Хотя и худая, выглядела она коренастой и в расцвете сил, вероятно, легко выдерживала выматывающий труд, в котором промелькнула ее жизнь. Шла она неторопливо, чинной походкой состарившейся женщины, а на руке несла корзинку. Она спустилась в порт, где теснились пестрые джонки. Ее глаза на миг с любопытством остановились на мужчине, который, стоя на узком бамбуковом плотике, ловил рыбу с помощью бакланов. Корзинку она поставила на плиту набережной у самой воды и вынула из нее красную свечу. Свечу она зажгла и укрепила в щели между плитами. Затем вынула несколько курительных палочек, секунду подержала каждую в пламени свечи и воткнула их вокруг себя. Потом достала три крохотные чашечки и налила в них жидкость из фляжки, которую принесла с собой, и аккуратно поставила их в один ряд. Затем извлекла из своей корзинки сверток бумажных денег и бумажных «башмаков» и развернула их, чтобы они лучше горели. Она зажгла костерок и, когда он разгорелся, взяла три чашечки и вылила часть их содержимого перед тлеющими курительными палочками. Она трижды поклонилась, бормоча какие-то слова, и разворошила горящую бумагу, чтобы огонь вспыхнул ярче. Затем вылила на камни всю остальную жидкость и вновь трижды поклонилась. Никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Она достала из корзинки еще сверточек бумажных денег и бросила их в костерок. Потом забрала корзинку и удалилась той же неторопливой, довольно тяжелой походкой. Боги были умиловлены и, подобно старой французской крестьянке, которая к вечеру удачно управилась со всеми хозяйственными хлопотами, она вернулась к собственным делам.

СОДЕРЖАНИЕ

Острые бритвы. <i>Перевод М. Лорие</i>	5
На китайской ширме. <i>Перевод И. Гуровой</i>	301

СОМЕРСЕТ МОЭМ

*Собрание сочинений
в 9 томах*

Том 5

Редактор *А. Шустов*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Т. Фатюхина*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0101133.

Подписано в печать 08.09.00 г.

Гарнитура Таймс. Формат 84×108¹/₃₂.

Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68.

Уч.-изд. л. 24,21. Заказ № 889.

ТЕРРА—Книжный клуб.
113093, Москва, ул. Шипок, 2.

Оригинал-макет подготовлен ООО «Галатея».

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

**Книжный клуб «Терра»
выпускает в свет:**

Лот № 2602

Рафаэль Сабатини

Собрание сочинений в десяти томах

Рафаэль Сабатини — пользующийся мировой славой мастер исторического жанра. В Собрание сочинений войдут его знаменитые романы и хроники, поставившие писателя в один ряд с такими классиками, как А. Дюма, В. Скотт, Р. Стивенсон. В изображении Р. Сабатини история предстает не набором омертвевших фактов, а одной гигантской невыдуманной драмой, одним масштабным и цельным художественным полотном.

*Книги можно заказать по адресу:
113093, Москва, ул. Шипок, д. 2.*

**В открытке не забудьте указать название книги,
количество экземпляров и ваш адрес
(обязательно с почтовым индексом).**

*Книги издательств и книжного клуба
Холдинговой компании «ТЕРРА»
вы можете купить в филиалах
Книжного клуба «ТЕРРА»:*

Москва, ул. Мартеновская, 9/13. Тел. (095) 304-57-98, 304-61-13	Екатеринбург, ул. Викулова, 35/2. Тел. (3432) 42-91-26
Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, к. 1. Тел. (095) 712-34-54	Челябинск, ул. Красная, 69. Тел. (3512) 33-07-88
Москва, ул. Красная Пресня, 29. Тел. (095) 252-03-50	Омск, ул. Бударина, 3(б). Тел. (3812) 23-24-31
Москва, пр. Мира, 79, стр. 1. Тел. (095) 281-81-01	Архангельск, пл. Ленина, 3. Тел. (8182) 65-38-79
Москва, ул. Щипок, 2. Тел. (095) 737-04-78	Ростов-на-Дону, ул., Б. Садовая, 84. Тел. (8632) 66-63-84
Ярославль, ул. Свободы, 97. Тел. (0852) 21-92-72	Дубна, ул. Энтузиастов, 3. Тел. (221) 3-03-83
Воронеж, ул. Кольцовская, 23. Тел. (0732) 52-43-47	Саратов, ул. Вольская, 81. Тел. (8452) 24-38-63
Новосибирск, ул. Танковая, 47. Тел. (3832) 76-00-57	Псков, Октябрьский просп., 22. Тел. (81122) 16-27-49

или заказать по адресу:

113093, Москва, ул. Щипок, д. 2

*Дополнительную информацию можно получить
в Интернете по адресу:*

<http://www.kkterra.ru>

